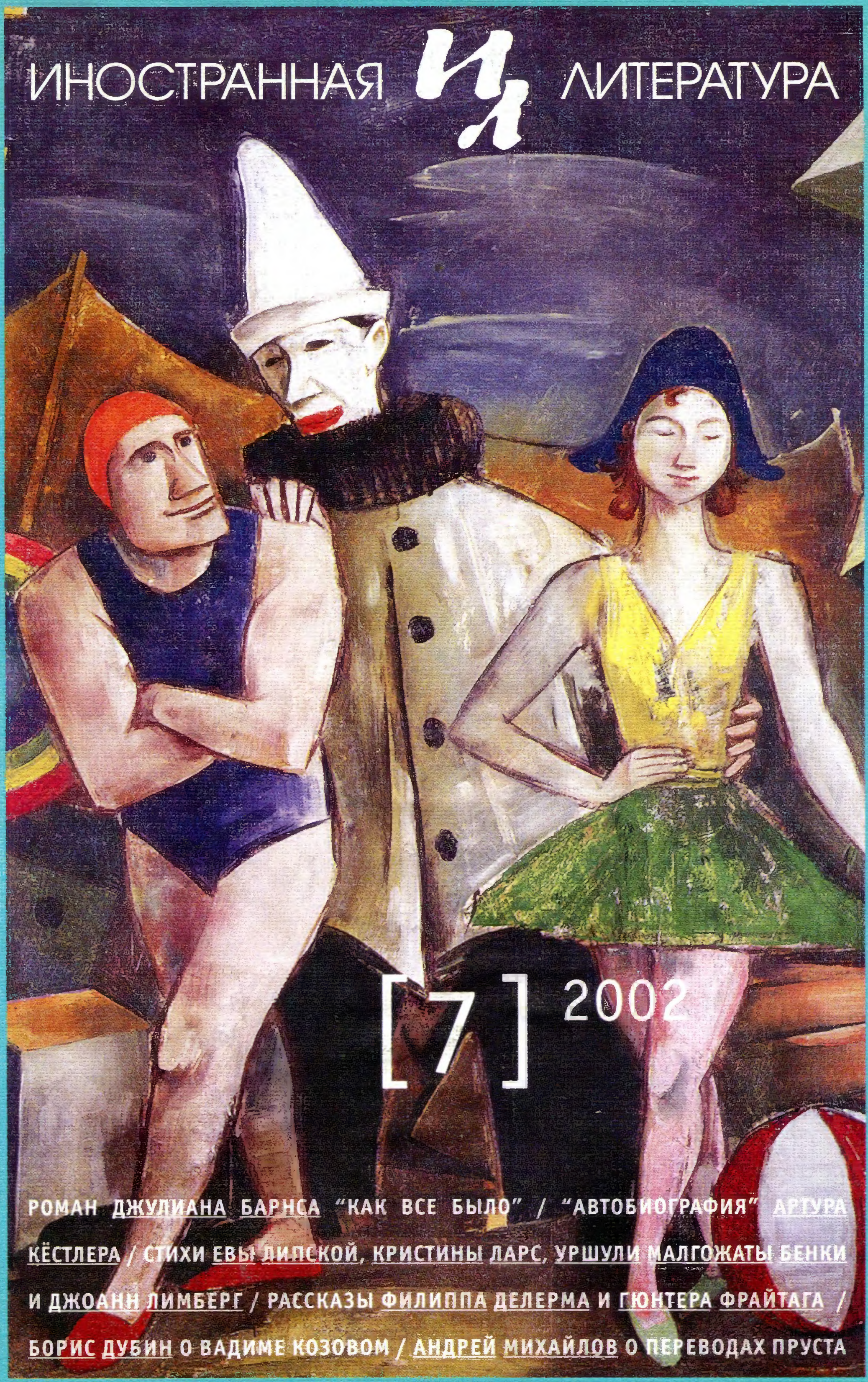
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[7] 2002

РОМАН ДЖУЛИАНА БАРНСА “КАК ВСЕ БЫЛО” / “АВТОБИОГРАФИЯ” АРТУРА КЁСТЛЕРА / СТИХИ ЕВЫ ЛИПСКОЙ, КРИСТИНЫ ЛАРС, УРШУЛИ МАЛГОЖАТЫ БЕНКИ И ДЖОАНН ЛИМБЕРГ / РАССКАЗЫ ФИЛИППА ДЕЛЕРМА И ГЮНТЕРА ФРАЙТАГА / БОРИС ДУБИН О ВАДИМЕ КОЗОВОМ / АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ О ПЕРЕВОДАХ ПРУСТА

Основан в 1891 году

[7]

2002

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Джулиан Барнс. *Как все было (обсуждение).* Роман. Перевод с английского И. Бернштейн

142 Ева Липская. Кристина Ларс. Уршуля Малгожата Бенка. *Стихи.* Перевод с польского и вступление Н. Астафьевой

155 Гюнтер Фрайтаг. *Из Флоренции.* Рассказ. Перевод с немецкого Н. Васильевой

168 Джоанн Лимберг. *Стихи из книги "Femenismo".* Перевод с английского и вступление Анатолия Кудрявицкого

175 Филипп Делерм. *Первый глоток пива и прочие мелкие радости жизни.* Рассказы. Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич

Документальная проза

186 Артур Кёстлер. *Автобиография.* Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление Л. Сумм

Статьи, эссе

252 Андрей Михайлов. *Обретение Пруста*

Трибуна переводчика

260 Борис Дубин. *Человек двух культур*

Круглый стол

265 *Феномен Джулиана Барнса*

Авторы номера

285

© "Иностранная литература", 2002

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

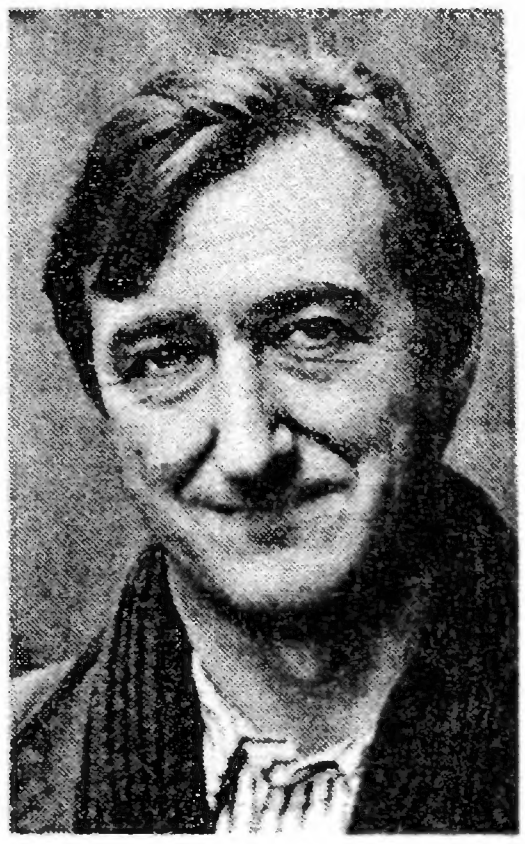
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
А. Н. Власова
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Джулиан Барнс



Как все было (обсуждение)

Роман

Перевод с английского И. Бернштейн

Посвящается Пат

Врет, как очевидец.
Русская поговорка

1. *Никто не пришел, не пришла, не пришли*

Стюарт. Меня зовут Стюарт, и я все прекрасно помню. Стюарт — это мое имя. А фамилия — Хьюз. Стюарт Хьюз, если полностью. Второго имени нет. Хьюз — фамилия моих родителей. Под этой фамилией они прожили в браке двадцать пять лет. А меня назвали Стюарт. Мне сначала это имя не особенно нравилось — в школе дразнили Тютя, или Тюря, или еще как-то, — но теперь я к нему привык. Научился им пользоваться. Пользоваться собственным именем, ха-ха.

Я, к сожалению, не очень-то умею острить, мне много раз говорили. В общем, Стюарт Хьюз — по мне, годится. Я не хотел бы называться Сент-Джон Сент-Джон де Вир какой-нибудь там Пембрук. Фамилия моих родителей была Хьюз. Теперь они умерли, но их фамилию ношу я. И когда я умру, меня все равно будут звать Стюарт Хьюз. В нашем огромном мире не так-то много бесспорных фактов, но это — факт, и спорить тут не о чем.

© Julian Barnes 1991
© И. Бернштейн. Перевод, 2002

Вы поняли, к чему я веду? Нет, конечно, откуда вам. Я же только начал говорить. Вы меня еще совсем не знаете. Давайте начнем по новой. Привет, я — Стюарт Хьюз, рад познакомиться. Пожмем друг другу руки? Вот и прекрасно. Я просто хочу сказать, что все остальные здесь поменяли имя. Интересное наблюдение. Даже жутковатое.

И вот смотрите. Как правильно говорить: поменяли имя или поменяли имена? Я нарочно так сказал, чтобы поддразнить Оливера. У нас с ним на эту тему был страшный скандал. Ну, не скандал, спор. Так сказать, диспут, расхождение во взглядах. Этот Оливер, он жуткий зануда. Он мой самый старинный друг, так что я имею право называть его жутким занудой. Джил, когда познакомилась с ним (Джил — это моя жена Джилиан), сказала:

— А знаешь, твой друг говорит как энциклопедический словарь.

Мы сидели на пляже, приехали из Фринтона, и как только он это услыхал, сразу принялся за свои выкрутасы, у него они называются фантазмы, но это не мое слово. Я все равно не смогу изобразить, как он изощряется, это вам надо слышать самим, прицепится к какому-нибудь слову, и пошло-поехало. И тогда тоже:

— Какой же я словарь? Двуязычный? С алфавитным индексом на обрезе? — И так далее. А под конец спрашивает: — Кто же захочет меня приобрести? Неужели никто? Никому не нужен. Обложка в пыли. Весь тираж продадут по сниженной цене, я уже вижу. Дешевая распродажа!

Запрокинул голову и давай выть в голос и шлепать ладонями по песку. Настоящий телеспектакль. Рядом за щитом от ветра пара стариков с радиоприемником прямо испугались. А Джилиан только посмеялась.

Но это правда, что Оливер зануда. Не знаю, как вы относитесь к тому, когда говорят: "пара" и "испугались"? Наверно, вообще не обращаете внимания, велика ли важность. Но мы — Оливер, Джилиан и я, — затеяли по этому поводу диспут. С чего началось, не помню. У нас у каждого была своя точка зрения. Сейчас попробую изложить наши взгляды. Лучше всего, наверно, в виде протокола прений, как в правлении банка.

Оливер заявил, что парные и множественные слова требуют глагола во множественном числе, а с определенными и отрицательными местоимениями в прошедшем времени употребляется глагол в единственном числе и в мужском роде. Иначе получится: "Никто не пришла", "*Кто-нибудь подумали бы*" и так далее.

Джилиан возразила, что нельзя из обобщенного высказывания исключать половину человеческого рода, ведь в пятидесяти процентах случаев эти "кто-нибудь" и "никто" женского пола, так что по справедливости и по логике надо говорить: "кто-то сказал или сказала", "никто не пришел и не пришла".

Оливер заметил, что мы обсуждаем грамматику, а не сексуальную политику.

Джилиан сказала, что эти вещи нельзя разделять, ведь грамматику писали грамматисты, а они почти все или даже все без исключения — мужчины, чего от них ожидать; и вообще, так подсказывает здравый смысл.

Оливер закатил глаза, закурил сигарету и объявил, что само выражение "здравый смысл" внутренне противоречиво, если бы человек издревле полагался, — тут он будто бы смутился и поправился: — полагался или полагалась на здравый смысл, мы бы по сию пору обитали в глино-

битных хижинах, питались всякой гадостью и слушали пластинки Дэла Шеннона[1].

Стюарт внес предложение: поскольку мужской род звучит неточно, или оскорбительно, или и то и другое, а употреблять обе формы с союзом "или" громоздко и непривычно, напрашивается решение — пользоваться в таких случаях множественным числом: "кто-нибудь подумали, никто не пришли". Стюарт выдвинул это компромиссное предложение в полной уверенности, что все будут довольны, и был изумлен тем, что его единодушно отвергли остальные участники диспута.

Оливер сказал, что такая, например, фраза: кто-то просунули голову в дверь звучит так, как будто бы человека два, но у них на двоих одна голова, эдакая жертва страшных советских опытов над людьми. Он упомянул также уродов, которых в прежние времена показывали на ярмарках, бородатых женщин, овечьих зародышей с отклонениями и еще множество подобных феноменов, но был призван к порядку и лишен слова Председателем (мною).

Джилиан заявила, что формы множественного числа так же громоздко и глупо звучат, как и перечисление через союз "или", почему бы уважаемому собранию не быть последовательным до конца? Поскольку на протяжении многих веков от женщин требовали, говоря о людях вообще, пользоваться мужским родом, может быть, теперь внести в порядке компенсации, хоть и с опозданием, радикальные поправки, даже если они придутся кое-кому из мужского рода поперек горла?

Стюарт продолжал настаивать на множественном числе, представляющем собой средний путь.

И на этом заседание было закрыто на неопределенный срок.

Я потом долго думал об этом разговоре. Три вполне разумных человека спорили по поводу нескольких мелких частностей в употреблении глаголов и местоимений. И не смогли прийти к согласию. И это при том еще, что мы друзья. А договориться не смогли. Что-то в этом меня тревожило.

А как я вообще вышел на эту тему? Ах да. Все вокруг поменяли имя. Действительно, так оно и есть. И заставляет задуматься. Джилиан, например. Она сменила фамилию, когда вышла за меня замуж. Девичья ее фамилия была Уайетт, а теперь она стала Хьюз. Я не льщу себя мыслью, что ей очень хотелось взять мою фамилию. Скорее она хотела избавиться от фамилии Уайетт. Ведь это фамилия ее отца, а с отцом у нее были плохие отношения. Он бросил ее мать, и та потом много лет вынуждена была носить фамилию человека, который ее оставил. Не очень-то приятно для миссис Уайетт, или мадам Уайетт, как ее зовут некоторые, потому что она родом француженка. Я так подозреваю, что, возможно, Джилиан хотела освободиться от фамилии Уайетт и этим прервать всякие связи с отцом (который, кстати сказать, даже не присутствовал на нашей свадьбе), показать мамаше, как та должна была поступить в свое время. Впрочем, мадам Уайетт пренебрегла намеком, если тут вправду был намек.

Что характерно, Оливер сказал, что тогда Джил должна после замужества называться миссис Джилиан Уайетт-или-Хьюз, раз уж ей так хочется быть до конца логичной, и грамматичной, и разумной, и справедливой, и чтобы с ходу не выговорить. Вот такой он, Оливер.

1. Дэл Шэннон — американский эстрадный певец (1934—1990), в Англии пользовался особенной популярностью в 60-е годы. (*Здесь и далее – прим.перев.*)

Оливер. Его не так звали, когда мы познакомились. Мы с ним вместе учились в школе. Там он носил имя Найджел или иногда Н. О., а бывало, что Расс, потому что вообще-то он Найджел Оливер Рассел. Но Оливером его не звал никто. По-моему, мы даже и не знали, что означает буква О в его имени. Может быть, он что-нибудь нам наврал про это. Но факт таков. Я в университет не пошел. А Найджел поступил. И уехал. А после первого семестра вернулся уже Оливером. Оливер Рассел. А букву "Н" он вообще выкинул из своего имени, даже из чековой книжки.

Вот видите, я все помню. Он отправился в свой банк и заставил их там напечатать новые чековые книжки и подпись изменил, вместо "Н. О. Рассел" стал подписываться "Оливер Рассел". Я удивился, что ему позволили. Я думал, для этого нужен специальный документ, оформленный нотариально или еще как-нибудь. Спрашивал у него, но он мне не объяснил. Сказал только, что пригрозил перевести свой "выбранный до нуля счетец" в другой банк.

Я не такой сообразительный, как Оливер. В школе я иногда получал более высокие отметки, чем он, но это когда он не старался. Я лучше учился по математике, по физике и химии и где надо было что-то делать руками — он от одного взгляда на сверлильный станок в мастерской сразу притворялся, будто падает в обморок, — но уж если он в чем-то захочет меня переплюнуть, то переплюнет обязательно. Да и не меня одного, всякого. И он отлично ориентируется в обстановке. Когда на занятиях по военному делу была военная игра, Оливер всегда оказывался освобожденным. Вообще он здорово соображает, когда ему надо. И он мой лучший друг.

Оливер был у меня шафером на свадьбе. Не в буквальном смысле, свадьба происходила в мэрии, там шаферов не бывает. У нас даже спор возник по этому поводу, совершенно дурацкий; расскажу как-нибудь в другой раз.

Был чудесный июньский день, для свадьбы в самый раз. Небо с утра голубое, слабый ветерок. И нас шестеро: мы с Джил, Оливер, мадам Уайетт, моя сестра (теперь разведенная, но тоже поменяла фамилию, на мужнюю — что я вам говорил?) и престарелая тетка, десятая вода на киселе, которую мадам Уайетт выкопала в последнюю минуту. Ее фамилии я не расслышал, но наверняка не девичья.

Регистратор, солидный мужчина, держался в меру официально. Кольцо, которое я купил, лежало, поблескивая, на фиолетовой бархатной подушечке, пока не подошло время надеть его на палец Джил. Я повторял слова брачного обета громче, чем следовало, они отдавались от светлых дубовых панелей; а Джил, наоборот, говорила почти шепотом, мы с регистратором и то едва слышали. Джил и я были счастливы. Свидетели расписались в книге записей. Регистратор вручил Джил брачное свидетельство и сказал: "Оно — ваше, миссис Хьюз, а этот молодой человек не имеет к нему никакого отношения". На фасаде мэрии были большие городские часы, под ними мы фотографировались. Первый снимок на пленке показывает 12 часов 13 минут, мы уже были женаты три минуты. А на последнем снимке — 12 часов 18 минут, мы женаты уже восемь минут. Некоторые кадры получились в несуразном ракурсе, это Оливер валял дурака. Потом мы все пошли в ресторан и ели лососину на гриле. С шампанским. Оливер произнес речь. Он сказал, что ему полагается пить за здоровье невестиной подружки, но поскольку таковой в наличии не имеется, он с полным правом провозглашает тост за Джил. Все

засмеялись и захлопали, а Оливер принялся выражаться длинными учеными словами, и как скажет какое-нибудь непонятное ученое слово, мы кричали ура. Мы сидели вроде как в такой задней комнатке, и один раз, когда он произнес особенно мудреное слово и мы особенно громко его приветствовали, к нам заглянул официант — узнать, не просим ли мы еще чего-нибудь, и тут же скрылся. Оливер закончил речь, сел, его стали одобрительно хлопать по спине, а я сказал:

— Между прочим, сейчас кто-то сунули голову в дверь.

— Чего им надо было?

— Да нет же, — повторил я. — Кто-то сунули голову в дверь.

Он спросил:

— Ты что, спьяну?

Должно быть, он уже забыл. Видите? А я помню. Я все помню.

Джилиан. Знаете что? По-моему, это никого не касается. Ей-богу. Я обыкновенное частное лицо. И сказать мне нечего. Теперь куда ни посмотри, всюду полно людей, которые жаждут рассказать вам все о себе. Развернешь газету — там надрываются: "Влезьте в мою шкуру!" Включишь телевизор — чуть не в каждой передаче кто-нибудь описывает свою жизнь, проблемы, разводы — как он или она рос или росла без отца, чем болел или болела, страдал или страдала алкоголизмом, наркоманией, подвергла или подверглась сексуальному насилию, пережил или пережила банкротство, рак, ампутацию или психотерапию. Того оскопили, у этой отняли грудь, у кого-то вырезали аппендикс. Для чего это все рассказывать? Посмотрите На Меня! Выслушайте Меня! Неужели нельзя просто жить как живется? Зачем обо всем непременно рассказывать?

Но из того, что у меня характер не исповедальный, вовсе не следует, что я беспамятная. Я помню, как мое обручальное кольцо лежало на толстой бархатной подушечке, как Оливер листал телефонную книгу в поисках смешных фамилий, помню, что я чувствовала. Но это все не для общественного пользования. Что я помню — мое дело.

Оливер. Привет, я Оливер, Оливер Рассел. Сигарету хотите? Нет, конечно, я так и думал. Не против, если я закурю? Разумеется, я знаю, что это вредно для моего здоровья, оттого и люблю. Надо же, мы только-только познакомились, и вы уже наседаете на меня, как кровожадный защитник живой природы. Вам-то какое дело? Через пятьдесят лет меня уже не будет на свете, а вы будете бегать юркой ящеркой в массажных сандалиях, сосать йогурт через соломинку и пить коричневую болотную жижу. Нет, по мне лучше уж так.

Изложить вам мою теорию? Нам всем суждено умереть либо от рака, либо от инфаркта. Люди делятся на два основных типа: на тех, что закупоривают свои эмоции, и тех, что выпускают их со свистом наружу. Или, если угодно, на интровертов и экстравертов. Интроверты, как известно, держат все в себе — всю свою злость и самоотвращение, и эти сохраняемые внутри чувства, как опять же хорошо известно, порождают в их организме рак. Экстраверты же, наоборот, в открытую злятся на весь мир, перенося на других то отвращение, что испытывают к самим себе, и такие эмоциональные перегрузки вполне логично приводят к инфарктам. Либо то, либо это, третьего не дано. Так вот, лично я — экстраверт, и пусть я казню себя курением, зато не бросаюсь на людей и остаюсь нормальным, уравновешенным человеком. Вот та-

кая у меня теория. А кроме того, у меня никотиновая зависимость, я курю с удовольствием.

Я Оливер. Я помню все, что существенно. А по поводу памяти могу сказать следующее. Заметьте, что большинство людей, которым за сорок, стонут и воют, как электропила, что у них, мол, память испортилась, стала хуже, чем была, или хуже, чем хотелось бы. А чего тут удивляться, по правде-то говоря? Зачем они держат в памяти столько ненужного хлама? Представьте себе огромный мусорный контейнер, доверху наполненный всякой дребеденью — тут и совершенно заурядные воспоминания детства, и пять миллионов спортивных результатов, и лица разных несимпатичных людей, и сюжеты телевизионных мыльных опер, и сведения, как удалять с ковра пятна от красного вина, и как зовут их парламентского депутата, и так далее, и тому подобное. Какое самоупоение! Неужели они воображают, будто для памяти ценен весь этот вздор? Представьте себе ее в виде дежурного по камере хранения на многолюдном вокзале, где вы оставили до востребования вашу жалкую поклажу. А есть ли из-за чего человека затруднять? И за такую мизерную плату! Да еще и спасиба не услышишь. Неудивительно, что там в окошке часто никого не дозовешься.

Я лично вверяю своей памяти только такие вещи, которые она будет хранить с сознанием важности возложенной на нее задачи. Например, я никогда не запоминаю телефонные номера. Свой номер еще с горем пополам помню, но если бы и пришлось поискать в телефонной книге против имени Оливера Рассела, тоже не велика беда. Некоторые люди, горькие выскочки в царстве мысли, твердят, что память-де надо упражнять, чтобы сохраняла подвижность и хорошую форму, как спортсмен. Ну, да кто не знает, чем кончают спортсмены. Гребцы с раздутыми плечами едва доживают до средних лет, футболисты мучаются скрипучим, как старая дверь, артритом. Порванные сухожилия, заживая, деревенеют, диски спекаются. Побывайте на встрече старых одноклубников, и вы увидите гериатрическую больничную палату. А ведь если бы они не перетруждали сухожилия...

Словом, я свою память стараюсь щадить и баловать и подкидываю ей, чтобы не соскучилась, только отдельные лакомые кусочки. Например, тот обед после свадьбы. Мы пили прекрасное молодое игристое шампанское, выбор Стюарта (марку, убейте, не помню; mis en bouteille par Les Vins de l'Oubly[1]) и ели saumon sauvage grillé avec son coulis de tomates maison[2]. Я бы выбрал другое, но со мной не советовались. Нет, все было хорошо, может быть, чуть-чуть не хватало фантазии... Мадам Уайетт, с которой мы сидели рядом, была, судя по всему, вполне довольна, во всяком случае лосось ей уж точно понравился. Но она старательно отодвигала розовые прозрачные кубики, окружавшие рыбу, а потом повернулась ко мне и спрашивает:

— Что бы это такое могло быть, по-вашему?

— Помидор, — удовлетворил я ее любопытство. — Со снятой кожицей, вырезанной сердцевиной, удаленными зернышками и нарезанный кубиками.

— Что за идея, Оливер, выделить и удалить все, что делает томат томатом?

1. Разлив фирмы "Вина забвения" (*франц.*).
2. Лосося на гриле с гарниром из томатов, фирменное блюдо ресторана (*франц.*).

Здорово сказано, а? Я взял ее руку и поцеловал.

В то же время, боюсь, я не смогу вам сказать, был ли Стюарт на своей свадьбе в средне-темно-сером костюме или же в темно-темно-сером.

Понимаете меня?

Помню, какое в тот день было небо: облака вились и клубились, как узор на форзаце старой книги. Довольно ветрено. Входя в мэрию, все приглаживали волосы. Потом ждали десять минут у низкого столика, на котором лежали три лондонские телефонные книги и три экземпляра "Желтых страниц". Олли развлекал компанию, выбирая в справочнике подходящих специалистов, скажем, в рубрике "Бракоразводные дела" или "Продажа резиновых изделий". Но смех не разгорался. Потом нас впустили. Встретил нас маленький и тусклый прилизанный чиновник, на плечах — россыпи перхоти, будто пыльным мешком ударенный. Представление прошло, можно считать, с успехом. На лиловом бархатном ложе поблескивало кольцо, похожее на внутриматочное противозачаточное устройство. Стюарт прокричал свой текст, будто стоял перед военно-полевым судом и недостаточно громко и внятно произнесенное слово означало несколько дополнительных лет за решеткой. А бедняжка Джил пролепетала свои ответы еле слышно. По-моему, она плакала, но присматриваться я счел вульгарным. Потом мы вышли на крыльцо, где были сделаны снимки. У Стюарта, на мой вкус, был невозможно самодовольный вид. Конечно, он мой лучший друг и праздновалась его свадьба, но его просто распирало от самодовольства, поэтому я позаимствовал фотоаппарат и объявил, что надо сделать несколько художественных снимков для свадебного альбома. Я плясал вокруг новобрачных, и снимал из положения лежа, и поворачивал объектив на 45 градусов, и подходил так близко, что все поры видны, но на самом деле цель у меня была одна: запечатлеть на пленке Стюартов двойной подбородок. А человеку всего тридцать два года. Ну, может быть, двойной подбородок — слишком сильно сказано; скажем, просто обвисшие свиные брылы. Но фотообъектив в руках артиста способен придать им выпуклость и лоск.

Стюарт... Нет, погодите. Вы ведь с ним уже говорили, верно? Говорили, говорили, я вижу. Я почувствовал по легкому сомнению во взгляде, когда упомянул о двойном подбородке. То есть вы не заметили? Ну, может быть, в полумраке, и освещение сзади... Да он еще, наверно, выдвинул нижнюю челюсть. По моему мнению, такой подщечный мешок меньше бросался бы в глаза, если бы стрижка была подлиннее, но он никогда не дает жизненного пространства своей жесткой мышиной шевелюре. И это при круглой физиономии и глазках-пуговках, добродушно выглядывающих из далеко не модных очков. Я хочу сказать, симпатяга парень, но нуждается в обработке, вы согласны?

Как вы сказали? Он был без очков? Не может быть. Я знаком с ним еще с тех времен, когда он был учителю по колено, и он всегда... ну, не знаю, разве что он тайно перешел на контактные линзы и проверял их на вас. Ну хорошо. Возможно. Все возможно. Допускаю, что он хотел придать своему лицу более агрессивное выражение, чтобы у себя в офисе в Сити, где он глазеет на нервно дрожащий экранчик и тявкает в мобильничек насчет нового транша ускоренных фьючерсов, или как это все у них называется, чтобы в этой своей норке выглядеть хоть самую малость мужественнее, чем мы наблюдаем его в реальной жизни. Но в магазинах "Оптика", особенно торгующих оправами в старинном вкусе,

он исправно поддерживает коммерцию с тех еще времен, когда мы учились в школе.

А что вы ухмыляетесь? Мы вместе учились... А-а, понимаю. Стюарт напел вам про то, что я изменил имя, верно? Это у него пунктик. Сам-то он Стюарт Хьюз, такое гладкое, скучное имя, гарантированная успешная карьера в торговле мягкой мебелью, где не требуется никакой квалификации, а только безупречные имя и фамилия, сэр, — он готов на них откликаться до гробовой доски. А Оливера когда-то звали Найджел. Mea culpa, mea maxima culpa[1]. Вернее, не моя. Вернее, спасибо, мама. Как бы то ни было, невозможно же на протяжении целой жизни оставаться Найджелом, правда? Даже на протяжении целой книги невозможно. Некоторые имена очень скоро теряют пригодность. Например, вас назвали Робин. Вполне подходящее имя лет эдак до девяти. Но потом возникает необходимость что-то с ним сделать, вы согласны? Сменить его с соблюдением всех формальностей на Самсона, или там Голиафа, или еще на что-нибудь. А бывает и наоборот. Например, Уолтер. Нельзя быть Уолтером в детской коляске. На мой взгляд, имя Уолтер вообще можно носить только после семидесяти пяти лет. Так что если вас хотят окрестить Уолтером, надо, чтобы перед ним стояло два других имени, одно на то время, пока вы в коляске, и одно на весь долгий срок, пока не доживете до Уолтера. Например, можно вас записать Робин Бартоломью Уолтер. Выглядит довольно нелепо, но может, и ничего.

Словом, я поменял Найджела на Оливера. Оливер всегда было моим вторым именем. Оливер Найджел Рассел — смотрите-ка, произношу и даже не краснею. Я уехал в университет под именем Найджел, а приехал после первого семестра Оливером. А что особенного? Все равно как уйти в армию, а на побывку домой явиться при усах. Не более чем знак инициации. Но старина Стюарт почему-то никак не может с этим смириться.

Вот Джилиан — хорошее имя. Подходит ей. И менять не надо.

И Оливер подходит мне, как вам кажется? Неплохо сочетается с моими жгуче-черными волосами, обаятельными желтыми зубами и тонкой талией, с моей неизменной заносчивостью и полотняным костюмом, на котором осталось невыводимое пятно от красного вина. Согласуется с тем, что у меня на счете не осталось ни гроша, и с тем, что я разбираюсь в живописи. И что кому-то хотелось бы съездить мне сапогом по морде. Например, тому питекантропу-управляющему, к которому я заявился в конце первого семестра. Такие типы, как он, чуть услышат, что учетная ставка в банке поднялась на десятую долю процента, и у них эрекция. Так вот, этот питекантроп, этот... Уолтер завел меня в свое похабное логово, уведомил меня, что мое желание заменить в чековой книжке "Н. О. Рассел" на "Оливер Рассел" он не рассматривает как вопрос первостепенной важности для политики банка на восьмидесятые годы, а затем напомнил, что в случае непоступления на мой счет суммы, достаточной, чтобы закрасить черную дыру овердрафта, я вообще не получу новой чековой книжки, назовись я хоть Санта-Клаусом. В ответ я с ходу перестроился, умело подпустил подхалимажа, потом покрутил у него перед носом моим прославленным обаянием, и старый Уолт охнуть не успел, как очутился у моих ног на коленях, моля о милосердии. Я, так уж и быть, позволил ему подписать разрешение на перемену имени.

1. Латинская формула покаяния: "моя вина".

Знакомые, которые звали меня Найджел, все куда-то подевались. Кроме Стюарта, конечно. Попросите Стюарта, он вам расскажет про нашу школьную жизнь. Я, разумеется, не оскорблял мою память требованием хранить весь этот банальный хлам. А Стюарт, бывало, от нечего делать принимался перечислять в алфавитном порядке: "Адамс, Айткен, Аптед, Белл, Беллами..." (фамилии я сейчас, естественно, выдумал).

— Что это? — спрашивал я. — Твоя новая мантра?

Он хлопал глазами. Наверно, думал, что мантра — это такая модель автомобиля. "Олдсмобил мантра".

— Да нет. Ты разве не помнишь? Это наш пятый "А". Старик Бифф Воукинс был у нас классным руководителем.

Но я не помню. Не желаю помнить. Воспоминание — это волевой акт. Так же, как и забвение. Мне кажется, я начисто искоренил из памяти мои первые восемнадцать лет, сделал из них безвредное пюре для детского питания. А каково было бы существовать под тяжестью всего этого? Первый велосипед, первые слезы, старый мишка с откусанным ухом. Это мало того что неэстетично, но еще и вредно. Если слишком хорошо помнить свое прошлое, начнешь еще, пожалуй, винить его за настоящее. Смотрите, что со мной делали, вот почему я такой, это не моя вина. Позвольте поправить вас: вина-то, вернее всего, как раз ваша. И увольте меня от подробностей.

Говорят, чем старее становишься, тем отчетливее вспоминаешь раннее детство. Одна из ловушек, поджидающих впереди, — старческое слабоумие. Кстати, я излагал вам мою теорию жизни? Жизнь подобна вторжению в Россию. Начало похода — блиц, блестят кивера, пляшут плюмажи, как переполошившийся курятник; лихой рывок вперед, воспетый в красноречивых донесениях, противник отступает; а затем долгий, унылый, изматывающий поход, сокращаются рационы, и в лицо летят первые снежинки. Противник сжигает Москву, и вы начинаете отход под натиском генерала Января, у которого ногти — ледяные сосульки. Горестная ретирада. Казачьи набеги. И кончается тем, что вы падаете, убитый из пушки мальчишкой канониром, при переправе через польскую речку, которой даже вообще нет на карте у вашего генерала.

Я не желаю стареть. Увольте меня от этого. Можете? Увы, даже вам это не под силу. Ну так возьмите вот сигарету. Берите, берите, закуривайте. Не хотите — не надо, воля ваша. Дело вкуса.

2. *Не одолжишь ли соверен?*

Стюарт. В каком-то смысле можно только удивляться, что "Эдвардиан" по-прежнему выходит, меня это скорее радует. Удивительно и что наша школа до сих пор существует. Когда в стране разделывались с классическими школами и вместо них устраивали единые средние, и школы второй ступени, и приготовительные колледжи, и всех смешивали со всеми, в то время как-то не нашлось с кем слить школу Святого Эдварда, и нас не тронули. Так наша школа сохранилась, и вместе с ней сохранился и журнал выпускников. Первые годы после школы он меня не особенно занимал, но теперь, когда прошло — сколько? наверно, лет пятнадцать, — нахожу много интересного среди того, что там пишут. Встретишь знакомую фамилию, и приходят разные воспоминания. Надо же, говоришь себе, вот уж никогда не думал, что Бейли будет управлять все-

ми операциями в Юго-Восточной Азии. Помню, его один раз спросили, какая главная культура экспортируется из Таиланда, а он ответил: транзисторные радиоприемники.

Оливер говорит, что он про школу ничего не помнит. Как он выражается, в этот колодец он может бросить камень и никогда не услышать всплеска. Я ему рассказываю, что интересного пишут в "Эдвардиан", но он только зевает и скучливым голосом переспрашивает: "Кто, кто?" Но я подозреваю, что он притворяется, а на самом деле ему интересно. Правда, своими воспоминаниями он не делится. Возможно, что в разговорах с посторонними людьми он делает вид, будто учился в более шикарной школе, вроде Итона или еще какой-нибудь такой. С него станется. Я лично считаю, что какой ты есть, такой есть, и нечего прикидываться другим. А Оливер меня поправляет, он говорит, что человек таков, каким хочет казаться.

Мы довольно разные, Оливер и я, как вы уже, конечно, заметили. Многие даже удивляются, что мы дружим. Вслух не говорят, но я чувствую. Мол, мне здорово повезло, что у меня такой друг. Оливер производит на людей впечатление. У него хорошо подвешен язык, он бывал в дальних странах, владеет иностранными языками, разбирается в искусстве — и не как-нибудь, а всерьез — и носит просторные костюмы, словно бы с чужого плеча, это мода такая, как утверждают знающие люди. У меня все не так. Я не всегда умею складно выразить то, что думаю, — кроме как на работе, понятное дело; я был в Европе и в Штатах, но в такие края, как Ниневия и Дальний Офир, не забирался; на искусство у меня почти совсем нет времени, хотя я, конечно, не против искусства (иной раз в машине послушаешь по радио хороший концерт; и во время отпуска, как все люди, могу прочесть книжку-другую); и я не уделяю особого внимания одежде, лишь бы прилично выглядеть на работе и удобно чувствовать себя дома. Но, по-моему, Оливеру нравится, что я такой, какой есть. Вздумай я подражать ему, все равно бы из этого ничего не вышло. Да и потом еще одна разница между нами: у меня есть кое-какие деньги, а у него вообще ничего, во всяком случае, ничего такого, что назвал бы деньгами человек, который деньгами занимается профессионально.

— Одолжи соверен, а?

Это были первые слова, которые он мне сказал. Мы с ним сидели в классе рядом. Нам было по пятнадцать. Мы уже две четверти проучились вместе, но друг с дружкой толком не общались, у каждого были свои приятели, да еще, в Сент-Эдвардсе учеников рассаживали по результатам экзаменов за прошедшую четверть, так что где уж мне было рассчитывать на место с ним рядом. Но, видно, я ту четверть закончил удачно, или он занимался спустя рукава, или и то и другое, во всяком случае, нас посадили рядом, и Найджел, как он тогда себя называл, попросил у меня соверен.

— На что тебе?

— Какая колоссальная бестактность. Тебе-то какое дело?

— Ни один благоразумный финансист не выдаст кредита, если неизвестно его назначение, — ответил я, и, на мой взгляд, вполне здраво, но Найджел почему-то рассмеялся. Бифф Воукинс за учительским столом поднял голову — был час самостоятельных занятий — и посмотрел на него вопросительно. Даже более чем вопросительно. Найджел еще сильнее расхохотался и сначала не мог выговорить ни слова в свое оправдание. А потом отвечает:

— Прошу прощения, сэр. Я очень извиняюсь. Но Виктор Гюго иногда бывает необыкновенно забавен.

И прямо зашелся от смеха. А я почувствовал себя ответственным за него.

После урока Найджел объяснил мне, что деньги ему нужны на покупку какой-то замечательной рубашки, которую он себе где-то присмотрел. Я поинтересовался ликвидным потенциалом товара на случай банкротства, что опять вызвало его смех. Но я сформулировал свои условия: пять простых процентов с капитала еженедельно и срок возврата — четыре недели, в противном случае процентная ставка удваивается. Он обозвал меня лихоимцем — я тогда впервые услышал это слово, — возвратил мне через четыре недели один фунт и двадцать шиллингов, щеголял по выходным в новой рубашке, и с этого времени мы стали друзьями. Решили дружить, и дело с концом. В пятнадцать лет не обсуждают, дружить или не дружить, а просто становятся друзьями. Необратимый процесс. Некоторые удивлялись, и помню, мы тут немного подыгрывали. Найджел делал вид, будто относится ко мне свысока, а я притворялся, будто по глупости этого не замечаю; он стал еще больше умничать, а я прикидывался еще большим тупицей. Но мы-то знали, что это игра, мы были друзья.

И остались друзьями, даже несмотря на то, что он поступил в университет, а я нет, что он ездил в Ниневию и Дальний Офир, а я нет, что я получил постоянную работу в банке, а он перескакивал с одной временной работы на другую и кончил тем, что стал преподавать английский как иностранный в одной школе, что в переулке, как свернешь за угол с Эджуэр-роуд. Эта школа называется "имени Шекспира", там над входом неоновый британский флаг, он то зажигается, то гаснет, и Оливер говорит, что пошел туда работать из-за этого флага, ему нравится, как он все время мигает; но на самом деле он просто нуждается в заработке.

А потом появилась Джилиан, и нас стало трое.

Мы с Джил условились, что никому не расскажем, как мы познакомились. Говорим, что один мой сослуживец по фамилии Дженкинс повел меня после работы в винный погребок по соседству, и там оказалась его старая приятельница, а с нею ее знакомая. Это и была Джилиан, и мы с ней сразу вроде как приглянулись друг дружке и условились встретиться снова.

— Дженкинс? — переспросил Оливер, когда я ему изложил все это и притом немного волновался, хотя мне кажется, что волновался я потому, что рассказывал про Джилиан. — Это который из Арбитража?

Оливер любит делать вид, будто он в курсе моих дел, и время от времени авторитетным тоном ввернуть специальное словечко-другое. Я теперь пропускаю их мимо ушей.

— Да нет, — отвечаю. — Он тогда был у нас новенький. А теперь уже бывший. Недолго у нас проработал. Не потянул.

И это чистая правда. Я нарочно решил сослаться на Дженкинса, потому что его уволили, теперь иди его ищи.

— Что ж. По крайней мере, он успел подкинуть тебе tranche de bonheur[1].

— Чего-чего? — спросил я, строя из себя Тупицу Стю. А он самодовольно ухмыльнулся, изображая Умника Олли.

На самом-то деле я всегда плоховато умел знакомиться. Одним людям это от природы дается легко, а другим нет. У нас была совсем не та-

1. Порцию счастья (*франц.*).

кая семья, где полно разной родни и постоянно кто-нибудь да "забежит на огонек". К нам во все время, что я жил в родительском доме, никто на огонек не забегал. Родители мои умерли, когда мне было двадцать, сестра перебралась в Ланкашир, поступила в медсестры и вышла замуж, на том и кончилась наша семья.

Я жил один в маленькой квартирке в Стоук-Ньюингтоне, ездил на работу, иногда задерживался там допоздна и понемногу тосковал. Характер у меня нельзя сказать чтобы общительный. Если я знакомлюсь с кем-то, кто мне симпатичен, то не говорю этого и не показываю и особенно не расспрашиваю, а наоборот — замыкаюсь и помалкиваю, как будто сам понравиться даже не хочу и знаю, что никакого интереса не представляю. Ну и понятно, ко мне особого интереса и не испытывают. В другой раз я помню об этом, но вместо того, чтобы учиться на ошибках, замыкаюсь еще больше. Похоже, половина человечества — люди уверенные в себе, другая половина — неуверенные, и непонятно, как перепрыгнуть из этой половины в ту. Чтобы быть уверенным в себе, надо иметь уверенность в себе, — порочный круг.

В объявлении было сказано: ВЫ — МОЛОДОЙ РАБОТНИК УМСТВЕННОГО ТРУДА? ВАМ ОТ 25 ДО 35? ВЫ СЛИШКОМ МНОГО СИЛ ВКЛАДЫВАЕТЕ В РАБОТУ, И ИЗ-ЗА ЭТОГО У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ДРУЖЕСКИМ ОБЩЕНИЕМ И ОТДЫХОМ? Хорошо составленное объявление. Не похоже на обычную тусовку, где подбирают себе пару на выходные дни. И без намека, что, мол, сам виноват, если тебе некуда податься после работы. Наоборот, как видишь, это обычная вещь, случается со всеми, даже с самыми приличными людьми, и единственно разумное, что тут можно предпринять, это просто заплатить 25 фунтов и явиться в некий лондонский отель, где тебе поднесут стаканчик хереса, а если ничего из этого не получится, ты все равно гарантированно не почувствуешь унижения.

Я думал, раздадут карточки с именами — прикалывать, как на конференциях; но они, наверно, хотели доказать нам, что уж собственное-то имя мы все-таки способны выговорить. Там имелся распорядитель, как бы за хозяина, он встречал каждого вновь прибывшего, наливал хереса и водил от группы к группе, представлял, но нас было так много, всех не упомнишь, так что волей-неволей приходилось называться самим. А может, он нарочно делал вид, что не помнит имен.

Я разговаривал с одним заикой, который учился на риэлтера, и тут распорядитель подводит к нам Джилиан. То, что мой собеседник заикался, придало мне, я думаю, храбрости. Нехорошо, конечно, но со мной это тоже много раз бывало: говоришь что-нибудь занудное, и вдруг человек, стоящий рядом, превращается в остроумца. Это я давно заметил. Элементарный закон выживания — найди кого-нибудь, кому хуже, чем тебе, и рядом с таким человеком ты расцветаешь.

Ну, может быть, "расцветаешь" — преувеличение, но я стравил Джилиан пару-тройку Оливеровых шуточек, мы потолковали про то, как стеснялись сюда прийти, тут выясняется, что она наполовину француженка, я что-то подходящее по этому поводу ввернул, риэлтер пытался рассказать нам про Германию, но мы не стали слушать, и я сам оглянуться не успел, как уже отодвинул его плечом, чтоб не лез, и говорю ей:

— Слушайте, вы только-только пришли, я понимаю, но может, нам поехать куда-нибудь поужинать? Можно и не сегодня, если у вас вечер занят, а? — Говорю вам, я сам себя не узнавал.

— А вы думаете, тут позволяется так скоро уезжать?
— Отчего же нет?
— Разве мы не должны сначала со всеми перезнакомиться?
— Это не обязательно. Никто нас не заставляет.
— Тогда ладно.

Она улыбнулась мне и потупилась, от смущения. Мне это понравилось. Мы поужинали вдвоем в итальянском ресторане. А через три недели возвратился Оливер из каких-то экзотических стран, и нас стало трое. Все лето мы повсюду бывали втроем. Как в том французском фильме, где они вместе ездят на велосипедах.

Джилиан. Я не смущалась. Я нервничала, это да. Но не смущалась. Большая разница. Смущался Стюарт. Он застенчивый, это у него на лице было написано. Он стоял со стаканом хереса в руке, на висках бисеринки пота, видно, что человек не в своей тарелке и мучительно старается преодолеть смущение. Правда, там никто не был — или не была — в своей тарелке. Я еще, помню, подумала, что мы пришли сюда с целью купить себе кого-нибудь, но не знаем, как за это взяться, в нашем обществе не учат, как покупать людей.

Стюарт для начала попробовал рассказать несколько анекдотов. Получилось не очень удачно, так как он был скован, да и анекдоты оказались плоские. Затем упомянули Францию, он сказал что-то банальное, вроде того что, мол, всегда можно узнать по запаху, что находишься во Франции, даже с завязанными глазами. Но главное — он старался, старался не только завоевать меня, но и преодолеть себя самого, и это было очень трогательно. На самом деле очень трогательно.

Интересно, что сталось с тем заикой, который хотел рассказать про Германию? Надеюсь, он нашел себе кого-нибудь.

И что сталось с Дженкинсом?

Оливер. Не говорите. Дайте мне самому догадаться. Сейчас наведу телепатию на мирную, взъерошенную и слегка стеатопигую фигуру моего друга Стю. Стеатопигую? Это такой термин, означает — с оттопыренной задницей; готтентотский derrière[1].

"Жюль и Джим". Правильно? Я попал в точку. Он одно время часто говорил про этот фильм, но только со мной. А с Джилиан никогда. Оскар Вернер, невысокий такой блондин, возможно даже — рискну сказать — стеатопигий, Жанна Моро и темноволосый, элегантный, с обаятельными зубами — как бишь его? забыл фамилию — красавчик. Словом, подбор исполнителей не вызывает вопросов. Вопрос только в том, какой там сюжет. Вроде бы все едут вместе на велосипедах, переезжают по мосткам, всячески резвятся, так? Ну вот. Но как характерно для Стюарта припомнить для сравнения именно этот фильм — неплохой, но далеко не центральный в истории послевоенного кинематографа. Стюарт, я должен вас заранее предупредить, принадлежит к тем людям, для которых моцартовский концерт К 467 — это "концерт Эльвиры Мадиган"[2]. А вершина классической музыки — это когда струнный оркестр изображает птичье пение, или бой часов, или забирающийся в гору пыхтящий паровозик. Какое милое простодушие, не правда ли?

1. Зад (*франц.*).
2. Эльвира Мадиган — некая англичанка, образом которой вдохновлена вторая часть 21-го до-мажорного концерта Моцарта для фортепиано с оркестром.

Возможно, он прослушал курс лекций по французскому кино в расчете на то, что оно ему поможет знакомиться с девушками. В этом он был не особенно силен. Иногда я ему помогал: устраивал двойные свидания, но каждый раз кончалось тем, что обе девушки дрались за вашего покорного слугу, а Стюарт куксился в углу, демонстрируя обаяние улитки. Бог ты мой, что это были за вечера! К сожалению, после них наш Стюарт проявлял склонность валить с больной головы на здоровую.

— Ты бы должен был больше мне помогать, — с чувством корил он меня.

— Я? Помогать тебе? Я нашел девушек, я познакомил с ними тебя, я организовал вечер по нарастающей, а ты сидел в сторонке и сверкал глазами, как Хаген из "Гибели богов", прошу меня простить за интеллигентное сравнение.

— Я иногда думаю, что ты берешь меня с собой, только чтобы было кому платить по счету.

— Если бы я загребал монету на бирже, — напомнил я ему, — а ты был бы моим самым близким другом и без работы, и ты привел бы двух вот таких классных девиц, я бы почел за честь заплатить по счету.

— Прости, — согласился он. — Просто, по-моему, тебе не следовало говорить им, что я чувствую себя неуверенно в женском обществе.

— Ах вот, оказывается, в чем дело! Теперь понятно. Но ведь общая сверхзадача была — чтобы все держались естественно и раскованно.

— А мне кажется, ты не хочешь, чтобы у меня была девушка, — мрачно заключил Стюарт.

Вот почему я так удивился, когда он откопал Джилиан. Кто бы мог в это поверить? И тем более кто бы мог поверить, что он подцепил ее в баре? Вообразите сцену: у стойки на табурете сидит Джилиан в атласной юбке с разрезом до бедра, Стюарт непринужденно поправляет узел галстука, прикидывая на компьютере в своих часах дальнейший рост курса иены, а бармен без слов знает, что "мистер Хьюз, сэр" желает сухой мадеры позднего сбора 1918 года, и подает ее в специальном бокале, обеспечивающем концентрацию запаха, Стюарт подсаживается на соседний табурет, испуская тонкий мускусный дух мужской сексуальности, Джилиан просит огонька прикурить сигарету, Стюарт вынимает из кармана своего мешковатого пиджака от Армани зажигалку "Данхилл" в черепаховом корпусе и...

Словом, ладно врать. Обратимся к реальности. Я имел случай выслушать его подлинный рассказ со всеми трепетными, придыхательными деталями, и, честно признаться, он производит именно такое впечатление, какого и можно было ожидать. Некий скудоумный банковский служащий, неделю спустя умудрившийся вылететь с работы (а надо быть действительно скудоумным, чтобы тебя выгнали оттуда,), однажды вечером после работы зашел со Стюартом в винный бар "Сквайрс". Я заставил Стюарта несколько раз повторить это: винный бар "Сквайрс".

— Как надо понимать? — затеял я перекрестный допрос. — Это заведение принадлежит лицу, считающему себя сквайром, или же там собираются сквайры вроде тебя, когда желают пропустить по стаканчику?

Стюарт подумал, потом сказал:

— Я тебя не понял.

— Тогда спрашиваю иначе: это множественное число или притяжательная форма?

— Не знаю.

— Но как же так? Должно же что-то подразумеваться. — Мы несколько мгновений смотрели друг другу в глаза. По-моему, Стюарт так и не уразумел, о чем я толкую. Он, кажется, заподозрил, что я просто не хочу слушать его оперу "Поль и Виржиния"[1] в современных костюмах. — Ну ладно, прости. Рассказывай дальше.

И вот, значит, сидят они, Скудоумец и Стю, в винном баре "Сквайрс", и вдруг, представьте себе, туда входит vieille flamme[2] Скудоумца, а за нею не кто-нибудь, а наша Джилиан. Дальнейший ход событий в этом любовном квартете был бы вполне предсказуем, если бы только одним из его участников не выступал Стюарт, каковой Стюарт в подобных ситуациях ведет себя как батон хлеба, еще не вынутый из обертки. Каким образом ему удалось на этот раз вырваться на свободу из сумрачной темницы незаметности? Я задал ему этот трудный вопрос, разумеется, в более тактичной форме, и бесценный его ответ храню в памяти до сих пор:

— Мы вроде как разговорились. И вроде как нашли общий язык.

Узнаю Стюарта. Кто это сказал? Тристан? Дон Жуан? Казанова? Или очень нехороший маркиз? Нет, это слова моего друга и приятеля Стюарта Хьюза. "Мы вроде как разговорились. И вроде как нашли общий язык".

Вы, кажется, опять смотрите на меня с осуждением? Можете ничего не говорить. Я знаю. Вы находите меня высокомерной дрянью, верно? Но вы неправы. Вы не уловили интонацию. Я это рассказываю в таком тоне, потому что Стюарт — мой друг. Мой лучший друг. И я его люблю, вот такого. Мы дружим давным-давно, с незапамятных лет, когда еще продавались пластинки моно; когда еще не был выведен фрукт киви; когда представитель Автомобильной ассоциации в полувоенной форме еще приветствовал на шоссе проезжих автомобилистов; когда за полтора медных гроша можно было купить пачку "Голд флейк" и еще оставалось на кувшинчик медового напитка. Вот какие мы с ним старинные друзья, со Стюартом. И кстати, не советую вам его недооценивать. Может, он не такой уж прыткий, может, турбина у него на верхнем этаже раскручивается не так быстро, как в моторе гоночного автомобиля. Но в конце концов он все соображает, все, что требуется. И бывает, что раньше меня.

"Не мог бы я занять у тебя один фунт?" Мы сидели с ним на соседних скамейках в этой нашей школе, не помню, как ее называли (Стюарт помнит, спросите его). Я полагал, что элементарная вежливость требует завязать добрососедские отношения с этим мальчиком, который до сих пор не блистал способностями, а теперь вот как-то сумел временно подняться к вершинам. И можете себе представить? Вместо того чтобы немедленно раболепно раскошелиться, как поступил бы на его месте всякий уважающий себя плебей, за право подышать одним воздухом с высшими, он принялся выдвигать и обговаривать условия. Проценты, начисления, дивиденды, законы рынка, коэффициенты оборачиваемости и так далее и тому подобное. Чуть ли не убедил меня присоединиться к Общеевропейской Монетарной Системе, когда все, что мне было надо, это стрельнуть у него золотой. А потом еще поинтересовался, для чего мне эти деньги! Как будто это его касается. Как будто я сам знал. Я ушам своим не поверил и рассмеялся, так что старый геккон, который руководил классом, неодобрительно расфуфырил горжетку и посмотрел на меня с

1. Опера французского композитора Виктора Массэ.
2. Старинная пассия (*франц.*).

осуждением. Я как-то отбрехался, успокоил его и продолжил переговоры с моим округлым и финансово цепким новым приятелем. Спустя несколько месяцев я ему долг вернул, хотя и пренебрег его дурацкими условиями, предостережениями и процентами, поскольку, честно говоря, ничего в них не понял, и с той поры мы с ним — закадычные друзья-приятели.

У него была подружка. Я имею в виду, до Джилиан. Еще в те времена, когда за полтора медных гроша и т. д. И можете себе представить? — я знаю, он не против, чтобы это стало известно, — он с ней не спал! Вы поняли? Ничего такого. Отказывался "вступать во владение ее узкими чреслами"[1]. А когда после нескольких месяцев такого стахановского целомудрия отчаявшаяся девица позволила себе сунуться к нему с лаской, он ей сказал, что, видите ли, хочет сначала узнать ее получше. Она же тебе это как раз и предлагала, dummkopf[2], сказал я ему. Но Стюарт и слушать не стал. Нет, он не из таких.

Конечно, не исключено, что он мне наврал, но на это потребовалось бы более богатое воображение. Кроме того, у меня есть и подтверждающие данные. Знатоки из военного ведомства выявили определенное соотношение между аппетитом и сексом. (Не верите? Тогда позвольте привести следующее неопровержимое доказательство. Один из самых главных человеческих феромонов, иначе говоря, сексуальных возбудителей, изобутиральдегид, в ряду углеродов стоит непосредственно после запаха... молодой фасоли! Вот так-то, amigo.) Стюарт, как вы вскоре убедитесь, если еще не убедились, полагает, что основной raison d'être[3] пищи состоит в том, чтобы скрывать от людских глаз уродливые узоры на дне тарелки. В то время как, скажем не хвастая, с молодым Олли мало кто сравнится в скорости очистки тарелок.

Ergo[4], в смежной области человеческого поведения у меня тоже не бывало особых затруднений. Воздержание никогда не было моим девизом. Не исключаю, что моя репутация ходока по бабам помешала своевременному сексуальному развитию Стюарта. Тем более работа в английской школе имени Шекспира открывает тут богатые возможности. Взять хотя бы дополнительные занятия после уроков один на один и лицом к лицу. Стюарт, конечно, неоднократно звонил ко мне в будуар по телефону и убедился, что автоответчик у меня отзывается на пятнадцати иностранных языках. Но теперь у него по этой части все в порядке, у него же есть Джилиан.

Честно сказать, у меня как раз не было постоянной подруги, когда он вплыл белым лебедем в винный бар "Сквайрс" и выплыл оттуда об руку с Джилиан. У меня было дурное настроение, а в дурном настроении я всегда бываю насмешлив, так что я мог отпустить в разговоре пару-тройку злых и несправедливых шуток. Но за него я радовался. Как же иначе? Когда они впервые посетили вдвоем мое жилище, он вел себя ну совершенно как шаловливый щенок, вилял хвостом, играл добытой косточкой, так и хотелось почесать его за ушком.

Я позаботился о том, чтобы моя квартира все-таки имела не такой уж пугающий вид. Набросил на тахту коричневое африканское покрывало, поставил на проигрыватель третий акт "Орфея", зажег индийскую ароматическую палочку. И тем ограничился. Эффект: bienvenue chez Ollie[5], так

1. Фраза из роман И. Во "Возвращение в Брайдсхед".
2. Дурак (*нем.*).
3. Смысл существования (*франц.*).
4. Следовательно (*лат.*).
5. Добро пожаловать к Олли (*франц.*).

мне казалось. Конечно, можно было пойти дальше — приколоть к стене афишу боя быков, чтобы Стюарт чувствовал себя как дома, — но по-моему, не стоит совсем уж затушевывать свою индивидуальность, а то гости не будут знать, с кем разговаривают. Услышав звонок в дверь, я закурил "Голуаз" и пошел навстречу своей погибели. Или Стюартовой погибели, видно будет.

По крайней мере, Джил не спросила, почему у меня задернуты шторы в дневное время. Объяснения, которые я каждый раз даю по этому поводу, становятся все более вычурными, на что только не ссылаюсь, начиная от редкой глазной болезни и кончая данью уважения к раннему Одену. Впрочем, Стюарт, наверно, ее предупредил.

— Здравствуй, — сказала она. — Стюарт много о тебе рассказывал.

Я изящно поклонился, точно Наталья Макарова в "Ромео и Джульетте", — чтобы разрядить обстановку.

— Боже мой! — воскликнул я и бросился на марокканское покрывало. — Неужели он проболтался про мое боевое ранение? Ай-яй-яй, Стюарт! Я, конечно, понимаю, что не всякий является потомком албанского царя Зога, но зачем было так уж прямо все выбалтывать?

Стюарт тронул ее за локоть — до сих пор я не замечал за ним таких мягких жестов — и тихо сказал:

— Я же предупреждал, что нельзя верить ни одному его слову.

Она кивнула, и я вдруг почувствовал, что меня превосходят числом. Это было странно. Всего только двое против одного, обычно мне требуется гораздо больше народу, чтобы почувствовать численное превосходство противника.

Сейчас я попытаюсь припомнить, как она тогда выглядела. Я не удосужился заложить в бюро забытых вещей своей памяти точный рисунок ее лица и манер, но думаю, что она была в рубашке цвета не то шалфея, не то приворотного зелья навыпуск и серых "вареных" джинсах, а на ногах зеленые носки и крайне неэстетичные кроссовки. Каштановые волосы, зачесанные назад и заколотые над ушами, свободно ниспадали сзади; отсутствие косметики придавало лицу бледность, на фоне которой по-особенному звучали широко распахнутые карие глаза; маленький рот и бодро вздернутый нос, расположенные довольно низко в удлиненном овале лица, подчеркивали надменную выпуклость высокого лба. Уши, я обратил внимание, почти без мочек — генетическая черта, получающая сейчас все большее распространение, разве что Дарвин мог бы объяснить почему.

Да, вот такой, мне кажется, я ее увидел.

Признаюсь, я не из тех гостеприимцев, которые считают, что переходить в разговоре на личности можно только после долгих обходных маневров. В отличие от чибиса я не увожу собеседника от гнезда, заводя речи на такие животрепещущие темы, как политические события в Восточной Европе, очередной африканский переворот, шансы на выживание китов или зловещая область низкого атмосферного давления, надвигающаяся на нас со стороны Гренландии. Налив Джилиан и ее кавалеру по кружке китайского чая "Формоза Улонг", я без дальних слов стал задавать ей вопросы: сколько ей лет, чем она занимается и живы ли еще ее родители.

Она отнеслась к этому вполне благодушно, хотя Стюарт задергался, как носовая перегородка кролика. Выяснилось, что ей двадцать восемь; что родители (мать — француженка, отец — англичанин) несколько лет

как разошлись, отец дал деру с какой-то крошкой; и что она — в прислугах у изящных искусств, обновляет потускневшие краски минувшего. Как вы сказали? Да нет, просто реставрирует живопись.

Перед их уходом я не утерпел, отвел Джилиан в сторону и сделал ей бесценное замечание, что джинсы-варенки с кроссовками — это катастрофа, просто удивительно, что она среди бела дня прошла по улицам до моего дома и не была пригвождена к позорному столбу.

— А скажи-ка, — проговорила она в ответ, — ты не...

— Что не?

— Ты не красишься?

3. В *то лето я блистал*

Стюарт. Только, пожалуйста, не судите Оливера так строго. Его иногда заносит, но по существу он человек добрый и сердечный. Многие его не любят, некоторые даже терпеть не могут, но вы узнайте его с лучшей стороны. Девушки у него нет, денег, можно сказать, ни гроша, да еще работа, от которой с души воротит. Почти весь его сарказм — это просто бравада, и если я мирюсь с его насмешками, неужели вы не можете? Постарайтесь отнестись к нему снисходительнее. Ну я прошу. Я счастлив. Не расстраивайте меня.

Когда нам было по шестнадцать, мы с ним отправились автостопом в Шотландию. На ночь останавливались в молодежных общежитиях. Я готов был голосовать любой проезжающей машине, но Оливер выставлял большой палец, только если машина отвечала его тонкому вкусу, а на те, что ему не нравились, смотрел волком. Так что нам с автостопом не особенно везло. Но все-таки до Шотландии мы в конце концов добрались. Там почти все время лил дождь. Когда нас в дневное время выставляли из общежития, мы разгуливали по улицам или отсиживались под крышей на автобусных станциях. У нас обоих были ветровки с капюшонами, но Оливер свой на голову не натягивал, говорил, что не хочет быть похожим на монаха и тем поддерживать христианство. Поэтому он промокал сильнее, чем я.

Раз мы целый день просидели в телефонной будке, — это было где-то в окрестностях Питлохри, мне помнится, — играли в морской бой. Это такая игра, когда чертят сетку на клетчатой бумаге и у каждого игрока есть один линкор (четыре клеточки), два крейсера (по три клеточки), три эсминца (по две клеточки) и так далее. И надо потопить весь флот противника. Одному из нас приходилось сидеть на полу будки, другой стоял, облокотясь на полку для телефонной книги. Я просидел на полу до полудня, а после полудня была моя очередь стоять у полки. Днем мы поели размокших овсяных лепешек, купленных в деревенском магазине. Целый день мы играли в морской бой, и ни одной живой душе не понадобилось позвонить по телефону. Кто выиграл, не помню. А к вечеру распогодилось, и мы пешком вернулись в общежитие. Я стянул с головы капюшон, у меня волосы оказались сухие, а у Оливера — хоть выжимай. Выглянуло солнце. Оливер держал меня под руку. Он поклонился женщине, вышедшей покопаться в палисадничке, и сказал: “Взгляните, мадам, вот идет сухой монах и мокрый грешник”. Она удивилась, а мы пошли дальше, под руку и шаг в шаг.

Спустя две-три недели после нашего знакомства я привел Джилиан в гости к Оливеру. Сначала мне пришлось ее немного подготовить, потому что мало знать меня, чтобы составить представление о моем лучшем друге, Оливер может произвести на постороннего человека неблагоприятное впечатление. Я объяснил, что у Оливера есть некоторые странные вкусы и привычки, но если не обращать на них внимания, то легко доберешься до настоящего Оливера. Предупредил, что окна у него могут оказаться зашторены и в квартире будет пахнуть ароматическими палочками. Но если она постарается держаться так, как будто не находит в этом ничего необыкновенного, все пройдет хорошо. Она так и держалась, как будто не видит ничего такого, и мне показалось, что Оливеру это скорее не понравилось. По совести говоря, Оливер ведь любит ошарашить человека. Ему приятно на свои выкрутасы получать отклик.

— Он вовсе оказался не такой чудак, как ты описывал, приятель твой, — сказала Джилиан, когда мы вышли.

— Ну и хорошо.

Я не стал ей объяснять, что Оливер, вопреки обыкновению, вел себя удивительным паинькой.

— Он мне понравился. Смешной. И собой довольно недурен. Он что, красится?

— Никогда не замечал.

— Просто освещение, наверно, такое.

Позже, вечером, когда мы сидели за ужином на свежем воздухе, я, приняв вторую кружку горького — уж не знаю, что на меня нашло, — расхрабрился и сам задал вопрос:

— А ты красишься?

Мы разговаривали совсем о другом, и я брякнул это просто так, ни с того ни с сего, но у меня было такое чувство, как будто на самом деле мы говорим об Оливере, и меня обрадовало, что она тоже ответила так, как будто мы не переставали говорить об Оливере, хотя в промежутке перебрано было много разных других тем.

— Нет. Разве ты не видишь?

— Я в этих делах плохо разбираюсь.

Перед ней на тарелке лежал недоеденный цыпленок и стоял недопитый стакан белого вина. А посредине стола горела толстая красная свеча, пламя ее потрескивало в лужице растопленного воска, рядом со свечой — пластмассовая голубая фиалка. При свете этой свечи я впервые по-настоящему вгляделся в ее лицо. Она... Ну, вы ведь ее видели. Заметили у нее на левой щеке пятнышко веснушек? Заметили? Ну все равно. В тот вечер волосы у нее были зачесаны от ушей вверх и заколоты двумя черепаховыми заколками, глаза казались темными-темными, и я просто не мог отвести взгляд. Смотрю, смотрю в лучах тающей свечи и не могу наглядеться.

— И я тоже, — наконец проговорил я.

— Чего — тоже? — На этот раз она не подхватила прерванную нить разговора.

— Тоже не крашусь.

— Ну и хорошо. А на твой взгляд, ничего, что я ношу варенки и кроссовки?

— По мне, можешь носить все, что тебе вздумается.

— Неосмотрительное высказывание.

— У меня неосмотрительное настроение.

Позже я довез ее до дома, где она снимала квартиру на пару с подругой, и стоял, облокотясь о ржавую чугунную загородку, пока она искала в сумочке ключ. Она позволила мне поцеловать себя. Я поцеловал ее очень бережно, отстранился, посмотрел на нее и опять очень бережно поцеловал.

Она сказала шепотом:

— Если не красишься, можно не опасаться, что останется след.

Я ее обнял. Обхватил руками и слегка прижал. Но целовать еще раз не стал, потому что боялся расплакаться. Я ее обнял и сразу подтолкнул в дверь, потому что чувствовал, что еще немного, — и я вправду расплачусь. Я остался стоять на крыльце один, крепко зажмурясь, и медленно, глубоко дышал.

Мы рассказали друг другу про наши семьи. Мой отец умер от инфаркта несколько лет назад. Мать вроде бы держалась молодцом, даже как будто вполне бодро. А потом у нее оказался рак, тотальный.

А у Джилиан мать была француженка, то есть не была, а есть. Отец — преподаватель. Он отправился на год в Лион на стажировку и привез оттуда мадам Уайетт. Когда Джилиан исполнилось тринадцать лет, ее отец сбежал с бывшей ученицей, только год как закончившей школу. Ему было сорок два, а ей семнадцать, и ходили слухи, что у них завязался роман, еще когда он был у нее учителем, то есть когда ей было пятнадцать, и что будто бы она забеременела. Мог бы произойти страшный скандал, если бы нашлось кому его устраивать. Но они просто снялись с места и исчезли. Мадам Уайетт было, конечно, несладко. Словно муж умер и одновременно сбежал с другой.

— А как это подействовало на тебя?

Джилиан посмотрела так, словно я задал глупый вопрос.

— Было больно. Но мы выжили.

— Тринадцать лет. Ранимый возраст, мне кажется.

— И два года — ранимый, и пять лет. И десять. И пятнадцать.

— Просто я читал, что...

— В сорок, наверно, было бы не так болезненно, — продолжала она твердым, звенящим голосом, какого я у нее раньше не слышал. — Если бы он подождал удирать, пока мне исполнится сорок, было бы, наверно, лучше. Надо бы установить такое правило.

А я подумал: не хочу, чтобы что-то такое случилось с тобой еще когда-нибудь. Мы держались за руки и молчали. Из четырех родителей у нас на двоих остался один. Двое умерли, один в бегах.

— Хорошо бы жизнь была похожа на банк, — сказал я. — Там тоже, конечно, не все ясно устроено. Кое-где такие хитрости понакручены. Но можно все-таки в конце концов разобраться, если постараешься как следует. Или, если сам не разобрался, есть кто-то, кто разберется, пусть хотя бы задним числом, когда уже поздно. А в жизни, мне кажется, беда та, что даже когда уже поздно, ты все равно, бывает, так ничего и не уразумел. — Я заметил, что она смотрит на меня как-то пристально. — Извини за мрачность.

— Мрачность тебе дозволяется. При условии, что большую часть времени ты веселый.

— Слушаюсь.

Нам действительно было весело в то лето. И присутствие Оливера еще добавляло веселья, это точно. Школа английского языка имени Шекспира на два месяца отключила свою неоновую вывеску, и Оливеру

было некуда податься. Он старался не показывать вида, но я-то знал. Мы повсюду бывали вместе. Заходили выпить в кабаки, бросали монеты в игровые автоматы, танцевали в дискотеках, смотрели какие-то фильмы, дурачились, если взбредало в голову. У нас с Джилиан начиналась любовь, казалось бы, нам лучше оставаться наедине, смотреть в глаза друг другу, держаться за руки, спать вместе. Все это с нами, конечно, происходило, но, кроме того, мы много времени проводили с Оливером. И не думайте, пожалуйста, ничего такого — нам не нужен был свидетель, чтобы завидовал нашей любви, просто нам с ним было легко.

Раз мы поехали на побережье. На пляже к северу от Фринтона наелись мороженого с карамелью, взяли напрокат шезлонги, и Оливер распорядился, чтобы каждый крупными буквами написал на песке свое имя и фамилию и встал у своей надписи, и так мы сфотографировали друг друга. А потом смотрели, как прилив смывает наши подписи, и огорчались — конечно, валяли дурака, убивались и причитали, но только потому, что в глубине души нам и вправду было грустно видеть, как тают на песке наши имена. Вот тогда Джилиан и сказала, что Оливер разговаривает точно словарь, а он устроил целое представление, и мы покатывались со смеху.

Оливер тоже был не такой, как всегда. Обычно, когда мы оказывались в обществе девушек, он обязательно боролся за первенство, даже, может быть, сам того не желая. Но сейчас ему не за что было состязаться, он ничего не мог ни выиграть, ни проиграть, и от этого все становилось проще. Мы все трое чувствовали, что переживаем особенное время, первое и последнее в жизни лето рождения нашей с Джилиан любви, не просто лето любви, а именно ее рождения. То лето было единственное в своем роде, и мы все это ощущали.

Джилиан. После университета я пошла на курсы подготовки социальных работников. Меня не очень надолго хватило. Но я запомнила, что сказала преподавательница на одном занятии. Вы должны раз и навсегда усвоить, говорила она, жизнь каждого человека уникальна и в то же время вполне заурядна.

Беда в том, что, когда говоришь о себе, как вот Стюарт говорит, те, кто слушают, склонны делать неверные выводы. Например, когда слышат, что мой отец сбежал с ученицей, обязательно смотрят на меня со значением, подразумевая одно из двух или сразу и то и другое. Во-первых, если твой папаша сбежал с девчонкой только чуть постарше тебя, небось на самом-то деле он хотел бы сбежать с тобой, а? А во-вторых, общеизвестно, что девушки, которых бросил отец, часто возмещают эту утрату тем, что заводят романы с мужчинами старшего возраста. Как у тебя с этим?

А я бы ответила, что, во-первых, свидетель по этому делу в суд не доставлен и не допрошен; а во-вторых, то, что "общеизвестно", совсем не обязательно верно в отношении меня лично. Жизнь каждого человека заурядна и в то же время уникальна, можно ведь и так перевернуть.

Не знаю, почему Стюарт и Оливер на это согласились. Опять, наверно, у них игра какая-то. Вроде того как Стюарт притворяется, будто слыхом не слыхивал о Пикассо, а Оливер притворяется, будто ничего не смыслит в механизмах, изобретенных позже прялки "Дженни". Мне, например, не надо никаких таких игр, никакого притворства. Нет уж, спасибо. Игры — это для детей, а я, как мне иногда кажется, лишилась детства в слишком раннем возрасте.

Единственное могу сказать, что я не совсем согласна с тем, как Стюарт описывает то лето с Оливером. Да, мы действительно много времени проводили вдвоем, с глазу на глаз, начали спать вместе и все такое, но у нас хватало ума понимать, что даже когда рождается любовь, нельзя жить только друг другом. Хотя, на мой взгляд, отсюда вовсе не следовало, что мы обязаны всюду бывать в обществе Оливера. Конечно, я к нему хорошо относилась — невозможно знать Оливера и не любить его, — но уж очень он хотел всегда играть первую скрипку. Чуть ли не диктовал нам, как мы должны себя вести. Не подумайте, что я жалуюсь. Просто вношу некоторые уточнения.

Вот почему не стоит устраивать такие обсуждения. Тому, кого обсуждают, всегда кажется что-нибудь да не так.

Я познакомилась со Стюартом. Влюбилась. Вышла замуж. О чем тут рассуждать?

Оливер. В то лето я блистал. Почему мы все время говорим "то лето"? Ведь прошел всего год. Оно было подобно беспрерывно тянущейся чистой ноте, одной прозрачной, верно найденной краске. Таким оно осталось в памяти, и так мы все трое его воспринимали тогда, сами того не сознавая, il me semble[1]. И все лето я блистал.

К тому времени, когда школа имени Шекспира замкнула на летние каникулы свои ворота, дела у меня приняли довольно тусклый оборот. Причиной послужило некое недоразумение, по поводу которого я не счел нужным объясняться с самодовольным Хозяином и его Миледи; им все равно, я считал, не понять. Я столкнулся с одной чертой, одной глубоко скрытой слабостью моих иностранных студентов: они, оказывается, неважно владеют английским языком. Это и послужило причиной возникшего недоразумения. Ну, то есть девица приветливо улыбается, горячо кивает, и безмозглый болван Олли, бедняга, принимает эти внешние поведенческие особенности за проявление ответной приязни. И это (вполне естественно, на мой взгляд) привело к ошибке, прискорбной, разумеется, но злосчастного преподавателя никак нельзя за нее винить. А что я якобы ее не пускал, когда она вздумала покинуть мое жилище, и остался глух к ее слезным мольбам — как мог я, страстный поклонник оперного жанра, не отреагировать на потоки пролитых слез? — то это смехотворное преувеличение. Принципал, бездушный кусок лавы из давно остывшего вулкана, потребовал, чтобы я прекратил практику консультаций на дому, и, с сальной ухмылкой подвесив в воздухе темное выражение "сексуальное домогательство", дал мне понять, что за время летних каникул, возможно, вообще пересмотрит условия и сроки своего со мной рабочего соглашения. Я ему ответил, что по мне так его условия и сроки он может использовать ректально и желательно без анестезии, а уж тут он и вовсе осатанел и выразил готовность передать вопрос на высокоавторитетное рассмотрение Суда Ее Величества при содействии квартального по фамилии Плод или по крайней мере в какую-то там комиссию, уполномоченную совать нос в разногласия между хозяином и работником. Я ответил, что, разумеется, это его неотъемлемое право, но потом задумался и припомнил, о чем меня спрашивала Роза на прошлой неделе. Считается ли это в порядке вещей, согласно английскому обычаю, чтобы пожилой джентльмен, проверяющий ваши отметки за семестр, приглашая вас

1. Мне кажется (*франц.*).

сесть, похлопал ладонью по дивану, а когда вы сели, не убрал руку? Я уведомил принципала, какой ответ я дал Розе: я объяснил ей, что это вопрос не столько английских обычаев, сколько простой физиологии — дряхлость и старческое бессилие подчас приводят к иссушению бицепса и трицепса, в результате чего разрывается передающая цепь между командным пунктом в мозгу и манящим средним пальцем руки. И лишь позже, рассказывал я трепещущему принципалу, я спохватился, что за прошедшие двенадцать месяцев с аналогичным вопросом ко мне обращались и некоторые другие ученицы. Которые именно, я сейчас не припомню, но если всех этих учащихся девиц собрать в непринужденной обстановке, скажем, выстроить шеренгой в полицейском участке, — наверняка можно будет потом использовать это дело как материал для урока в курсе "Британия 80-х годов". Физиономия принципала уже горела ярче неоновой вывески над порталом его академии, и мы взирали один на другого, выпучив глаза совсем не по-братски. Я понимал, что, по-видимому, потерял работу, но совершенно уверен в этом не был. Мой слон запер его ферзя; его слон запер моего ферзя. Что это будет: вооруженный мир или полное взаимоуничтожение?

Все выше рассказанное надлежит принять во внимание при оценке моего блеска в то лето. Как я уже сказал, я не беспокоил Стю и Джил своей карьерной заминкой. Вопреки пословице, опыт подсказывает мне, что беда, если ею поделиться с другом, не уполовинится, а наоборот — только распространится по всему свету мощными передатчиками сплетен. Эй, вы там, кто хочет нахаркать с высокой колокольни на страдальца Олли?

Теперь, оглядываясь, я думаю, что, может быть, от моего уныния было даже лучше. Они предоставили мне место в первом ряду среди зрителей на вершине их счастья, это не позволяло моему дурному настроению вырваться наружу. И можно ли лучше отблагодарить их за это, чем показать им, что семечко их радости проросло и дало всход, пустило корень и расцвело во мне? Выплясывая вокруг них, я не подпускал к ним садовых вредителей. Я их опрыскивал от тли, присыпал порошком против гусениц, поливал раствором от слизняков.

А играть роль Купидона, да будет вам известно, это не то что просто порхать туда-сюда над Аркадией и ощущать щекотку в промежности, когда влюбленные наконец поцелуются. Тут приходится иметь дело с расписаниями поездов и схемами уличного движения, с киноафишами и ресторанными меню, с деньгами и планами на завтра. Надо быть одновременно и бодрячком-заводилой, и гибким психологом. Тут требуется двойное умение отсутствовать присутствуя и быть на месте отсутствуя. Не говорите мне, что толстощекий прислужник любви даром получает свои песеты.

Я сейчас познакомлю вас с одной моей теорией. Вы знаете, что папаша Джилиан улизнул из семьи с некой нереидой, когда его дочь была всего десяти, или двенадцати, или пятнадцати, или скольких там лет от роду, — словом, в возрасте, который ошибочно именуется "впечатлительным", как будто ко всем другим возрастам это определение не относится. А я во фрейдистских притонах слышал, что психологическая травма, нанесенная подобным родительским предательством, часто побуждает дочь по достижении зрелости искать заместителя для сбежавшего архетипа. Иначе говоря, они выбирают в любовники мужчин старшего возраста, что, вообще-то говоря, всегда казалось мне в некотором роде патологией. Начать с того, приглядывались ли вы когда-нибудь к

старым мужчинам, пользующимся успехом у молодых женщин? Как они вышагивают, вздергивая зад, загорелые до боже мой, запонки играют всеми цветами радуги, от пиджака благоухает химчисткой. Пальцами щелк, будто мир — официант и всегда к их услугам. Нагло требуют, им ведь полагается... Омерзительно. Прошу прощения, это у меня пунктик. Представлю себе старческие руки в печеночных пятнах, облапившие молодую, сочную грудь, и pronto![1] скорее тянет блевать. И еще другое лежит за пределами моего понимания: почему, если тебя бросил отец, надо спать с его заместителем, дарить la fleur de l'âge[2] выстроившимся в очередь рукощупам? Э, нет, толкуют учебники, тут ты упускаешь существо дела: молодая женщина ищет защиты и опоры, которых ее так грубо лишили; ей нужен отец, который ее не бросит. Ну допустим; но я утверждаю другое: если тебя укусил бродячий пес и рана нагноилась, разве разумно и дальше водить компанию с бродячими псами? По-моему, нет. Заведи кошку, купи австралийского попугайчика; но не связывайся больше с бродячими псами. А что делает она? Продолжает водиться с бездомными собаками. Тут, приходится признать, мы имеем дело с темными закоулками женской души, в которых неплохо бы навести ясность чистящим порошком Разума. Кроме того, это омерзительно.

Но какое отношение, быть может, спросите вы, имеет эта моя теория к обсуждаемому вопросу? Согласен, мой стеатопигий приятель — не ровесник вышеупомянутого среброкудрого Дон Жуана, что уехал на закат с очаровательной толстушкой старшего школьного возраста, притороченной на крыше автомобиля, то есть папаши Джилиан. Однако, присмотревшись, нетрудно заметить, что Стюарт, возможно, в данное время и не старец, однако мало чем от такового отличается. Судите сами. Он является обладателем двух средне-темно-серых костюмов и двух темно-темно-серых костюмов. Он служит в банке, где исправно выполняет что уж там от него требуется, и начальственные личности, которые носят кальсоны в полоску, уж конечно не оставят его своими заботами, покуда он не покинет пост по старости. Он делает взносы в пенсионный фонд, он застраховал свою жизнь. У него свой наполовину выкупленный дом плюс еще дополнительная ссуда. У него умеренные аппетиты и, прошу прощения за подробности, несколько пониженная сексуальность. И если что и мешает ему быть на ура принятым в тайный орден "тех, кому за пятьдесят", то лишь одно мало существенное обстоятельство: что на самом деле ему только тридцать два. Джилиан это чувствует и понимает, что именно это ей и нужно. Брак со Стюартом отнюдь не сулит ей богемных фейерверков. Джилиан просто-напросто взяла себе в мужья самого молодого из пожилых мужчин, какого ей удалось подыскать.

Но правильно ли было бы с моей стороны производить среди них разъяснительную работу на данную тему, пока они украдкой обжимались на пляже, предполагая, что я ничего не замечаю? Друзья существуют не для этого. К тому же я был рад за Стюарта, ему ведь, несмотря на гладкий и округлый derrière, нечасто приходилось кататься на нем как сыр в масле. Он держался за ручку Джилиан с таким торжествующим видом, можно было подумать, что все предыдущие девицы требовали, чтобы он надевал кухонные рукавицы. Рядом с нею он до некоторой степени освобождался от своей природной неуклюжести. Даже танцевать стал лучше. Обычно

1. Скорее (*итал.*).
2. Цвет юности (*франц.*).

он выше корявой припрыжки подняться не мог, но в то лето выплясывал довольно лихо. Я же в тех случаях, когда имя Джилиан украшало мою бальную программку, всячески себя осаживал, чтобы не дать повода для огорчительного сравнения. Быть может, даже выказывал на паркете несвойственную мне беспомощность? Не исключаю. Как на чей взгляд.

Вот так мы жили в то лето. Печалям места не было. Во Фринтоне мы добрых два часа кряду провозились у игрального автомата, опускали монетки, дергали ручку, и хоть бы раз фрукты в окошечках совпали. Огорчались мы из-за этого? Мне запомнился, однако, один пронзительно печальный миг. Мы сидели на пляже, и кто-то из нас, возможно даже я как неизменный затейник, предложил, чтобы каждый написал крупными буквами на песке свое имя и чтобы один кто-нибудь вылез на дорожку над пляжем и фотографировал подпись вместе с подписавшимся. Занятие, которое было старо еще во времена Беовульфа, я знаю, но новых забав не насочиняешься. Когда подошла моя очередь позировать, Джилиан поднялась на дорожку к Стюарту, может быть, хотела ему показать, как управляться с автонастройкой, не знаю. Дело было к вечеру, с Северного моря дул самодовольный восточный ветер, низкое солнце уже не припекало, купающиеся почти все разошлись. Я стоял один на всем пляже возле выписанного витиеватым курсивом слова "Оливер" (они-то, конечно, писали печатными буквами), задрал голову, посмотрел на них, Стюарт скомандовал: "Cheese!", Джилиан крикнула: "Горгонзола!", Стю крикнул: "Камамбер!", Джилиан: "Дольчелатте!", и я вдруг ни с того ни с сего разрыдался. Смотрю на них снизу и плачу навзрыд. А тут еще к моим слезам подмешался блеск заходящего солнца, я совсем ослеп, вижу только цветную промывку в глазах. Мне казалось, я так буду плакать всю жизнь. Стю крикнул: "Уэнслидейл!", а я завыл в голос, как шакал, как жалкий бездомный пес. Сел на песок, стер пяткой последнюю букву в "Оливере" и сижу. Наконец они спустились и спасли меня.

А потом я снова развеселился, и они развеселились. Люди, когда влюбляются, приобретают такую способность мгновенно переходить от слез к смеху, вы не замечали? И не в том только дело, что им ничто не может причинить вреда (о, это старинное приятное заблуждение!), но ничто не может причинить вреда и тем, кто им дорог. Frère[1] Олли? Разрыдался на пляже? Расплакался, когда его фотографировали? Да нет, пустяки, отзовите людей в белых халатах, уберите "скорую помощь", обитую изнутри войлоком, у нас свое средство первой медицинской помощи. Называется — любовь. Бывает в разной упаковке и в любой форме: и бинт, и лейкопластырь, и вата, и марля, и мазь. И даже обезболивающий спрей. Давайте испробуем на Олли. Видите, он стоял и упал и башку себе сломал? Побрызгаем пш-ш-ш, вж-ж-ж, ну вот, так-то лучше, дружище Олли, вставай.

Я встал. Поднялся на ноги и снова развеселился. Веселенький Оллинька, мы его подлатали, вот что может сделать любовь. Еще разок вспрыснем, Олли? Напоследок, для поднятия тонуса?

В тот вечер они отвезли меня домой в принадлежавшем Джилиан невыносимо затрапезном авто. Вот уж точно не "лагонда". Я вылез из машины, и они вылезли тоже. Я чмокнул Джилиан в щечку и взъерошил бобрик Стюарта, а он заботливо мне улыбнулся. Затем я легко, как Нуреев, вспорхнул по ступеням крыльца и ускользнул в дверь, одним манове-

1. Брат (*франц.*).

нием руки отперев оба замка. А у себя бросился на свою все понимающую кровать и залился слезами.

4. Теперь

Стюарт. Сейчас — теперь. Сейчас — сегодня. Мы уже месяц женаты. Я люблю Джилиан. Я счастлив, да, счастлив. Наконец для меня все устроилось хорошо. Сейчас — теперь.

Джилиан. Я вышла замуж. Отчасти я не верила, что это когда-нибудь будет, отчасти этого не одобряла, а отчасти, сказать по правде, побаивалась. Но я полюбила. Стюарт хороший, добрый, и он меня любит. Теперь я замужем.

Оливер. О, черт. Черт, черт, черт, ЧЕРТ. Я влюбился в Джили, мне только теперь стало это ясно. Я люблю Джили. Я удивлен, потрясен, обескуражен, ошарашен. А также перепуган до сотрясения мозжечка. Что теперь будет?

5. Все начинается здесь

Стюарт. Все начинается здесь. Я не перестаю это себе твердить. Все начинается отсюда.

В школе я числился в середнячках. О том, чтобы мне после школы пойти в университет, разговору не было. Я кончил заочные курсы по экономике и коммерческому праву и был принят в банк на общую стажировку. Сейчас работаю в отделе валютообменных операций. Что это за банк, лучше говорить не буду, а то, может быть, начальство это не одобрит. Но банк известный. Мне дали ясно понять, что птицей высокого полета я не стану, но каждое учреждение нуждается в сотрудниках, которые особенно высоко не метят, ну и меня это вполне устраивает. Родители мои были из тех, которые, что ни делай, всегда немного разочарованы, словно ты в чем-то их отчасти подвел. Из-за этого, я думаю, сестра моя переехала жить на Север. Но, с другой стороны, их тоже можно понять. Я нельзя сказать чтобы оправдал их ожидания. Я и сам был собой не особенно доволен. Я уже объяснял, что чувствую себя скованно с теми, кто мне нравится, не умею расположить к себе, показать себя с выгодной стороны. Собственно говоря, у меня всю жизнь было так. Я никогда не мог добиться, чтобы меня ценили по заслугам. Но появилась Джилиан, и все начинается отсюда.

Оливер, наверно, вам намекнул, что я, когда женился, был девственником, и, конечно, эту свою гипотезу про меня изложил в самых замысловатых выражениях. Ну так вот. Это неправда. Я Оливеру рассказываю не все. Вы бы ему тоже все не стали рассказывать. Он, когда в хорошем настроении, может ненароком выболтать любой секрет, а в мрачном иной раз бывает совершенно безжалостен. Так что во все обстоятельства своей жизни его посвящать не стоит. Изредка мы ездили с ним на свидания двое на двое, но из таких парных свиданий никогда ничего хорошего не получалось. Начать с того, что девиц всегда приводил Оливер, а деньги платил я, хотя, естественно, я должен был загодя сунуть ему его

половину, чтобы они не знали, кто расплачивается на самом деле. Раз как-то он даже распорядился, чтобы я отдал ему всю наличность, хотел создать впечатление, что это он один платит за всех. Мы шли в ресторан, и Оливер начинал командовать.

— Нет, это блюдо ни в коем случае заказывать нельзя. У тебя же на закуску грибы со сметаной, — бывало, скажет. Или: — Фенхель и перно. Или еще что-то с еще чем-нибудь. Вам не кажется вообще, что мир стал чересчур интересоваться едой? Она ведь скоро выходит вон с другого конца. Ее не сбережешь, не накопишь. Не то что деньги.

— Но я люблю грибы со сметаной.

— Тогда заказывай их на второе, а на закуску — баклажаны.

— А я не люблю баклажаны.

— Слыхал, Стю? Ей мерзок баклажан блестящий. Ну ничего, попробуем сегодня переманить ее в нашу веру.

И все в таком духе. Потом переговоры с официантом насчет вина. На этой стадии я обычно не выдерживал и выходил в туалет. Оливер начинает с того, что обращается к сидящим за столом:

— Не рискнуть ли нам ce soir[1] на австралийское шардоне?

И, получив от нас принципиальное согласие, принимается вынимать душу из бедного официанта:

— Как, на ваш взгляд, выставочный запас? Достаточный возраст разлива? Я люблю шардоне жирное, маслянистое, но не чересчур, если вы меня понимаете. А как насчет дубового привкуса? Я лично нахожу, что в колониях перебарщивают с дубовым привкусом, вы не согласны?

Официант обычно поддакивает, угадав в Оливере клиента, который, несмотря на всю эту словесность, на самом деле в его советах не нуждается, надо просто понемногу выбирать леску, как при ловле рыбы. В конце концов заказ на вино сделан. Но это еще не конец моих терзаний. Необходимо еще, чтобы Оливер одобрил вино, которое сам же выбрал. Было время, он сначала отхлебывал, полоскал рот, закатывал глаза и на несколько секунд погружался в медитацию. Но потом прочитал где-то, что пробуют вино перед тем как разливать, не для того чтобы проверить, нравится ли оно вам на вкус, а чтобы убедиться, что оно не отдает пробкой. Если вам не нравится вкус вина — ваша проблема, вы ведь его сами выбрали. Человек понимающий только плеснет чуть-чуть в бокал, поболтает, принюхается и уже знает, не испорчено ли заказанное им вино. Оливер принял это к сведению и теперь ограничивался тем, что несколько раз звучно втянет носом воздух, потом кивнет, и все дела. Но иногда, если ему казалось, что кто-то из девиц недопонял смысл его священнодействия, он все же пускался в многословные объяснения.

Должен признаться, что вино, которое заказывал Оливер, все-таки обычно оказывалось большой дрянью. Возможно даже, что оно и вправду отдавало пробкой.

Теперь-то какая разница? И какая разница, был ли я девственником, когда познакомился с Джилиан? Не был, как я уже сказал, хотя не обманываю себя, в этой сфере, куда я не допускал Оливера, у меня были далеко не одни только триумфы. Всяко бывало, я бы сказал. Иной раз вроде славно, иной раз не без напряга, а бывало и так, что в самый ответственный момент приходилось напоминать самому себе, что не следует отвле-

1. Сегодня (*франц.*).

каться. Словом, средне. Но потом появилась Джилиан, и все начинается отсюда. Вот теперь.

Люблю это слово: теперь. Сейчас — теперь. Больше уже не "тогда". "Тогда" ушло. Не важно, что я не оправдал ожидания родителей. И свои собственные ожидания. Не важно, что я не умел располагать к себе людей. Это все было тогда, а тогда уже ушло. Сейчас — теперь.

Я не говорю, что вдруг преобразился. Я не лягушка, которую поцеловала принцесса, или как это там в сказке. Я не сделался в одночасье невероятным остряком и красавцем — вы бы заметили, правда? — или выдающейся личностью в окружении многолюдной семьи, которая примет Джилиан в свой круг. (Интересно, существуют ли на самом деле такие семьи? По телевидению постоянно показывают богатые дома, а в них полно чудаковатых старых тетушек, и милых ребятишек, и разных занятных взрослых мужчин и женщин, они переживают подъемы и спады, но всегда сплоченно выступают на защиту "интересов семьи", что бы под этим ни подразумевалось. На мой взгляд, в жизни все не так. Кого ни возьми из моих знакомых, у всех родительские семьи небольшие и неполные, причина — иногда смерть, иногда развод, а чаще просто несогласие и скука. И ни у кого из тех, кого я знаю, нет чувства "семьи". Есть мама, которую любят, и папаша, которого терпеть не могут, или наоборот, а чудаковатые старые тетки, с которыми я знаком, чудаковаты по большей части тем, что втайне пьют, воняют, как немытые собаки, или страдают, как выясняется, болезнью Альцгеймера или чем-то еще в этом роде.) Нет, со мной произошло другое: я остался каким был, да только теперь это вовсе не плохо — быть таким, какой я есть. Принцесса поцеловала лягушонка, но он не обернулся прекрасным принцем, а остался самим собой, и это вовсе не плохо, потому что принцессе этот лягушонок нравится. Может быть, если бы я обернулся прекрасным принцем, Джилиан мне, то есть ему, указала бы на дверь. Такая она, Джилиан, не любит принцев.

Честно признаться, я немного трусил, когда шел знакомиться с ее матерью. С утра надраил ботинки до фантастического блеска. К теще (я уже так о ней думал), да еще к теще-француженке, брошенной мужем-англичанином, дочь приводит англичанина, за которого собирается замуж. Помнится, я представлял себе, что она окажет мне совершенно ледяной прием и будет сидеть на золотом пуфике спиной к зеркалу в золоченой раме или же, наоборот, окажется краснолицей и тучной, повернется мне навстречу от плиты, держа в руке деревянную ложку, и наградит смачным поцелуем с запахом чеснока и бульона. Второй вариант мне был, в общем и целом, предпочтительнее, но, само собой, вышло не так и не этак. А вы говорите: семья. Миссис, вернее, мадам Уайетт была в лаковых туфлях и в хорошем коричневом костюме с золотой брошью. Держалась любезно, но не более сердечно, чем того требовала вежливость; покосилась на джинсы Джилиан, однако от замечаний воздержалась. Мы пили чай и в застольной беседе говорили обо всем, кроме двух обстоятельств, представлявших интерес для меня, а именно: что я люблю ее дочь и что ее муж сбежал от нее со школьницей. Мадам Уайетт не спросила меня, ни какие у меня перспективы на службе, ни сколько я зарабатываю, ни спим ли мы уже с ее дочерью, а я как раз этих вопросов от нее ждал. Она производила — производит — впечатление, что называется, интересной женщины, хотя в этом выражении мне слышится что-то неуместно снисходительное. (Что оно значит? Что она для ее возраста на удивление привлекательна — если прилично оценивать с этой точки зрения женщи-

ну в ее годах? Хотя кому-то она может еще понравиться, мало ли, возможно, даже нравится сейчас, чего я ей искренне желаю.) Иначе говоря, у нее правильные черты лица и модно подстриженные, судя по всему подкрашенные, изящно уложенные волосы, а держится она так, как будто было время, когда на нее все оборачивались, и она хочет, чтобы вы имели это в виду и сейчас. Я разглядывал ее, пока мы сидели за чайным столом. Не только из вежливого внимания, но и чтобы представить себе, какой будет в старости Джилиан. Говорят, это решающий момент — первое знакомство с матерью вашей жены. Вы либо броситесь удирать со всех ног, либо с облегчением откинетесь на спинку стула: ну, если она будет такой, меня это более чем устраивает. (И будущая теща, должно быть, угадывает мысли жениха. Если нужно, она даже может нарочно принять безобразный вид, чтобы отпугнуть его.) Но я, глядя на мадам Уайетт, не испытал ни того, ни другого. Я смотрел на твердый подбородок, на выпуклый лоб, на очерк рта матери и видел за ним рот дочери, который я целовал и не мог нацеловаться. Но, замечая сходство (тот же лоб, так же посажены глаза), понимая, что на посторонний взгляд они вправду похожи на мать и дочь, я все равно не верил, не представлял себе, что Джилиан превратится в мадам Уайетт. Не могло этого быть по той простой причине, что Джилиан вообще никогда не превратится ни в кого другого. Конечно, она будет меняться, я не настолько глуп и не так влюблен, чтобы не понимать этого. Она изменится, но останется собой, сделается иной версией самой себя. И я буду свидетелем этого.

— Ну как? — спросил я, когда мы ехала в машине назад. — Я выдержал экзамен?

— Тебя никто и не экзаменовал.

— Нет? — Я был даже отчасти разочарован.

— Она действует по-другому.

— Как же?

Джилиан переключила скорость, поджала губы, такие похожие и при этом совсем непохожие на материнские, и ответила:

— Ждет.

Сначала мне это совсем не понравилось. Но потом я подумал: а что? И я тоже могу подождать. Подождать, пока мадам Уайетт разглядит меня получше и поймет, что нашла во мне Джилиан. Я могу подождать ее одобрения. Подождать, пока она поймет, отчего Джилиан со мной счастлива.

— Ты счастлива? — спросил я.

— Угу. — Не отрывая глаз от уличного движения, она сняла на минутку руку с рычага скоростей, погладила меня по колену, а потом переключила скорость. — Счастлива.

И знаете что? У нас будут дети. Нет, я не имею в виду, что она беременна, хотя я бы лично не против. Это я на дальнюю перспективу. Честно сказать, мы еще этот вопрос не обсуждали; но я пару раз видел ее с детьми — она, похоже, прямо от природы умеет с ними ладить. Настраиваться на одну с ними волну. Ее нисколько не удивляет, как они себя ведут, как на все реагируют. Для нее это совершенно нормальные вещи. Я вообще к детям отношусь неплохо, но пока еще толком в них не разобрался. Они для меня загадка. Почему они придают такое огромное значение каким-то пустякам, а то, что гораздо важнее, им безразлично? Налетит такой с разгона на угол телевизора, думаешь: ну все, череп проломил, а он отскакивает мячиком, и как ни в чем не бывало. Зато через

минуту может легонько шлепнуться на попку, где у него проложено, наверно, штук пятнадцать памперсов, и давай реветь в три ручья. В чем тут дело? Почему так несоразмерно?

Но все равно, я хочу, чтобы у нас с Джилиан были дети. Это же естественно. И она, конечно, тоже захочет, когда придет время. Женщины знают, когда подходит время, верно ведь? Я уже дал им обещание, детишкам, которые у нас родятся. Я не буду как мои родители. Я постараюсь вас понять и принять такими, какие вы есть. И поддерживать вас, какое бы дело вы себе ни выбрали.

Джилиан. Все-таки одна вещь в связи со Стюартом меня беспокоит. Иногда я сижу работаю у себя в студии — это только одно название что студия, а на самом деле комнатка двенадцать футов на двенадцать, но все равно — по радио играет музыка, и я отключаюсь, вроде как работаю на автопилоте. И вдруг меня пронзает мысль: только бы он во мне не разочаровался. Странная, наверно, мысль, когда ты всего месяц как замужем, но факт. Так я чувствую.

Я обычно никому не рассказываю, но раньше я ходила на курсы социальных работников. На эту тему люди тоже склонны рассуждать примитивно, вслух или хотя бы про себя. Разумеется, я пыталась делать для моих подопечных то, чего не смогла сделать для родителей, — помочь наладить их жизнь, их взаимоотношения. Это совершенно ясно всем, правда? Всем, кроме меня.

А даже если и пыталась, все равно ничего не выходило. Я проработала полтора года, а потом сдалась и ушла. За это время я повидала немало людей, жизнь которых не удалась. Большей частью это пострадавшие, перенесшие крах — эмоциональный, финансовый, социальный, — иногда сами виноваты, но чаще семья, родители, мужья; так они всю жизнь и живут с этим.

Но были и другие, разочарованные, павшие духом. Эти еще хуже, еще безнадежнее. Начинали жизнь с самыми радужными ожиданиями, а потом доверялись какому-нибудь психопату, фантазеру, связывали свою судьбу с пьяницей, который вдобавок их избивал. И год за годом не отступались, продолжали верить вопреки очевидности, стоять на своем, когда это уже безумие. А потом вдруг, в один прекрасный день, — сдавались. Что может сделать для таких людей Джилиан Уайетт, социальный работник двадцати двух лет? Уверяю вас, профессиональные навыки и жизнерадостные улыбки тут бессильны.

Люди, сломленные духом. Видеть это было выше моих сил. Вот откуда позже, когда я стала любить Стюарта, пришла ко мне эта мысль: только бы он во мне не разочаровался. Раньше у меня ни с кем не возникало такого опасения. Я не беспокоилась, что будет потом, как все сложится в будущем, что обо мне подумают, оглядываясь назад.

Послушайте, я не хочу играть в эту... игру. Но и сидеть в углу, заткнув себе рот носовым платком, тоже бессмысленно. Уж лучше я расскажу, что знаю и как понимаю.

До знакомства со Стюартом у меня были романы. Был эпизод, когда я почти влюбилась, раза два мне делали предложение; с другой стороны, как-то у меня никого и ничего не было целый год — неохота было связываться. Некоторые мои мужчины мне в отцы годились, как говорится, но были и молодые. Ну и что же из этого следует? Люди услышат что-то краем уха и сразу принимаются строить теории. Получается, будто я вы-

шла за Стюарта, так как считаю, что он меня не подведет, как подвел отец? Ничего подобного. Я вышла за него, потому что я его полюбила. Потому что я его люблю, уважаю и мне с ним хорошо. Сначала он мне не особенно нравился, так себе. И это еще тоже ничего не значит. Сразу определить, по сердцу тебе человек или нет, нелегко.

Мы сидели в той гостинице и держали в руках бокалы с хересом. Что там было, скотоводческая ярмарка? Нет, разумные, рассудительные люди предпринимали серьезный шаг в своей жизни. И оказалось, что для нас этот шаг оправдался, нам повезло. Но это было не только везение. Сидеть в углу и дуться на белый свет — плохой способ заводить новые знакомства.

Я считаю, в жизни надо выяснить, к чему у тебя способности, а что тебе не по зубам, решить, чего хочешь, и стремиться к этому, но только потом не раскаиваться. Господи, ну прямо проповедь получилась. Словами все не выразить, правда?

Может быть, поэтому я люблю свою работу. В ней не приходится пользоваться словами. Я сижу в своей комнатке под крышей, орудую тампонами и растворителями, кистями и красками. Только я и картина, и можно еще включить музыку по радио. Даже телефона нет. Я не особенно люблю, чтобы Стюарт сюда поднимался. Разрушаются чары.

Бывает, картина, над которой работаешь, тебе отвечает. Тогда прямо дух захватывает: смываешь верхний слой краски и видишь, что под ним что-то есть. Бывает, хотя и редко. Но от этого только еще интереснее. Например, в XIX веке в огромных количествах писали обнаженную женскую грудь. И вот чистишь портрет предположительно знатной итальянки, и постепенно проявляется сосущий младенец. У тебя на глазах знатная дама превратилась в Мадонну. Словно ты первая за много лет, кому она доверила свою тайну.

Месяц назад я работала над лесной сценой и обнаружила кем-то записанного вепря. Картина сразу переменилась. Была мирная кавалькада, спокойно едущая по зеленому лесу, почти увеселительная прогулка, но когда показался зверь, стало ясно, что это изначально была сцена охоты. Добрых сто лет дикий вепрь прятался от глаз позади пышного и вообще-то не слишком убедительно написанного куста. И вот теперь, у меня в студии, все без дальних слов стало опять таким, каким было задумано. Стоило всего только снять верхний красочный слой.

Оливер. О черт.

Всему виной ее лицо. Она стояла у выхода из мэрии, а позади нее муниципальные куранты отсчитывали первые ослепительные мгновения супружеского счастья. На ней был льняной костюм цвета шпината со сметаной, юбка чуть выше колена. Всем известно, что лен легко мнется и сразу теряет вид, как робкая любовь; но Джилиан выглядела совершенно как новенькая. Волосы она зачесала с одной стороны назад и стояла с улыбкой на губах, адресованной вообще, всему человечеству. Она вовсе не держалась за стеатопигого Стю, хотя руку ему под локоть просунула, это правда. Она лучилась, светилась, она была вся здесь и одновременно где-то в дразнящей дали, спрятавшись вглубь себя в этот публичный миг. Только я один это заметил, остальные сочли, что она просто счастлива. Но я-то видел. Я подошел к ней, чмокнул в щеку и пробормотал поздравления в ее единственное открытое ухо без мочки. Она ответила, но словно бы не мне, а в пустоту, и тогда я помахал рукой у ее лица, как стрелоч-

ник, дающий отмашку несущемуся экспрессу, она на минуту очнулась, засмеялась и возвратилась в тайный мир своего замужества.

— Ты — загляденье, — сказал я, но она не отозвалась. Не знаю, может быть, ответь она мне, и все сложилось бы иначе. Но она промолчала, и поэтому я продолжал на нее смотреть. Она была вся нежно-зеленая с каштановым, а под горлом — искристый изумруд; я шарил взглядом по ее лицу, от крутой выпуклости лба до ложбинки на чуть раздвоенном подбородке; щеки ее, так часто бледные, были как бы припудрены румяным золотом зари, хотя была ли то пудра внешняя, хранящаяся в сумочке, или же глубинная, наложенная упоением, я не мог или не хотел угадать; ртом владела непроходящая полуулыбка; глаза были ее лучезарным приданым. Я обшарил взглядом все ее лицо, все до малейшей черточки, понятно?

Мне было невыносимо, что вот она, здесь и в то же время не здесь; как я для нее присутствую и одновременно не присутствую. Помните рассуждения философов, что мы существуем лишь постольку, поскольку кто-то или что-то помимо нас самих воспринимает нас существующими? Перед мерцающим взором новобрачной, то видящим, то невидящим, старина Олли обмирал от экзистенциальной угрозы своему существованию. Сейчас она моргнет, и меня не станет. Поэтому-то, наверно, я и заделался напоследок изобретательным фоторепортером, схватил аппарат и стал жизнерадостно скакать и суетиться в поисках подходящего ракурса, чтобы наглядно выставить эмбриональный второй подбородок Стюарта в наиболее комичном виде. Перенос объекта. Полное отчаяние, как вы сами видите, ужас перед забвением. Никто, разумеется, не догадался.

Я сам и виноват, и не виноват. Понимаете, я хотел, чтобы они венчались в церкви и чтобы я был шафером. Они тогда не поняли, и мне тоже было непонятно. Мы все люди нецерковные, и среди родственников не имелось фундаменталистов, чье религиозное чувство следовало уважить. Отсутствие при бракосочетании фигуры в белом облачении не привело бы к смертной казни через лишение наследства. Но Олли, похоже, обладал провидческим даром. Я заявил, что хочу быть шафером и чтобы они венчались в церкви. Я спорил, настаивал. Даже скандалил. Произносил разоблачительные гамлетовские монологи. Естественно, я был пьян, если уж хотите знать.

— Послушай, Оливер, — наконец сказал мне Стюарт. — Ты что-то перепутал. Это наша свадьба, и мы уже пригласили тебя в свидетели.

Но я ссылался на действенную силу древнего обряда, напоминал им старинные венчальные песнопения, золотую невнятицу священных текстов.

— Право же, — убеждал я, — призовите священника!

Наконец мордашка Стюарта окаменела, насколько при такой пухлости это физически возможно.

— Оливер, — произнес он, вопреки торжественности момента уморительно перейдя на купеческий жаргон, — мы позвали тебя быть свидетелем, и это наше последнее слово.

— Вы еще пожалеете! — кричу я, точно центральноевропейский индустриальный магнат, которому связала руки Антимонопольная комиссия. — Вы еще об этом пожалеете!

А под провидческим даром я имел в виду следующее. При церковном венчании она явилась бы в белом платье с кружевами и рюшами, со шлейфом и под длинной вуалью. Я посмотрел бы на нее на паперти и

увидел обыкновенную, сошедшую с конвейера штампованную невесту. И тогда, может быть, ничего бы этого не случилось.

Но на самом деле причиной было ее лицо. Тогда я этого не понимал. Думал, я просто немного перевозбудился, как и все. Но я пропал, затонул. Произошла немыслимая перемена. Я пал, как Люцифер. Рухнул (это для тебя, Стю), как фондовая биржа в 1929 году. Я пропал еще в том смысле, что преобразился, переродился. Знаете рассказ про человека, который проснулся утром, и оказывается, он превратился в жука? А я был жуком, который проснулся и обнаружил, что может стать человеком.

Органы восприятия этого тогда не уловили. Сидя со всеми за свадебным столом, я еще пошло верил, что сор, шуршащий у меня под ногами, — это всего лишь фольга с шампанских бутылок. (Я вынужден был взять лично на себя откупоривание бутылок простенькой марки, которых Стюарт заказал целый ящик. В наши дни никто не умеет открывать шампанское, даже официанты. В первую голову официанты. Главное, не устаю объяснять я, это не выстрелить пробкой в потолок и позволить извергнуться из горлышка жизнерадостному языку пены; нет, цель в том, чтобы извлечь пробку беззвучно, будто монахиня пукнула. Держите пробку и поворачивайте бутылку, вот и весь секрет. Сколько раз я должен повторять? Никаких театральных взмахов белоснежной салфеткой, не надо давить на пробку обоими большими пальцами, не надо целить в люстру, надо просто держать пробку и поворачивать бутылку.) Но нет, в тот день у меня вокруг лодыжек шуршали, точно перекати-поле, не смятые обрывки бутылочных оберток, а сошедшая кожа моего прежнего существа, мой сброшенный хитиновый покров, мое бурое жучье одеяние.

Первой моей реакцией на то непонятное, что со мной произошло, была паника. И она еще усилилась, когда я сообразил, что не знаю, куда они отправляются проводить свой lune de miel. (Кстати, до чего нелепо, что в разных языках используется одно и то же выражение: "медовый месяц". Казалось бы, кому-то одному надо было пошарить вокруг и подыскать что-нибудь новенькое, а не довольствоваться чужими словесными обносками. Хотя, наверно, в этом все дело: слова те же самые, потому что тот же самый обычай. Английский медовый месяц, кстати сказать, если вы не сечете в этимологии, только недавно приобрел значение свадебного путешествия с непременными покупками беспошлинных товаров и многократным цветным фотографированием одних и тех же сцен. Доктор Джонсон в своем местами забавном Словаре вовсе не стремился, однако, потешить читателя, когда давал слову HONEYMOON такое определение: "Первый месяц после свадьбы, свободный от всего, кроме нежностей и удовольствий". Вольтер, персонаж гораздо более человечный, порой выставлявший, как рассказывают, гостям vin ordinaire[1], в то время как сам попивал превосходное бургундское, заметил в одной из своих философских повестей, что вслед за медовым месяцем наступает месяц полынный.)

Понимаете, я вдруг почувствовал, что это выше моих сил — не знать, где они будут находиться предстоящие три с половиной недели (хотя задним числом я сомневаюсь, чтобы меня так уж волновало местонахождение жениха). И потому, когда в конце обеда Стюарт, покачиваясь, воздвигся над столом и уведомил присутствующих — откуда берется в такие минуты исповедальная потребность? — что намерен удалиться и "от-

1. Дешевое вино (*франц.*).

лить" (и что за выражения там у них в банке? у которого из заведующих позаимствовал этот оборот мой приятель?), я тоже соскользнул со стула, ни слова не сказав, расшвырял ногами обрывки прежней жизни, прикинувшиеся фольгой от шампанского, и последовал за ним в мужской туалет.

И вот мы с ним стоим бок о бок над фарфоровыми чашами и оба упорно смотрим прямо перед собой, не опуская головы перед мексиканским расстрельным взводом, как полагается гордым бриттам, и ни на миг не покосясь на хозяйство соседа. Стоим, два соперника, еще не ведая о своем соперничестве, держимся каждый за свой membrum virile[1] — может, дать жениху пару наставлений, как им действовать? — и поливаем почти чистым, неразбавленным шампанским, хоть снова заливай в бутылку, сиреневые кубики освежителя воздуха. (Что изменилось бы в моей жизни, если бы я стал богат? Мысли мои вращаются вокруг двух роскошеств: иметь кого-нибудь, кто бы каждое утро мыл мне голову, и мочиться на крошеный лед.)

Мы изливали столько жидкости, сколько и выпить-то не могли. Стюарт смущенно кашлянул, словно говоря: "Не знаю, как ты, а я не дошел даже до половины". Мне показалось, что это удобный момент для вопроса о запланированном месте предстоящих брачных игр, но ответом мне послужила лишь ухмылка искоса да звук льющейся струи.

— Нет, правда, — попробовал я настоять, омывая кончики пальцев, пока Стюарт без нужды скреб себе череп грязным пластиковым гребешком, — куда вы едете? Мало ли, вдруг понадобится связаться.

— Государственная тайна. Даже Джили пока не знает. Я только сказал, чтобы захватила легкие платья.

Он продолжал ухмыляться, можно было понять, что от меня требуется участие в детской "угадайке". Я перечислил несколько названий в его вкусе: Флорида, Бали, Крит, Западная Турция, — и всякий раз он с самодовольным видом отрицательно качал головой. Я перебрал все Диснейленды мира и самые знаменитые заасфальтированные острова пряностей, снисходительно упомянул Марбелью, одобрительно назвал Занзибар, попытал удачи с Санторином — опять промах.

— Слушай, ведь может что-то случиться... — убеждал я его.

— Запечатанный конверт с адресом оставлен у мадам Уайетт, — таинственно отвечал он, прижав палец к ноздре, как заправский заграничный резидент.

— Ну что за мещанство! — негодовал я. Но он остался тверд.

К столу я вернулся мрачный и лишь по прошествии нескольких минут заставил себя снова приступить к обязанностям развлекателя свадебных гостей.

Через день после их отъезда я позвонил мадам Уайетт, и что бы вы думали? Старая vache[2] отказалась дать адрес! Утверждала, что якобы не вскрывала конверт. Я объяснил, что скучаю, что хочу позвонить им. И это была правда, я соскучился. Но даже если бы я заплакал в телефонную трубку, мадам Дракон это бы не разжалобило.

К тому времени, когда они возвратились (да, это был Крит, я тогда угадал, но он и виду не показал, двуличный негодяй), я уже понял, что влюбился. Я получил от них открытку из Ираклиона, вычислил день,

1. Член (*лат.*).
2. Корова (*франц.*).

когда они должны прилететь, обзвонил все авиалинии и приехал в Гатвик встречать. Когда на табло против их рейса, брякнув, появилась надпись: БАГАЖ В ЗАЛЕ ПРИЛЕТА, у меня в желудке разом ударили в колокола все звонари, и этот лязг удалось заглушить только двумя рюмками крепкого в буфете. Я встал у ограждения, вокруг меня дышала в предвкушении пестрая толпа встречающих.

Я увидел их раньше, чем они заметили меня. Стюарт, конечно, умудрился выбрать тележку с заедающим колесом. Он вырвался из-под нежного таможенного догляда и двинулся через вестибюль, выписывая уморительные загогулины под хвалебный смех идущей рядом Джилиан и вторящий ей визг злосчастного колесика. Я напялил на голову позаимствованную шоферскую фуражку, поднял на палке дощечку с кое-как намалеванной надписью: "м-р и м-с Стюарт Хьюз", набрал полную грудь воздуха и приготовился к сумятице, в которую теперь превратится моя жизнь. Глядя на Джилиан, пока она еще не увидела меня, я сказал себе шепотом: "Все начинается здесь".

6. *Избави нас от Альцгеймера*

Стюарт. Знаете, это в самом деле довольно ужасно. Мне все время жалко Оливера. Я не говорю, что мне не за что его жалеть, причин у меня теперь предостаточно, — но мне от этого очень не по себе. Мне бы следовало испытывать к нему другие чувства. А я жалею. Вы, наверно, видели такие часы с кукушкой, у которых механизм устроен так, что, когда кукушка прокукует время, открывается дверца и выходят человечки, предсказывающие погоду: если веселый и нарядный, значит, будет хорошая погода, если мрачный, в плаще и под зонтом, — плохая. Но выйти может только один из двоих, и не просто потому, что двойной погоды, одновременно и плохой и хорошей, не бывает; дело в том, что два человечка соединены между собой железкой, и если появляется один, второму, на другом конце, приходится отсиживаться внутри. Так было и у нас с Оливером. Мне всегда доставалось сидеть в темноте, под зонтом и в плаще. Но теперь наступила моя очередь выйти на солнце, а Оливеру, похоже, какое-то время придется поскучать.

Тогда, в аэропорту, вид у него был жуткий, и, по-моему, наше появление ему веселья не прибавило. Мы провели на Крите три сказочные недели — чудесная погода, отличная гостиница, купались, привыкали друг к дружке, — так что, хотя рейс и задержался, в Гатвик мы прилетели в замечательном настроении. Пока я ждал на кругу, Джили сходила за тележкой, а тут и чемоданы приехали. Я их установил, но оказалось, что одно колесико у тележки не крутится. Из-за этого она вихлялась и верещала, точно старалась привлечь внимание таможенников, мол, ребята, хорошенько перетряхните багаж этого парня. Так, по крайней мере, мне казалось, когда мы проходили зеленым коридором. Мы тогда уже вместе везли эту дурацкую тележку, одной Джилиан не под силу было сладить с ее вихлянием.

Ничего удивительного, что мы не узнали Оливера сразу в зале прилета. О своем приезде мы никому не сообщали, и нам вообще, честно сказать, ни до кого не было дела, кроме друг друга, и когда из толпы шоферов, встречающих разные рейсы, выступил один и сунул нам под нос какой-то плакат, я его не глядя слегка оттолкнул. От него сильно разило вином, я

еще подумал, что фирма, которая посылает пьяных водителей набирать клиентов, долго не просуществует. А оказалось, это Оливер. На голове — шоферская фуражка, в руках — плакат с нашими именами. Я притворился, будто рад ему, но на самом деле сразу подумал о том, что мы с Джил не будем ехать одни в поезде до Виктории. К нам присоединился Оливер. Недобрая мысль, верно? Поняли теперь, что я говорил насчет жалости?

Выглядел он ужасно. Похудел, лицо бледное, осунувшееся, волосы, всегда так аккуратно причесанные, всклокочены. Стоит, ждет. А потом, когда мы его узнали, бросился нас обоих обнимать и целовать. Совсем на него не похоже. Вид не столько приветственный, сколько жалкий. И вином от него действительно пахло. По какому поводу? Он объяснил, что наш самолет задерживался и ему пришлось отсиживаться в буфете, а потом еще приплел какую-то даму, "возжелавшую напоить возницу Фаэтона", как он выразился, но как-то неубедительно это прозвучало, ни Джил, ни я не поверили ни единому слову. И еще одна странность: он даже не справился, как мы провели медовый месяц. Спохватился уже потом, много позже. А сначала пустился разглагольствовать про то, как мать Джилиан ни за что не соглашалась сообщить ему, где мы находимся. Я даже подумал, что, может быть, не стоит пускать его за баранку в таком состоянии.

Позднее я выяснил, в чем дело. Оказывается, Оливер потерял работу, можете себе представить? Допрыгался до того, что его выгнали из английской школы имени Шекспира. Ну это уж надо было уметь. Не знаю, что Оливер рассказывал вам про школу имени Шекспира, но поверьте мне, это сомнительное учреждение. Задумаешься, как они ухитрились раздобыть лицензию, и оторопь берет. Был я там один раз. Хорошее старинное — викторианское, что ли — здание в бывшем чистом квартале, у входа пузатые колонны, ограда на тротуаре, вниз, в подвал, ведут ступени. Но теперь весь этот район пришел в запустение. Телефонные будки все исписаны телефонными номерами проституток, улицы не подметаются, наверно, с 1968 года, на чердаках до сих пор гнездятся последыши хиппи, крутят свою полоумную музыку. Словом, ясно, что за район. Да еще директор школы похож на серийного убийцу. И из такого учебного заведения Оливер умудрился вылететь.

Он не хотел об этом говорить, буркнул только, что ушел по собственному желанию из-за принципиального несогласия с расписанием на будущий год. Едва только он это сказал, как я сразу ему не поверил. Не потому, что этого не могло быть, — наоборот, на Оливера это вполне похоже — просто уже перестал верить почти всему, что бы он ни говорил. Ужасно, правда? Ведь он мой самый старинный друг. Да еще я его жалею. Год или два назад я бы ему поверил, и правда вышла бы наружу только через несколько месяцев. Но тут я инстинктивно подумал: э, нет, Олли, ты не сам ушел, тебя выперли. Наверно, причина в том, что я теперь стал счастливее, женат, твердо знаю, на каком я свете, и мне все стало гораздо яснее, чем раньше.

Поэтому, когда мы с Олли в следующий раз остались с глазу на глаз, я ему спокойно говорю:

— Слушай, почему бы тебе не сказать мне все как есть? Ты ведь ушел не по собственному желанию?

Он тихо понурил голову, совсем непохоже на прежнего Оливера, и признался, что это правда, его выгнали с работы. Я спросил, за что, а он

сокрушенно вздохнул, горько ухмыльнулся, посмотрел мне прямо в глаза и ответил:

— За сексуальные домогательства.

Выяснилось, что он давал у себя дома частные дополнительные уроки одной ученице из Испании, что ли, или из Португалии, и ему казалось, что она к нему неравнодушна; как-то раз, пропустив пару стаканчиков "особого", он полез целоваться, думая, что она просто застенчивая, ну и — одним словом, это старая как мир пренеприятная история. Оказалось, что девица — не просто набожная католичка, которая думает только о том, чтобы получше выучить английский, но вдобавок еще дочь индустриального магната, имеющего связи в посольстве... Дочка пожаловалась папаше, последовал телефонный звонок, и Оливера вышвырнули в канаву со всеми пожитками в двух дешевых чемоданах и даже без выходного пособия. Он рассказывал все тише и тише, и я верил каждому слову. Он опять свесил голову, а под конец я понял, что он плачет. Договорив, он поднял на меня глаза, весь в слезах, и сказал:

— Не одолжишь ли мне соверен, Стю?

Совсем как тогда в школе. Бедный старина Оливер. На этот раз я просто выписал ему порядочный чек и сказал, чтобы не беспокоился отдавать.

— Но я отдам. Я не могу иначе.

— Хорошо, поговорим об этом в другой раз.

Он отер с лица слезы, снова взял в руки чек, и под его мокрым большим пальцем размазалась моя подпись. Господи, мне было так его жалко.

Понимаете, теперь моя обязанность — заботиться о нем. Это как бы в уплату за то, что он заботился обо мне в школе. Тогда, давным-давно, мы только несколько месяцев как подружились (и он еще позанимал у меня денег), я признался ему, что ко мне пристает один хулиган по фамилии Дадли. Джеф Дадли. Недавно в журнале старых выпускников "Эдвардиан" я прочитал, что он получил назначение торговым атташе в одну из центральноамериканских стран. Теперь это, кажется, значит, что он там шпионит. Вполне возможно. В школе он был первый враль, вор, вымогатель, шантажист и главарь банды. Школа была сравнительно цивилизованная, поэтому в банду Дадли входили только двое: он сам и Пятка Скофилд.

Мое положение было бы надежнее, если бы я лучше играл в футбол или был умнее. И старшего брата-заступника у меня тоже не было, а только младшая сестра. Да еще я носил очки и явно не владел приемами джиу-джитсу. Словом, Дадли остановил выбор на мне. Обычная вещь: деньги, побегушки, бессмысленные унижения. Сначала я не говорил Оливеру, боялся, что он станет меня презирать. Но он не стал; наоборот, он разделался с ними обоими, не прошло и двух недель. Начал с того, что велел им от меня отстать, но они еще посмеялись и спросили: а если не отстанут, что будет тогда? Он кратко ответил: "Ряд необъяснимых несчастий". Школьники вообще-то так не говорят. Эти двое еще презрительнее рассмеялись и ждали, что Оливер вызовет их на бой по всем правилам. Но Оливер никогда не играл по правилам. И действительно, с ними стали случаться необъяснимые несчастья, никак вроде бы с Оливером напрямую не связанные. В столе у Дадли воспитатель обнаружил пять пачек сигарет (тогда и за одну-то пачку полагалась лупцовка). В школьной топке для сжигания мусора оказалась полусгоревшая спортивная форма Скофилда. Однажды среди бела дня у обоих моих мучителей исчезли седла с велосипедов, так

что им пришлось ехать домой обедать "в положении крайне неудобном и чреватом опасностью", как выразился Оливер. Вскоре Дадли подстерег Оливера после школы — возможно, с целью назначить в полдень позади велосипедного сарая поединок с кастетами, но Оливер не откладывая заехал ему ребром ладони по горлу. "Еще одно необъяснимое несчастье", — произнес он над Дадли, который, давясь, корчился на земле. И тогда они от меня все-таки отстали. Я выразил Оливеру благодарность и даже предложил в знак признательности реструктуризацию долга, но он только отмахнулся. Вот такой он, Оливер.

А что сталось потом с Пяткой Скофилдом? И откуда у него было такое прозвище? Я только помню, что оно никак не связано с его реальными пятками.

Джилиан. Невозможно ведь точно назвать день и час, когда именно человек влюбился, правда? На самом деле нет определенного мгновения, когда вдруг умолкает музыка и вы впервые смотрите в глаза друг другу, или что там при этом происходит. Не знаю, может быть, у кого как, но у меня нет. Одна подруга рассказывала мне, что влюбилась в парня, когда проснулась утром и оказалось, что он не храпит. Не бог весть что, верно? Зато похоже на правду.

Должно быть, задним числом, оглядываясь назад, выбираешь какое-то одно мгновение из многих и потом уже его придерживаешься. Maman всегда говорила, что влюбилась в моего отца, глядя, как он изящно и аккуратно уминает пальцами табак в трубке. Я ей верила и не верила, но она повторяла это с убеждением. А ответ должен быть у каждого — я влюбилась тогда-то, потому-то. Общественная потребность. Не скажешь ведь: "Ох, не помню", или: "Само собой как-то постепенно получилось". Невозможно так сказать, вы согласны?

Мы со Стюартом встречались какое-то время. Он мне нравился — не такой, как другие, не навязчивый, разве только навязчиво старался сделать приятное, но и это было довольно трогательно, хотелось сказать ему: не суетись ты так, не спеши, все хорошо, не волнуйся. Не в физическом смысле не спеши, физически было скорее наоборот, ему надо было сначала нацеловаться.

Я сейчас вам кое-что расскажу. Однажды он предложил приготовить для меня ужин. Я говорю: очень хорошо, давай. Пришла к нему около половины девятого — в квартире приятно пахнет жарящимся мясом, на столе свечи горят, хотя еще не стемнело, и стоит ваза с этими индийскими кусочками — закуской, на кофейном столике цветы. Стюарт в брюках от рабочего костюма, но рубашка свежая, и фартук поверх всего. А лицо словно поделенное надвое: нижняя часть улыбается и выражает радость от встречи, а верхняя озабочена ужином.

— Я редко готовлю, — сказал он. — Но мне хотелось приготовить еду для тебя.

На ужин была баранья лопатка с гарниром из свежезамороженного горошка и жареного картофеля вокруг жаркого. Я сказала, что люблю картошку.

— Картофелины сначала слегка отваривают, — без тени улыбки объявил он, — потом наносят вилкой такие бороздки, и образуется хрустящая корочка.

Наверно, он видел, что так делала его мать. К ужину была бутылка хорошего вина, и он, наливая, всякий раз старался закрывать пальцем

наклейку с ценой, которую забыл содрать. Видно было, что он очень этим смущен. Не хотел, чтобы я видела цену. Понимаете, что я хочу сказать? Он старался.

Он не позволил, чтобы я помогла убрать со стола. Сходил на кухню и вынес яблочный пирог. Вечер был весенний, теплый, а еда зимняя. Но не важно. Я съела кусок пирога, а потом он поставил кипятить воду для кофе и вышел в уборную. Я собрала тарелки из-под десерта и отнесла в кухню. Смотрю, на кухонном столе бумажка прислонена к судкам для специй. И знаете, что это было? Расписание:

6.00. Почистить картошку.
6.10. Раскатать тесто.
6.20. Включить духовку.
6.20. Ванна.
И дальше все так же подробно...
8.00. Откупорить вино.
8.15. Проверить, подрумянился ли картофель.
8.20. Поставить воду для горошка.
8.25. Зажечь свечи.
8.30. Придет Дж.!!

Я быстренько вернулась к столу и села, дрожа. Кроме всего, мне было стыдно, что я прочла его расписание. Стюарт, наверно, решил бы, что я шпионю. Но меня оно ужасно трогало, с каждым пунктом все больше. 8.25. Зажечь свечи. Ты не волнуйся, Стюарт, мысленно сказала я ему, можно было бы и при мне зажечь, ничего страшного. И самая последняя строка: 8.30. Придет Дж.!! Эти два восклицательных знака пронзили мое сердце.

Он вернулся из уборной, и я с трудом удержалась, чтобы не признаться и не сказать ему, что это вовсе не глупости, не психопатство, не нервы и всякая чушь, а просто очень мило и трогательно с его стороны. Ничего этого я, конечно, не сказала, но, должно быть, по мне как-то было видно, и он почувствовал и потом держался уже раскованнее. Мы долго сидели рядышком на диване, я бы и ночевать осталась, если бы он попросил, но он не попросил, и это тоже было трогательно.

Стюарт постоянно беспокоится. Ему непременно надо, чтобы все было как надо. Не только у него самого и у нас с ним. Сейчас вот он страшно волнуется из-за Оливера. Не знаю, что там у него случилось. Вернее, знаю. Он приставал к какой-то несчастной ученице в Шекспировской школе, и его выгнали с работы. Это я прочла между строк из того, что мне рассказал Стюарт. Сам Стюарт против очевидности склонялся к версии Оливера. Настолько против очевидности, что мы с ним даже чуть было не поссорились. Стюарт говорил, что девица, должно быть, соблазняла Оливера, кокетничала с ним, а я спорила, что она, наверно, робкая и страшно испугалась приставаний учителя. Но потом мы оба все-таки спохватились, что в глаза не видели этой девицы и понятия не имеем, что там на самом деле у них произошло. Мы просто строили предположения. Но и в предположениях Оливер выглядел, на мой вкус, не слишком симпатично. Я не сочувствую близким отношениям между учителями и ученицами — по вполне понятным причинам. Стюарт сказал, что дал Оливеру денег, что мне показалось совершенно излишним, хотя я, разумеется, промолчала. В конце концов, Оливер — вполне здоровый молодой мужчина, да еще с университетским дипломом, и уж как-нибудь да найдет себе другую работу. Зачем давать ему наши деньги?

Хотя, конечно, тогда он был совсем какой-то раздрызганный. Особенно ужасно получилось в аэропорту. Там мы были со Стюартом одни. Мне еще подумалось, когда мы дожидались наших чемоданов, что так будет теперь до конца жизни: мы и чужие люди вокруг, и надо заботиться, чтобы все делать правильно — следовать указателям, взять вещи, потом к таможенникам, и нигде никому нет дела, кто мы и откуда, только мы двое и поддерживаем друг друга... Звучит сентиментально, я согласна, но такое у меня было тогда ощущение. Выходим из таможни, оба смеемся от радости, что вернулись домой, и вдруг на нас бросается какой-то пьяный в шоферской фуражке. Он чуть не выбил мне глаз картонкой на палке, да еще наступил на ногу. И представляете себе? Это Оливер. Страшный, как смерть. Ему, по-видимому, казалось, что он поступает очень остроумно, но ничего остроумного в этом не было. Это было жалкое зрелище. У таких людей, как Олли, всегда так: когда они в ударе, с ними весело и забавно, а уж если не задалось, то хоть плачь. Никакой середины.

Ну, мы, конечно, опомнились, взяли себя в руки, притворились, будто очень рады его видеть. Он вез нас в Лондон, гнал как бешеный и всю дорогу болтал что-то несусветное не закрывая рта. Я в конце концов перестала слушать, откинулась на спинку и закрыла глаза. Очнулась, когда машина резко затормозила возле нашего дома, и тут Оливер спросил каким-то странным голосом: "A propos de bottes[1], как прошел ваш lune de miel?

Оливер. Сигарету не хотите? Ах, вы же не курите, вы мне уже говорили. Ваше осуждение полыхает неоновыми буквами. И брови сведены сурово, как у свекрови из "Кати Кабановой"[2]. Но могу вам сообщить забавную новость. Я читал сегодня утром в газете, что у курящего человека меньше вероятности заболеть болезнью Альцгеймера, чем у некурящего. Здорово, да? Просто блеск. Так что давайте закурим по одной, покоптим легкие и защитим мозг. Ведь жизнь, она, знаете ли, вся изукрашена противоречиями. Только-только все разложишь по полочкам, наведешь ясность, как-р-раз, появляется шут с поросячьим пузырем и бум тебе по носу.

Я, между прочим, не дурак. Я понял в аэропорту, что Джилиан и Стюарт мне вовсе не рады. Я чувствую, когда совершаю piccolo[3] faux pas[4]. Олли, старина, сказал я себе, твое щенячье братание здесь неуместно. Немедленно отпусти эту парочку, перестань вылизывать их физиономии. Но это вовсе не было братание, и, конечно, далеко не щенячье. Я приехал их встречать, потому что я влюбился в Джилиан. А все прочее было кривляние.

Странная это была поездка из Гатвика в Лондон. Даже не просто странная, а совершенно sui generis[5]. Джилиан села сзади и вскоре уснула. Всякий раз, взглядывая в зеркало — а я, если хочу, веду машину с величайшей осторожностью, — я видел истомленную новобрачную со смеженными веками и разметанными волосами. Она запрокинула голову на спинку сиденья, словно подняла губы для поцелуя. Я все время посматривал в зеркало, но, как вы понимаете, не на машины. Я разглядывал ее лицо, ее спящее лицо.

А рядом со мной сидел пухленький, мирный, сексуально выпотрошенный Стюарт, такой дьявольски ублаготворенный, и притворялся,

1. Некстати говоря (*франц.*).
2. Опера Л. Яначека на сюжет "Грозы" А. Н. Островского. Постановка в 1921 г.
3. Маленький (*итал.*).
4. Промах (*франц.*).
5. В своем роде (*лат.*).

будто рад, что я их встречал. А сам, наверно, прикидывал, как бы ему получить обратно деньги за неиспользованные билеты от Гатвика до Виктории. Стюарт, имейте в виду, бывает жутким крохобором. Отправляясь за границу, он и в аэропорт всегда покупает обратный билет из тех соображений, что а) на этом можно выиграть три миллисекунды времени; б) о том, что может не возвратиться, он даже мысли не допускает; и в) а вдруг за эти две недели подскочат цены? А Оливер всегда покупает билет только в одну сторону. Разве можно предсказать заранее, не повстречается ли тебе на пути королева бразильского карнавала? И какой смысл беспокоиться из-за того, что через субботу в Гатвике у касс может оказаться очередь? Я как-то читал в газете про одного человека, который бросился под поезд метро. На дознании объявили, что он, по-видимому, не намеревался кончать с собой, ведь у него в кармане лежал обратный билет. Прошу меня простить, ваша честь, мало ли какие тут могут быть объяснения. Возможно, он купил обратный билет, чтобы у близких зародилось сомнение и облегчило их горе. Другая возможность — что это был Стюарт. Стюарт, если бы решил подарить машинисту за перенесенное потрясение шесть недель отпуска или сколько там в таких случаях полагается, обязательно бы приобрел обратный билет. Он рассудил бы так: а если я все-таки не покончу с собой? Вдруг передумаю в последнюю минуту? Только представьте себе, какие очереди у билетных автоматов на Тотнем-Корт-роуд! Нет, уж лучше я куплю обратный билет, на всякий случай.

Вы считаете, что я несправедлив? Послушайте, у меня в последнее время такое творится в голове, впору принимать валерьянку. Мозг готов лопнуть от перевозбуждения. Я сначала слегка скуксился. Вообразите только: предмет моей страстной любви уютно дремлет на заднем сиденье, а дородный муж, мой самый близкий друг, три недели ублажавший ее под жарким солнцем Эллады, сидит рядом со мной, зажав между щиколоток сумку с беспошлинными напитками, я остался без работы, и все попутные машины проносятся мимо, будто торопятся принять участие в "Формуле-1". Как по-вашему, могу я сохранять спокойствие? Могу быть справедливым?

В этих условиях я, как повелось, принялся валять дурака и зубоскалить неизвестно о чем, Стюарт у меня всю дорогу давился от смеха, чтобы только не разбудить прекрасную Джилиан. А я то и дело со всей силой сжимал баранку, потому что на самом-то деле меня так и подмывало прекратить все это смехачество, съехать на обочину, повернуться лицом к моему пассажиру и сказать: "Да, кстати, Стюарт, я влюбился в твою жену".

Так прямо и сказать? Мне страшно, страшно до ужаса, до жути, до полного опупения. Что-то в этом духе я должен буду объявить, и довольно скоро. Но как я ему скажу? Как я скажу ей?

Вы думаете, что знаете людей, да? Ну так вот, представьте себе, что у вас есть друг, ваш лучший друг, и в тот день, когда он женится, вы влюбляетесь в его жену. Как ваш друг на это посмотрит? Благоприятных возможностей тут не много. На то, что он ответит: "Да, я вполне понимаю твою точку зрения", — если честно, рассчитывать не приходится. Скорее выхватит автомат Калашникова. И минимальный приговор: ссылка. Олли-Гулаг будет мне имя. Но я не согласен на ссылку. Вы понимаете? В ссылку я не пойду.

Должно произойти совсем другое. Джилиан должна будет понять, что любит меня. Стюарт тоже должен будет понять, что она любит меня. Стюарт должен сойти со сцены. А Оливер — выйти на сцену. Никто

не пострадает. Джилиан и Оливер будут жить-поживать и горя не знать, а Стюарт останется их лучшим другом. Вот как все должно быть. Насколько высоко вы расцениваете мои шансы? Так высóко — по слоновье око?[1] (Эта культурная аллюзия предназначается для тебя, Стю.)

Только, пожалуйста, не глядите на меня с укоризной. Думаете, мне не довольно этого достанется в предстоящие недели, месяцы и годы? Дайте дух перевести. Поставьте себя на мое место. Вы что, отречетесь от своей любви, тактично улизнете с глаз долой и пойдете в козопасы, чтобы все дни напролет играть на пастушьей свирели утешительно-печальную музыку, пока ваше стадо равнодушно пережевывает сочную растительность? Так не делают. И сроду никогда не делали. Знаете, если вы удалитесь и пойдете в козопасы, значит, вы ее просто вообще не любили. Или любили меньше, чем этот свой мелодраматический жест. Или чем коз. Возможно, притворялись, будто влюблены, из карьерных соображений, чтобы для разнообразия немного попастись на лоне природы. Но ее вы не любили.

На этом месте мы с вами застряли. Застряли, и все. Это уж точно. Мы застряли втроем в машине на шоссе, и один из нас (тот, кто за рулем, то есть я) надавил локтем на замок. Мы оказались заперты и должны сидеть, покуда не найдется выход. И вы тоже тут сидите. Извините меня, но дверцы не открываются, вам не выйти. Мы застряли тут все вместе. Ну, как теперь насчет сигареты? Я лично курю и не удивлюсь, если и Стюарт тоже вскоре закурит. Берите, берите, закуривайте. Чтобы не пристала болезнь Альцгеймера.

7. *Забавная вещь*

Стюарт. Забавная вещь. Я шел сегодня утром на работу. Кажется, я еще не объяснил, что от нас до остановки можно дойти двумя путями. Один — вдоль по Сент-Мэри-Виллас и Барроклаф-роуд, мимо старых городских бань, мимо магазина "Сделай сам" и оптового центра москательных товаров; другой — наискось через парк Леннокс-Гарденз, повернуть по улице, все время забываю название, выйти на Рамзи-роуд, мимо магазинов и прямо на Главную улицу. Я хронометрировал — разница не больше двадцати секунд. Поэтому иногда я хожу так, а иногда эдак. Выходя из дому, первым делом решаю, вроде как бросаю монетку, каким путем пойти. Это я просто так рассказываю, бытовая подробность.

Так вот, в то утро я пошел через Леннокс-Гарденз, по улице без названия и свернул на Рамзи-роуд. Иду и смотрю по сторонам. Это тоже у меня стало иначе с тех пор, как мы с Джил вместе, я теперь многое замечаю, чего не видел раньше. Знаете, как можно идти в Лондоне по улице, не поднимая глаз над крышами автобусов. Видишь встречных людей, и магазины, и движение на мостовой, а вверх, по-настоящему вверх, никогда не посмотришь. Понимаю, вы скажете: мол, если ротозейничать и глазеть в небо, то вляпаешься в собачье дерьмо или налетишь на фонарный столб. Нет, но я серьезно. Немного подыми голову, и обязательно что-нибудь заметишь, какую-нибудь необычную крышу или украшение в стиле прошлого века. Или наоборот, взгляни пониже. Как-то на днях в обеденное время я шел по Фаррингдон-роуд и вдруг увидел одну вещь,

1. Строчка из песни "O What a Beautiful Morning" из мюзикла "Оклахома!" Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна, поставленного на Бродвее в 1943 г.

мимо которой проходил, наверно, сто раз. В стену на уровне колена вмазана желтая мемориальная доска, и на ней черными буквами надпись:

Это здание
было полностью разрушено
при налете цеппелинов
во время Мировой войны
8 сентября 1915 года.
Восстановлено в 1917 г.
Джон Филлипс,
производитель работ.

Меня это заинтересовало. Почему доску прилепили так низко? Или, может быть, ее позднее переместили? Проверьте сами, если охота: дом номер 61, рядом с магазином, где продают подзорные трубы.

Я что хочу сказать, я стал гораздо внимательнее смотреть вокруг себя. И мимо того цветочного магазина на Рамзи-роуд я проходил, наверно, тысячу раз — и ни разу на него не взглянул, тем более не заглянул через витрину внутрь. А на этот раз заглянул. И что же я там увидел? Чем был так неожиданно вознагражден утром в четверг в 8 часов 25 минут? Я увидел Оливера. Смотрю и глазам своим не верю. Уж кого-кого, а Оливера я не ожидал встретить в наших краях. Его сюда силой не затащишь. Он всегда отшучивается, что ему, чтобы приехать в этот конец города, потребуется виза и переводчик. Но вот он сам, собственной персоной, ходит по магазину в сопровождении продавщицы, и она подбирает ему большой букет цветов.

Я попробовал постучать по стеклу, но ни он, ни она не услышали. Тогда я взял и зашел. Они уже оба стояли у прилавка, продавщица подбивала цену, а Оливер держал в руке бумажник.

Я окликнул:

— Оливер.

Он обернулся и посмотрел на меня с изумленным видом. Даже покраснел немного. Мне стало не по себе — я первый раз в жизни видел, чтобы Оливер краснел, — и я решил обратить все в шутку.

— Так вот на что ты тратишь деньги, которые я тебе одолжил? — говорю. И знаете что? Тут он в самом деле страшно покраснел. Стал красный как рак. Даже уши запылали. Конечно, если подумать, это было довольно жестоко с моей стороны — сказануть такое. Но все-таки странная реакция, ей-богу. Видно, он в скверном состоянии.

— Pas devant, — наконец выговорил он и кивнул на продавщицу. — Pas devant les enfants[1].

Девушка переводила взгляд с него на меня и обратно. Выражение лица у нее было недоуменное. Я подумал, чем вгонять Оливера в краску, лучше я уйду, и пробормотал, что, мол, тороплюсь на работу. Но он сказал: "Нет, нет" — и схватил меня за рукав. Я оглянулся, но больше он ничего не прибавил. Держась за мой рукав, он стал свободной рукой вытряхивать содержимое бумажника, деньги посыпались на прилавок.

— Живее, живее, — торопил он продавщицу.

Она подсчитала общую сумму (больше двадцати фунтов, я заметил ненароком), взяла выпавшие деньги, дала сдачу, завернула букет и суну-

1. Не при детях (*франц.*).

ла ему под мышку. Он подобрал бумажник свободной рукой и потащил меня к двери.

— Розе, — проговорил он, как только мы очутились на тротуаре. И отпустил мой рукав, будто сделал признание и больше ему каяться не в чем.

— Розе? — переспросил я. Он кивнул, отводя глаза. Роза была та самая девица из школы имени Шекспира, из-за которой его выгнали. — Это для нее?

— Она тут поблизости живет. Папаша ее выставил. Вина, как обычно, на Олли.

— Оливер, — я вдруг ощутил себя гораздо старше, чем он. — Разумно ли это?

Что, черт возьми, тут происходит? Что может подумать девушка?

— А что в жизни разумно? — отозвался он, по-прежнему глядя в сторону. — Пока дождешься случая поступить разумно, борода отрастет. Стая павианов могут лупить по пишущим машинкам миллион лет и не напечатают ничего разумного.

— Но... ты собрался к ней в такой ранний час.

Он было взглянул на меня и снова потупился.

— Я тут с вечера.

— Как же так, Оливер, — сказал я, стараясь добиться ясности и в то же время выдерживая шутливый тон. — По-моему, цветы даме принято дарить приходя, а не когда уже попрощался и ушел.

Но получилось, видимо, опять невпопад. Оливер так сдавил рукой букет, что удивительно, как не переломал все стебли.

— Ужас что вышло, — выговорил он наконец. — Засыпался ночью. Все равно как запихивать улитку в счетчик на автостоянке.

Я подумал, что с меня довольно подробностей, но Оливер опять вцепился в мой рукав и не отпускал.

— Человеческое тело может так предательски подвести в ответственный момент. А представители латинской расы, естественно, меньше нашего привыкли к нервным срывам первой ночи. И поэтому им не хватает снисходительности.

Получалось довольно неловко с шести разных точек зрения. Прежде всего, я опаздывал на работу. И потом, чего-чего, а подобных излияний от Оливера я уж никак не ожидал. Но наверно, если потерял работу и пострадало твое достоинство... и он еще, похоже, выпил лишнего, а перебор в этом деле тоже, говорят, не содействует. Бедняга Олли, у него действительно разом все четыре колеса отскочили.

Я совершенно не знал, как быть, что ему сказать. Посоветовать обратиться к врачу, прямо вот сейчас, стоя на улице, — не место и не время для такого разговора. Наконец Оливер отпустил мой рукав.

— Удачного тебе дня в конторе, дружище, — сказал он и понуро побрел прочь.

В то утро в поезде я не читал газету. А стоял и думал об Оливере. Человек нарывался на беду — явился к той девице, из-за которой вылетел с работы, а там еще... ну не знаю. Оливер и женщины — это дело темное, гораздо более темное, чем он любит изображать. Но на этот раз он действительно ухнул в яму. У него отскочили все четыре колеса.

Оливер. Уф-ф-ф! Ф-фу-у! Уау! Зовите меня Великий Эскапист. Зовите меня Гарри Гудини. Слава тебе, Талия, муза комедии! Не слышу оваций.

Разве я не заслужил "голуазину"? Мои легкие алчут никотина. После всего, что было, вы не можете мне в этом отказать.

Да, да, конечно, я испытываю некоторые угрызения совести, но что бы вы сделали на моем месте? Вы бы никогда не оказались на моем месте, я понимаю. Но я-то оказался, в этом главная и очевидная разница между нами. Но все-таки, разве я не заслужил перо в шляпу? Я его себе присуждаю. Как, например, вам понравился прием хватания за рукав в духе Старого моряка? Он отлично сработал, правда ведь? Я всегда говорю: если хочешь перехитрить англичанина, тронь его, когда он этого не хочет. Положи ладонь на рукав и угости прочувствованной исповедью. Они этого не переносят, бритты. Они будут ежиться, кривиться и проглотят все, что им ни наговори. "Все равно как запихивать улитку в счетчик на автостоянке". Видели вы лицо Стюарта после того, как я от него ушел? Камея "Нежная забота".

Я не злорадствую, ну, может быть, самую малость. Главным образом я испытываю облегчение, у меня всегда так. И наверно, мне не надо бы вам все это рассказывать, если я хочу, чтобы вы и дальше ко мне хорошо относились. (А вы хорошо ко мне относитесь? Трудно сказать. А нуждаюсь ли я в этом? О да, да, очень!) Но для меня слишком важно то, что сейчас происходит, тут уж не до игр — не до игр с вами, во всяком случае. Я обречен продолжать то, что делаю, и только надеюсь не вызвать по ходу дела ваше окончательное осуждение. Обещайте, что не отвернетесь от меня, — если уж вы откажете мне в признании, тогда я, хочешь не хочешь, перестану существовать. Не уничтожайте бедного Олли! Пощадите его, и он еще, быть может, позабавит вас.

Прошу прощения, я уже опять немного зарвался. Итак. Итак, сейчас я нахожусь в районе, который называется Стоук-Ньюингтон. Это terra incognita[1], где, по словам Стюарта, цены на недвижимость должны в ближайшее время поползти вверх, но покамест здесь обитают люди с головами, растущими ниже плеч. А что за причина мне здесь находиться? Причина та, что мне надо сделать некое вполне простое дело. А именно посетить жену одного человека — одного человека! моего лучшего друга! — которого я только что оставил топающим на станцию метро; я должен явиться к его молодой жене и сообщить ей, что я ее люблю. Отсюда и пук бело-голубой растительности у меня под мышкой, некомпетентно завернутый и уже окропивший мои панталоны, словно в результате неосторожности в процессе мочеиспускания. И в самую точку: когда дверной колокольчик в магазине оповестил о прибытии почтенного банкира, я, ей-богу, думал, что обмочусь.

Я немного побродил по улицам, пока подсохнут брюки, и репетировал на ходу, что сказать, когда Джилиан откроет мне дверь. Спрятать ли букет за спину, а потом выхватить и протянуть, как фокусник? Или положить на крыльцо, а самому сгинуть, прежде чем она ответит на звонок? Может, тут будет уместна серенада? Deh vieni alla finestra...[2]

Так я прохаживался среди жалких туземных хижин, где ютятся закинутые на окраины рабы коммерции, и ждал, покуда полуденный жар выпарит влагу из брючной ткани: 60 % шелк, 40 % вискоза. Я и себя самого довольно часто ощущаю на шестьдесят процентов из шелка, на сорок из вискозы, если уж на то пошло. С виду шелковистый, а мнется. В то

1. Неведомая земля (*лат.*).
2. "О, подойди к окошку ..." (*итал.*) — серенада Дон Жуана из оперы Моцарта "Дон Жуан", акт 2.

время как Стюарт — стопроцентный ха-бэ, тканный вручную, — несминаемый, легко стирается, сохнет без выжимания, пятна не остаются. Мы со Стю выкроены из разных материй. На моей, например, если я не потороплюсь, скоро на месте следов от влаги появятся пятна пота. Бог мой, как я нервничал! Сейчас бы кружку валерьяновой настойки — или большой стакан коктейля "Манхэттен". Или валерьянки, или чистого спирту. Либо то, либо это. Нет, что мне на самом деле было сейчас нужно, это горсть бетаблокаторов. Слышали про них? Например, пропранолол. Изобретен для нервных пианистов, которые боятся выйти на эстраду. Прекращает дрожь, не снижая качества исполнения. Как вы думаете, может, он и в сексе помогает? Не исключено, что Стюарт теперь раздобудет мне эти таблетки, узнав про мою "белую ночь" у Розы. Как раз в его духе — лечить химией разбитое сердце. Мне-то они нужны, чтобы вручить мое сердце, пламенеющее, но целое, молодой женщине, которая сейчас откроет дверь дома номер 68. Не затаился ли где-нибудь в соседней подворотне темнокожий торговец наркотиками, ухмыляющийся и щедрый? Сто миллиграммов пропранолола, приятель, да поживей, вот тебе мой кошелек и мой "Ролекс", бери все... э, нет, это мои цветы. Можешь взять все, кроме цветов.

Но теперь они уже и не мои, а ее. Когда засиял le moment suprême[1], или, переводя на стюартизмы, когда приспел решительный момент, все прошло как по маслу. Вы, возможно, находите Олли барочно-вычурным, но уверяю вас, это только с фасада. А попробуйте проникнуть внутрь, постойте минуту с путеводителем в руке, и вы обнаружите неоклассическое спокойствие, мудрую, уравновешенную безмятежность. Вы — в часовне Santa Maria della Presentazione[2], или Zitelle[3], как предпочитают ее именовать в туристских брошюрах. Джудекка[4], Венеция, Палладио. О вы, экскурсанты по моей душе. Вот я какой в глубине моего существа. А буйные излишества — это снаружи, для привлечения толп.

Словом, кончилось все так: я позвонил у двери и стою дожидаюсь, держа перед собой цветочный сноп на вытянутых руках, — не хотелось выглядеть обыкновенным посыльным. Я ведь на самом деле был скромный, хрупкий проситель, покровительствуемый лишь богиней Флорой. Джилиан отперла дверь. Вот оно. Миг настал.

— Я тебя люблю, — сказал я.

В ее безмятежном взгляде зародилась тревога. Чтобы вернуть ей спокойствие, я вручил букет и мирно повторил:

— Я тебя люблю.

После чего удалился.

Я исполнил это! Исполнил! Я вне себя от счастья. Мне радостно, мне жутко, у меня поджилки трясутся, и в зобу, черт подери, перехватило дыханье.

Мишель (16 лет). У нас бывают такие покупатели, опупеешь. В этом вся трудность — не в цветах, а в людях, которые их покупают.

Взять, например, сегодня утром. Вот если бы он молчал, другое дело. Он вошел, я сразу подумала: с таким пошла бы на грязные танцы в любой

1. Высший миг (*франц.*).
2. Введения во храм святой Марии (*итал.*).
3. Девушки (*венецианский диалект*).
4. Островок у входа в Венецианскую лагуну.

вечер на неделе. Стильный такой, волосы черные чуть не до плеч, блестят, костюм тоже из блестящей материи. Немного похож на Джимми Уайта с телевидения, знаете его? К прилавку не подходит, только кивнул мне и прямо к цветам, высматривает, приглядывается, видно, что разбирается в букетах. А у нас с Линзи такая игра: мы ставим им отметки в днях недели. Если не очень нравится, мы говорим: "Этот — на вторник". В смысле, если пригласит, можно уделить ему из всей недели один вечер. А высший балл — "семь дней в неделю". То есть для него, если позовет, — хоть каждый вечер. Ну так вот, этот парень рассматривает ирисы, я заполняю ведомость по налогу на добавленную стоимость, а сама поглядываю на него краем глаза и думаю: "Ты — с понедельника по пятницу".

Потом он подозвал меня, и мы с ним прошлись по всему магазину, он указывал, какие ему набирать цветы, и все — только голубые и белые, больше никаких. Показываю ему красивые розовые левкои, но он весь передернулся и скривил губы: "Бр-р-р-р!" Подумаешь, фигура. Вроде тех мальчишек, что приходят купить одну розу, а вид такой, как будто событие мирового значения. Мне какой-нибудь парень подарил бы одну красную розу, я бы ему сказала: "А где остальные четыре? Раздал другим знакомым девушкам?"

Подошли мы к прилавку, и тут он наклоняется и нахально так цап меня за подбородок. "Ты что такая хмурая, красавица?" — спрашивает. Я хватаю цветочные ножницы, я ведь одна на весь магазин, и если он еще раз ко мне прикоснется — уйдет из магазина, лишившись кой-чего, с чем пришел. Но в эту минуту звякает дверь, и входит еще один, в пиджаке, видно, что зануда-служащий. Смотрю, мой чудак жутко смутился, потому что этот, в пиджаке, оказывается, его знакомый, увидел в окно, как он пристает к продавщице, совсем не в его стиле, и он вдруг весь страшно покраснел, даже уши, я уши заметила.

Он бросил мне деньги, велел поторопиться, не терпится ему скорей-скорей увести того, второго, из магазина. А мне что, я не спеша так заворачиваю ему цветы в целлофановую обертку, а потом еще говорю, ах, мол, я неверно подсчитала налог на добавленную стоимость. А про себя думаю: ну зачем тебе было разговоры заводить? Был парень с понедельника по пятницу, а теперь обыкновенное барахло.

Я люблю цветы. Но долго здесь работать не собираюсь. И Линзи тоже не собирается. Мы здешних покупателей ну просто не переваривaем.

Джилиан. Сегодня утром произошла какая-то странная вещь. Очень странная вещь. И не прекратилась после того, как произошла. А продолжалась еще и днем, и вечером.

Где-то примерно без четверти девять я сидела у себя перед мольбертом и делала предварительные пробы на маленькой картине на доске — церковь в Сити. На заднем плане по радио тихо играли какую-то композицию одного из тех Бахов, которые — не Бах. Вдруг звонок. Не успела я отложить тампон, звонок повторился. Я подумала, дети, — только дети так настойчиво звонят. Наверно, набиваются помыть машину. А может быть, проверяют, есть ли кто дома, чтобы потом обойти вокруг и взломать замок задней двери.

Я спустилась в прихожую, с какой-то даже досадой отперла дверь, и что я вижу? За дверью — огромная охапка цветов в целлофановой обертке, голубые и белые. Я решила, что это Стюарт, что это он прислал. И да-

же когда разглядела за цветами Оливера, все равно я думала, что, вероятно, Стюарт поручил Оливеру передать.

— Оливер! — сказала я. — Вот так неожиданность. Заходи.

Но он не двигается, стоит и пытается что-то сказать. Бледный как смерть, руки с букетом вытянул перед собой, будто поднос держит. Шевелит губами, что-то говорит, не разберу что. Так в кино показывают умирающего — он что-то, для него очень важное, невнятно бормочет, но никто уже не может понять. Я вижу, Оливер в ужасном состоянии. С цветов натекло ему на брюки, в лице — ни кровинки, он весь дрожит, пытается что-то выговорить, но губы не разлипаются.

Я подумала: возьму у него цветы, может, ему легче станет. Осторожно снимаю букет у него с рук, концами стеблей от себя — просто по привычке, потому что на мне рабочий халат, с ним от воды ничего бы не сделалось.

— Оливер, — говорю, — что с тобой? Может, зайдешь?

Но он стоит, как стоял, вытянув перед собой руки, точно дворецкий-робот, только без подноса. И вдруг громко и отчетливо произносит:

— Я тебя люблю.

Вот прямо так. Я, конечно, рассмеялась. Из уст Оливера, да еще в 8.45 утра... Я рассмеялась, но не презрительно, не обидно, а просто как будто это шутка, которую я недопоняла.

Но растолковывать ее он не стал, а повернулся и бросился бежать. Правда-правда, со всех ног. Он убежал, а я осталась с его букетом в руках. Делать было нечего, пришлось внести цветы в дом и поставить в воду. Их было огромное количество, я наполнила три вазы и еще две пивные кружки Стюарта. А потом вернулась к работе.

Кончила пробы и принялась расчищать небо, я всегда начинаю с неба. Для этого особенной сосредоточенности не требуется, и я все утро снова и снова возвращалась к мысли о том, как Оливер стоял на пороге и не мог выговорить ни слова, а потом вдруг чуть ли не во всю глотку прокричал, что там ему вздумалось. У него нервы сейчас в очень раздраженном состоянии.

Наверно, именно потому, что он, как мы знали, последнее время был постоянно на взводе — вспомнить хотя бы его странное появление тогда в аэропорту, — я так долго и обдумывала, что все это значило. Думала и никак не могла сосредоточиться на своей работе. Воображала разговор, который будет у нас со Стюартом, когда он вечером вернется:

— Смотри-ка, сколько цветов!

— Угу.

— У нас появился новый воздыхатель? Нет, правда, какая масса цветов.

— Это Оливер принес.

— Оливер? Когда?

— Минут через десять после твоего ухода. Вы с ним только-только разминулись.

— Но почему? С чего это он подарил нам цветы?

— Это он не нам подарил, а мне. Он сказал, что влюблен в меня.

Нет, такой разговор невозможен. Невозможно ничего даже отдаленно похожего на такой разговор. И значит, от этих цветов следует избавиться. Первая мысль была засунуть их в мусорное ведро. Но что если Стюарт тоже вздумает туда что-то выбросить? Что бы вы подумали, окажись ваше мусорное ведро до отказа забито абсолютно свежими цветами? Тогда, может быть, перейти через улицу и выбросить их в контей-

нер для мусора? Но это выглядело бы довольно странно. Мы еще не обзавелись здесь друзьями среди соседей, но с некоторыми уже здороваемся, и, честно признаться, я бы не хотела, чтобы кто-нибудь из них видел, как я отправляю в мусорный контейнер эдакую груду цветов.

И тогда я принялась запихивать их в измельчитель отходов. Брала пук за пуком цветы Оливера, совала лепестками вперед в дробилку, и за несколько минут от его подарка осталась только жидкая каша, которую смыла струя холодной воды и унесла в сточную трубу. Из сливного отверстия сначала еще шел сильный цветочный запах, но постепенно он выдохся. А целлофановую обертку я скомкала и затолкала в коробку из-под хлопьев, которую мы опорожнили накануне. Две пивные кружки и три вазы я вымыла, насухо вытерла и расставила на обычные места, как будто ничего и не было.

Я не сомневалась, что поступила как надо. Не исключено, что у Оливера что-то вроде нервного расстройства, а если так, он будет нуждаться в нашей поддержке, и Стюарта, и моей. Когда-нибудь потом я расскажу Стюарту про эти цветы и как я ими распорядилась, и мы весело посмеемся, все трое вместе с Оливером.

После этого я вернулась к картине и работала над ней, пока не подошло время готовить ужин. Сама не знаю почему, но перед приходом Стюарта — он всегда возвращается в половине седьмого — я налила себе бокал вина. И хорошо сделала. Стюарт сказал, что весь день хотел мне позвонить, но не стал, чтобы не отвлекать от работы. Оказывается, по пути к метро он встретил Оливера в цветочном магазине тут у нас за углом. Оливер, по его словам, страшно смутился, и еще бы ему не смутиться, ведь он покупал букет цветов, чтобы помириться с девицей, у которой ночевал, но ничего не смог. Мало того, это была та самая испаноязычная девица, из-за которой его уволили из школы имени Шекспира. Отец вроде бы выставил ее из дому, и она теперь живет где-то неподалеку от нас. Накануне она пригласила Оливера в гости, но все получилось совсем не так, как он надеялся. Вот что поведал ему Оливер, сказал Стюарт.

Наверно, я реагировала на этот рассказ не так, как ожидал Стюарт. Ему, должно быть, показалось, что я невнимательно слушала. Я отхлебывала налитое в бокал вино, собирала ужин, а в какой-то момент между делом отошла к книжной полке и сняла оставшийся там цветочный лепесток. Голубой. Положила в рот, пожевала и проглотила.

Я в совершенной растерянности. Это еще мягко говоря.

8. *Ладно,* Булонь *так* Булонь

Оливер. У меня есть мечта. У меня-а-а-а е-е-есть мечта-а-а-а. Вернее, не так. У меня есть план. Преображение Оливера. Блудный сын прекращает пировать с блудницами. Покупаю гребной тренажер, велоэргометр, дорожку и боксерскую грушу. Вернее, нет. Но я предприму нечто равноценное. Я задумал фундаментальный поворот на 180 градусов, как уже было объявлено. Вы хотели бы иметь пенсию в сорок пять лет? По какому типу вы лысеете? Вам стыдно за то, что вы неважно владеете английским языком? Я получу эту пенсию, у меня на макушке счастливый завиток, а за мой английский мне уж как-нибудь не стыдно. Тем меньше поводов киснуть. Но в остальном я принял тридцатидневный план полного преображения. И пусть только кто-нибудь попробует мне помешать.

Я профукал много времени, это прискорбная истина. Немножко, пожалуй, можно, при условии, если под конец уразумеешь, что всегда выступать в роли Пето[1] — это несерьезно. Откажись от нее, Олли. Соберись. Настал решающий момент.

Прежде всего, бросаю курить. Поправка: я уже бросил курить. Видите, как серьезны мои намерения? Я столько лет выражал себя или, по крайней мере, украшал себя ароматными плюмажами табачного дыма. С первых обывательски трусливых сигарет "Посольские" в незапамятно давние времена, через обязательное, шикарное, как шлепанцы с монограммой, балканское "Собрание", через кривляние с ментолом и грубо, нищенски урезанным содержанием никотина, через подлинные самокрутки Латинского квартала (с ароматическими добавками или без) и их фабричные эквиваленты (эти стахановские поленья с неистребимым резиновым привкусом, от которого некуда деваться), и все это завершилось надежным, ровным плоскогорьем современных "Голуаз" и "Уинстон", и к ним изредка — острая приправа из маленьких шведских штучек, названных, как все дворняги, — "Принц". Уф-ф-ф! И от всего этого я теперь отрекаюсь. То есть уже отрекся, минуту назад. У нее я даже не спрашивал. Просто я думаю, что она этого захочет.

Во-вторых, я поступлю на работу. Это мне проще простого. Убегая из паршивой школы английского языка имени Шекспира, я прихватил с собой стопку их нахально шовинистской гербовой бумаги и теперь располагаю всевозможными рекомендательными документами, превозносящими мои таланты в расчете на вкусы самых разных потенциальных работодателей. Почему я оставил прежнее место? Увы, умерла моя матушка, и я вынужден был заняться поисками подходящего приюта для престарелых, чтобы поместить там бедного папашу. А если отыщется кто-то настолько бессердечный, что захочет в этой версии удостовериться, я к такому работать так и так не пойду. Моя матушка уже много лет умирает, это мне очень помогает в жизни, и бедный папочка часто нуждается в смене гериатрических подходов. Как он мечтает любоваться зеленым лесным прибоем! Как любит вспоминать те давние времена, когда голландский жук-древоточец еще не погубил рощи английского вяза, когда подножья холмов Англии еще не заросли колючим остролистом. Через окно в своей комнате мой старик смотрит в прошлое. Тук-тук-тук — стучит в лесу верный топор древнего лесника, вырезая на узловатом стволе рунический знак в виде клина, чтобы предостеречь других лесников, что здесь произрастает ядовитый мухомор. А вон бурый мишка-медведь резвится на мшистой поляне... Ничего этого никогда не было, а мой отец, если хотите знать, был порядочная сволочь. Напомните мне, я вам как-нибудь в другой раз про него расскажу.

А в-третьих, я намерен вернуть Стюарту долг. Я не Гульельмо-Предатель[2]. Честность и простодушие будут впредь моим знаменем. Шутовская маска для сокрытия разбитого сердца мне больше не надобна, — долой ее. Раскланиваясь, я вежливо приподниму на прощание пантуфли с бубенчиками — если пантуфли приподнимают. Иными словами, я прекращаю валять дурака.

Стюарт. Я вот что думаю. Надо как-то помочь Оливеру. Это наш долг. Он бы сделал для нас то же самое, окажись мы в беде. Так было жаль его тог-

1. Незначительный персонаж в "Хрониках" Шекспира ("Генрих IV").
2. Персонаж оперы Моцарта "Так поступают все женщины".

да, в цветочном магазине. У него нет работы. И нет уверенности в себе — а ведь Оливер с самых ранних лет всегда был в себе уверен. Он ни перед кем не пасовал, даже перед своим папашей. Это, я думаю, и лежит в основе всего. Если тебе пятнадцать лет и у тебя такой отец, а ты умеешь дать ему отпор, то тебе весь мир не страшен. Но сейчас Оливеру страшно. А все эта ужасная история с испаноязычной девицей. У прежнего Оливера ничего такого не могло приключиться, а даже если бы и приключилось, он бы наплевал и как-нибудь да вывернулся. Придумал бы какую-нибудь шутку, обернул бы все в свою пользу. Но чего уж точно бы он не сделал, так это не пошел бы и не купил ей наутро колоссальный букет, да еще потом попался бы на месте преступления. Он словно бы попросил: пожалуйста, никому не рассказывай, не раструби по всему свету, а то меня могут обидеть. В прежние времена никогда с ним такого не бывало. И как он жалостно тогда сказал: я засыпался сегодня ночью! Это школьники так говорят. У него действительно все четыре колеса отвалились, уж поверьте мне. Мы должны постараться как-нибудь ему помочь.

Джилиан. Не знаю, что и думать. У меня дурные предчувствия. Вчера вечером Стюарт вернулся вечером с работы как всегда бодрый, жизнерадостный, поцеловал меня, обнял за плечи и усадил, словно собрался сообщить что-то важное. И спрашивает:

— Что, если нам поехать немного отдохнуть?

Я улыбнулась.

— Оно, конечно, неплохо бы, но мы ведь только вернулись из свадебного путешествия.

— Ну, когда это было. Целых четыре недели назад. Вернее, даже пять. Поехали?

— Угу.

— Возьмем, может, с собою Оливера. Ему надо немного встряхнуться.

Я сначала ничего не ответила. Сейчас объясню почему. У меня была подруга — она и есть, но мы временно потеряли связь — по имени Алисон. Мы учились вместе в Бристоле. Родные у нее жили в Суссексе в сельской местности, хорошая семья, нормальная, благополучная, любящая. Ее отец от них не убегал. Алисон вышла замуж сразу, как кончила университет, в двадцать один год. И знаете, что сказала ей мать вечером накануне свадьбы? Сказала совершенно всерьез, будто передавала совет, который у них в семье переходит от матери к дочери с незапамятных времен: "До конца душу им открывать не стоит".

Мы тогда вместе посмеялись. Но слова эти застряли у меня в памяти. Материнский совет дочерям, как управлять мужьями. Ценные истины, наследуемые по женской линии на протяжении столетий. И к чему же сводится эта накопленная мудрость? "До конца душу им открывать не стоит". На меня это нагоняло тоску. Я думала: ну нет, когда я выйду замуж, если выйду, у меня все будет честно и в открытую. Никаких хитростей, расчетов, недомолвок. И вот теперь начинаются недомолвки. Выходит, это неизбежно. Что же получается? По-вашему, иначе брак невозможен?

А что еще я могла сделать? Если честно, то я должна была рассказать Стюарту о том, как Оливер появился на пороге и как я распорядилась его цветами. Но тогда надо было бы рассказать и о том, что назавтра он позвонил по телефону и спросил, понравились ли мне цветы. Я ответила, что выбросила их, и в трубке стало тихо, а когда я в конце концов

произнесла: "Алло, ты слушаешь?", он только сказал в ответ: "Я тебя люблю" – и повесил трубку. Надо было все это рассказать Стюарту?

Конечно нет. Я просто обратила в шутку его предложение о поездке: "Значит, тебе со мной уже стало скучно?" Как и следовало ожидать, Стюарт понял все наоборот. Он решил, что я обиделась, забеспокоился, принялся уверять, что очень меня любит, а это было совсем не то, что я хотела в ту минуту услышать, хотя, с другой стороны, я, конечно, хочу это слышать всегда.

Я обратила все в шутку. Я не то чтобы скрытничаю, я просто обращаю все в шутку. Уже?

Стюарт. По-моему, Джилиан обиделась на мое предложение поехать куда-нибудь нам втроем. Я хотел ей объяснить, но она вроде как оборвала меня. Ничего такого не сказала, но, как всегда в таких случаях, отвернулась и чем-то занялась и чуть-чуть дольше обычного помедлила с ответом. Смешно, но мне уже кажется, что с этой ее манерой я знаком всю жизнь.

Тем самым поездка отменяется. Вернее, не отменяется, а изменяется. Только мы вдвоем, и всего лишь на уик-энд. Утром в пятницу мы едем на машине в Дувр и переправляемся во Францию. Понедельник – выходной, так что у нас в распоряжении четыре дня. Отыщем где-нибудь маленькую гостиницу, полюбуемся красками ранней осени, побродим по рынку, накупим косиц чеснока, которые потом заплесневеют, прежде чем мы успеем его употребить. Не надо строить никаких планов – а я как раз люблю планировать все заранее, или, вернее, начинаю беспокоиться, если что-то не продумано и не спланировано. Наверно, сказывается влияние Джил в том, что я теперь все-таки могу вдруг предложить: "Давай поедем просто так?" Это ведь недалеко и ненадолго, и вероятность того, что во всех гостиницах Северной Франции не окажется ни одного свободного номера, крайне мала, так что мне в общем-то и не из-за чего беспокоиться. Но все равно для меня это что-то новое. Я учусь беззаботности. Это – шутка, между прочим.

Оливер, похоже, расстроился, когда я ему сказал. Это показывает, какой он сейчас ранимый. Мы встретились, зашли выпить. Я рассказал ему, что мы собираемся во Францию на уик-энд. У него лицо сразу вытянулось, будто мы его покидаем. Мне хотелось утешить его, что, мол, это ненадолго и вообще, но ведь такие вещи не говорятся между друзьями, верно?

Он сначала ничего не сказал, потом спросил, где мы остановимся.

– Не знаю. Найдем где-нибудь.

Он сразу оживился и стал обычным Оливером. Приложил мне ладонь ко лбу, как будто у меня жар.

– Ты не болен? На тебя совсем не похоже. Откуда этот новый дух безрассудства? Поспеши в аптеку, юноша, и купи валерьянки.

Несколько минут он так надо мной подтрунивал. Расспрашивал, на каком пароме мы поплывем, в Кале или Булонь, куда отправимся из порта, когда будем обратно и так далее. Мне тогда не показалось это странным, но после, задним числом, я обратил внимание, что он даже не пожелал нам счастливого пути.

Прощаясь, я пообещал привезти ему беспошлинных сигарет.

– Не трудись, – ответил он.

– Ты чего? Какой это труд?

– Не трудись, – повторил он чуть ли не злобно.

Оливер. Господи, я так перепугался. Мы встретились в пивной, в этакой тусклой норе, где этот дикобраз Стюарт любит забиваться в старинный уголок у камина, оформленный в манере Нормана Шоу[1], и попивать эль, как с доисторических времен попивали его крестьянские предки. Я ненавижу пивные, особенно с тех пор как бросил курить (отречение, коего совершенно не заметил наш друг Стюарт). Да, и еще я ненавижу слово "тусклый". Пожалуй, перестану им пользоваться на некоторое время. Мигните мне, если обмолвлюсь, ладно?

И вот сидим мы с ним в этом кошмарном заведении, где "стаканчик белого" еще ядовитее, чем крестьянский эль, и выбор шотландского питья оставляет желать лучшего, а чужой никотин проникает мне в печенки (дыхните в меня табачным дымом, ну пожалуйста, — я продам родину за "Силк кат", предам друзей за "Уинстон"), и тут вдруг Стюарт с подлым, довольным выражением лица сообщает:

— А знаешь, мы уезжаем.

— Ты что говоришь?

— Отплываем в пятницу утром. Из Дувра. Первым паромом. "И в облаке пыли скроемся с глаз".

Признаюсь, я жутко испугался. Решил, что он увозит ее навсегда. Мне представилось, как они уезжают все дальше и дальше — Страсбург, Вена, Бухарест, Стамбул, без остановок, без оглядки. Ветер треплет ее свежезавитые локоны в машине с опущенным верхом — по пути на восток, прочь от Олли... Потом-то я все-таки кое-как реставрировал свой обрушившийся шутейный фасад, но внутри бушевала паника. Он может ее увезти, думал я, вполне может, он способен причинить мне боль, этот дикобраз, даже не заметивший, что я бросил курить. Он теперь обрел силу бессознательной жестокости, и дал ему эту силу я.

Но оказалось, разумеется, что он задумал всего лишь "прошвырнуться на уик-энд", говоря словами этого счастливчика, этого существа, которое летом погружается в спячку. А также осенью. И вообще на протяжении почти всей жизни. И это он, косматый Стюарт, вдруг обрел власть причинять боль.

Он пообещал прислать мне открытку. Представляете? Цветную открытку, черт возьми.

Джилиан. Разговор происходил так.

— Можно мне как-нибудь поехать с тобой по магазинам?

— По магазинам? Конечно. Что ты хочешь купить?

— Я хочу купить что-нибудь для тебя.

— Для меня?

— Одежду.

— Тебе не нравится, как я одеваюсь, Оливер? — я постаралась выдержать шутливый тон.

— Я хочу одеть тебя.

Я подумала, что надо реагировать немедленно, пока разговор не зашел слишком далеко.

— Оливер, — проговорила я тоном его матери (или по крайней мере моей), — Оливер, не говори глупости. У тебя даже работы нет.

— О да, я знаю, заплатить я не смогу, — саркастически подтвердил он. — У меня нет денег, не то что у Стюарта... — Затем пауза, и уже другим

1. Ричард Норман Шоу (1831—1912) — английский художник и архитектор.

голосом: — Я просто хочу тебя одеть, вот и все. Хочу помочь. Поехать с тобой по магазинам.

— Это очень мило с твоей стороны, Оливер, — сказала я. И снова поторопилась поставить шутливую точку: — Буду иметь в виду.

Он сказал:

— Я тебя люблю.

И я повесила трубку.

Так и надо с ним. Я решила говорить приветливо, коротко и вешать трубку. Чушь какая-то. Он, видимо, совсем растерялся. И наверно — неосознанно конечно, — завидует нашему счастью. Мы всюду бывали вместе, втроем, а потом мы со Стюартом поженились, а он почувствовал себя брошенным. Теперь нас не трое, а двое плюс один, и он это чувствует. Вполне естественно, на самом деле. У него это, конечно, потом пройдет.

При других обстоятельствах я бы не отказалась поехать с Оливером по магазинам. От Стюарта, по правде сказать, проку мало. Не потому, что он не любит делать покупки, вовсе нет, но что бы я ни примерила, ему все нравится. На его взгляд, мне к лицу все цвета и все фасоны. Даже если я выйду из примерочной в мешке для мусора и с абажуром на голове, он скажет, что это мне идет. Очень, конечно, мило и трогательно, но пользы для дела никакой.

Оливер. Я не фантазирую на этот раз. Вы-то, наверно, решили, что я насочинял для Джилиан бог знает какие одеяния: собольи меха из "Бориса Годунова", краски Римского-Корсакова, младенчески светлые летние горошки Россини, веселые аксессуары Пуленка... Нет уж, извините. Я не владелец неисчерпаемой чековой книжки (куда мне!), пускающий слюни перед витринами, и не ходячий псих, просто я отдаю себе отчет в том, что мой глаз, мое чувство цвета, мое умение разбираться в тканях превосходят компетенцию Стюарта и Джилиан, вместе взятых. В квадрате. В кубе. Во всяком случае, если судить по результатам. Пусть человек не уделяет внимания одежде, все-таки он выглядит гораздо лучше, если то, что на нем, хорошо сшито. И пусть человек говорит, что ему безразлично, как он выглядит, на самом деле ему это не безразлично. Нет таких людей, которым не важно, как они выглядят. Просто некоторые думают, будто им к лицу, когда у них кошмарный вид. Такая разновидность гордыни. Я выгляжу как чучело огородное, потому что мои мысли витают в более высоких сферах; потому что у меня нет времени на мытье головы; потому что если ты меня вправду любишь, то люби и нечесаным. Джилиан, конечно, совсем не из таких. Наоборот. Но я хочу ее пересоздать. То есть преобразить, переделать, переадресовать, переассигновать — если использовать термин Стюарта из термитного мира бизнеса и финансов, означающий "передать в другие руки". Переходный глагол.

Стюарт. Мы чудесно провели эти несколько дней. Из Кале поехали по автостраде, повернули налево, когда нам вздумалось, оказались где-то вблизи Компьена. Когда начало темнеть, остановились в какой-то деревушке. Сняли номер в гостинице для семейных, старинном здании углом, со скрипучей деревянной галереей, на которую выходят все номера.

Само собой, мы побродили по местному рынку и, конечно, купили две косицы чеснока, который заплесневеет, прежде чем мы его употребим. Надо будет часть раздарить. Погода была немного сыровата, но какая разница?

Об Оливере, честно говоря, я первый раз вспомнил только уже на пароме. Вспомнил и подумал, что надо бы купить ему французских сигарет. Но Джилиан сказала, что он, оказывается, больше не курит. Как странно. И совсем на него не похоже.

Джилиан. Не знаю, с чего начать. Не знаю, к чему все это приведет и чем кончится. Что происходит? Никакой моей вины тут нет, а я чувствую себя виноватой. Все-таки чувствую, хотя точно знаю, что не виновата.

Не уверена, что поступила правильно. Может быть, вообще ничего не надо было делать. Может быть, мой поступок был актом соучастия, по крайней мере с виду. Возможно, что лучше бы все — хотя ведь и не было ничего — вышло тогда наружу. А что тут такого? Но мы так славно провели те четыре дня — наверно, мне хотелось продлить это состояние.

Дождь перестал, только когда мы уже плыли на пароме из Булони обратно. Насмешка судьбы. В каком-то смысле из-за этого все и вышло.

На пути туда мы переплыли из Дувра в Кале. Дальше поехали на машине по автостраде. Свернули с нее почти наобум. И деревню, где остановиться, тоже выбрали почти наобум. Просто нас застали там сумерки. А в понедельник после завтрака снялись с места и обедали уже в Мондидье. Дальше поехали на Амьен. Дворники на лобовом стекле отчаянно ширкали туда-сюда, по сторонам мелькали сырые сараи и мокрые коровы. Уже за Амьеном я вспомнила паромную пристань в Кале. Там сначала надо проехать вокруг города, потом пройти тысячную очередь на посадку, теряется ощущение, что находишься в приморском городе и садишься на корабль. Ведь должно это чувствоваться, верно? Ну и я предложила Стюарту лучше свернуть в Булонь. Он было засомневался, потому что из Булони отходит меньше паромов. Но зато не пришлось бы ехать под дождем лишних тридцать километров, и я сказала: если по расписанию паром не скоро, можно будет поехать дальше, до Кале. И это был не спор, как вам, наверно, подумалось по моему рассказу, а просто уютное обсуждение и легко достигнутое согласие. У нас со Стюартом так, он не дает мне почувствовать, что для него — вопрос гордости, как мы поступим, по его или по-моему. Это мне в нем понравилось с самого начала. Большинство мужчин, если им предложишь отступить от заранее намеченного плана, воспринимают это, пусть и неосознанно — что иногда даже хуже, — как оскорбление, как покушение на их достоинство. Они не могут спокойно допустить, что ты думаешь иначе, даже если вопрос пустяковый. Но Стюарт, я повторяю, не такой. "Ладно, Булонь так Булонь", — сказал он, и в это мгновенье мимо пронесся автомобиль и заляпал нам жижей лобовое стекло.

Это я все к тому, что никто не знал, куда мы направились и где расположились. Утром мы выехали обратно, останавливались, когда в голову взбрело, посовещались, переменили план и отплыли на первом же пароме из порта, в котором не высаживались. Но Оливер был на этом пароме.

Всю дорогу шел дождь. Вообще он лил беспрерывно все четыре дня. И даже когда мы уже ждали своей очереди, чтобы подняться на паром. Внутри тоже все было мокрое — ступени, перила. Мы сидели в отгороженном углу большого общего салона. Окна запотели. Если их и протереть, все равно ничего не увидишь из-за дождя. И только примерно на полпути через пролив вошел человек в виниловом плаще, сел за соседний столик и сказал, что дождь наконец перестал; везет как утопленни-

кам, сказал он. Когда мы со Стюартом это услышали, мы поднялись со своих мест и поискали глазами ближайший выход на палубу. Знаете, как бывает на паромах, — теряешь всякую ориентацию, то ли ты на первой палубе, то ли на второй, и непонятно где окажешься, когда выйдешь, на носу, на корме или у борта. Мы прошли в ближайшую дверь, перешагнув через высокий порог, предназначенный, как я понимаю, для того, чтобы вода не захлестывала в салон при шторме, поднялись по лестнице и оказались на боковой палубе в средней части парома.. Гляжу налево вдоль борта — там футах в пятнадцати от нас стоит Оливер, уставившись на воду. Он был виден мне в профиль. На меня он не смотрел.

Я сразу повернулась, налетела на Стюарта, пробормотала: "Прости" — и стала спускаться обратно. Он за мной. Объясняю, что меня вдруг замутило. А разве не лучше выйти на свежий воздух? Но я сказала, что как раз от свежего воздуха мне и стало нехорошо. Мы снова уселись. Стюарт был очень внимателен. Я уверила его, что сейчас все пройдет. А сама не спускала глаз с той двери.

Немного погодя, убедившись, что я в порядке, Стюарт встал.

— Ты куда? — спрашиваю. Меня охватило страшное предчувствие. Надо было во что бы то ни стало не пустить его на палубу.

— Пойду, может, куплю Оливеру сигареты, — отвечает он. — Беспошлинные.

Я боялась, что меня выдаст голос.

— Он не курит, — говорю. — Бросил.

Стюарт погладил меня по плечу.

— Тогда куплю ему джина.

И ушел. А я шепотом повторила ему вслед:

— Оливер теперь уже не курит.

Я все время смотрела на дверь. Ждала, чтобы Стюарт скорее вернулся. Надо было, чтобы мы сошли на берег и он нас не заметил. Мне казалось, что от этого зависит наше счастье. Я поторопилась первой стать в очередь на нижнюю палубу за автомобилями. Ступени были такие же мокрые и скользкие, как при посадке. Стюарт все-таки накупил французских сигарет. Сказал, что отложит их до того времени, когда Оливер снова закурит.

Что же происходит?

Оливер. Я благополучно доставил их домой. Это все, что мне было нужно. А вы уж конечно предвкушали лязг морского сражения, развевающиеся по ветру зюйдвестки, судно, символически раздираемое между креном и качкой? Однако море было, во всяком случае, спокойное, и я благополучно доставил их домой. Благополучно доставил домой — ее.

9. Я *тебя не люблю*

Стюарт. Что-то странное в последнее время творится с моим другом Оливером. Он говорит, что начал бегать, что бросил курить, что собирается возвратить мне деньги, которые у меня занял. Я, правда, ничему этому не верю, но даже то, что он все это говорит, показывает, что с ним что-то происходит.

Например, эта история с телефонами. На днях вечером он ни с того ни с сего вдруг принялся расспрашивать меня про новые марки мобиль-

ных телефонов — как ими пользоваться, какой у них диапазон, какие сколько стоят. Не иначе как надумал завести телефон в своем старом драндулете. Вот уж чего от Оливера никак не ожидал. Он такой... старомодный. Вы даже не представляете себе, как он весь настроен на старину. С виду он, наверно, производит впечатление просто художественной натуры, слегка витающей в облаках, но на самом деле все гораздо хуже. Честно сказать, он, по-моему, совершенно не приспособлен к жизни в современном мире — ничего не смыслит ни в деньгах, ни в бизнесе, ни в политике, ни в автомобилях. Утверждает, что виниловые пластинки дают лучший звук, чем компакт-диски. Ну что прикажете делать с таким человеком?

Оливер. Я должен быть возле нее, понимаете? Я должен завоевать ее, заслужить ее, но прежде всего я должен быть рядом с ней.

Кажется, я теперь представляю себе, что испытывают упрямые борцы за благосклонность масс, готовые на все, чтобы только пробиться на зеленые кожаные скамьи Вестминстера и получить право осыпать друг дружку оскорблениями. Они обходят дом за домом, порог за порогом, словно продавцы щеток или чумазые трубочисты, которые, впрочем, давно уже исчезли с наших улиц заодно с голосистыми разносчиками пышек, молчаливыми точильщиками и улыбчивыми детишками-скаутами, предлагающими мелкие услуги за два пенса. Теперь я знаю, как вянут и гибнут живописные старинные ремесла, остатки прежнего быта. Кто теперь стучится в вашу дверь? Только грабитель, страстно жаждущий вашего отсутствия; хмурый фундаменталист, требующий от вас обращения, пока не настал Судный день; да женщина в сари и в кроссовках, сующая в почтовую щель пачку талонов на грошовые скидки, микроскопический флакончик с ополаскивателем или карточку с телефоном ночного таксиста для доставки в аэропорт. Ну и еще кандидат в парламент. Могу я рассчитывать на ваш голос? Проваливай, чтоб духу твоего здесь не было. О, это интересно. Если у вас найдется минута, я бы изложил вам взгляды нашей партии по данному вопросу. Дверь захлопывается. Дальше — в соседний дом, где, так и быть, берут листовку и тут же суют в помойное ведро, как только вы повернулись спиной. И еще в следующий, где обещают поддержку в обмен на гарантии, что ваша партия — за преследование, тюремное заключение и по возможности смертную казнь для определенных категорий жителей с небелым цветом кожи. Как они добиваются своего? Почему не отступаются?

У меня хотя бы избирательный округ небольшой и ограниченный набор возможных унижений. Меня принимали за вора, за учтивого насильника, за мойщика машин без своего ведра и за бродячего стекольщика, не говоря о вкрадчивом кровельщике, доверительно сообщающем, что там у вас черепица отошла, мэм, а мы как раз случайно оказались с лестницей в вашем квартале, так, может, поладим на восьмидесяти фунтах? И это при том, что я всего лишь скромно пытался снять жилище на несколько месяцев, одну комнату для непостоянного пребывания, плата, разумеется, вперед, сидеть с ребенком, к сожалению, не смогу. В ответ многозначительно переглядываются — оказывается, надо еще отвести от себя подозрение в том, что я ищу место для тайных любовных игр с несовершеннолетними жертвами разврата. Понимаете ли, мэм, я киносценарист, мне нужна отдельная студия, абсолютное одиночество, чтобы приходить и уходить когда вздумается, частые отсутствия, капризы гения, знаете ли, страсть к

перемене мест, могу представить несколько поддельных рекомендаций от ректоров разных колледжей Оксбриджа, от директоров Шекспировских школ, одно даже на бланке палаты общин. Не бродяга, не взломщик, а настоящий, черт побери, Орсон Уэллс[1], вот кто обращается к вам за помощью, хозяйка, и без пользования телефоном.

Едва не выгорело в № 67, и это было бы идеально. Но она предложила прекрасную комнату под самой крышей, окнами во двор. Мне пришлось изобразить страх перед испепеляющими лучами солнца. Мой хрупкий гений нуждается в северном освещении. А с окном на улицу никак нельзя?.. Увы, нет. И я уныло поплелся дальше и дошел до № 55, где перед фасадом сплетала ветки араукария и окна сильно страдали от глаукомы. Низкая калитка открылась со скрипом, расписавшись ржавчиной на моей ладони (Я приведу ее в порядок, мэм!), дверной звонок звонил, только если нажать его большим пальцем наискось с юго-юго-востока. Миссис Дайер оказалась крошечной; голова ее вращалась на тонкой шейке, как гелиотроп на стебле, а волосы прошли стадию белизны и желтели, как табачное пятно на цыганском пальце. У нее есть комната с окном на север, кино она и сама любила, пока глаза не сдали, и денег вперед ей не надо. Это было выше моих сил. С одной стороны, мне хотелось крикнуть ей: не доверяйтесь мне так, вы ведь меня не знаете, нельзя принимать на веру то, что вам говорят, это опасно, вы такая хрупкая, а я такой здоровенный; а с другой стороны, подмывало шепнуть: я вас люблю, уедемте вместе вдаль, сядьте ко мне на колено, я всегда буду помнить вас. Вы так полны своим прошлым, а я так полон моим будущим.

Вместо этого я предложил:

— Хотите, я приведу в порядок вашу калитку?

— Она и так в полном порядке, — твердо ответила миссис Дайер, и меня захлестнула волна невыразимой нежности.

Теперь, неделю спустя, я сижу здесь, наверху, среди ветвей араукарии, и смотрю через сумеречную улицу, поджидая, когда вернется домой моя любимая. Она скоро появится и будет выгружать из машины покупки — рулоны двухслойных бумажных полотенец, молоко и масло, джемы и соленья, хлебы и рыбы, и зеленую жидкость для мытья посуды, и слоновую коробку отвратительного птичьего корма, который Стю употребляет на завтрак, бодро тряся по утрам над тарелкой, как маракасы: шш-чух-а-чух, шш-чух-а-чух. Как мне удержаться и не съехать по стволу араукарии прямо вниз, чтобы помочь ей в разгрузке ее маленького автомобиля?

Хлебы и рыбы. Для Стюарта она всего лишь мастерица покупать продукты. Тогда как для меня она творит чудеса.

Джилиан. Телефон зазвонил, когда я выгружала покупки. Я с улицы услышала звонок. Но у меня в обеих руках были полные сумки, под мышкой батон, ключи от двери в зубах, ключи от машины еще в кармане. Я ногой захлопнула дверцу, опустила одну сумку, заперла машину, подхватила сумку и побежала к двери, а на крыльце остановилась, уронила батон, не могла найти ключи, поставила сумки, вспомнила, что держу ключи во рту, отперла дверь, вбежала, и в этот момент телефон замолчал.

Я не огорчилась. Я теперь гораздо спокойнее отношусь к тому, что раньше так раздражало, и даже совсем скучные дела, вроде покупок, ста-

1. Орсон Уэллс (1915—1985) — знаменитый американский актер, режиссер, сценарист.

ли казаться увлекательными. А не попробовать ли вот это? Не знаю, любит ли Стюарт сладкий картофель? И так далее. Обычные заботы.

Снова зазвонил телефон. Я сняла трубку.

— Прости.

— Как вы сказали?

— Прости. Это Оливер говорит.

— Привет, Оливер, — снова деловито-веселым голосом. — За что просишь прощения?

Он молчал, как будто обдумывал очень глубокомысленный вопрос. Потом ответил:

— Я... э-э-э ...я думал, ты, наверно, занята. Прости, пожалуйста.

В трубке вдруг зашуршало, затрещало. Голос слышался как бы издалека. Я подумала, что он уехал и звонит откуда-то, чтобы извиниться за прежние звонки.

— Оливер, где ты находишься?

Снова долгое молчание. Потом:

— Все равно где.

И тут мне представилось, что он принял какую-то отраву и звонит попрощаться. С чего это мне взбрело в голову?

— Что-то случилось?

Опять его стало хорошо слышно:

— У меня все отлично. Мне давно не было так хорошо.

— Вот и чудесно. А то Стюарт о тебе беспокоился. Мы оба беспокоились.

— Я тебя люблю. Всегда буду любить. Никогда не перестану.

Я положила трубку. А как бы вы поступили?

Я все время анализирую: ну разве я его поощряла? У меня и в мыслях не было. Почему же я чувствую себя виноватой? Это несправедливо. Я же ничего не сделала.

Я отвлекла его от мысли поездить со мной по магазинам. Вернее, просто сказала, что поездка не состоится. Теперь он говорит, что хочет посмотреть, как я работаю. Я сказала, что подумаю. В дальнейшем я буду разговаривать с Оливером очень твердо, прямо и по делу. Он убедится, что ему нет смысла болтаться поблизости и притворяться влюбленным. Но Стюарту ничего не скажу. Пока не скажу, так я решила. Может, вообще никогда. Я думаю, он был бы... ошарашен. Придал бы этому слишком большое значение. А если Оливер хочет со мной видеться, — может быть, это даже и неплохо, я бы ему немного прочистила мозги, — то я соглашусь только после того, как мы обсудим это со Стюартом.

Вот именно. Так и сделаю. Я решила.

Но я знаю, почему я чувствую себя виноватой. Вы, наверно, тоже догадались. Я чувствую себя виноватой, потому что Оливер кажется мне привлекательным.

Миссис Дайер. Очень симпатичный молодой человек. Я люблю, когда в доме молодежь. Чтобы приходили, уходили. Он пишет для кино, как он мне объяснил. Обещал контрамарку на премьеру. У молодых вся жизнь впереди, это мне в них нравится. Он предложил починить калитку, только зачем? Послужит, меня еще из нее вынесут.

На днях я возвращалась с покупками домой и вдруг вижу: он выходит из машины. На Барроклаф-роуд, возле бань. Он вышел из машины, запер ее и пошел дальше пешком впереди меня. Пока я притопала домой,

он уже у себя в комнате и весело насвистывает. Интересно, зачем ему было оставлять машину на Барроклаф-роуд? Все-таки за две улицы отсюда. А у нас возле дома сколько угодно места для парковки.

Наверно, стесняется своей машины. Даже я вижу, что она у него вся проржавела.

Оливер. Я был словно чокнутый, но это потому, что мне было страшно до полусмерти. Тем не менее я это сделал, я доказал!

Я пригласил их ужинать в мою главную резиденцию. Приготовил баранину с абрикосами, которую томил в темном австралийском вине с берегов Маджи-ривер, — веселенькая смесь, по крайней мере веселее, чем эта парочка, это уж точно. Глядя на сей неравный брак во плоти, я время от времени сникал, и тогда атмосфера становилась слегка напряженной. Я чувствовал себя Евгением Онегиным, перед которым зануда князь распевает дифирамбы своей Татьяне. А потом Джилиан возьми да выболтай Стюарту, что я хочу прийти посмотреть, как она работает.

— Тише, мое сокровище, — попытался я ее перебить. — Pas devant les enfants.

Но Стюарт теперь так пенится и пузырится от счастья, что я бы мог у него на глазах стать перед его женой на колени и он удовлетворился бы объяснением, что я ей подкалываю булавками подол.

— Прекрасная мысль, — отозвался он. — Я сам все собирался. Прелесть, — продолжал он, смакуя (и вовсе не имея в виду упоительную Джил), — это телятина?

После кофе я намекнул, что не прочь прикорнуть на овчинном плече Морфея, и они убрались восвояси. Дав им ровно три минуты форы, я стартую с места в карьер на своем железном коне. (На самом-то деле мне пришлось изрядно попыхтеть и повозиться, прежде чем удалось выжать из старого мотора упрямую, скупую искру; но ведь такова жизнь, не правда ли?) Стюарт, да будет вам известно, отвратительно кичится тем, что якобы может проехать по Лондону из конца в конец и не пересечь ни одного автобусного маршрута — срезая углы, ныряя в подворотни и виляя по темным переулкам, где кишат сонные полисмены. А вот Олли уже усвоил, что в наши дни езда по Лондону темными переулками не дает выигрыша во времени, там те же пробки, образованные вот такими, как Стюарт, знатоками задворок, которые экономят бензин и выписывают зигзаги и крутые повороты не хуже инструкторов на учебных полигонах. Всех их Олли учел заранее и преспокойно катит на своей колымаге (безусловно не "лагонде") по Бейсуотер-роуд, громыхает по Пиккадилли и даже сбрасывает скорость на безлюдной Юстон-роуд, давая соперникам спортивный шанс.

Я успел прочитать миссис Дайер лекцию о малых шедеврах Нормана Уиздома[1], после чего, насвистывая, улизнул в свою комнату, словно в порыве ночного вдохновения. А там выключил свет и уселся у окна, завешенного ершистыми побегами араукарии. Ну где же они? Где? Что, если они перевернулись в каком-нибудь смрадном тупике? Если он... Но нет. Вон долгожданный взблеск металла. И вон ее мучительно мирный, ничего не подозревающий профиль.

1. Ричард Норман Уиздом (р. в 1920 г.) — британский комик, мировую известность ему принесла роль мистера Питкина.

Автомобиль остановился. Стюарт выскакивает и вперевалку идет в обход к дверце Джилиан. Она вышла, и он зарылся в нее лицом, как зверь в нору.

От такого зрелища вполне может схватить живот. Позже, когда я ехал домой, мне уже было не до шуток.

Джилиан. Он держался очень спокойно. А я нервничала. Ожидала, что ли, что он набросится? Он увидел радиоприемник на скамеечке и спросил, включаю ли я его во время работы. Я ответила, что да, включаю.

— Тогда пусть играет, — тихо попросил он.

Передавали какую-то фортепьянную сонату, похоже на Гайдна. Нежный звук то взбегал по клавишам вверх, то возвращался, вычерчивая фигуры, которые легко предугадываются, даже если слышишь вещь в первый раз. Я немного успокоилась.

— Объясни, что ты делаешь.

Я оторвалась от полотна, обернулась.

— Нет, ты работай и рассказывай.

Я снова наклонилась над картиной. Это был маленький зимний пейзаж — замерзшая Темза, люди на коньках, детишки резвятся вокруг костра, разведенного прямо на льду. Славная картинка и ужасно грязная — не одно столетие провисела в банкетном зале какой-нибудь ратуши.

Я рассказала, как делают первые пробы на месте полосы от рамы — сначала послюнишь кусочек ваты и по очереди пробуешь разные растворители, объяснила, как подбирают растворитель, подходящий для данного лака. Лак в разных местах картины может быть разный. И краски тоже — одни легко сходят, другие более прочные (когда работаешь с нашатырем, всегда первыми размазываются красные и черные). Как я обычно начинаю со скучных мест, вроде неба, а на закуску приберегаю что-нибудь интересное — лицо или, например, белое пятно. Расчистка — самая приятная часть работы, а ретушировка совсем даже нет (это его удивило). Краски стареют, поэтому полотно XVII века гораздо легче размывать, чем XIX (это его тоже удивило). И все время, рассказывая, я катала по замерзшей Темзе ватные тампончики.

Постепенно вопросы кончились. Я продолжала работать. По окну тихо стучал дождь. Музыка строила в воздухе свои фигуры. Время от времени в электрокамине что-то вспыхивало. Оливер сидел у меня за спиной и молча следил за работой.

Было очень спокойно. И он ни разу не сказал, что любит меня.

Стюарт. По-моему, это хорошая мысль — чтобы Оливер иногда заглядывал к Джили. Он нуждается в том, чтобы его кто-нибудь успокаивал. И наверно, с ней он может разговаривать так, как не может со мной.

— Вероятно, он заезжает после того, как побывает у Розы, — предположил я.

— У кого?

— У Розы. Это девица, из-за которой его выгнали. — Джил ничего не ответила. — Разве он тебе не рассказывает про нее? Я считал, что это у него главная тема.

— Нет, — сказала она. — Он о Розе со мной не говорит.

— Ты бы как-нибудь навела разговор на нее. Он, наверно, хочет, но стесняется.

Оливер. Это замечательно. Я прихожу и сижу смотрю, как она работает. Захватываю жадным взором толстый стакан с кисточками, бутылки с растворителями — ксилол, пропанол, ацетон, — баночки с яркими красками, коробку со специальной реставраторской ватой (которая оказывается вызывающе банальными косметическими тампонами). А Джилиан, мягко изогнувшись, сидит у мольберта и осторожно смывает с хмурого лондонского неба трехвековые слои. Слои чего? Пожелтевшего лака, древесной копоти, сажи, свечного воска, табачного дыма и мушиного помета. Да-да, я не шучу. То, что я сначала принял за птиц в вышине, разбрызганных по мрачному небу одним поворотом запястья, оказалось просто засижено мухами. Растворители, перечисленные выше, да будет вам ведомо, над мушиными экскрементами не властны, так что, сталкиваясь с такой же проблемой у себя дома, пользуйтесь слюной или нашатырем, а если уж и это не поможет, тогда приходится соскребать каждую точечку скальпелем.

Я воображал, что промывка картины — дело однообразное и нудное, а ретушь дарит творческую радость, но оказалось, что все с точностью до наоборот. Я попытался подробнее расспросить Джилиан об источниках ее профессионального удовлетворения.

— Самое лучшее — это когда снимаешь слои записи и обнаруживается что-то, о чем заранее не знаешь. Когда двухмерное постепенно становится объемным. Например, проступают черты лица. Скажем, сейчас мне не терпится заняться вот этим местом.

Она указала тампоном на фигурку ребенка, испуганно держащегося за спинку саней.

— Так приступай. Aux armes, citoyenne[1].

— Я его еще не заслужила.

Видите, как все в этом мире исполнилось смысла, как одно аукается с другим? История моей жизни. Обнаруживаешь что-то, о чем раньше не знал. Плоское становится объемным. Ты можешь оценить лепку лица. Но сначала все это надо заслужить. Ну что ж, я заслужу.

Я спросил, как она определяет, когда ее возня с тампонами и катышами уже сделала свое дело.

— Ну вот на это, например, потребуется еще недели две.

— Да, но как ты определяешь, что готово?

— Чувствуется, в общем.

— Но должен же быть какой-то рубеж... когда смыто все дерьмо, и лессировка, и подмалеванные куски, когда снадобья Аравии сделали все необходимое и ты сознаешь, что перед тобой та самая картина, какую видел живописец, столетия назад отложивший кисть. Те самые краски, что накладывал он.

— Нету рубежа.

— Нету?

— Нету. Обязательно или чуть-чуть перестараешься, или наоборот, не доведешь до конца. Нет способа определить точно.

— То есть, если разрезать картину на четыре части — туда ей и дорога, если хочешь знать мое мнение, — и раздать четырем реставраторам, они остановятся на разных этапах?

— Да. Конечно, все доведут работу более или менее до одного уровня. Но решение, когда именно остановиться, принимает искусство, а не

1. К оружию, гражданка (*франц.*).

наука. Это чувствуешь. А не то что там, под слоями грязи, есть настоящая, подлинная картина.

Вот как, оказывается? О, лучезарная релятивность! Никакой настоящей, подлинной картины там, под слоями грязи, нет. То самое, что я всегда утверждаю касательно реальности. Можно скрести и слюнявить, мыть и тереть, покуда с помощью ксилола, пропанола и ацетона не достигнем того, что представляется нам неоспоримой истиной. Видите? Ни одной крапинки мушиного помета. Но ведь это не так! Это лишь мое слово против того, что утверждают все остальные!

Миссис Дайер. И еще одна его странность: он разговаривает у себя в комнате сам с собой. Я слышала. Говорят, люди творческие бывают немного со сдвигом. Но у него бездна обаяния. Я ему сказала: была бы я лет на пятьдесят моложе... А он чмокнул меня в лоб и ответил, что будет держать меня про запас на случай, если так и не доберется до алтаря.

Оливер. Я же сказал вам, я решил наладить свое житье. Насчет спортивных снарядов это я приврал, сознаюсь, — да я бы, только напяливая кроссовки, уже умер от разрыва сердца. Но в прочих отношениях... Мне надо позаботиться о следующих двух вещах: во-первых, днем по будням всегда быть свободным, на случай, если она меня пригласит; а во-вторых, зарабатывать довольно, чтобы оплачивать оба жилища — вавилонские чертоги в Вест-энде и спартанскую нору в северной части Лондона. Как, о боги! Очень просто: я работаю по субботам и воскресеньям. Помимо всего прочего, это отвлекает мои мысли от стоук-ньюингтонского вомбата и его уютного логова.

Работу я сменил. Теперь работаю в "Английском колледже мистера Тима". Что-то в его имени мне подсказывает, что мистер Тим и сам не совсем, как бы это сказать, английской породы. Но я придерживаюсь гуманитарного взгляда, что именно это обстоятельство притягивает к нему симпатии разноязыкой вавилонской толпы и она обращается к нему за помощью. Колледж этот пока еще не получил официального статуса — мистер Тим так перегружен пастырскими заботами, что все никак не соберется обратиться за одобрением в Британский Совет. (А ведь даже презренная школа имени Шекспира и та удостоилась признания.) Как следствие этого наши классы отнюдь не переполнены саудовскими принцами. Знаете, как некоторые наши учащиеся добывают себе средства на оплату учения? Расхаживают по людным улицам лондонского центра и раздают соответствующего вида прохожим листовки, рекламирующие "Английский колледж мистера Тима". Рыба кормится своим хвостом. Мистер Тим, между прочим, не признает таких педагогических новшеств, как лингафонные кабинеты, и таких вековых заведений, как библиотеки; и еще того менее он склонен к разделению учащихся по способностям. Слышите, как моральное негодование вздыбило всегда прозрачные воды Оливерова Weltanschauung'а[1]? Я думаю, слышите. Наверно, я сам подвергся еще большим изменениям, чем моя работа. Я ведь преподаю английский как иностранный. Никто не улавливает иронию. Английский как иностранный. Не чувствуете? Но если учить английскому как иностранному, ничего удивительного, что наши выпускни-

1. Мировоззрения (*нем.*).

ки не в состоянии купить себе в автобусе билет до Бейсуотера. Почему бы не учить английский как английский, хотелось бы мне знать?

Прошу прощения. Зря я так разошелся. Короче говоря, стоило мне только помахать перед носом у мистера Тима своей поддельной рекомендацией от Гамлетовской академии, и меня тут же напустили на группу дремлющих за партами чужеземных юношей и дев. С золотыми дублонами дела теперь обстоят не так, как прежде, сегодня мистер Тим борется за каждый грош. Я с трудом вытянул у него пять пятьдесят за час — против щедрых восьми в школе имени Шекспира. Эдак бедняга Олли, пожалуй, кончит мытьем полов в школьных коридорах.

Почему, поинтересовался мистер Тим, подражая Берлицевским аудиозаписям с шелковистым акцентом иннуита, почему мне так необходимы свободные вечера? Тут снова прискакал на подмогу бедный папаша. Мы с ним близки, как Ахилл с Патроклом, пояснил я (зная, что двусмысленность этого сравнения останется мистеру Тиму недоступна). Я должен подыскать ему приют для престарелых, и чтобы у него было широкое окно с видом на рощу вековых вязов, и на глубокую лощину, и на журчащий ручей, и на волшебный колодец, у которого исполняются желания, и на зеленую поляну... Дай бог ему, подлецу, удостовериться, что Босх ничего не преувеличил, что его "Торжество Смерти" — всего лишь идиллическая картинка в сравнении с тем, что будет на самом деле. Но умоляю, не позволяйте мне отвлекаться в эту сторону.

И теперь в послеобеденные часы я прихожу и сижу с нею, когда она меня пускает. Тряпица трет, шуршат кисти, тихо гудит электрокамин (я уже сентиментально прислушиваюсь, не затрещит ли пылинка на спирали?), таинственно напевает Радио-3, а она сидит ко мне в четверть оборота, и я вижу ее волосы, заколотые на одну сторону за ухом без мочки.

— Это ведь неправда, про Розу? — спросила она вчера.

— Что неправда?

— Вот что она живет тут поблизости и что ты ходишь к ней?

— Да, неправда. Я ее не видел с... тех пор.

Точнее выразиться я не смог, потому что мне было неловко — состояние духа, которое, как вы, наверно, представляете себе, случается у Оливера Рассела приблизительно так же часто, как появляется на небе комета Галлея. Мне было противно вспоминать исполненный мною убогий гавот эротического непонимания, противно сравнивать — думать, что, может быть, Джил сравнивает, — как я нахожусь в одной комнате здесь с ней и как находился в одной комнате с той, другой. Я испытывал смущение. Что можно к этому прибавить? Дурацкая неловкость возникла исключительно из-за того, что я принял решение говорить Джил неподкрашенную, неприпудренную правду. Честное благородное! Никаких прикрас. Крест на пузе.

Это заразно. Я прихожу, сижу у нее в комнате, мы почти не разговариваем. Я у нее не расслабляюсь, не распоясываюсь, не курю. И мы говорим друг другу правду. Мгм-м-м. Угу. Это скрипки? Обрывок ритмичного цыганского напева, проходящая мимо цветочница, ее улыбка в свете фонаря грустная, немного завистливая. Можете смущать меня и дальше, пожалуйста, Олли к этому готов, он уже почти привык.

Понимаете, я знаю, что у меня репутация человека, который добавляет к правде приправу острее, чем предписывает английская традиция. Два вида овощей и мясная подливка — это не мой стиль. Но с Джилиан все иначе.

Я придумал одно изящное сравнение. В мире живописной реставрации мода меняется — говорю это с новообретенным, проникновенным знанием дела. Сегодня требуется тереть с утра до ночи железной мочалкой. А на другой день уже главное — ретушь, замалевка всех пострадавших мест. Ну и так далее. Основной закон восстановления — обратимость. Это означает (простите, если я здесь немного упрощу), что реставратор должен (должна?) делать только то, что, как она знает, другие потом смогут переделать. Надо все время помнить, что сегодняшняя верность твоего решения верна только сегодня, его окончательность условна. Вот, например, какой-то политический маргинал с дикарским копьем в руке продырявил полотно кисти Учелло, уверенный, что этим вандализмом добьется отмены некоей вредной статьи закона. В лечебнице для картин рану заделали, дыры и царапины заполнили целлюлозной массой и готовятся приступить к ретушевке. С чего же начинает реставратор? Реставратор наносит слой изолирующего лака, который когда-нибудь даст возможность без особого труда удалить все позднейшие красочные наслоения — скажем, когда станет модно демонстрировать не только эстетические достоинства картины, но также и превратности ее исторической судьбы. Вот что понимается под словом "обратимость". То есть можно вернуться назад.

Видите, как оно подходит? Изящно, правда? Вы посодействуете, чтобы оно получило распространение, ладно? Вот текст сегодняшнего дня: Мы удалим то, чего не надо было делать, и это пойдет нам на пользу. Обратимость. Я уже принимаю меры и запасаю изолирующий лак для всех церквей и контор гражданской регистрации.

Когда она сказала, что мне пора уходить, я напомнил, что я ее люблю.

Джилиан. Надо это прекратить. Я вовсе не думала, что так получится. Предполагалось, что он будет приходить и рассказывать мне про свои неприятности. А вышло так, что говорю главным образом я. Он сидит, смотрит, как я работаю, и ждет, чтобы я заговорила.

Обычно у меня негромко играет радио. Музыка не мешает сосредоточиться. Ее как бы не замечаешь. А вот чье-то присутствие, например Оливера... Я не думала, что смогу при нем работать. Оказывается, могу.

Иногда мне хочется, чтобы он вскочил и набросился на меня. Все, Оливер, убирайся вон, а еще называется лучший друг Стюарта, да, да, именно, вон! Но он не набрасывается, и я с каждым днем все меньше уверена, что моя реакция была бы такой.

Сегодня, когда мы прощались, я заметила, что он открыл рот и смотрит на меня со значением. Я опередила его и бойким деловым тоном сказала:

— Нет, Оливер. Нет, нет.

— Ладно. Ты не беспокойся. Я тебя не люблю. — Но взгляд остался прежним. — Я тебя не люблю. Я тебя не обожаю. Я не хочу быть с тобой всегда. Не хочу завести с тобой роман. Не хочу жениться на тебе. Не хочу всю жизнь слышать твой голос.

— Уходи.

— Я не люблю тебя. Не беспокойся, — повторил он, закрывая за собой дверь. — Я не люблю тебя.

Оливер. Араукария грозит небу узловатыми пальцами. Вечер. Идет дождь. Мимо, шелестя шинами, проезжают автомашины. Я стою у окна. Я смотрю и жду. Смотрю и жду.

10. *Я не могу в это поверить*

Стюарт. Я не могу в это поверить. Собственно, я даже не знаю толком, во что — в это. Это — "ничего", как уверяет Джил, или, наоборот, "все"?

Как там говорят чертовы мудрецы, чья мудрость передается из поколения в поколение? Муж всегда первым начинает подозревать и всегда последним узнает.

Что бы это ни было... что бы ни было, страдать придется мне.

Кстати, не хотите сигарету?

Джилиан. Эти двое хотят одного: Стюарт — чтобы я была с ним, а Оливер — чтобы с ним. А я хочу, чтобы было и то, и это. Вернее — когда то, когда это.

Господи! Вчера я смотрела на Оливера и думала: я хочу вымыть твои волосы. Вот прямо так, вдруг, ни с того ни с сего. Я даже смутилась. Они не были грязные, наоборот, они у него чистые и рассыпчатые. Они удивительно черные, волосы Оливера. И я представила себе, как я их намыливаю и споласкиваю, а он сидит в ванне. Ничего такого про Стюарта я никогда не представляла себе.

А я — посредине. На меня все время давят с обеих сторон. И страдать придется мне.

Оливер. Почему винить всегда надо меня? Олли, разбиватель сердец, Олли, разрушитель семьи. Пес, кровопийца, змея подколодная, паразит, хищник, стервец, собака динго. А на самом деле совершенно не так. Я скажу вам, кем я себя ощущаю. И не смейтесь, пожалуйста. Я — этот самый мотылек, ночная бабочка, бьющаяся о стекло. Тук-тук-тук! Теплый желтый свет, такой, на взгляд, нежный, уютный, сжигает мне душу.

Тук-тук-тук! Страдать придется мне.

11. *Любовь etc*

Оливер. Все это время я звоню ей каждый день и говорю, что я ее люблю. Она перестала бросать трубку.

Стюарт. Вы уж потерпите и послушайте меня, хорошо? У меня не такой быстрый ум, как у моего друга Оливера. Я должен сначала разобраться, постепенно, шаг за шагом. Но в конце концов я докапываюсь до ответа.

Понимаете, на днях я возвратился домой раньше обычного. И когда завернул на нашу улицу — *нашу* улицу, — вдруг издалека вижу — мне навстречу идет Оливер. Я машинально помахал ему, но он шел опустив голову, торопился и меня не видел. Где-то шагов за сто от меня он вытаскивает из кармана ключ и заходит в дом. Дом от нас на противоположной стороне, там еще перед окнами растет араукария. В нем старушка одна живет. Пока я поравнялся с этим домом, под номером 55, дверь уже захлопнулась. Я двинулся дальше, домой, вошел, прокричал, как всегда, бодро: "Ау! Я вернулся!" И стал соображать.

Следующий день был суббота. Я знаю, что Оливер по субботам дает уроки у себя на квартире. Я надел спортивную куртку, отыскал блокнот и фломастер и пошел через улицу в дом № 55. Вроде как я представитель местного совета, понимаете? Записываю последние данные в связи с но-

вым коммунальным сбором или подушным налогом и проверяю всех проживающих по каждому адресу. Старушка представилась как миссис Дайер, домовладелица.

— И тут еще проживает... — я зачитал из листка в блокноте: — Найджел Оливер Рассел?

— Я не знала, что он Найджел. Мне он сказал, что его зовут Оливер.

— А также Роза...? — я промямлил нечто вроде иностранной фамилии, стараясь, чтобы звучало на испанский манер.

— Нет, таких здесь нет.

— Ах, простите, перепутал строчки. Стало быть, здесь проживаете только вы и мистер Рассел?

Она подтвердила. И я по садовой дорожке направился к выходу.

— Не обращайте внимания на калитку! — крикнула миссис Дайер мне вдогонку. — Через нее меня еще вынесут.

Так. Это для начала. Значит, вчера Оливер со своим ключом шел не к Розе.

Теперь надо исключить другую возможность. В воскресенье утром Джилиан поднялась наверх работать, так как обещала музею, что отдаст сценку на замерзшей Темзе к исходу будущей недели. (Вы, кстати, видели эту картинку? Красивая. По-моему, такими и должны быть настоящие картины.) У нас наверху телефонной розетки нет, мы сознательно не поставили там аппарата, чтобы не мешал ей работать. А внизу, двумя этажами ниже, я набрал номер Оливера. У него как раз шел урок устной речи, как он это называет, то есть к нему приходит на чашку кофе несчастная ученица, он болтает с ней про Кубок мира или еще про что-нибудь — и позвольте десяточку. Нет, конечно, какой там Кубок мира, надо знать Оливера. Не иначе как он задает им переводить иллюстрированное руководство по сексу.

Но я сразу перешел к делу — мы, мол, совсем оскандалились по части гостеприимства, пусть он в следующий раз, когда заедет в наши края повидать Розу, возьмет ее с собой и привезет к нам ужинать.

— Pas devant, — произнес он в ответ. — C'est un canard mort, tu comprends?[1] — Ну, может, я неточно передаю, но что-то возмутительное в этом смысле. Я исполнил старый номер "Необразованный Стюарт", и ему пришлось еще перевести: "Мы теперь видимся не так часто".

— О, очень жаль. Опять залег в зимнюю спячку? Ну что ж. Тогда один подваливай, когда сможешь.

— С удовольствием.

Я простился. Вы обратили внимание, что такие люди, как Оливер, всегда говорят: "Мы теперь видимся не так часто"? А ведь это глубоко нечестно — так говорить. Как будто люди культурно договорились между собой, когда на самом деле смысл совсем другой: я ее бросил, или — она от меня ушла, или — она мне так и так уже надоела, или — ей больше нравится в постели с другим.

Итак, второй этап завершен. Третий последовал за ужином, когда мы обсуждали дела нашего общего друга Оливера, скорее, я расспрашивал, ведь она с ним вроде бы видится довольно часто. А под конец разговора я спросил:

— А как они с Розой? Не помирились? Я думаю, может, пригласить их как-нибудь к нам в гости?

1. Дело прошлое, ты понимаешь? (*франц.*)

Она сначала не ответила. Потом сказала:

— Он о ней ничего не говорит.

Я промолчал — нет так нет. Вместо этого похвалил бататы, Джилиан их раньше никогда не готовила.

— Я не знала, понравятся ли они тебе, — сказала она. — Рада, что пришлись по вкусу.

После ужина перешли пить кофе в гостиную, и я закурил французскую сигарету. Я редко курю, и Джилиан посмотрела на меня вопросительно.

— Не пропадать же им, — объяснил я. — Оливер-то бросил курить.

— Смотри только не пристрастись.

— А ты знаешь, статистически доказано, что курильщики меньше подвержены болезни Альцгеймера, чем те, кто не курят? — Я с удовольствием повторил эти сомнительные сведения, которые где-то вычитал.

— Наверно потому, что курильщики умирают, не дожив до Альцгеймера, — сказала Джил.

Я рассмеялся. Тут она взяла надо мной верх.

Мы часто ложимся вместе в ночь на воскресенье. Но сегодня я по некоторой причине был не расположен. Причина ясная: я должен был все обдумать.

Итак. Оливер был однажды ранним утром застигнут в Стоук-Ньюингтоне за покупкой цветов для Розы, с которой накануне ночью потерпел в постели фиаско. Оливер, в очень подавленном состоянии, получает приглашение заходить к Джилиан в любой день, когда бывает в наших краях у Розы. Он и заходит, достаточно часто. Так-то оно так. Да только он у Розы не бывает. У нас вообще нет данных в пользу того, что она тут где-то живет. Зато есть данные, что здесь живет Оливер. Он снимает комнату в доме № 55 у миссис Дайер и ходит в гости к жене Стюарта в дневные часы, когда Стюарт отсутствует, зарабатывая деньги, чтобы выплачивать за дом.

ГДЕ ОНИ ЭТИМ ЗАНИМАЮТСЯ? У НЕГО ИЛИ ЗДЕСЬ? МОЖЕТ БЫТЬ, ДАЖЕ НА ЭТОЙ САМОЙ КРОВАТИ?

Джилиан. По правде сказать, иногда я кладу трубку и все равно продолжаю слышать голос Оливера, как он говорит, что любит меня... Нет, остального я, кажется, не смогу вам сказать.

Стюарт. Спрашивать я не буду. Ведь это может быть неправда. Если это неправда, разве можно задавать такой вопрос? А если правда?

Я не думал, что в нашей сексуальной жизни что-то не так. Совсем не думал. То есть совсем не думаю.

Послушайте, это же глупо. Ведь Оливер сам сказал, что у него проблемы с сексом. Почему же я должен считать — почему должен подозревать, — что у него роман с моей женой? Разве только он нарочно сказал, что у него проблемы с сексом, чтобы я ничего не заподозрил? И это сработало, верно? Какую это пьесу мы с Джилиан смотрели, где один тип прикидывается импотентом, и все верят, и мужья не препятствуют, чтобы он посещал их жен? Нет, это же смешно. Оливер не такой. Он не расчетливый. Хотя... Как же завести роман с женой лучшего друга, если ты не расчетлив?

Надо спросить у нее.

Нет, не надо спрашивать у нее. Не трогай лиха. Надо подождать.

Как давно это у них?

Прекрати.
Мы всего-то женаты несколько месяцев.
Перестань.
И я дал ему изрядную сумму денег.
Перестань немедленно.

Оливер. Ее гребешок. С этими трогательными повреждениями.

Она когда садится за работу, сначала всегда убирает волосы назад. На табуретке рядом с приемником у нее лежит гребеночка. Она ее берет и зачесывает волосы за уши, сначала с левой стороны, потом с правой, всегда в таком порядке, а потом закалывает за ушами черепаховыми заколками.

Иногда во время работы одна-две пряди выбиваются, и она, не отвлекаясь от картины, протягивает руку за гребешком, отстегивает заколку, опять зачесывает волосы назад и закалывает, а гребешок кладет обратно на табуретку — и все это не отрывая глаз от холста.

У гребешка некоторые зубцы выломаны. Нет, будем точны: выломаны пятнадцать зубцов. Я сосчитал.

Ее гребешок с такими трогательными повреждениями.

Стюарт. У Оливера за последние годы было немало девчонок, но, если хотите знать мое мнение, он ни разу не влюблялся. Говорить-то он, конечно, говорил, что влюбился, — много раз. Обожал сравнивать себя с разными оперными героями и вел себя, как положено влюбленному, без конца вздыхал, поверял свои сердечные тайны друзьям, напивался, если не везло. Но я лично никогда не видел, чтобы он вправду был в кого-нибудь влюблен.

Я ему не говорил, но он напоминает людей, которые сразу кричат, что больны вирусным гриппом, когда у них простая простуда. "Я три дня провалялся в жутком гриппу". Да не было у тебя никакого гриппа, а просто из носу текло, голова побаливала и уши заложило, но это никакой не грипп, а всего лишь простуда. И в прошлый раз тоже. И в позапрошлый. Обыкновенная простуда.

Я надеюсь, что у Оливера не грипп.

Тихо. Замолчи.

Оливер. "Пунктуальность — достоинство скучающих". Кто это сказал? Кто-то сказал. Один из моих героев. Я шепчу это про себя каждый вечер с понедельника по пятницу между 6.32 и 6.38, выглядывая сквозь чешуйчатые ветки араукарии, когда возвращается домой стеатопигий Стю. "Пунктуальность — достоинство скучающих".

Видеть, как он возвращается домой, выше моих сил. Как он смеет приходить домой и обрывать мое счастье? Я, конечно, не желаю ему свалиться под поезд метро (с зажатым в кулаке обратным билетом). Я просто не могу выносить мрак, который окутывает мою душу, когда он поворачивает из-за угла с портфелем в руке и с самодовольной улыбкой во всю физиономию.

Я завел привычку делать то, чего, по-видимому, делать не следует. Это Стюарт виноват, он меня подтолкнул тем, что с таким довольным видом возвращается в свое уютное гнездышко, когда я сижу у себя наверху с выключенным светом и строю из себя Орсона Уэллса. Как только Стюарт появляется из-за угла между 6.32 и 6.38, я нажимаю кнопку "1" на

своем дурацком черном переносном телефончике, которому гораздо больше подходило бы лежать в толстом портфеле Стю: у него множество разных прикольных приспособлений, у этого моего драгоценного телефончика, как с восторгом объяснил мне при покупке продавец. В частности — и это даже я был в состоянии усвоить, — он обладает способностью "запоминать", то есть хранить в памяти телефонные номера. Или, в моем случае, один номер. Ее.

Когда Стюарт обращает к дому свою сияющую, солнечную физиономию, Оливер нажимает кнопку "1" и ждет, когда ответит ее голос.

— Да?

— Я тебя люблю.

Она кладет трубку. Стю берется за ручку калитки.

Телефончик шуршит, щелкает и снова выжидательно гудит мне в ухо.

Джилиан. Сегодня он ко мне прикоснулся. О господи, не говорите мне, что уже началось. Неужели началось?

Мы и раньше прикасались друг к другу. Я брала его под руку, ерошила ему волосы, мы обнимались, целовали друг друга в щечку — обычная вещь между друзьями. То, что было сегодня, гораздо меньше, чем все это, но и много больше.

Я сидела за мольбертом. Волосы у меня выбились на лицо. Я протянула было руку за гребенкой, она у меня лежит на табуретке. Он сказал, очень тихо:

— Не шевелись.

Продолжаю работу. Он подходит сзади. Вынул заколку у меня из волос, они рассыпались, он зачесал их назад, за ухо, собрал в заколку, защелкнул, положил гребешок на место, отошел и снова сел. И все. Больше ничего.

Хорошо, что я работала над простым местом. И машинально продолжала работать еще минуты две. Потом он сказал:

— Я люблю этот гребешок.

Это несправедливо. Несправедливо сравнивать, я знаю. Не надо делать никаких сравнений. Об этой гребенке я и не думала никогда. Она у меня была всегда. Как-то раз, вскоре после того как мы познакомились, Стюарт зашел ко мне в студию и увидел ее. Он сказал: "У тебя гребешок сломался". И назавтра или послезавтра принес мне новый. Видно было, что он постарался: гребешок был такой же величины, как старый, и тоже черепаховый. Но я им не пользовалась. Сохранила старый. У меня пальцы привыкли чувствовать щербинки от недостающих зубцов.

И вот теперь Оливер говорит: "Я люблю этот гребешок". Я потерялась. Потеряла себя и нашла.

Это несправедливо по отношению к Стюарту. Я говорю себе: "Это несправедливо по отношению к Стюарту". Но слова не оказывают никакого действия.

Оливер. Когда я был маленьким, Старый Подлец покупал "Таймс". Наверно, и теперь покупает. Он похвалялся умением решать кроссворды. А я, со своей стороны, проглядывал объявления о смерти и вычислял средний возраст умерших в тот день Старых Подлецов. И соображал, сколько еще, по статистике, осталось Старому Решателю Кроссвордов.

Еще там был отдел "Письма в редакцию", отец внимательно их прочитывал, подбирая себе по вкусу самые развесистые глупости и дрему-

чие предрассудки. Иногда он удовлетворенно крякал, чуть ли не рыгал из глубины души, если воззвание какого-то представителя отряда толстокожих — например "Вернем всех травоядных на их исконную родину в Патагонию", déja pensée[1] — чудесным образом совпадало с его собственными идеями, а я думал: ну и ну, сколько же Старых Подлецов существует на свете.

Больше всего мне запомнилось из Отдела Писем тех времен, как эти Старые Негодяи подписывались. Некоторые писали: "Сердечно Ваш", или "Искренне Ваш", или даже "Имею честь быть, сэр, Вашим покорным слугой". Но мне больше всего нравилась и больше всего, на мой взгляд, подходила для Старых Подлецов подпись: "Ваш etc", да газета еще сокращала до "Ваш &c".

"Ваш &c". Я часто гадал: что бы это значило? Что это за знак? Откуда он взялся? Я воображал обруганного промышленного магната, диктующего секретарше письмо в "Таймс", которую он фамильярно именует "Листок". Изложив в письме свои старо-подлые взгляды, он заключает: "Ваш et cetera", а уж секретарша машинально транскрибирует: "Имею честь быть, сэр, одним из выдающихся Старых Подлецов и могу прислать Вам этикетку с банки из-под сардин, каковую Вы напечатаете перед моим именем". Магнат распоряжается: "Отошлите это безотлагательно в "Листок", мисс ФФФолкс".

Но однажды мисс ФФФолкс не оказывается на службе, она занята с епископом Кентерберийским, делает ему массаж, и вместо нее присылают временную машинистку. Временная записывает: "Ваш et cetera", как слышит, в газете расценивают эту подпись как чрезвычайно остроумную и еще добавляют изящный штрих от себя, укорачивая подпись до "Ваш &c", и тогда все остальные Старые Подлецы начинают подписываться так же, следуя примеру магната, который, однако, честь изобретения приписывает себе одному. Вот откуда это "Ваш &c".

После этого я, лопоухий шестнадцатилетний юнец, стал пародийно подписываться " С любовью &c". Не все мои корреспонденты, должен с прискорбием признать, оценили шутку. Одна demoiselle убыстрила свое изгнание из музея моего сердца, высокомерно уведомив меня, что употреблять слово "etc" как в устной речи, так и в презренной прозе, пошло и вульгарно. На что я ответил, что, во-первых, et cetera — это не одно слово, а два, и во-вторых, если в моем письме и есть что-то пошлое и вульгарное, то, учитывая адресата, это лишь слово, данному сокращению предшествующее. Увы, на такой выпад она не сумела ответить с буддийской безмятежностью, как хотелось бы.

С любовью &c. Тут все просто. Человечество делится на две категории: одни верят, что смысл, суть, басовая педаль и главная мелодия жизни — это любовь, а все прочее — абсолютно все прочее — это лишь &c; а другие, все несчастное множество людей, верят как раз прежде всего в это &c, для них любовь, как она ни приятна, остается только мимолетным волнением юности, прелюдией к пеленкам и далеко не так важна, неизменна и основательна, как, скажем, домашний интерьер. Это — единственное существенное различие между людьми.

Стюарт. Оливер. Старый друг Оливер. Власть слова. Власть вздора. Неудивительно, что он кончил уроками разговорного английского.

1. Уже приходившее в голову (*франц.*).

Оливер. Я, кажется, не совсем ясно все изложил. Когда я в тот раз закрыл за собой дверь, уклонившись от упоительной щекотки ее притворного гнева, я сказал ей (о, я помню, помню — у меня в черепе черный ящик, где хранятся все записи): "Я тебя не люблю. Я тебя не обожаю. Не хочу быть с тобой всегда. Не хочу завести с тобой роман. Не хочу жениться на тебе. Не хочу всю жизнь слышать твой голос".

Найдите лишнее.

Стюарт. Сигарету?

Оливер И еще я проверяюсь на СПИД. Это вас удивляет / это вас не удивляет? Ненужное зачеркнуть.

Только не торопитесь с выводами. По крайней мере с такими выводами, как заразные иглы, дикарские нравы, общие бани. Быть может, мое прошлое в некоторых отношениях и мрачнее, чем у других (а поскольку другие — это прежде всего Стюарт Хьюз, эсквайр, банкир и полувладелец недвижимого имущества, то безусловно мрачнее), но у нас не исповедальная телепередача "Слушаем вместе с мамой" плюс боевик "Полицейская пятерка".

Я хочу положить мою жизнь к ее ногам, понимаете? Я начинаю жить заново, я совершенно чист, tabula rasa, я не валяюсь с кем ни попадя, черт подери, я даже не курю больше. Разве это не идеал? Или хотя бы один из двух идеалов? Первый идеал такой: вот он я весь, целиком, живу богатой, полной жизнью, зрелый и взрослый, найди во мне что пожелаешь, бери все, все твое. А второй — я пуст, распахнут, во мне нет ничего, только потенциальные возможности, делай из меня что хочешь, наполни меня чем пожелаешь. Большую часть жизни я потратил на то, что заливал сосуды сомнительными жидкостями. Теперь опустошаю их, промываю, выполаскиваю.

Вот и проверяюсь на СПИД. Ей я, может быть, даже и не скажу.

Стюарт. Сигарету? Берите, закуривайте.

Смотрите на это так: если вы поможете мне прикончить пачку, значит, я выкурю меньше, и меньше вероятность, что умру от рака легких, может быть, даже, как заметила моя жена, доживу до болезни Альцгеймера. Так что возьмите сигарету, это будет знаком, что вы на моей стороне. Можете, если хотите, засунуть за ухо на потом. А вот если вы не возьмете, то ...

Ну конечно, я пьян. А вы бы на моем месте не напились?

Нет, не то чтобы вдрызг пьян.

Просто пьян.

Джилиан. Пусть никто не думает, что я вышла за Стюарта из жалости.

Так бывает. Я знаю, видела сама. Помню, была одна девчонка у нас в колледже, тихая такая, целеустремленная девочка по имени Розмэри. У нее был вроде как друг Саймон, здоровенный верзила, одетый всегда как-то нелепо, потому что на таких одежда продается только в специальных магазинах, "Исполин", кажется, они называются. Сдуру он об этом кому-то сболтнул, и девчонки стали у него за спиной над ним потешаться. Сначала беззлобно: "А как наш мистер Исполин поживает, Розмэри?" Потом начали его задирать. Была у нас одна девчонка, маленькая, остро-

морденькая, со злым язычком, она сказала, что в жизни не согласилась бы пойти с ним на свидание, а то еще мало ли во что там у него носом ткнешься. Обычно Розмэри помалкивала, как будто насмешка относилась и к ней. Но потом однажды — хотя ничего особенного и не было сказано, просто как всегда — та языкастая, помню, внятно так и язвительно сказала: "Интересно, как у него все остальное, пропорциональное?" Большинство девчонок покатились со смеху, Розмэри тоже, но потом она мне рассказала, что именно тогда решила выйти за Саймона замуж. До этого дня она и не очень даже влюблена в него была. Она просто подумала: "Ему всю жизнь предстоит страдать, и раз так, я буду на его стороне". Взяла и вышла за него замуж.

Но я вышла не поэтому. Если выходишь за кого-то замуж или женишься из жалости, то и не расстаешься с ним или с ней тоже из жалости. Я так себе представляю.

Я всегда умела разобраться и понять, что происходит. Но сейчас, кажется, никакое объяснение не подходит. Например, я вовсе не принадлежу к людям, которые всегда недовольны тем, что имеют, и я не из тех, кому обязательно нужно то, чего у них нет. Я не придаю особого значения внешности, скорее даже наоборот: красивые мужчины не внушают мне доверия. Я никогда не уходила первая, обычно тянула слишком долго. И Стюарт не переменился, остался таким же, каким был, когда я его полюбила в прошлом году, — у меня не было неприятных открытий, какие случаются у других женщин. И еще (на случай, если вы об этом подумали), у нас полный порядок с сексом.

Так что приходится признать тот факт, что я люблю Стюарта и в то же время похоже, что влюбляюсь в Оливера.

Теперь это происходит ежедневно, каждый вечер. Надо бы, чтобы это прекратилось. Нет, не надо. Я не могу, чтобы это прекратилось. Тогда бы я должна была вообще не подходить к телефону. Всегда около половины седьмого. Я жду Стюарта с работы. Иногда вожусь на кухне, иногда заканчиваю работу в мастерской, и приходится бежать к телефону вниз. Звонит телефон, я знаю, кто это, знаю, что вот-вот появится Стюарт, но все равно бегу и поднимаю трубку. И говорю: "Да?" Я даже не называю наш номер. Как будто мне не терпится. Он говорит:

— Я тебя люблю.

И знаете, что теперь бывает? Я кладу трубку и чувствую влагу. Представляете? Какая-то порнография по телефону. Стюарт вставляет ключ в замок, а я ощущаю влагу от голоса другого мужчины. Может быть, завтра не ответить на звонок? Представляете себе?

Мадам Уайетт. L'Amour plaît plus que le mariage, pour la raison que les romans sont plus amusants que l'histoire. Как это перевести? "Любовь приносит больше радости, чем брак, подобно тому, как романы увлекательнее истории"? Примерно в этом духе. Вы, англичане, плохо знаете Шамфора[1]. Вам нравится Ларошфуко, на ваш взгляд, он такой "типичный француз". Откуда-то вы взяли, что высшим проявлением французского "логического ума" является блестящая эпиграмма. Не знаю. Я, например, француженка, и мне не особенно нравится Ларошфуко. Он слишком циничен и слишком... блестящ, если угодно. Ему непременно нужно

1. Никола Шамфор (1741—1794) — французский писатель, автор знаменитой книги "Максимы и мысли".

показать, сколько труда он вложил в то, чтобы казаться мудрым. Но мудрость, она не такая. В мудрости больше жизни, больше веселья, чем остроумия. Я предпочитаю Шамфора. Он еще вот что сказал: "L'hymen vient après l'amour, comme la fumée après la flamme" – "Любовь предшествует браку, как огонь дыму". Не так-то это очевидно, как кажется на первый взгляд.

Меня зовут мадам Уайетт. Меня считают мудрой. Откуда она у меня, эта репутация? Просто я, женщина не первой молодости, несколько лет назад оставленная мужем и больше в брак не вступившая, сохранила здоровье и ясную голову, больше слушаю, чем говорю, и даю советы, только когда меня спрашивают. "О, вы глубоко правы, мадам Уайетт, вы так мудры", – говорят мне люди, но обычно этому предшествует подробное повествование об их глупостях или ошибках. Так что я себя такой уж мудрой не считаю. По крайней мере, я знаю, что мудрость относительна и что никогда не следует выкладывать все, что знаешь, все, чем владеешь. Если покажешь все, ты только вмешаешься, а помочь не сможешь. Хотя порой так трудно удержаться, чтобы не выложить все.

Моя дочь Джилиан приходит ко мне в гости. Ей плохо. Ей кажется, что она перестает любить мужа. Другой человек говорит, что любит ее, и она боится, что начинает любить его. Кто это, она не говорит, но я, естественно, догадываюсь.

Что я об этом думаю? Да, собственно, ничего. То есть у меня нет определенного мнения о такой ситуации вообще. Знаю только, что так бывает. Но конечно, когда речь идет о реальном случае с моей родной дочерью, тут мнение у меня есть. Но оно предназначено для нее одной.

Она страдает. И я страдаю – за нее. В конце концов, это вам не машину сменить. Она плакала у меня, и я старалась ей помочь, то есть помочь ей разобраться в собственном сердце. Что же еще можно сделать? Если, конечно, в ее браке со Стюартом нет ничего ужасного. Она уверяет, что нет.

Я сидела, обняв ее, и слушала ее плач. А какая взрослая она была в детстве! Когда Гордон оставил нас, не я ее, а она меня утешала. Обнимет меня и говорит: "Я буду о тебе заботиться, maman". Знаете, ужасно горько, когда тебя утешает тринадцатилетнее дитя. Вспомнила вот и сама чуть не заплакала.

Джилиан старалась объяснить, что ее так пугает: неужели она может разлюбить Стюарта, которого еще только недавно полюбила? Ненормальная она, что ли? "Я думала, maman, опасное время наступает позже. Думала, ближайшие несколько лет мне ничего не угрожает". Обернулась ко мне, заглядывает в глаза.

– Опасное время – всегда, – отвечаю.

– То есть как это?

– Всегда.

Она отвернулась, кивнула. Я знала, о чем она думает. Надо вам объяснить, что мой муж Гордон в сорок два года, когда мы уже прожили в браке... ну, не важно сколько – долго... сбежал с семнадцатилетней школьницей. Джилиан слышала, что, как у вас говорят, через семь лет уже не сидится на месте, и видела, на примере отца, что через пятнадцать лет тоже не сидится; и вот теперь на своем опыте убедилась, что это случается и раньше семи. И еще она думала, что я сейчас вспоминаю Гордона и, наверно, сокрушаюсь, что, мол, дочь пошла в отца, и мне это

больно. Но ничего такого у меня и в мыслях не было, о чем я думала, я и сама не знаю.

Оливер. Хотите, расскажу одну смешную вещь? Дж. и С. познакомились вовсе не в баре, как они оба притворялись, а в отеле "Чаринг-Кросс", куда пошли на оргию а-ля фуршет для молодых работников умственного труда.

Моя тонкая интуиция подсказала мне упомянуть в разговоре с Джилиан про эту якобы встречу в баре "Сквайрс". Она сначала вообще не отозвалась, послюнявила ватный тампон и стала снова катать по картине. А потом призналась, как было на самом деле. Заметьте, мне даже не понадобилось спрашивать. Так что, по-видимому, и обратное верно: она тоже решила не иметь от меня секретов.

Оказывается, существуют такие места для испытывающих любовный голод, куда можно приезжать по пятницам четыре недели подряд всего за 25 фунтов в общей сложности. Я был шокирован, это первая моя реакция. А потом подумал: смотри-ка, ты недооценивал косматого коротышку Стю. У него к амурным делам такой же подход, как к бизнесу, — прежде всего изучается рынок.

— Сколько раз ты там была до того, как познакомилась со Стюартом?

— Первый раз пришла.

— Выходит, он тебе достался за шесть фунтов двадцать пять шиллингов?

Она рассмеялась:

— Нет, за двадцать пять. Внесенные деньги не возвращаются.

Какая милая шутка.

— Внесенные деньги не возвращаются, — повторил я за ней, и на меня напал смех, как приступ болотной лихорадки.

— Я тебе ничего этого не говорила. Я не должна была этого говорить.

— Ты и не говорила. Я уже забыл.

И я прекратил всякие смешки. Но держу пари, Стюарт свои деньги вытребовал обратно. Иногда он бывает таким крохобором. Как, например, в тот раз, когда я встретил их в Гатвике и ему во что бы то ни стало надо было вернуть деньги за неиспользованный обратный билет на поезд. Так что он обошелся ей в 25 фунтов, а она ему — в 6,25. Сколько бы он теперь запросил? Какая будет наценка?

И кстати о презренном злате. Миссис Дайер, которую я бы с удовольствием похитил, не будь мое сердце уже занято по другому адресу, вчера уведомила меня, что я занесен в списки местных налогоплательщиков. Ну разве они не преследуют нас, эти сборщики налогов? Разве не норовят вытянуть все до последнего гроша, до последней драхмы? Может быть, все-таки существуют гуманитарные исключения? Уж конечно, Оливер — это особый случай, он должен значиться под отдельной рубрикой?

Джилиан. Теперь он делает это каждый раз. Не приходится даже ждать, чтобы волосы растрепались, — берет с табурета гребень, отстегивает заколку, зачесывает волосы назад и снова закалывает. А я вся горю.

Я встала и поцеловала его. Открытым ртом прямо в рот. Поглаживая пальцами затылок и плечи, прижимаясь всем телом, чтобы он мог тронуть меня, где захочет. Так я стояла, целуя его, пальцами лаская его заты-

лок, готовая к его прикосновениям, даже расставив ноги. Целовала и ждала.

Я ждала.

Он ответил на поцелуй, рот в рот. А я все ждала.

Потом он отстранился. Я смотрела ему в глаза. Он взял меня за плечи, развернул от себя и подвел обратно к мольберту.

— Пойдем в постель, Оливер.

А он знаете что сделал? Надавил мне на плечи, чтобы я села на свой рабочий стул, и даже вложил в пальцы ватный тампон.

— Я не могу работать. Сейчас не могу.

Что характерно в Оливере, это что он наедине со мной совсем другой, чем при людях. Вы бы его не узнали. Тихий, больше слушает, говорит безо всяких выкрутасов. И вовсе не выглядит таким самоуверенным, каким, наверно, кажется другим. Знаю, что вы ожидаете услышать: "Оливер на самом деле очень ранимый". Знаю — и поэтому не скажу.

Он сказал:

— Я тебя люблю. Я тебя обожаю. Я хочу быть с тобой всегда. Я хочу жениться на тебе. Хочу все время слушать твой голос.

Мы сидели рядом на диване.

— Оливер, возьми меня. Так надо.

Он встал. Я думала, он поведет меня в спальню, но он стал ходить по мастерской, из угла в угол.

— Оливер, это будет правильно, если ты ...

— Я хочу тебя всю, — сказал он. — Я не хочу часть. Мне нужно все.

— Я — не товар.

— Я не в том смысле. Мне не нужна только любовная связь с тобой. Романы... любовные связи, они... ну, не знаю... все равно как снимать с кем-то на пару, тайм-шером, квартиру в Марбелье. — Тут он вдруг остановился, испуганно взглянул на меня, словно ужаснулся, что обидел меня таким сравнением. И сказал, как бы оправдываясь: — На самом деле Марбелья — это прекрасно. Ты даже не представляешь себе, до чего там хорошо. Я помню одну маленькую площадь, всю обсаженную апельсиновыми деревьями. Когда я там был, шел сбор апельсинов. Кажется, в феврале. Естественно, приезжать надо в межсезонье.

И знаете, чувствовалось, что он в панике. Вообще, на самом деле Оливер, я думаю, гораздо менее самоуверен, чем Стюарт. В глубине души.

— Оливер, — говорю я ему, — мы же договорились, что я — не квартира в Марбелье, снятая по тайм-шеру. Перестань, пожалуйста, ходить. Поди сюда и сядь.

Он подошел и послушно сел на диван.

— Знаешь, меня отец бил.

— Оливер...

— Правда-правда. Не в том смысле, что шлепал, когда я был маленький. Это-то, конечно, тоже. Но он любил бить меня бильярдным кием сзади по ногам. Любимое его наказание. Довольно болезненно, между прочим. Спрашивал меня: "По ляжкам или по икрам?" И я должен был выбирать. В смысле боли особой разницы нет.

— Бедный. — Я положила ладонь ему на затылок. Он заплакал.

— А когда умерла мать, стало совсем плохо. Он как бы взыскивал с меня за это. Может, я слишком на нее похож был. Но потом, однажды, мне было, я думаю, лет тринадцать-четырнадцать, я решил больше не подда-

ваться Старому Подлецу. Не помню, чем я провинился. По его мнению, я всегда в чем-нибудь да был виноват. Он, как обычно, спросил: "По ляжкам или по икрам?" Но я ответил: "Сейчас ты сильнее меня. Но однажды это изменится, и если ты теперь еще хоть раз меня тронешь, клянусь, когда я стану сильнее, я изобью тебя так, что ты костей не соберешь".

— И что?

— Я не надеялся, что это на него подействует. Я весь дрожал, я был меньше ростом, и я думал: "Какое это дурацкое выражение: изобью так, что костей не соберешь. Он просто посмеется надо мной". Но он не посмеялся. Он перестал меня бить. Перестал раз и навсегда.

— Бедняжка Оливер.

— Я его ненавижу. Теперь он старый, но я все равно его ненавижу. Ненавижу за то, что он сейчас тут, с нами, в этой комнате.

— Его нету. Он уехал. Снял квартиру тайм-шером в Марбелье.

— Господи, почему у меня не получается? Почему я не могу ничего правильно сказать, то есть — сегодня не могу? — Он снова встал с дивана. — Я все это говорю не так. — Он опустил голову и не смотрел на меня. — Я тебя люблю. Я буду любить тебя всегда. И никогда не перестану. А теперь мне лучше уйти.

Часа через три он мне позвонил.

Я ответила:

— Да?

— Я тебя люблю.

Я положила трубку. И почти в ту же минуту в замке заскрежетал ключ Стюарта. Я вся горела. Захлопнулась входная дверь. "Есть кто до-ома? — громко, нараспев крикнул Стюарт, как он всегда кричит, чтобы было слышно повсюду. — Есть тут кто-нибу-удь?"

Что мне делать?

Оливер. Доводы против любовных связей, записанные тем, кто имел их в избыточном количестве:

1) Вульгарность. Любовные связи бывают у всех, то есть абсолютно у всех — у священнослужителей, у членов королевской семьи, даже монахи как-то умудряются завести интрижку. Интересно, почему они не натыкаются друг на друга, шныряя по своим коридорам из спальни в спальню? Бум-бум — кто тут?

2) Предсказуемость. Ухаживание, победа, охлаждение, разрыв. Одна и та же унылая сюжетная линия. Унылая, но тем не менее тянет. После каждого краха — снова поиски. Обновление мира.

3) Система тайм-шера. По-моему, я очень точно выразил эту мысль в разговоре с Джилиан. Как можно отдыхать в свое удовольствие, зная, что владельцы ждут, когда ты уедешь и они смогут вернуться в свою квартиру? В постели с возлюбленной наперегонки со временем — это не мой стиль. Хотя в некоторых условиях тоже бывает чертовски заманчиво.

4) Ложь. Прямое следствие пункта 3. Любовные связи растлевают — это говорю я, тот, кто... и т. д. Неизбежное следствие. Сначала лжешь одной партнерше, затем, и очень скоро, начинаешь лгать второй. Зарекаешься, что не будешь лгать, но все равно лжешь. Вычерпываешь маленький прудик чистых эмоций тяжелым бульдозером хитрых уловок. Вот муж в тренировочном костюме выбегает из дому на пробежку трусцой, а у него в кармане побрякивает мелочь на телефон. Бряк, звяк, — "а вдруг захочется по пути выпить газировки, дорогая". Звяк, бряк, звенит ложь.

5) Предательство. Все радуются успеху мелкого предательства. Удовлетворенно потирают руки, когда Ловчила Роджер в 27-й серии снова выходит сухим из воды, — тем более что это делается элементарно. Стюарт — мой друг — да, друг, а я отнимаю у него жену. Это уже Большое Предательство, но, по-моему, Большие Предательства переживаются легче, чем мелкие. Любовная связь была бы мелким предательством, и я не думаю, чтобы Стюарт пережил его так же легко, как Большое Предательство. Видите, о нем я тоже думаю.

6) Я еще не получил результатов анализа на СПИД.

Конечно, я не так изложил все это Джилиан. Не совсем так. Честно сказать, на самом деле я, кажется, наговорил чепухи.

Джилиан. На пути к метро на самом углу в конце Барроклаф-роуд есть лавка зеленщика. Я там купила сладкий картофель. Вернее, СЛАДКИЕ КАРТОФЕЛИ. Хозяин лавки от руки пишет ценники на продуктах письменными буквами. И все без исключения, что у него продается, ставит во множественном числе: КАПУСТЫ, МОРКОВИ, ПЕТРУШКИ, УКРОПЫ — там все такое можно купить, — БРЮКВЫ и СЛАДКИЕ КАРТОФЕЛИ. Нам со Стюартом это казалось смешно и немного трогательно: человек все время, упрямо делает каждый раз одну и ту же ошибку. А сегодня я проходила мимо зеленной лавки, и вдруг мне эти ценники перестали казаться смешными. ЦВЕТНЫЕ КАПУСТЫ. Как это пронзительно грустно. Не оттого, что человек не знает грамматики, не в этом дело. А оттого, что он не исправляет своей ошибки. То ли ему говорили, что так неправильно, а он не верил, то ли за все годы, что он там торгует, никто ему на ошибку не указал. Непонятно даже, что печальнее, а вам как кажется?

Я все время думаю об Оливере. Даже когда я со Стюартом. Мне иногда просто невыносимо, что Стюарт такой жизнерадостный. Неужели он не видит, о чем я думаю, о ком я думаю? Почему он не читает у меня в душе?

Стюарт. Присядьте. Вам нравится Патси Клайн?

Тлеют в пепельнице две сигареты
Мы сидим вдвоем любовью согреты
В маленьком уютном кафе
Но приходит третий, чужой человек
Чтобы нарушить наш тет-а-тет
И теперь сигарет стало три

Бедняжка Патси, она умерла. А у вас, между прочим, все еще та сигарета за ухом. Выкурили бы.

Они вдвоем от меня ушли
И настал конец нашей любви
Дотлевает в пепельнице моя сигарета
Я буду блуждать всю ночь до рассвета
Плакучая ива плачет по мне
Птицы ночные щебечут во сне
Мне так горько так одиноко
Дотлевает в пепельнице моя сигарета

Добрый старый Стюарт, на него можно положиться. Со Стюартом всегда знаешь, на каком ты свете. Он мирится со всем. И знай себе бредет своей дорогой. Он в упор ничего не видит. С ним все ясно. Какой уж он есть, такой есть.

Не задавай вопросов, и не услышишь лжи. Но и только. С минуты на минуту должен подъехать Оливер. Он думает, что мы, как старые добрые друзья, сейчас втроем поедем в кино. Но Джилиан уехала навестить мать, так что Оливеру придется довольствоваться моим обществом. Я задам ему несколько вопросов, и он несколько раз мне солжет.

Перед ее уходом я сидел тут в наушниках и слушал запись Патси Клайн. Джилиан зашла попрощаться, поэтому я нажал кнопку "пауза" и поднял один наушник. Я спросил:

— Как поживает Оливер?

— Оливер? По-моему, ничего.

— Ты случайно не завела с ним интрижку? — спросил я безразличным тоном: мол, я — и чтобы беспокоился?

— Ты что? Нет, разумеется.

— А-а, ну и прекрасно.

Я опустил наушник, закрыл глаза, чтобы не видеть лица Джил, и сидел, беззвучно повторяя за Патси слова. Я почувствовал, как Джил чмокнула меня на прощанье в лоб, и кивнул в ответ.

Теперь посмотрим, что скажет он в свое оправдание.

Оливер. Вы не могли не заметить, что мой друг Стюарт — человек не умеренно культурный. Если вы спросите у него имя любимой Пруста, он задумается на доброе пятилетие, устремит на вас свирепый взор самурая, решив, что вопрос с подвохом, и наконец, слегка надув губы, раздраженно ответит: "Мадлен. Кто же этого не знает".

Словом, я не ожидал услышать ничего похожего на, скажем, "Die Gezeichneten" Шрёкера[1], когда он с горящим взором мучителя детей отпер мне дверь, кивком пригласил войти и принялся шарить лапой по кнопкам проигрывателя. То ли он только что открыл для себя "Увертюру 1812 год" и собрался подпевать пушечной канонаде и фейерверку. То ли мы сейчас услышим "Энигма-вариации"[2], сопровождаемые чтением заготовленных ответов на самую несущественную загадку Музыки, а именно: кто там в которой вариации изображен? Да, и знаете, оказывается, Дорабелла немного заикалась, отсюда в ее вариации такие запинки: хип-хип-хоп. Угощайтесь шоколадным мороженым, маэстро, а мне покажите, где тут можно сблевать, pronto.

Он поставил мне эту песню. Она длилась, по-моему, три часа сорок семь минут, правда, он утверждал, что меньше. Значит, вот что называется "музыка в стиле кантри", то есть деревенская? В таком случае я очень рад, что живу в городе. Она имеет только одно редкое достоинство, своего рода совершенство: она не поддается пародированию, но лишь по той простой причине, что сама же, по ходу исполнения, служит пародией на себя, точно газонокосилка, подбирающая все, что настригла. Тут нет места для старика с граблями и для юнца с издевкой. "Тру-ля-ля, папа, я снова одинока, тру-ля-ля"... Бесполезно и пытаться. Эти певцы все увешаны дешевыми стекляшками, а ведь стекляшки, как вы

1. "Меченые" — опера венского композитора Ф. Шрёкера, впервые представленная в 1918 г.
2. Симфоническая сюита Бенджамена Бриттена (1913–1976).

понимаете, — сами уже пародии на драгоценности, пародировать дешевые стекляшки невозможно. Ага, а вот и хилый Уолтер, выжимающий хилую каденцию из своей хилой скрипочки. Ты еще им всем покажешь, старина Уолт, визг, сип, там-ти-там, папа, я снова одинока ...

— Ну, как тебе кажется?

Как мне кажется? Почему он на меня так пристально, выжидательно смотрит? Надеюсь, он не ждет от меня музыкального анализа?

Пока я роюсь у себя в мозговых отвалах, ища хоть чего-нибудь, что не захватит самого Стюарта в невод моего презрения, он встает и округлыми движениями наполняет наши стаканы.

— Так что же ты скажешь, Оливер?

В последнее мгновение Муза Такта все же поддержала меня, и я сказал:

— По-моему, "тет-а-тет" и "человек" — не очень удачная рифма.

Этим я его как будто бы немного утихомирил.

Мой грубый бас на время совершенно вытеснил из головы то, что я намеревался сделать сразу по прибытии. Я протянул ему конверт. Сколько уроков английского как иностранного пришлось мне дать, чтобы возместить одну четверть суммы, которой ссудил меня Стюарт!

Но тут он неожиданно принял воинственный вид и, точно Альфред из "Травиаты", швырнул мешок с деньгами мне обратно.

— Тебе понадобится, налог уплатить, — сказал он. Я молчал. Почему, интересно, на меня со всех сторон стали давить насчет пополнения муниципальной казны? — Налог по твоему второму месту жительства, — он выговорил эти уродливые канцелярские слова с выражением, которое народные массы назвали бы презрительным, — через улицу в доме № 55.

Как я уже много раз говорил — эти слова стали у меня настоящим лозунгом, — не следует недооценивать нашего шерстистого друга. Я должен признать, что начиная с этого момента вечер принял совсем не то направление, какого я имел все основания ожидать. Кинематограф мы не посетили. Джилиан отсутствовала, "отправилась в гости к матери". В качестве компенсации Стюарт выставил беспошлинную бутылку виски, и я не видел причины, почему бы мне не выказать себя настоящим мужчиной, раз уж мы остались с ним одни. Так что была уже беззвездная ночь, когда этот виртуоз сейфа и кассы с кротостью Тита Андроника спросил:

— У вас с Джил роман?

Теперь понимаете? Прямолинейно, как грузовик. И совсем не в его духе. Человек, который, пересекая Лондон из конца в конец, всегда выбирал кружной путь по окраинным переулкам, на этот раз пустился прямиком по Хеймаркет-стрит.

Честно сказать, я слегка опешил. Сколько раз в жизни приходилось мне уверять, что нет никакого романа, когда на самом деле был. Но отпираться, что романа нет, когда его нет, — на это требуется особое искусство, которым я не владею. Я дал клятву. Я огляделся вокруг, чем бы поклясться, но в наши дни предметов, священных для обеих сторон, почти не существует. В голову пришло только сердце Джил, ее жизнь, ее волосы, но это все не совсем подходило к данному случаю и не сулило смягчения грозного Стюартова гнева.

Мы довольно много выпили, и пока мы пили, вероятность того, что мы сможем перейти к философскому обмену впечатлениями от внешнего мира, то возникала, то исчезала; были даже минуты, когда Стюарт определенно скатывался на неандертальские позиции. А один раз он про-

сто прервал мою — согласен, довольно кривую — линию аргументации самым настоящим выкриком:

— Одолжи соверен! Отдай жену!

Это высказывание никак не проистекало из того, что я старался ему втолковать. Я поднял на него глаза.

— Одолжи соверен, отдай жену. Одолжи соверен, отдай жену.

Эта риторическая фигура называется, насколько я знаю, repetitio.

— Что я сказал трижды, то правда[1], — пробормотал я, никак не рассчитывая, что он выловит намек из мутной воды моих рассуждений.

Однако, прервав меня, Стюарт если не открыл мне дверь, то по крайней мере предоставил лаз, чтобы я сказал то, что собирался.

— Стюарт, — начал я, — уверяю тебя, что у нас с Джилиан нет никакого романа. Мы даже не ведем, как выражаются дипломаты, переговоров о переговорах. — Он буркнул что-то невнятное в том смысле, что понял мою дипломатическую метафору. — Но с другой стороны, — продолжал я, и его колючие брови сразу начали грозно съезжаться от сознания, что вопрос еще не исчерпан, — как один друг другому должен тебе сказать, что я ее люблю. Погоди, не начинай меня сразу упрекать, позволь сначала довести до твоего сведения, что я всем этим bouleversé[2] не меньше твоего. Будь это хоть сколько-нибудь в моей власти, я бы в нее не влюбился. То есть теперь. Я бы влюбился в нее, еще когда мы только познакомились. (А действительно, почему я тогда не влюбился? Пережиток дружеской верности или причина в том, что на ней были джинсы с кроссовками?)

Видно было, что на Стюарта мои слова произвели неблагоприятное впечатление, поэтому я поспешил перейти к сути дела, в чем, как я рассчитывал, ему поможет разобраться профессиональная подготовка.

— Мы живем в рыночную эпоху, Стюарт, — я сразу заметил, что он заинтересовался, — и было бы наивно или, как говорили раньше, романтично не отдавать себе отчета в том, что рыночный фактор действует даже в таких областях, где прежде он считался неприложим.

— Речь идет не о финансах, а о любви, — возразил он.

— Да, но просматриваются ясные параллели, Стюарт. И финансы, и любовь свободно перемещаются, им безразлично, с чем ты остаешься. В любви тоже есть и выплаты отступного, и отчуждаемые активы, и обесцененные обязательства. Любовь поднимается и падает в цене, как всякая валюта. И доверие — главный ключ к ее поддержанию.

Учти также элемент удачи. Ты сам мне когда-то рассказывал, что крупному предпринимателю нужны не только смелость и проницательность, но также и везение. Разве тебе не повезло, что ты первым познакомился тогда с Джил в отеле "Чаринг-Кросс", а мне разве не повезло, что тебе повезло с ней познакомиться?

Деньги, насколько я понимаю, — вещь с моральной точки зрения нейтральная. Их можно употребить на добро, а можно во зло. Можно осуждать тех, кто ворочает деньгами, как можно осуждать и тех, кто владеет любовью. Но не сами эти предметы.

Он как будто бы уже не так внимательно ко мне прислушивался, и я решил, что пора подвести итог, чтобы он не отвлекся окончательно. Для ясности я разлил по нашим двум рюмкам остаток виски и сказал в заключение:

1. Слова из поэмы Л. Кэрролла "Охота на Снарка".
2. Потрясен (*франц.*).

— Рыночный фактор, Стю, вот с чем тебе приходится считаться. Я намерен ее у тебя перекупить. Я выиграю тендер. Ты сможешь остаться на роли номинального директора, иначе говоря — друга, но боюсь, казенный автомобиль с шофером придется возвратить.

Само собой, я сознаю парадоксальность ситуации не хуже тебя. Ты, дитя рынка, стараешься выгородить для себя домашний участок жизни, отстаиваешь его неподвластность могучим силам, с которыми ты имеешь дело каждый божий день, с девяти утра до пяти вечера. А я, классический... как бы это сказать?.. гуманитарий с артистическими наклонностями и романтической душой, со своей стороны, вынужден признать, что человеческие чувства не подчиняются правилам поведения, изложенным в изысканной книге придворного этикета, а мятутся, послушные порывам, настоящим ураганам, бушующим на рыночной площади.

Приблизительно в это время произошел неприятный случай. Стюарт, помнится, протянул мне огонек — прикурить (да, я знаю, но в минуты стресса никотиновый рецидив как-то напрашивается), почему-то мы оба встали и при этом со всей силой столкнулись головами, так что прямо искры из глаз. Хорошо еще, что у Стюарта были линзы, а то очки бы разлетелись вдребезги.

Миссис Дайер была чрезвычайно добра. Она смыла кровь с моей одежды и сказала, что хотя зрение у нее уже не такое, как было, однако, по ее мнению, тут нужно наложить швы. Но мне, честно сказать, не хотелось вести мою колымагу по переулкам в ночную пору, и я удалился в свое жилище среди ветвей.

Когда пьян, боли не чувствуешь. И когда проснешься в похмелье, ужаснее которого свет не видывал со времени попойки по случаю совершеннолетия Силена, — то же самое. Распространяется ли этот закон на всех, я предоставляю выяснить любителям экспериментов.

Стюарт. Я допускаю, что нехорошо было с моей стороны наносить ему удар головой. Возможно. Но я подчинился рыночным законам, разве не ясно?

Дело в том, что я часто отключаюсь и не слушаю Оливеровы рассуждения. Чтобы знать, что он говорит, мне довольно слышать половину. У меня за все годы выработался такой фильтрующий механизм, отделяющий то, что имеет для меня значение, от всяческой бодяги, которая служит упаковкой. Я могу сидеть с рюмкой в руке, даже напевать что-нибудь про себя и одновременно вылавливать смысл из его словес.

Конечно, у них роман. Уж вы-то хотя бы не смотрите на меня так. Муж всегда первый заподозрит и последний узнает, я сам это говорю, но что уж он знает, то знает. А сказать вам, откуда я знаю? Я понял по тому, что она ему рассказала про нас. Я, пожалуй, мог бы поверить — с трудом, но мог бы — в эту басню, что, мол, он влюбился и повадился приходить каждый день, что снял комнату напротив, так как его страждущее сердце жаждет быть поблизости от нее, но что ничего такого между ними нет. Но одна его обмолвка, сам он ее даже не заметил, но я по ней сразу понял, убедился, что никакое не страждущее сердце, а совсем другая часть тела его направляет. Он проговорился, что мы с Джил познакомились в отеле "Чаринг-Кросс". Мы тогда с ней условились, что никому, в особенности Оливеру, не расскажем, где мы встретились. Стеснялись признаться, если честно. И выдумали целую историю. Такой уговор забыть нельзя. А она забыла. И выболтала все Оливеру. Это служит доказательством,

что у нее с ним роман, — она предала меня. А его предательство изобличает тон, каким он вскользь, между делом, упомянул отель "Чаринг-Кросс" как незначительный пустяк, про который всем известно. Если бы у них не было романа, то-то бы он поднял шум и смех по этому поводу, стал бы насмехаться и "острить", очень весело, как ему кажется, а я вижу в этой его манере признак психической неуравновешенности.

Он не изменился, душка Оливер. Одолжи соверен, отдай жену. В сущности он паразит, понимаете? Сноб, белоручка и паразит.

Что-то он такое плел, я не прислушивался, на тему о том, Что Связывает Вместе Пары и Что Связывает Вместе Общество. Одно из тех умных маленьких эссе, которые он так лихо писал, когда мы с ним учились в школе. Почему гулять на стороне — это ну просто Французская революция. Когда-то, когда я был маленький, такие вещи производили на меня впечатление. Потом, помню, он как-то перешел от этого к рассуждениям насчет рыночного фактора. Тут я немного прислушался, потому что когда Оливер выказывает себя полным дураком, это все же занимательнее, чем когда он выказывает себя дураком только наполовину. Так что я выслушал его аргументы и взвесил его доказательства, и в целом его мысль сводится вот к чему (поправьте меня, если я слишком упрощаю): в том, что я сплю с твоей женой, виноват Рынок. Вот, оказывается, в чем причина. Я-то думал, причина в том, что ты в нее влюблен, или что ненавидишь меня, или и то и другое. Но если причина — Рынок, то я, малое колесико в рыночной машине, теперь, конечно, понимаю, почему ты так поступаешь. У меня сразу на душе полегчало.

Тут он сунул в рот очередную сигарету (девятую за вечер, я считал), и выяснилось, что у него кончились спички.

— Давай-ка, браток, перепихнемся по-голландски, — сказал он мне.

Выражение это мне было незнакомо и, возможно, оскорбительно, поэтому я не ответил. Оливер наклонился ко мне, вынул у меня из пальцев курящуюся сигарету, стряхнул пепел, раздул докрасна кончик и прикурил свою сигарету от моей. В том, как он все это проделал, было что-то отвратительное.

— Это и называется, браток, перепихнуться по-голландски, — пояснил он с наглой, омерзительной ухмылкой.

И тут я решил, что с меня довольно. Еще и "браток" вдобавок. Я встал и спросил:

— Оливер, а ты целоваться по-эдинбургски никогда не пробовал?

Он, очевидно, решил, что мы обсуждаем новые выражения, и, может быть, даже подумал, что я даю ему совет, как обращаться в постели с моей женой.

— Не пробовал, — ответил он, оживившись. — Я в столице скоттов не бывал.

— Я тебе покажу.

Я встал и показал рукой, чтобы он тоже поднялся. Он встал рядом, покачиваясь. Я взял его за грудки и заглянул ему в лицо, в страшное, потное лицо того, кто... мою жену. Когда? Когда последний раз? Вчера? Третьего дня?

— А вот это поцелуй по-эдинбургски, — сказал я и с силой боднул его головой прямо в лицо. Он опрокинулся навзничь, сначала вроде как полусмеясь, будто я собирался ему что-то показать, но не вышло. Потом, убедившись, что это не ошибка, он удрал. Он вообще-то нельзя сказать что такой уж бесстрашный кулачный боец, наш Оливер. Точнее сказать,

он просто отчаянный трус. В кабак рискует зайти, только если там дамский вечер, понимаете? Он объясняет, что у него отвращение к физическому насилию из-за того, что его в детстве папаша бил. Чем, интересно? Свернутой в трубочку газетой?

Знаете что? Я не хочу больше говорить об Оливере. Вообще никогда. У меня никаких сил не осталось после вчерашнего. Да еще этот придурок измазал кровью ковер.

Хотите знать, как я себя чувствую? Могу объяснить. Мы в школе часто играли в солдат. У нас был Сводный ученический полк. Вот, например, как чистят винтовку. Берешь лоскут два на четыре, скатываешь потуже и вставляешь в очко шомпола, конец шомпола запускаешь в ствол и тянешь тряпицу через дуло. Она идет туго, так как очень плотно прилегает к стенкам ствола, но идея в том, чтобы протянуть ее во всю длину насквозь, от затвора и до дула. Не такая простая операция. И я так же себя чувствую: словно через всего меня кто-то протягивает на проволоке лоскут, в зад втыкает, через нос вытаскивает, и так раз за разом. В зад втыкает, через нос вытаскивает.

А теперь не приставайте ко мне больше, ладно? Мне надо побыть одному. Спасибо.

Тлеют в пепельнице две сигареты
Мы сидим вдвоем любовью согреты
Но приходит третий чужой человек

Вы-то, конечно, знаете, спят они или нет. Конечно, знаете. Так скажите мне. Ну пожалуйста, скажите, а?

12. *Нет, избавьте меня от* Вэл. *Только не связывайтесь с* Вэл

Стюарт.

Дотлевает моя сигарета
Я буду блуждать всю ночь до рассвета
Плакучая ива плачет по мне
Птицы ночные щебечут во сне
Мне так горько так одиноко

Это Патси. Не узнать нельзя, верно ведь? Это из ее песни “Блуждаю ночью”.

Я поставил эту запись Джилиан. И спросил ее мнения.

— Не знаю, у меня нет мнения, — ответила она.

— Хорошо, — сказал я. — Тогда я поставлю еще раз.

Проиграл ей еще раз. На случай, если вы не знаете этой песни, — на мой личный вкус, это один из ее шедевров, — в ней говорится про женщину, которую оставил любимый, и она “блуждает ночью” в надежде, что вдруг он ей где-нибудь встретится и, может быть, она уговорит его вернуться.

Когда песня кончилась, я посмотрел на Джилиан: она стояла с таким... отвлеченным, что ли, выражением лица, как будто оставила что-то жариться на плите, но не важно, пусть подгорит, не все ли равно. Она

опять не сказала ничего, и меня это, само собой, немного задело. Ей-богу, я, например, нашел бы, что сказать про одну из ее самых любимых песен.

– Я еще раз поставлю.

И поставил.

Плакучая ива плачет по мне
Птицы ночные щебечут во сне
Мне так горько так одиноко

– Ну, что ты все-таки про эту песню думаешь?

– Думаю, – ответила она, – что автор упивается тошнотворной жалостью к себе несчастненькому.

– А по-твоему как? – заорал я. – По-твоему как?

Не то чтобы вдрызг пьян.

Просто пьян.

Мадам Уайетт. Я хочу заметить вот что. Говорят, то или это, мол, подтверждается статистикой. Ну верно, подтверждается. Но на мой взгляд, опасно всякое время. Я повидала много разных браков, долгих, коротких, английских, французских. Опасный срок – семь лет, кто спорит. Но и семь месяцев – тоже опасный срок.

Одну вещь я не могла рассказать своей дочери. Через год после того, как я вышла за Гордона, у меня был роман. К тому, как мы с ним жили, это не имело никакого отношения, мы любили друг друга. Но все-таки у меня был мимолетный романчик. Я слышу, вы говорите: "Ах, как это по-французски". О-ла-ла! Не так уж и по-французски. Одна моя приятельница, англичанка, завела роман через полтора месяца после свадьбы. И тут нечему особенно удивляться. Можно быть счастливой и в то же время чувствовать, что ты в ловушке. Можно чувствовать себя под защитой и одновременно паниковать, это старо как мир. В определенном смысле самое опасное время – это начало замужней жизни, потому что – как это сказать? – сердце размягчается. L'appétit vient en mangeant[1]. Когда человек влюблен, ему легче влюбиться. Ах, я, конечно, не собираюсь состязаться с Шамфором, вы же понимаете, это просто мое наблюдение. Некоторые думают, что тут все дело в сексе, кто-то плохо выполняет свой супружеский долг, но я считаю, причина не в этом. Дело в сердце. Сердце размягчено, а это опасно.

Вы понимаете, почему я не могу сказать этого дочери? Ах, Джилиан, я тебя вполне понимаю. У меня у самой был роман на стороне, когда я только год была замужем за твоим отцом. Это нормальная вещь. Я не хочу подавлять свою дочь. Я этого эпизода не стыжусь и не вижу нужды держать его в секрете, но если я расскажу, ей это принесет вред. Она должна найти собственную дорогу, нельзя, чтобы она вообразила, будто не может иначе, потому что это у нее наследственное от матери. Я ни за что не хочу отдавать ее в рабство этому знанию.

И поэтому я только говорю ей:

– Опасно всякое время.

Разумеется, я сразу поняла, что это Оливер.

1. Аппетит приходит во время еды (*франц.*).

Джилиан. Он сказал: Пожалуйста, не уходи еще пока от меня. А то подумают, что я импотент.

Он сказал: Я люблю тебя. Я всегда буду тебя любить.

Он сказал: Если застану Оливера в этом доме, сверну ему башку к чертовой матери.

Он сказал: Пусти меня к себе.

Он сказал: В наши дни убить кого-нибудь стоит гроши. Эту сферу инфляция не затронула. Законы рынка.

Он сказал: Я по-настоящему живой только с тех пор, как встретил тебя. Что же, снова стать неживым?

Он сказал: Я сегодня пригласил одну девушку поужинать. Может быть, потом пересплю с ней, я еще не решил.

Он сказал: Но почему, почему Оливер?

Он сказал: Можно я останусь твоим другом?

Он сказал: Не хочу больше никогда тебя видеть.

Он сказал: Если бы у Оливера была нормальная работа, ничего бы этого не случилось.

Он сказал: Пожалуйста, не уходи от меня. А то подумают, что я импотент.

Мадам Уайетт. И еще одну вещь сказала мне моя дочь, от чего у меня защемило сердце. Она сказала: maman, я думала, есть какие-то правила.

Она подразумевала не правила поведения, а что-то гораздо большее. Люди часто думают, что вот вступят в брак, и конец всем проблемам. Моя дочь, конечно, не настолько наивна, но она, мне кажется, верила, что хотя бы на какое-то время будет под защитой чего-то, что мы можем назвать неизменными правилами брака.

Мне сейчас уже шестой десяток, но если вы спросите меня, какие они, эти неизменные правила, я, пожалуй, назову только одно: муж никогда не уходит от жены к женщине старше ее. А помимо этого, все, что возможно, — нормально.

Стюарт. Вчера вечером я зашел в дом № 55 на той стороне улицы. Дверь отперла миссис Дайер, маленькая старушенция, что в нем живет.

— Ах, вы тот молодой человек из муниципалитета, — узнала она меня.

— Совершенно верно, мадам, — говорю. — Простите, что беспокою вас в такой поздний час, но обязанность местных властей — безотлагательно поставить в известность всех домовладельцев — и домовладелиц, — если у их жильцов положительный анализ на СПИД.

— Вы пили спиртное, — сказала она.

— Да, знаете ли, работа очень нервная.

— Тем более не следовало пить. Особенно если приходится управлять механизмами.

— Я не управляю механизмами, — возразил я, чувствуя, что мы отвлеклись от темы.

— Тогда ступайте да ложитесь пораньше спать.

И она захлопнула у меня перед носом дверь. Разумеется, она права. Мало ли, может, мне еще понадобится управлять механизмом. Например, проехаться на моем авто несколько раз туда и обратно через тело Оливера. Бамп, бамп, бамп. Для такого дела надо быть трезвым.

Поймите меня правильно. Я вовсе не просиживаю дни, накачиваясь алкоголем и слушая песни Патси Клайн. То есть, конечно, и это тоже. Но я не намерен тратить больше минимального процента своей жизни на то, чтобы упиваться... как это Джил сказала?.. тошнотворной жалостью к себе несчастненькому. И еще я не намерен отступаться, слышите? Я люблю Джил и не собираюсь поднимать лапки кверху. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы она от меня не ушла. А если все же уйдет, постараюсь добиться, чтобы вернулась. А если не вернется, тогда... еще что-нибудь придумаю. Я не намерен безропотно смириться.

Я, конечно, не всерьез это говорил, насчет того, чтобы переехать на автомобиле жильца миссис Дайер. Это просто выражение. У меня нет практики в таких делах, откуда ей взяться загодя? Живешь, живешь, и вдруг на тебя обрушивается как снег на голову, и разбирайся как хочешь. Вот и ляпнешь, чего даже не думаешь, и какие-то чужие выражения выскакивают изо рта. Как, например, когда я сказал Джил, что пригласил на ужин девушку и, может быть, пересплю с ней потом, если будет настроение. Это была глупость, хотел обидеть Джил. Это правда, человек, с которым я ужинал, — женщина. Но не кто-то, а Вэл, очень старая знакомая, еще с незапамятных времен. А мне нужна только Джил. И больше никто.

Оливер. Я отпер дверь своим ключом и, войдя, разразился трубным кашлем, которым завел обыкновение оповещать миссис Дайер, что оставляю отпечатки ног на ее паркете. Она вышла из кухни, повернула ко мне голову-гелиотроп и, прищурившись, заглянула в лицо.

— Мне очень жаль, что у вас, оказывается, СПИД, — сказала она.

Мой ум в это мгновение не обладал мощью советского монумента сталинско-брежневского периода. Я вообразил, что миссис Дайер по ошибке вскрыла коричневый конверт из поликлиники. Правда, я сказал им, что сам зайду. И потом, я же не давал здешнего адреса.

— Кто вам это сказал?

— Господин из районного муниципалитета. Который приходил раньше насчет подоходного налога. Он живет вон там, я его видела. У него милая жена. — Миссис Дайер показала рукой через улицу, и все сразу встало на место.

— Это была шутка, миссис Дайер, — сказал я. — В своем роде.

— Должно быть, он думал, я не знаю, что такое СПИД. — Я сделал вид, будто и сам поражен ее осведомленностью. — Я читала санитарно-просветительные листки. И я его заверила, что вы человек чистоплотный и что мы пользуемся разными туалетами.

Внезапно мое сердце затопили волны нежности — вот попробуйте, наступите мне в сердце ногой: провалитесь по самый пуп.

— Миссис Дайер, — произнес я, — надеюсь, вы не сочтете это дерзостью с моей стороны, но не согласились ли бы вы стать моей женой?

Она тихо рассмеялась.

— Любой женщине довольно одного раза, — сказала она. — И к тому же, молодой человек, у вас ведь СПИД.

Она еще раз хихикнула и удалилась к себе на кухню.

Я сижу у окна, скрытый араукарией, и представляю себе, как Стюарт за завтраком трясет над тарелкой коробку мюслей: шш-чух-чух-чух, шш-чух-чух-чух. И вдруг мне подумалось — мысли, они как мухи, как бло-

хи — мне подумалось про Стюарта в постели с Джилиан. Наверняка он вот так же: шш-чух-чух-чух, шш-чух-чух-чух. Очень больно.

Стюарт. Я когда говорю что-то, не всегда думаю то, что говорю. Но что я говорил насчет отсутствия у Оливера настоящей работы, то это так и есть. Самое действенное средство против сексуальной распущенности, против похищения чужих жен — полный рабочий день, чтобы каждый половозрелый мужчина был занят на работе ежедневно с девяти до пяти тридцати, и в субботу тоже, лучше перейти обратно на шестидневную рабочую неделю. Профсоюзы будут, конечно, против, и понадобятся особые исключения, например для пилотов на авиалиниях и т. п. Как раз пилоты и их команды знамениты своей безнравственностью. Кто еще славится безнравственностью и охоч до чужих жен? Университетские преподаватели, актеры с актрисами, врачи и медсестры... Вот видите? У всех у них гибкий график.

И потом, Оливер, как известно, много врет. Это помогает. Я считал, что за все годы научился делать поправку на его "преувеличения". Но может быть, он все-таки и меня дурачил. Например, эта история, что отец его избивал. Возможно, что это вранье, не поручусь. Он любит распространяться о том, как папаша начал его бить с шести лет, после смерти матери, как он лупил его бильярдным кием по ногам, потому что Оливер очень похож на мать, так что на самом деле это старик сводил счеты с женой за то, что та умерла и оставила его. (Неужели у людей так бывает? Оливер утверждал, что да.) И будто бы это продолжалось из года в год, пока однажды, когда ему уже было пятнадцать (иногда он говорил — шестнадцать, иногда — тринадцать), Оливер обернулся и врезал ему. С тех пор это больше не повторялось, и теперь его старик живет в доме для престарелых, а Оливер довольно часто его там навещает, все надеется найти у того на закате дней хоть искру тепла, но всякий раз возвращается грустный и разочарованный. У слушателей — а особенно слушательниц — этот рассказ всегда вызывает глубокое сочувствие.

Само собой, версию папаши никто не слышал. Я видел его парочку раз, когда заходил к Оливеру, лично меня он бить не пробовал. Наслушавшись Оливера, я ожидал увидеть у него в пасти клыки вампира и наручники на поясе; но он оказался с виду вполне симпатичным старикаком с трубкой в зубах. Оливер его ненавидит, это факт, но мало ли по каким причинам — может быть, он ест горох с ножа или не знает, что оперу "Кармен" сочинил Бизе. Оливер ведь сноб, вы, наверно, заметили.

Кроме того, вынужден вам сообщить, он еще и трус. Или, во всяком случае, скажем так: крупнейшее событие его детства — это когда он врезал Старому Подлецу — так он его называет — по первое число и тот убрался, поджав хвост. Но вот я пониже ростом, чем Оливер, но когда я ткнул его головой в лицо, как он себя повел? Убежал, вереща и всхлипывая. Это что, поведение знаменитого укротителя обидчиков? Да, и насчет бильярдного кия. Оливер как-то сказал мне, что у него с отцом нет ничего общего, кроме ненависти к спортивным играм и игрищам.

Джилиан. Оливеру наложили на рану пять швов. Он сказал в больнице, что споткнулся, упал и раскроил щеку, ударившись об угол стола.

Он говорит, что надо было видеть, какое у Стюарта было свирепое выражение лица. Он думал, что Стюарт хочет его убить. Он посоветовал

мне виски в бутылке разбавить водой. И умолял меня немедленно уйти оттуда.

Стюарт.

Плакучая ива плачет по мне
Птицы ночные щебечут во сне
Мне так горько так одиноко

Джилиан. Знаете, за все время, что мы со Стюартом были вместе, он меня ни разу не спросил, почему я в тот вечер оказалась в отеле "Чаринг-Кросс". То есть он спросил, как, и я объяснила, что увидела объявление в газете, но почему — он не спрашивал. Он всегда с большой осторожностью что-то про меня узнавал. Отчасти, я думаю, ему было просто не важно все, что было раньше; я — вот она, а все остальное неинтересно. Но не только в этом дело. Стюарт составил обо мне определенное представление, на нем остановился и знать не хотел ничего иного.

А почему я оказалась там, объяснить нетрудно. Был женатый мужчина, он не хотел бросить жену, а я не могла с ним расстаться. Да-да, старая история из тех, что все тянутся и тянутся. Ну и я предприняла шаги, чтобы она перестала тянуться. Человек должен сам заботиться о своем счастье, бесполезно ждать, чтобы его доставили тебе на дом и сунули в почтовый ящик. В таких делах нужна практичность. Некоторые сидят дома и думают: вот настанет день, и ко мне явится мой принц. Но для этого нужно вывесить объявление: "Приглашаются принцы".

Оливер совершенно не такой. Начать с того, что ему хочется знать обо мне все. Я боюсь, не подвожу ли я его тем, что у меня такое неэкзотическое прошлое. Я никогда не ныряла за жемчугом у берегов Таити. Не продала свою девственность за соболиное манто. Просто была самой собой. С другой стороны, мой образ в представлении Оливера не определился и не устоялся раз и навсегда, не то что для Стюарта. И это... приятно. Нет, не просто приятно, а приятно возбуждает.

— Знаешь, держу пари, в глазах Стюарта ты прежде всего специалистка делать покупки. — Это Оливер сказал мне еще несколько недель назад.

Я не люблю, когда Стюарта критикуют. Я вообще этого не допускаю.

— Я и есть специалистка делать покупки, — ответила я (хотя сама себя я вижу иначе). По крайней мере, в этом отношении я лучше Оливера, который медитирует над каждым стручком зеленого перца.

— Прости, — поспешил оправдаться Оливер. — Я только хотел сказать, что для меня в тебе заключены неисчислимые возможности. Я не огораживаю какой-то отдельный участок и не объявляю его твоей признанной и одобренной личностью.

— Очень мило с твоей стороны, Оливер. — Я его поддразнивала, но он как будто бы не замечал.

— Все дело в том, что — не хочу сказать ничего дурного — Стюарт никогда тебя по-настоящему не видел.

— А ты, ты меня видишь?

— Как сквозь стереоочки, и смотрю на тебя одну.

Я улыбнулась и поцеловала его. А позднее задумалась: если два таких разных человека, как Стюарт и Оливер, смогли оба полюбить меня, что же это я за личность такая? И что это за личность такая, которая сначала полюбила Стюарта, а потом Оливера? Одна и та же или две разные?

ХАРРИНГЕЙСКАЯ КЛИНИКА
Отделение экстренных и несчастных случаев
Фамилия: РАССЕЛ
Имя / имена: ОЛИВЕР ДЕЙВЕНПОРТ ДЕ КУИНСИ
Адрес: 55, Ст. Данстанс-роуд, № 16
Профессия: киносценарист
Место получения травмы: дома
Время обращения: 11.50
Участковый врач д-р Кальяри (Сицилия)

ДАННЫЕ ОСМОТРА И ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ
Со слов больного, у него открылась старая дуэльная рана, налетел на ствол араукарии.
Наличие паров алкоголя + +
Потери сознания не было
Последняя прививка от столбняка — более 10 лет назад
Местно — рваная рана на правой щеке, 3 см
Рнтг — костного перелома не обнаружено
Наложены швы (10 х15, нейлон)
Введен столбнячный анатоксин
Обработка произведена здесь 5/7
Дж. Дэвис

Оливер. Я и не думал, что у меня может быть СПИД, в чем упрекнула меня милая миссис Дайер. Но это доказывает, насколько серьезны мои намерения, не правда ли? Tabula rasa, начинаем с нуля.

И дважды платить подушный налог мне не придется, потому что я на самом деле в 55-м номере не проживаю, во всяком случае скоро меня здесь уже не будет.

У меня фантастическая идея пригласить миссис Дайер быть подружкой на свадьбе. Или, может быть, почетной гостьей.

Некоторые мысли появляются и начинают преследовать. Надо же мне было придумать про это шш-чух-чух-чух. Понимаете, у меня была такая секретная шутка. В одной книге, которую я прочел в пост-пре-пубертатном периоде, мне встретилась фраза: "Он владел ее узкими чреслами". Признаюсь, почти не краснея, что несколько лет эта фраза висела перед моим мысленным взором, точно елочная игрушка, многозначительная, золоченая. Так вот чем они занимаются, скоты, думал я. Скоро и до меня очередь дойдет. Потом на долгие годы реальность затмила фразеологию, пока эта фраза не вернулась ко мне с появлением Джил. Часами я сидел у себя в ветвях араукарии и шептал (не совсем всерьез, как вы, надеюсь, понимаете): "Я буду владеть ее узкими чреслами". Но теперь так думать уже невозможно. Заело в мозгу, запутался один нервный узел. И всякий раз вслед за этими словами я слышу Стюарта: шш-чух-чух-чух, шш-чух-чух-чух. Будто толстопузый тендер, прицепленный к обтекаемому паровозу.

Господи, хоть бы они больше этого уже не делали. И вообще даже не спали больше в одной постели. Спросить нельзя. А вы как думаете?

После медового месяца наступает месяц полынный. Кто бы мог подумать, что Стюарт сделается буйным во хмелю?

Стюарт.

Плакучая ива плачет по мне
Птицы ночные щебечут во сне

Не то чтобы вдрызг пьян.
Просто пьян.

Джилиан. Я знаю, что должна ответить на один вопрос. Ваше право его задать, и я не удивлюсь, если в вашем голосе прозвучит скептическая, даже, может быть, ехидная нотка.

Послушай, Джил, ты рассказала, как полюбила Стюарта, — растрогалась, когда увидела его план подготовки ужина. А как ты полюбила Оливера? Увидела его в тот миг, когда он заполнял купон футбольного тотализатора? Или решал кроссворд в "Таймс"?

Справедливо. У меня бы тоже на вашем месте сложилось некоторое предубеждение. Но вот что я вам скажу. Я не виновата, что так получилось. Я не решила вдруг, что Оливер — "более подходящая партия", чем Стюарт, или что-нибудь еще в таком роде, и ничего не делала нарочно. Так вышло само. Я стала женой Стюарта, а потом полюбила Оливера. И меня это вовсе не радует. Кое-что в этой истории я даже осуждаю. Что же делать, так случилось.

А что до того мгновения, которое меня попросят вспомнить люди, мне совершенно незнакомые... Мы сидели в ресторане. Он считается французским, но в нем нет ничего французского. Половина официантов, по-моему, испанцы, остальные греки, но вид все имеют достаточно средиземноморский, а шеф-повар во всякое блюдо кладет оливки и анчоусы, и называется это заведение — "Le Petit Provençal[1]". Всего этого довольно, чтобы обмануть большинство посетителей или если не обмануть, то, по крайней мере, удовлетворить.

Мы там сидели вдвоем, потому что Стюарт уехал по делам и Оливер непременно хотел повести меня поужинать. Сначала я вообще отказывалась, потом сказала — ладно, но чур плачу я, потом предложила, чтобы каждый платил за себя, и тут началось обычное пререкание: мужская гордость особенно упорствует, когда пустовато в кармане. Словом, отчасти против воли, отчасти уступая, я очутилась в этом ресторане, который мне самой не нравился, но я его выбрала, потому что он дешевый, и я надеялась, что ему по карману. Но Оливер ни на что не обращал внимания. Сидел себе, благодушествовал как ни в чем не бывало, словно никаких споров об этом между нами никогда не возникало. А я была настороже, как бы он не начал дурно говорить о Стюарте; но ничего подобного. Он сказал, что школьные времена уже помнит плохо, но все, что тогда было хорошего, связано в его памяти со Стюартом. Была какая-то банда, которую они победили, только они вдвоем, без чьей-либо помощи. Был мальчишка, получивший у них прозвище Пятка за то, что у него большие руки. Как-то они на пару ездили автостопом в Шотландию. Оливер говорит, у них на то, чтобы добраться до места, ушло несколько недель, потому что он тогда был жуткий сноб и, если машина ему не нравилась, обивка не та или диски на колесах, он ни за что не желал садиться. А когда добрались, там без передышки лил дождь, и они сидели под крышей на автобусной остановке и питались овсяным печеньем. Оливер, по его словам, тогда уже начал разбираться в еде, и Стю-

1. "Провансальский уголок" (*франц.*).

арт устраивал ему проверки: давал поесть с закрытыми глазами то кусочки размокшего овсяного печенья, то обрывки раскисшей картонной упаковки. Стюарт всегда утверждал, что отличить одно от другого Оливер не мог.

Вечер проходил на удивление непринужденно, Оливер ел и похваливал, хотя мы оба понимали, что пища не ахти. После первого блюда он остановил проходящего мимо официанта и сказал:

— Le vin est fini[1].

Это он не пижонил, а просто думал, что в ресторане "Le Petit Provençal" обслуга французская.

— Простите?

— Ага. — Олли повернулся на стуле и постучал пальцем по винной бутылке, словно на уроке в этой ужасной школе имени Шекспира. И раздельно, внятно повторил: — Le vin... est... fini, — давая понять повышающейся интонацией, что разговор еще не окончен. А затем "перевел" с иностранным акцентом: — Винцо... из... Финляндии.

— Желаете еще бутылку?

— Si, signor.

Боюсь, что я взвыла от смеха, и это было жестоко по отношению к официанту, который с раздраженным видом удалился и принес еще одну бутылку. Пока он наполнял мой бокал, Олли пробормотал вполголоса:

— Недурное "Шато Сибелиус", вот увидите.

От этого я снова прыснула и хохотала, пока не раскашлялась от смеха, пока не дохохоталась до колик в животе. Олли умеет выжать из шутки все, сколько в ней есть смешного. Не хочу проводить сравнения, но вот Стюарт не мастер шутить, он если отпустит шутку, то больше уже к ней не возвращается, словно застрелил зайца или кого-то там, и делу конец. А Олли продолжает резвиться, всячески обыгрывает смешную находку, и если вы не в настроении, это может надоесть, но я, похоже, в тот вечер была в настроении.

— А к кофе, мадам? Несколько капель Калевалы? Суоми со льдом? Знаю: стаканчик Карелии! — Я от смеха совсем обессилела, а бедный официант ничего не понимал. — Да, я думаю, пятьдесят грамм Суоми для дамы. Какой оно у вас марки? Хельсинки пять звездочек есть?

Я замахала руками, чтобы он перестал, но официант истолковал это по-своему:

— Даме ничего. Что для вас, сэр?

— О! — Олли изобразил, будто опомнился и спустился с высот на землю. — Да, да. — Он принял серьезный вид. — Мне маленький Фьорд, пожалуйста.

И мы снова покатились со смеху. Когда я наконец отсмеялась, у меня болели бока. Напротив меня глаза Олли влажно блестели, и я тогда подумала: "Боже мой, это уже опасно, даже более чем опасно". А тут и Олли утих, словно ощутил то же.

По-вашему, это все не настолько смешно, как мне показалось? Ну что ж. Я рассказала вам просто потому, что вы просили. И мы оставили щедрые чаевые — на случай если официант принял наш смех на свой счет.

Стюарт.

в ночной тишине
Плакучая ива плачет по мне
Птицы ночные щебечут во сне

1. Эта фраза по-французски может значить и "вино кончилось", и "вино прокисло".

Джилиан. Когда я только познакомилась с Оливером, я спросила у него, не красится ли он. Неловко получилось, то есть неловко потом вспоминать, что это были почти первые мои слова, сказанные тому, кого теперь люблю. Но, между прочим, не так уж они и странны. Иногда Оливер действительно как бы носит грим на людях. Он любит поразить, ошарашить. Но только не меня. Со мной он может вести себя тихо, естественно, он знает, что ему не надо кого-то из себя строить и притворяться, чтобы произвести впечатление. Вернее, наоборот, наигрыш не произведет впечатления.

Мы шутим между собой, что я единственный человек, который видит его без грима. Но в этом есть своя правда.

Оливер говорит, что это совсем не удивительно. Что тут дело во мне. Я занимаюсь тем, что счищаю копоть и грязь с картин, вот и с него счищаю тоже. "Послюнявь и потри, — говорит он. — Нет нужды применять крепкие растворители. Ты только послюнявь и потри и скоро доберешься до подлинного Оливера".

А какой он подлинный? Мягкий, искренний, не особенно уверенный в себе, с ленцой и очень сексуальный. Вам не кажется? Погодите, дайте срок.

Я сейчас говорю, как моя maman.

...(**Женского пола, возраст — между 25 и 35**). Если хотите знать, все объясняется просто. Ну, может, и не так просто, но я уже с этим сталкивалась. Все дело в том ...

Что-что? Как вы сказали? Хотите видеть мои верительные грамоты? Это ВЫ хотите видеть МОИ верительные грамоты? Ну, знаете ли, это вы должны представить документы. Чем вы заслужили мое доверие? И вообще, по какому праву? То, что вы уже так много разузнали, еще не основание лезть напролом дальше.

Тогда вы мне скорее поверите? Да не верьте, пожалуйста, мне-то какое дело. Я вам предлагаю свое мнение, а вовсе не автобиографию, если вас это не устраивает, топайте своей дорогой, я вас знать не знаю. По крайней мере, я не топчусь на этом углу, и нечего с меня спрашивать документы. Да понимаю я вас, можете не сомневаться. Заслуживаю ли я доверия, зависит от моей профессии. И от общественного положения. Нет уж, простите. Вернее, катитесь к черту. А если уж вам так необходимы мои личные данные, то пожалуйста. Может, я и женщина-то всего лишь с виду. Училась в университетах Касабланки и Копакабаны. Стажировалась в Булонском лесу

Ну хорошо. Виновата. Вы задели больной нерв. И к тому же я в дурном настроении. (Почему — тоже не вашего ума дело.) Да господи, сейчас выскажу вам, что я думаю, и смотаюсь. А вы уж тут сами соображайте. Я не "самый популярный персонаж месяца", вы меня тут больше не увидите.

И разумеется, я не транссексуал. Можете спросить у Оливера, он видел доказательства. Прошу прощения, не полагается смеяться собственным шуткам. Но у вас такое неодобрительное выражение лица. Так вот. Я этих обоих парней знаю тысячу лет. Помню Оливера, когда его понятие об опере сводилось к записям Дасти Спрингфилд на автомагнитоле. А Стюарта помню в очках с резиновыми заушниками. Помню, как Оливер носил фуфайки на шнуровке и детские ботинки, а Стюарт втирал в волосы сухой шампунь. Я спала со Стюартом (извините: не для прессы),

а с Олли не захотела. Вот вам мои верительные грамоты. Да еще последние недели и месяцы Стюарт прожужжал мне все уши рассказами про эту их историю. Мы часто ездили полунеофициально вместе обедать или ужинать. Честно сказать, я сначала было подумала, что у него другое на уме. Да, опять опростоволосилась, история всей моей жизни. Я вообразила, что он хочет повидаться со мной. Дура, конечно. Ему нужно было большое ухо, чтобы изливать свои переживания. Я сижу перед ним, а он хоть бы раз спросил, как у меня дела, как я жила все это время, разве что, уже прощаясь, извинился, что весь вечер говорил о себе одном. Потом мы встречались еще, и опять было то же самое. Одержимый какой-то, это еще мягко говоря, да мне от него ничего и не надо на данном этапе моей жизни. Абсолютно ничего. Лишний повод скорее со всем этим развязаться.

Я считаю, что Оливер неравнодушен к Стюарту, по-голубому неравнодушен. Не знаю, до какой степени он вообще голубой, но к Стюарту он неравнодушен по-голубому. Поэтому он всегда старается его принизить, насмехается над тем, какой он неинтересный и немодный. Он унижает Стюарта, чтобы не признать то, что всегда было между ними, что могло бы между ними быть, если бы не эта игра — мол, Стюарт такой неинтересный и немодный, разве он подходит блестящему Оливеру?

Ну хорошо. До этого вы уже и сами додумались. Ничего удивительного. Но я-то хочу сказать больше. Оливер потому добивается близости с Джилиан, что для него это почти что близость со Стюартом. Единственно возможная. Ясно? Вы меня поняли? Премудрые психиатрессы с Харли-стрит объяснили бы все это с употреблением профессиональной терминологии. Но я, увы, не из их числа. Я просто считаю, что для Оливера спать с Джилиан значит на самом деле спать со Стюартом.

Подумайте об этом. А я ухожу. Вы меня больше не увидите. Разве что книга будет иметь шумный успех.

Стюарт. О нет. Только не Вэл. Избавьте меня от Вэл. Только не связывайтесь с Вэл. Она тут совершенно ни при чем. С ней одни Неприятности. Неприятности с большой буквы.

Она из тех, кто не назовет вам своего имени (почему эти люди так стараются скрывать свои имена?). Я знал ее очень давно, о чем она, разумеется, вас уже уведомила. Вы обратили внимание: когда говорят про человека, что знают его много лет, это почти всегда значит, что сейчас скажут о нем какую-нибудь гадость. Ну конечно, вы же его знаете не так хорошо, как я, а вот я помню...

Вэл непременно вам скажет, что знает меня уже миллион лет, с тех еще пор, когда я втирал в волосы сухой шампунь. Давайте внесем в этот вопрос ясность, а вы потерпите немного, ладно? Когда-то давным-давно один человек как-то рассказал мне, что будто бы есть такой порошок, который, если посыпать им сухие волосы, втереть, а потом вычесать, придает волосам свежевымытый вид. Ну вот. Я купил этот порошок — должен заметить в порядке самозащиты, что я тогда как раз где-то вычитал, что слишком часто мыть голову вредно, — и однажды вечером, единственный раз, применил согласно инструкции, а потом зашел выпить в паб, сижу, и вдруг у меня за спиной раздается визг: "Ой, Стю, у тебя вся голова в перхоти!" Конечно, это была Вэл, она уж постаралась, как всегда, не смутить приятеля. У меня перхоти отродясь не было, поэтому я пощупал волосы и говорю: "Это сухой шампунь, а не перхоть", и Вэл тут

же на весь кабак объявила: это, мол, не перхоть, а сухой шампунь, и что это за штука такая, и так далее и тому подобное. Неудивительно, что после того случая я, вернувшись домой, выбросил упаковку с порошком вон и никогда больше сухой шампунь не употреблял.

У нее привычка предъявлять права на прежних знакомых, у этой девицы или, вернее сказать, этой женщины, ей тридцать один год, о чем она вам, конечно, не сказала. После блестящей карьеры в сфере продажи грошовых горящих турпутевок она теперь заведует небольшой типографией на Оксфорд-стрит. Это такое заведеньице, где печатают пригласительные билеты и в вестибюле стоят два "ксерокса", но один всегда не работает. Не думайте, я это рассказываю не для того, чтобы унизить ее, а просто чтобы разрушить образ Таинственной Незнакомки, какой она, наверно, постаралась перед вами создать. В действительности вы имеете дело с Вэл из "Пронто-принта"[1], только и всего.

Оливер. Что-что? Это она так сказала? Ну это черт знает что, надо же было выдумать такую гнусную ложь. С этой девицей всегда одни неприятности, Неприятности с большой буквы Н. Или Б, которая известно что обозначает.

Она меня отвергла? Это она-то отвергла меня? В таком случае направьте на синераму вашего воображения следующие мультипликационные образы да включите звук на полную мощность, чтобы не упустить тонкостей диалога. Однажды в кои-то веки Оливер, вопреки громогласным новогодним зарокам, опять очутился на одном из тех унылых сборищ, куда приходят люмпен-шалуны с пивными бочонками под мышкой, где все девицы старательно дымят сигаретами с фильтром, якобы полезным для здоровья (я говорю не как надменный отрекшийся курильщик — но если уж куришь, так кури), и где тебя в любую минуту могут схватить сзади беспощадные плебейские руки и втянуть в пьяный, растрепанный хоровод-конгу. Иначе говоря — вы уже догадались, — на вечеринке.

Помнится, это Стюарт уломал меня туда явиться, очевидно, в порядке ничтожной платы за все шикарные парные свидания, на которые я водил его, моего пухлого робкого друга. Пробравшись среди пивных кружек и матовых бутылок с пальмовыми этикетками снаружи и гибельным для печени карибским спиртом внутри, я устроился подле самой большой бутыли в почти сознательном намерении напиться до помрачения ума. Сижу себе и успешно накачиваюсь зельем через витую соломинку, как вдруг те самые грозные руки хватают меня за плечи.

— Эй, осторожнее! У меня подагра! — воскликнул я, опасаясь быть затянутым в дешевую деревенскую вакханалию. Ибо в тот вечер дух танца не почил на мне.

— Олли, ты меня избегаешь, — сказали Руки, и вслед за этим Круп попытался осуществить вертикальную посадку на подлокотник — фигура пилотажа, непосильная для нисходящей Вэл, в результате обрушившейся мне на колени.

В течение последовавших нескольких минут у нас с нею происходил тот общепринятый обмен шутливыми любезностями, в которых лишь самый изобретательный толкователь подсознательных смыслов мог бы усмотреть признаки того, а) что я предпочитаю общество Вэл обществу

1. "Срочная ксерокопия" (*итал.*).

бутылки белого итальянского или б) что я готов отнять у моего друга Стюарта так называемую "подругу на вечер".

И мы расстаемся вполне по-дружески, как я считал, — она возвращается в хоровод, а я к своим грациозным грезам. И безо всякого шевеления в штанах, хотя бы из любезности.

Вэл. Мужчины, которые тебя прогоняют, делятся, как я убедилась, на две категории: тех, с кем ты спала, и тех, с кем не спала.

У нас со Стюартом был роман, и Оливер пытался пристать ко мне. Стюарт женился на своей занудной милашке, и Оливер пристал к ней и уволок. По-вашему, есть тут закономерность или нет?

Стюарт злится, что я заметила у него в волосах тот сухой шампунь, а Оливер злится, что я не бросилась к нему в постель. Вам не кажется это странным? Какие вещи их злят. Обоим дела нет до того, что Оливер спит с Джилиан, ведь на самом-то деле ему хочется спать со Стюартом. Что вы на это скажете?

Я бы на вашем месте получше присмотрелась к Джилиан. Ну разве она не героиня? Все-то она преодолевает. Папочка сбежал со школьницей, но Джили это перенесла героически. Даже утешала в горе свою маму. Какая взрослая, самоотверженная девочка. Затем она попадает в любовный треугольник, и догадайтесь, кто из троих оказался первым молодцом? Ясно, она, маленькая мисс Кто. Угодила в самую середку, но выплыла и поступила так, как и следовало: избавилась от Стюарта и взяла на поводок Оливера.

Она объясняет Стюарту (а он пересказывает мне), что нет ничьей вины, если ты, например, уводишь жену у лучшего друга; просто иногда так случается, и все, надо принять это и достойно жить дальше. Удобная теория, правда? Ничего подобного, само ничего не случается, тем более в такой ситуации. Ни тот, ни другой не отдают себе отчета в том, что главное действующее лицо здесь — Джилиан. Такие тихие, рассудительные люди, считающие, что "просто иногда так случается, и все", и есть настоящие манипуляторы. А Стюарт, между прочим, уже винит себя — немалый успех, согласитесь.

Да, и почему она раздумала быть социальным работником? Она что, слишком чувствительная, не может выносить страдания мира? Наоборот, если хотите знать, это мир для нее недостаточно чувствителен. Все эти несчастные люди и разрушенные семьи не ценят, как им повезло: их бедами занимается лично сама мисс Флоренс Найтингейл[1].

И еще один вопрос. Когда она решила переключиться на Оливера? Когда именно начала незаметно для него подманивать его к себе? Она это отлично умеет. Или она уже и до вас добралась?

Оливер. У нас ведь спектакль идет без репетиций, верно? Добродетельная Вэл изображает Сусанну, которая пострадала от похотливых старцев. Позвольте мне внести тут некоторые уточнения. Если бы Вэл обнаружила, что за ней в наготе ее подглядывают двое выживших из ума почтенных старцев, они бы у нее оказались у позорного столба, прежде чем успели сосчитать ее родинки, и она бы взыскала с них по десятке за каждое прикосновение.

1. Флоренс Найтингейл (1820—1910) — знаменитая английская сестра милосердия, организатор первого отряда фронтовых санитарок.

Боюсь, вы недооцениваете грубую примитивность данной свидетельницы, вы плохо ее знаете. Если бы воины Ирода обходили с обыском дом за домом в поисках двусмысленности, в доме Вэл им бы долго шарить не пришлось. Это личность, для которой приглашение "Заходи, выпей чашечку кофе" так многозначительно, что и словами не выразишь, а элементарный афоризм "Что это у тебя в кармане, еловая шишка?" она отнесет к премудростям тантризма. Так что, может быть, Олли не очень уж и виноват, что ясно запомнил, кто именно к кому лез на той вечеринке.

И в наказание за то, что я предпочел отстраниться от ее липких ладоней (хотя признаюсь, рыцарский долг перед Стюартом шел далеко позади таких мотивов, как нервы, хороший вкус, эстетические соображения und so weiter[1]), Вэл теперь заявляет среди ясного неба, что я имею, имел и буду иметь животные поползновения к тапироподобному толстячку Стю и, будучи отвергнут в своих притязаниях, растрачиваю семя на самый подходящий из доступных мне суррогатов, а именно на Джил. Тут я должен заметить, что всякий, кому Джилиан представляется подходящим эротическим субститутом Стюарта, должен немедленно вызвать себе психовозку с войлочными стенами. И еще хочу заметить, что ваш информатор Вэл является постоянной посетительницей того отвратного отдела в местном книжном магазине, который почему-то называется "Помоги себе сам", когда самое подходящее ему наименование — "Пожалей себя сам". А домашнюю библиотечку Вэл помимо телефонной книги и указателя "Где что купить?" составляют произведения, долженствующие утешать и развивать самодовольство, под титлами: "Жизнь способна подставить ножку даже лучшим из нас", "Погляди на себя в зеркало и скажи: Здравствуй!" или "Жизнь — хоровод, включайся и кружись!" Переработки разного интеллектуального вздора в примитивные блюда ценностью в один байт для поглощения умственно отсталыми — вот чем упивается ваша свидетельница.

И вот еще что: случись так, что лучезарная сексуальность Оливера уклонится от рабочей рутины и направит взгляд на сомнительного Ганимеда из Стоук-Ньюингтона, то и тут, выражаясь на языке, доступном даже для моей обвинительницы, у меня проблем не будет, приятель. Никакой замены нам не понадобится.

Стюарт. Это все вообще ни к столбу, ни к перилу. И даже не боковой сюжетный ход. Ну да, я пару раз пытался поделиться с Вэл, думал, она друг, думал, друзья для того и существуют. И вдруг оказывается: рассказывать о своих неприятностях аморально, а Оливер — преступный гомосексуалист, и он всю жизнь меня исподтишка преследовал. Я много чего плохого думаю про моего бывшего друга. Но не это. От грязи одно спасение: в упор ее не видеть; иначе она пристанет.

Давайте лучше вернемся к нашей истории, ладно?

Вэл. Понимаю. Оливер говорит, что он никакой не гомосексуалист (кому это вообще могло прийти в голову?), а если бы и был, он бы со своим лучшим другом поладил без труда. А Стюарт, хоть он, наверно, самый несносно правильный человек, с каким меня сводила в жизни злодейка-судьба, нисколько не удивлен и тем более не встревожен моей психоло-

1. И так далее (*нем.*).

гической проницательностью. У него нет комментариев. Господа присяжные заседатели, на этом я свою речь кончаю. Вернее, добавлю для ясности: по-моему, они оба такие.

[100]
ИЛ 7/2002

Джилиан. Почти все разводы, полученные по иску женщин после 1973 года, базировались на недопустимом поведении мужа. Под недопустимым поведением понимается: грубое обращение, пьянство, азартные игры и тотализатор или вообще финансовая безответственность, а также уклонение от сексуальных отношений.

На юридическом языке в прошении о разводе употребляется слово "умоляю". Разводящаяся сторона умоляет о расторжении брака.

Оливер. И еще одно. Она делает вид, будто имя Вэл — это уменьшительное от не слишком шикарного, но вполне приличного Валери. Говорят, что она именно так подписывает свои маловразумительные внутриведомственные бумаги и любовные записки. Но верить ей нельзя даже в этом. Вэл (как вам, быть может, небезынтересно будет узнать) представляет собой уменьшительное от Валда.

Стюарт. Вот это, я понимаю, деликатность, вот это тонкий намек. Прихожу к себе домой, и что я вижу на столе? Брошюру из серии психологических руководств на все случаи жизни. В данном случае она имеет название: "Как пережить развод". И подзаголовок: "Руководство для пар и одиночек". Значит, вот кем я стану? Вот кем они хотят меня сделать: одиночкой?

А вам известно, что с 1973 года в ходатайствах о разводе, подаваемых в английские суды мужской стороной, в качестве причины называется чаще всего измена жены? Спрашивается, как, по-вашему, это характеризует женщин? Между тем в противоположных случаях дело обстоит иначе. Измена мужа — не основная причина, по которой женщины Англии требуют развода. Даже наоборот. Пьянство и уклонение от секса — вот на каком основании женщины часто избавляются от партнеров.

Одна информация в этой брошюре мне понравилась. Знаете, сколько стоят услуги адвоката? Вот и я тоже не знал. В провинции вплоть до 40 фунтов в час (плюс налог). В Лондоне от 60 до 70 фунтов в час (плюс налог), а самые знаменитые фирмы берут по 150 фунтов за час и даже больше (плюс налог). Так что этот тип, автор брошюры, в заключение пишет: "Очевидно, при таких ценах дешевле купить в дом что-нибудь новое, скажем стол, стул, полдюжины бокалов, чем судиться и оплачивать услуги адвокатов". Довольно убедительно. Конечно, можно разбить вот этот бокал, который у меня в руке, и остальные пять, что стоят на буфете, и таким образом избежать проблем при дележе имущества. Эти бокалы вообще мне никогда не нравились. Мадам мамаша жены нам их подарила.

Если бы я просто сказал: нет, я не сделал ничего плохого и развода не дам, вам не в чем меня обвинить, нельзя же назвать грубым обращением, что я врезал головой жениному любовнику, это еще не основание для развода, верно? — если бы я уперся и не дал согласия, знаете, как ей пришлось бы поступить? Она должна была бы выселиться и получила бы развод не раньше чем через пять лет.

Думаете, они бы столько не продержались?

Взгляните вот на эти бокалы. Из них можно пить перно, но не виски. И вправду было бы дешевле купить другие или еще какую-нибудь ме-

лочь в дом, чем тратиться на судебное разбирательство. А старые она может взять себе, кроме вот этого... ой, он сам соскользнул у меня с подлокотника, вы видели? Соскользнул, перелетел шесть футов по воздуху и разбился вдребезги об каминную решетку. Вы будете моим свидетелем.

А впрочем, не все ли равно?

13. Что я думаю

Стюарт. Я любил ее. От моей любви она сделалась еще милее. Он это увидел. Свою жизнь он профукал, вот и украл мою. Здание было полностью разрушено при налете цеппелинов.

Джилиан. Я любила Стюарта. А теперь люблю Оливера. Пострадали все. Естественно, я чувствую себя виноватой. А как бы вы поступили?

Оливер. О господи, бедный старина Олли, по самую слизистую оболочку в дерьме. Как сумрачно, как безрадостно, как тускло... Нет, на самом деле я так не думаю. Я думаю вот как. Я люблю Джилиан, она любит меня. Это — исходное положение. Отсюда следует все остальное. Я полюбил ее. А любовь подчиняется законам рынка, как я пытался втолковать Стюарту, но, по-видимому, у меня плохо получилось, да и трудно было ожидать от него объективности. Счастье одного человека часто покоится на несчастье другого, так устроен мир. Это жестоко, и мне очень жаль, что страдать пришлось Стюарту. Похоже, что я потерял друга, своего лучшего друга. Но ведь у меня, в сущности, не было выбора. Выбора не бывает вообще, в противном случае ты уже не ты. Хотите винить кого-то, вините изобретателя вселенной, но только не меня.

И вот что еще я думаю: почему все принимают сторону черепахи? Пусть бы кто-нибудь для разнообразия встал на защиту зайца.

Да, я опять сказал это слово — тускло.

14. Дотлевает в пепельнице моя сигарета

Стюарт. Я очень сожалею. Правда-правда. Я сознаю, что выгляжу в этой истории не слишком хорошо.

Он ведь ко мне приходил, почему бы мне не пойти к нему?

Нет, неубедительно.

Зачем я это сделал? Не хотел отступаться или хотел поставить окончательный крест? Ни то, ни это? Или и то, и это одновременно?

Не отступаться — думал, что, может быть, при виде меня она передумает?

Поставить крест — как взойти на эшафот с незавязанными глазами, как повернуться лицом вверх, чтобы видеть, как падает лезвие гильотины?

И эта история с сигаретами. Чистая случайность, я понимаю. Но это дела не меняет, потому что тут все — один большой несчастный случай, как грузовик, который внезапно вильнул вбок, проломил разграничительный барьер и смял в лепешку твою машину. Я сидел и курил и поло-

жил сигарету в желобок пепельницы, смотрю, а в другом желобке уже лежит и курится другая сигарета. Должно быть, я в расстройстве зажег новую сигарету, забыв про предыдущую. А потом я увидел, что в пепельнице лежит еще один окурок. Три сигареты в пепельнице, две курятся, и один окурок раздавлен. Это было нестерпимо. Можете вы представить, какую боль я испытал? Нет, конечно. Нельзя почувствовать чужую боль, в этом-то и беда. Вечная беда для всех людей. Вот если бы мы научились испытывать боль другого...

Я от души сожалею, честное слово. Как мне принести извинения? Надо будет что-то придумать.

Джилиан. Лицо Стюарта мне не забыть никогда. Оно было как клоунская маска, как тыквенная рожа, какие вырезают на Хэллоуин, с вымученной дурацкой улыбкой в виде щели поперек лица и мерцающим, призрачным светом, проглядывающим сквозь глазницы. Вот такой у него был вид. По-моему, никто, кроме меня, его не заметил, но это лицо всегда теперь будет стоять у меня перед глазами. Я закричала, Стюарт исчез, все стали оглядываться, но подмостки уже были пусты.

В канун свадьбы я ночевала у maman. Так пожелал Оливер. Когда он это предложил, я подумала сначала, что он хочет, чтобы мне оказали поддержку. Но дело было совсем не в этом. Он хотел, чтобы свадьба прошла по всем правилам. Оливер в некоторых отношениях удивительно старомоден. Я должна быть невестой, отправляющейся из-под родного крова к святому алтарю. Да только я ведь не юная дева, пугливо держащаяся за отцовский локоть.

Я приехала к maman в 7 часов вечера накануне моей второй свадьбы. Мы обе старались вести себя осторожно. Она налила мне чашечку кофе от нервов и подставила под ноги скамеечку, словно я уже беременна. А сама подхватила мой чемодан и унесла распаковывать, как будто я вновь поступившая больная в приемном покое. Я сидела и думала: только бы ей не пришло в голову давать мне советы, этого я не вынесу. Что сделано, то сделано, а что произойдет завтра, того уже не изменишь. Так что будем сидеть смирно, смотреть какую-нибудь дурацкую телепередачу и не говорить о важном.

Но — дочки и матери. Дочки-матери. Приблизительно через двадцать секунд она снова появилась в гостиной, держа на поднятых руках мой костюм и улыбаясь с таким видом, словно я вдруг впала в старческое слабоумие и со мной надо обходиться бережно и снисходительно.

— Дорогая, ты не те вещи уложила.

Я оглянулась.

— Те, maman.

— Но, дорогая, ведь это костюмчик, который я тебе купила.

— Да.

Да, и ты это отлично знаешь. Почему родители задают вопросы, как прокуроры на суде, насчет самых очевидных вещей?

— Ты что, собираешься надеть его завтра?

— Да, maman.

И тут — всемирный потоп. Сначала по-французски, как всегда, когда ей надо спустить пары. Потом, немного успокоившись, она снова перешла на английский. Лейтмотив был, что я совершенно определенно не в своем уме. Только человек со сдвинутой психикой способен придумать такое: дважды выходить замуж в одном и том же платье. Это надруга-

тельство над хорошим вкусом, хорошими манерами, умением одеваться, над церковью, над гостями, которые присутствовали на прошлой свадьбе (но главным образом над самой maman), над судьбой, над удачей, над мировой историей и еще над некоторыми событиями и людьми.

— Оливер хочет, чтобы я была в нем.

— Можно узнать почему?

— Он говорит, что влюбился в меня, когда на мне был этот костюм.

Новый взрыв. Так только беду накличешь. Безобразие, постыдился бы и т. д. Можешь не рассчитывать на присутствие матери, если намерена надеть это, и проч. И так битый час. Кончилось тем, что я отдала ей ключ от моей квартиры и она уехала с костюмом на вытянутой руке, словно от него исходила радиация.

Вернулась с двумя платьями на выбор. Я и смотреть не стала.

— Выбирай ты, maman.

Не хотелось спорить. Завтра будет трудный день, пусть хоть один человек останется доволен. Но нет, не тут-то было. Она стала настаивать, чтобы я примерила оба. Чтобы заслужить прощение за свой колоссальный промах, я теперь должна была изображать модную манекенщицу. Смешно, ей-богу. Я примерила одно и другое.

— Выбирай, maman.

Нет, этого ей было мало. Выбрать должна я. У меня должно быть свое мнение. Не было у меня мнения. И не из чего мне было выбирать. Это все равно как заявить: вот что, Джил, к сожалению, выйти тебе завтра за Оливера нельзя, это исключено, поэтому выбери себе кого-нибудь другого взамен. Вон того или вот этого?

Я так и сказала, но сравнение ей не понравилось, она нашла, что оно в дурном вкусе. Как же так? Когда я выходила за Стюарта, мне внушали, чтобы я думала только о себе. Сегодня твой день, Джилиан, говорили мне. Твой праздник. Теперь, когда я выхожу за Оливера, выясняется, что это не мой день, а день всех других. Оливер настаивает на том, чтобы венчаться в церкви, чего мне совсем не хочется. Maman настаивает, чтобы я была одета так, как мне не нравится.

Да еще этот сон... Мне приснилось, что я пишу свое имя на песке, но только оно не мое; Оливер стал стирать его ногой, а Стюарт расплакался. Maman стоит на пляже у самой воды в моем светло-зеленом свадебном костюме, с равнодушным выражением лица. Просто стоит и ждет. Если мы подольше подождем, все и вся пойдет наперекосяк и ты окажешься права, maman. Но что в этом хорошего?

В церкви Оливер сильно нервничал. По крайней мере, нам не пришлось шествовать от паперти к алтарю, нас было всего десятеро, и священник решил лучше, чтобы мы все обступили алтарь. Но когда мы подходили, я почувствовала, что что-то не так.

— Прости, — сказала я Оливеру. — Она уперлась и ни в какую.

Он вроде бы не понял, о чем я. Он смотрел через мое плечо на дверь.

— Я про платье, — пояснила я. — Мне очень жаль.

На мне было ярко-желтое платье, оптимистический цвет, как выразилась maman, и трудно было представить себе, чтобы Оливер не заметил подмены.

— Ты — загляденье, — отозвался он, но смотрел он не на меня.

Я на обеих своих свадьбах была не в том цвете. Глупенький оптимистически желтый цвет надо было надеть на первую свадьбу, а осторожный светло-зеленый — на вторую.

"И все, что у меня есть, с тобой разделю". Так я поклялась. Перед тем мы поспорили. Как обычно. Оливер хотел, чтобы слова были другие: "Все, что у меня есть, я дарую тебе". Он говорил, что так он чувствует: все, что у него есть, — мое, в этих словах воплощено состояние его души, что "разделю" звучит плоско, а "дарую" — поэтично. А я сказала, что это-то и плохо. Когда приносишь клятву, ее содержание должно быть четким. А то, если он дарует мне все, что у него есть, а я дарую ему все, что есть у меня, это значит, мы просто меняемся, а обменивать мою полувыкупленную квартиру на его снятую комнату — это не совсем отвечает смыслу брачных клятв, и к тому же, если честно сказать, в результате такого обмена в проигрыше остаюсь я. На это он возразил, что так рассуждать неблагородно и не надо все понимать буквально, на самом деле мы поделимся всем, что у нас есть, но нельзя ли все-таки оставить это слово "дарую"? Эти два слова — "разделю" и "дарую" — очень наглядно передают разницу между моими двумя мужьями. Стюарт хотел заключить сделку, тогда как он, Оливер, хочет безоговорочно капитулировать. А я в ответ напомнила ему, что мы со Стюартом записались в бюро регистрации и там не требовалось говорить ни "дарую", ни "разделю".

Тогда Оливер спросил у священника, нельзя ли остановиться на таком компромиссе: он скажет "дарую", а я — "разделю"? Но священник ответил, что это невозможно.

— И все, что у меня есть, с тобой разделю. — Оливер выделил последнее слово, выражая интонацией свое неодобрение. Но, к сожалению, прозвучало это так, как будто ему вообще жаль со мной делиться. Я сказала ему об этом, когда мы стояли на паперти и maman нас фотографировала.

— Все, что у меня есть, я сдаю тебе в аренду, — сразу же сострил он в ответ. Он уже заметно успокоился. — Все, что у меня есть, отдаю тебе во временное пользование. Все, что у меня есть, кроме того, что мне самому нужно. Все, что у меня есть, но, пожалуйста, будьте добры расписочку.

И дальше в том же духе. Оливер, когда заведется, лучше его не останавливать. Знаете теперешние собачьи поводки? Такая большая рулетка, которая разматывается на сотни футов, если пес вдруг бросается бежать, а когда он останавливается и ждет вас, она сматывается обратно. Что-то наподобие этого приходит в голову, когда Олли начинает вот так дурачиться, будто большой пес. Но на углу он остановится, оглянется и ждет, чтобы вы подошли и его погладили.

— И все мои ресторанные счета с тобой разделю.

Потом все поехали в симпатичный ресторанчик, который выбрал Олли. Нам накрыли длинный стол в глубине зала, и около моего места хозяин поставил букет красных роз, чем я была очень тронута, хотя Олли заметил сценическим шепотом, что красные розы — это безвкусица. Все расселись, выпили по бокалу шампанского, и завязался веселый общий разговор — кто-то по дороге попал в пробку, а священник так душевно все провел, хотя не знаком ни со мной, ни с Оливером, и мы нигде не перепутали слова, и какой у меня был счастливый вид.

— "Счастливый"? Кто больше? — подхватил Оливер, и снова началось: — Кажется, я слышал "сияющий"? Да, вот тут, слева. Кто предложит больше? "Прелестный"? Я слышу "прелестный"? Благодарю вас, сэр. "Великолепный" никто не предлагает? "Эффектный"? "Потрясающий"?

Высшее предложение — "прелестный" справа... "Прелестный" — раз, "прелестный" — два... В середине предлагают "эффектный". Беру "эффектный"... Останавливаемся на "эффектном"? Продано аукционщику, куплено Оливером!

Он стукнул об стол перечницей, как молотком, и под аплодисменты поцеловал меня.

Подали первое блюдо, и тут я замечаю, что Оливер не слушает, что я ему говорю. Я проследила за его взглядом, а там за отдельным столиком сидит с книгой — и даже не глядит в нашу сторону — Стюарт.

Тут все пошло не так, я постаралась, как смогла, стереть остальное у себя из памяти — что ели, что кто говорил и как все делали вид, будто ничего не происходит. Но не могу вытравить из памяти конец: как над скатертью возникло лицо Стюарта, он смотрел прямо на меня -- рот растянут в жуткой ухмылке, в глазах какие-то отблески. Ожившая тыквенная голова. Я закричала. Не от страха. А оттого, что это было так безумно, невыносимо грустно, и я не вытерпела.

Оливер. Вот гад. Жирный, подлый говноед-банкир. И это после всего, что я за годы и годы для тебя сделал. Кто вообще из тебя создал более или менее человеческое существо? Кто до боли в суставах обдирал наждаком грубые места на твоей шкуре? Кто знакомил тебя с девицами, учил пользоваться ножом и вилкой, кто был тебе другом, черт бы тебя драл? И чем ты мне отплатил? Испортил мне свадьбу, испоганил самый счастливый день в моей жизни. Дешевая, пошлая, эгоистичная месть — вот что это было, хотя ты в подполье своей темной душонки, конечно, примыслил себе какой-нибудь слегка благородный, даже правосудный мотив. Ну так вот, позволь тебе заметить, мой стеатопигий экс-приятель: если ты и впредь вздумаешь совать нос куда не следует, останешься эксом и во всех прочих отношениях. Я заставлю тебя неделю есть битое стекло, на этот счет не сомневайся. Можешь на Оливера положиться: его нежное, как все считают, сердце воспламенилось яростью.

Мне следовало бы арестовать тебя, как только ты попался мне на глаза. Засадить за решетку по обвинению в бессмысленном времяпрепровождении с преступными намерениями, за порчу вида из окна или за то, что осточертел до смерти. Уведите этого человека, полисмен, он больше никого не забавляет, с ним уже совершенно не смешно. Ну да, я шучу, это мой вечный недостаток, но если бы я не шутил, мне пришлось бы подойти, обрубить твои уши с кисточками и затолкать их тебе в глотку, а на закуску еще добавить твои допотопные очечки.

А ведь все так хорошо шло, пока я не увидел тебя на той стороне улицы — ты старался быть незаметным, для чего, мерно печатая шаг, расхаживал взад-вперед, точно часовой, изрыгая клубы дыма, как печные трубы у Арнольда Беннета, и бросая гнусные взоры в сторону церкви. Сразу стало ясно, что готовится какая-то тупоумная подлость. Тогда, поправив в петлице белую гвоздику со слабым зеленым румянцем, я ринулся поперек канцерогенной дороги и окликнул тебя.

— Я буду присутствовать на свадьбе, — сказал ты.

Я опроверг это неправдоподобное утверждение.

— Ты же на моей присутствовал, — продолжал ты скулить. — Теперь я иду на твою.

Я объяснил разницу с точки зрения этикета, а именно: в умеренно развитом обществе, известном под названием Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, не принято являться на торжественные мероприятия без приглашения. Ты оспорил эту секретную статью протокола, и тогда я в самых вежливых выражениях посоветовал тебе немедленно убираться вон и по возможности погибнуть под колесами двухэтажного автобуса.

Я нельзя сказать чтобы совсем поверил в твой якобы уход со сцены. Мы стояли в ожидании начала церемонии, но я не спускал глаз с двери, готовый к тому, что дубовые створки вот-вот распахнутся и явят нам твой незваный лик. И даже когда было приступлено к священнодействию, я думал, что вот сейчас священник спросит присутствующих, не известны ли кому-нибудь препятствия и помехи к моему плотскому соединению с прекрасной Джил, и тогда ты подымешься в темном углу и прокричишь свои возражения. Но этого не произошло, и мы благополучно проскочили через взаимные клятвы. Я даже успел иронически подчеркнуть в тексте то сомнительное место, где обещают "разделить" с партнером все, что имеют. Спокон веку люди всегда "одаряли" другую сторону всем, что имеют: вот все, чем я владею, и все мое — твое; такой вариант, мне кажется, передавал беззаветность, лежащую в основе брака, сохранял самую его сущность. Но теперь не так. Теперь всюду проникли адвокаты и счетоводы. Я был слегка bouleversé, когда Джилиан стала настаивать на "разделю". В наших пререканиях по этому поводу было, на мой вкус, нечто унизительное, словно я собираюсь прямо из храма дать стрекача и немедленно выставить на продажу мою половину ее квартиры. Я милостиво уступил ее капризу. В характере моей невесты есть что-то от мадам Дракон, как вы, вероятно, заметили.

А если честно, это была элементарная сделка. Я хотел венчаться в церкви, а Джил это привлекало еще меньше, чем в предыдущий раз. В результате спектакль выбирал я, а доводка текста осталась за ней. Она же, должен признать, уломала падре. Не каждый молитвенный дом, даже при современном недоборе клиентуры, согласится венчать такую падшую женщину, как Джилиан. Я сам обошел несколько близлежащих храмов и всюду получил недвусмысленно отрицательные ответы. Тогда отправилась Джилиан и уговорила одного упирающегося небесного лоцмана. Удивительная мастерица переговоров эта девушка. Посмотрите, например, ведь она убедила Стюарта вести себя как офицер и джентльмен, хотя на этот счет мнения расходятся. Поначалу он приходил в ярость, точно настоящий пещерный житель, при одном только слове "развод"; но Джилиан склонила его к согласию. Я, кстати сказать, не люблю вспоминать подробности этого периода мировой истории. Как Джилиан слишком много общалась со своим Первым Мужем. Как она оставила за собой студию в доме ПМ, даже когда разъехалась с ним. Оливеру было запрещено посещать студию, и он был вынужден pro tem[1] занять позиции квиетизма. Не на заднем сиденье, а прямо-таки в багажнике, вместе с устаревшим атласом дорог и запасным колесом.

Но этот период кончился. Обратимость, главный принцип профессии моей жены, была осуществлена в домашней сфере. Джилиан и Оливер образовали одну общую налогооблагаемую единицу, и призрак жи-

1. Сокращение от pro tempore — на время (*лат.*).

лища в Марбелье, занимаемого в порядке очереди двумя жильцами, был, наконец, изгнан с лица земли. Куст боярышника за кладбищенской оградой, встрепанный ветром, разбросал свои листья-конфетти — только, пожалуйста, без покупного товара, — и la belle-merè[1] отсняла целую пленку, после того как я убедил ее, что, по свидетельствам пионеров фотографии, аппарат работает лучше, если снять с объектива колпачок. Затем все в приподнятом настроении прибыли в ресторан "Al Giardinetto"[2], и я обещал Джил не звать хозяина Аль, поскольку эта шутка, признаться, устарела и уже никого, кроме меня, не смешит.

В ведерках со льдом возлежали бутылки с игристым белым сухим вином, — вы же понимаете, предстоял банкет исторического значения, а не какая-то еда на скорую руку, оплачиваемая по кредитной карточке, — а разве можно в итальянском ресторане заказывать французское шампанское? Мы весело обменивались впечатлениями о чудаковатых манерах пастора, шутили, что все пути приводят в "Al Giardinetto". Тут подали первое блюдо: spagetti neri alle vongole[3]. Мы шутя преодолели возражения, что, мол, Олли выбрал кушанье, скорее подходящее для похорон, чем для свадьбы. "Maman, — я сказал (я остановился на таком решении вопроса, как мне ее называть), — maman, вспомните, что в Бретани внутренность церкви, где происходит венчание, завешивают черным". Впрочем, всякое несогласие смолкло, как только была поднесена ко рту первая вилка. Я втягивал в себя счастье, как длинную, гибкую, прочную макаронину. И тут я увидел этого гаденыша.

Позвольте я опишу сцену. Нас было десятеро (Кто да кто? Да так, несколько избранных и близких amici и conoscenti[4]. Мы сидели за длинным столом в глубине зала в своего рода нише — немного в духе "Тайной вечери" Веронезе, — а в зале за столиками обедала просто публика, изо всех сил вежливо притворявшаяся, что до нас там никому нет дела. (До чего же это по-английски. Не примазывайся к чужому веселью, не пей за здоровье празднующих и вообще не замечай никакой свадьбы, пока они уж слишком не расшумятся, а тогда можно пожаловаться...) Я сижу, оглядываю понуренные головы, и кого же я вижу прямо против нашего стола? Тактичного Первого Мужа, расположившегося за отдельным столиком и якобы читающего книгу. Для начала забавный гамбит: Стюарт, видите ли, читает книгу. Он бы гораздо меньше привлек внимание, если бы махал нам, стоя на стуле.

Я тихонько встал из-за стола, хотя рука новобрачной пыталась меня удержать, подошел к экс-супругу моей супруги и дружески посоветовал ему убираться. Он не поднял головы. Глаза его были устремлены в тарелку с лазаньей (как и следовало ожидать), которую он безуспешно терзал вилкой.

— Тут общественное место, — возразил он чуть слышно.

— Потому я и прошу тебя освободить его, — пояснил я. — Иначе я бы не оказал тебе такой любезности и не стал с тобой разговаривать. Ты бы у меня вылетел за дверь по частям. И уже валялся бы в контейнере для отбросов.

Возможно, это было сказано немного слишком громко, подошел Дино, хозяин.

1. Теща (*франц.*).
2. "В садике" (*итал.*).
3. Черные спагетти с мелкими устрицами (*итал.*).
4. Друзей и знакомых (*итал.*).

— Аль, — воспользовался я прежним шуточным обращением, — тут имеется нечто оскорбляющее взор. Черное пятно на вашей траттории. Это грозит неприятностями. Будьте добры убрать.

И представляете? Он отказался его вышвырнуть. Даже стал за него заступаться. И чтобы больше не нарушать тишину и спокойствие, я возвратился за свой стол, но траурные спагетти были как зола у меня во рту. Сотрапезникам я объяснил тонкости британского ресторанного права, согласно которому десяток мирно веселящихся и много заказывающих клиентов могут лишить возможности спокойно получать удовольствие (и это называется становиться на сторону слабейшего?), и мы все решили сосредоточиться на благодатном настоящем моменте.

— Благодатная — это твой титул, — обратился я к Джил.

Все смеялись. Но у Олли было такое ощущение, будто едешь в гору, не переключив скорость. И несмотря на великолепного pesce spada al salmoriglio[1], внимание то и дело возвращалось к этому жалкому Стюарту, толстым пальцем царапающему непослушную страницу книги (явно не Кафки!) и чуть ли не шевелящему при чтении измазанными лазаньей губами. Почему язык всегда норовит коснуться дупла в зубе и потереться об острый край ямки, как корова трется боком о столб? Стюарт служил нам таким дуплом, такой неожиданной ямой. Ну как тут можно искренно веселиться, сколько ни изображай веселье?

Мне советовали забыть о нем. Из-за других столиков уже начали подниматься и уходить, но от этого первый муж моей жены становился только заметнее. Над его столиком вилась, уходя к потолку, струйка дыма — дымовой сигнал одинокого индейского воина своей утраченной скво. Я лично давно бросил смолить отраву. Дурацкая привычка, потакание собственной слабости. Но Стюарту сейчас это и нужно. Под конец в ресторане остались только мы вдесятером (перед каждым — мороженое, полыхающее синим огоньком), одна припозднившаяся парочка в оконной нише, явно замышляющая адюльтер, и Стю. Я встал. Он тревожно взглянул на наш стол и нервно закурил новую сигарету.

Я заставил его попотеть в ожидании, пока я вернусь из мглы писсуара, а потом двинулся мимо его столика. Я всего лишь хотел, проходя, смерить его надменным взором, но при моем приближении он сделал глубокую затяжку, посмотрел на меня, потом понурился, стал дрожащей рукой укладывать сигарету в один из желобков пепельницы, снова посмотрел на меня и вдруг расплакался. Так и остался сидеть, истекая и хлюпая, как лопнувший радиатор.

— Господи, Стю, — говорю я, стараясь скрыть раздражение.

Тут он принялся бормотать что-то про сигареты. Сигареты то, сигареты это. Смотрю, в пепельнице лежат и курятся две зараз. Вот осел. Сразу видно, до чего он расстроен. И какой он сиволапый курильщик. Ведь основы изящного курения способен освоить даже самый грубый чурбан, была бы охота.

Я протянул руку и раздавил один из двух окурков, которые у него одновременно дымились, просто так раздавил, машинально. А Стюарт весь вскинулся, как безумный, и почему-то мелко, дробно засмеялся. Потом перестал смеяться и снова заплакал. Стюарт в слезах — это такое зрелище, какое не дай бог вам увидеть. Он разревелся, как малое дитя, потерявшее мешок с плюшевыми мишками. Я опять подозвал Дино и

1. Палтуса под калабрийским соусом (*итал.*).

кивнул ему на Стюрта — мол, что вы теперь скажете? Но Дино ко всем моим жалобам остался глух и повел себя вполне по-итальянски, как будто прилюдное отчаяние человека за столиком — один из аттракционов в его траттории и посетители специально приходят на него поглазеть, как будто Стюарт — здешний коронный номер. Дино даже принялся прямо при мне утешать расстроенного банкира, и тогда я заказал двенадцать двойных порций граппы — если, конечно, он сможет оторваться от исполнения обязанностей добровольного брата милосердия, — после чего проследовал к своему столу. И что же? Меня там встретили более чем холодно. Можно подумать, что это я довел беднягу до слез. Можно подумать, что это я испортил людям свадебное торжество.

— Где же граппа, Дино? — крикнул я, но половина моих гостей, включая огорченную новобрачную и чертову перечницу тещу, поспешили объявить, что они граппу не пьют.

— Какая разница? — заорал я.

К этому времени ситуация полностью вышла из-под контроля. Вся обслуга столпилась вокруг Стюарта, как будто это он, а не я в свое время обнаружил их ресторан; свадебное празднество захлебнулось; любовники в оконной нише откровенно пялились на нас; граппу нам все не несли; и отношение к старине Олли выказывалось ничуть не лучшее, чем к тухлой рыбьей голове. Но жива еще человеческая изобретательность. Я заставил официанта принести самую большую скатерть. Две вешалки для шляп, передвинутые несмотря на протесты, несколько немытых графинов в качестве грузов, два-три аккуратных надреза на скатерти — и вот у нас импровизированный экран. Не видно больше ни назойливых любовников, ни всхлипывающего Стюарта, а тут и граппу принесли! Тактический триумф Олли, который сразу же задействовал свое легендарное обаяние, чтобы вновь придать жизнь свадебной пирушке.

И почти преуспел. Лед начал таять. Все решили еще повеселиться на прощание. Я довел до середины один из моих самых забавных устных рассказов, когда раздался отдаленный скрежет отодвигаемого стула. Прекрасно, подумал я, наконец-то он собрался уходить. Но еще через мгновенье, когда я уже нагнетал последнее crescendo, Джилиан закричала. Сначала это был просто вопль, потом хлынули слезы. Вид у нее был такой, как будто ей явилось привидение, глаза устремлены поверх установленного мною экрана. На что она смотрела? Виден был только крапчатый потолок. Слезы ее лились, словно пульсирующая кровь, хлещущая из разрезанной артерии.

Дослушать мой анекдот до конца не захотел никто.

Джилиан. Шут. Клоунская маска. Тыквенная рожа...

15. *Выметаем осколки*

Стюарт. Я уезжаю. Такова моя участь. Тут мне нечего делать.

Три вещи для меня невыносимы.

Во-первых, сознание того, что мой брак распался. Нет, говорить, так уж честно: это я сплоховал. Я теперь стал замечать, что говорят в таких случаях люди. "Брак рухнул, — говорят они. — Брак распался". Выходит, что же, это брак сплоховал? Но я так решил: брака как такового не существует, есть только она и ты. И вина либо ее, либо твоя. И

хотя сначала я считал, что виновата она, теперь мое мнение, что ответственность на мне. Я провалился, подвел ее. Подвел самого себя. Я не дал ей такого счастья, чтобы она не могла от меня уйти. В этом и состоит моя вина. Я провалился, и мне стыдно. В сравнении с этим мне совершенно наплевать, если кто, может быть, думает, что я несостоятелен как мужчина.

Еще для меня невыносимо воспоминание о том, что было тогда на свадьбе. Ее крик все еще отдается у меня в мозгу. Я не хотел им ничего портить. Я только хотел там быть и видеть незаметно для всех. Но вышло по-другому. Как мне принести извинения? Только своим отъездом.

А третье, чего я не могу вынести, это что, по их словам, они хотят остаться моими друзьями. Если они не всерьез так говорят, тогда это лицемерие. А если всерьез, то еще хуже. Как можно заявлять такое после всего, что было? Значит, мне отпускаются грехи, прощается моя великая наглость — надо же, посмел на короткое время стать между Ромео и Джульеттой. А пошли вы оба знаете куда! Я не принимаю вашего прощения, и вы тоже его от меня не дождетесь, слышите? Пусть для меня это и невыносимо.

По всему по этому я уезжаю.

Смешно, но единственный человек, с кем мне жаль расставаться, это мадам Уайетт. Она с самого начала держалась со мной честно. Вчера вечером я позвонил ей сообщить о своем отъезде и извиниться за то, как я вел себя во время свадьбы.

— Не думай об этом, Стюарт, — сказала она мне. — Может быть, ты даже помог.

— Как это?

— Может быть, если начинаешь с несчастья, потом не оглядываешься назад и не обманываешь себя мыслью, что вот раньше все было прекрасно.

— Да вы философ, мадам Уайетт, вы знаете это?

Она рассмеялась каким-то иным смехом, я у нее раньше такого не слышал.

— Нет, правда, — сказал я. — Вы мудрая женщина.

В ответ она почему-то рассмеялась еще сильнее. Мне вдруг подумалось, что в молодости она, наверно, была большая кокетка.

— Не исчезай, Стюарт, пиши, — сказала она.

И это было очень мило с ее стороны, верно? Может, и буду ей писать.

Оливер. Поневоле замечаешь, de temps en temps[1], что у жизни есть своя ироническая сторона, не правда ли? Вот перед вами Стюарт, веселый банкир ("I Banchieri Giocosi" — интересено, почему так мало опер про банкиров? Хотелось бы мне знать), приземистый, но крепкий оплот капитализма, неутомимый слуга рыночных сил на побегушках у купли-продажи. И вот он я, легковерный либерал, голосующий за кого бог пошлет, тонкокожий сторонник мира и тишины, инстинктивно встающий за слабейшего — за китов против всеяпонской рыболовной флотилии, за мокрого тюленьего детеныша против убийцы с дубиной и в кожаной спецовке, за тропический лес против дезодоран-

1. Время от времени (*франц.*).

та для тела. И однако, когда представители этих двух соперничающих философий обращаются к любви, один из них вдруг оказывается сторонником протекционизма и Монопольного комитета, а другой ссылается на естественную мудрость свободного рынка. И догадайтесь, который — кто.

То же самое относительно секса, относительно небольшого вытягивающегося выроста плоти, с которым столько беспокойства. Переполнение сердца, повсеместно воспеваемое менестрелями, приводит заодно и к половому акту, не будем этого забывать. Здесь я обязан умерить (хотя бы частично) триумфальный тон, но все же следует осторожно заметить, что, возможно, приверженец свободного рынка становится протекционистом по причине неконкурентоспособности его товара. Иногда действий, производящих звук, подобный утреннему встряхиванию коробки хрустящих хлопьев, недостаточно, чтобы возлюбленная блаженно мурлыкала целый день до заката. Иногда для этого требуется нечто подобное летней молнии над Сахарой. Кто сделает выбор в пользу авиамодели с пластмассовым пропеллером и с заводом на резинке, когда по небу все еще летают падучие звезды? Разве род человеческий не тем отличается от низших существ, что ему знакомы порывы за обыденные пределы?

Но если в делах любви и бывает, что хватаешься за дубину тюленеубийцы, если твой внутренний японский китобоец вынужден отплывать в Южные моря, чтобы делать свое дело, отсюда вовсе не следует, что надо прибегать к грубой силе и по возвращении в родной порт. Бедный Стюарт, я все еще протягиваю ему ладонь дружбы. Я даже позвонил ему. Я, со шрамом на щеке после той небольшой неприятности (но это удачно получилось: я оказался Олли — лихой дуэлянт, а не Оливер Расселл — полубезработная жертва преступления), пытаюсь возвратить его к нормальным человеческим отношениям.

— Привет, это Оливер.

Последовала пауза, которую по средней длительности можно было истолковать и так и этак, но затем прозвучали слова уже значительно более однозначные:

— Пошел ты знаешь куда, Оливер.

— Послушай...

— Убирайся.

— Я понимаю ...

— КАТИСЬ КО ВСЕМ ЧЕРТЯМ КАТИСЬ КО ВСЕМ ЧЕРТЯМ

Можно было подумать, что я звоню попросить у него прощения, что это я приставал к нему у него на свадьбе. Объявился в церкви, потом потащился за нами в ресторан — Старый Моряк ему тут и в подметки не годится. Полицейский, вы видите вон того старика матроса? Пристает ко всем и ноет, что, мол, он чайку подстрелил. Велите ему убираться, а еще лучше устройте на ночь в Ньюгейтскую тюрьму на довольствие Ее Величества.

Но я этого не сделал. Я сдержался, и вот благодарность. Обложил меня последними словами. Это особенно грубо звучало оттого, что его многократный призыв удалиться был передан мне по тому черному мобильному телефону, по которому я объяснился его жене. Не отсоединись он так быстро, я бы поделился с ним этой иронией.

Конечно, я набрал его номер (ее номер! и не набрал, а довольно было нажать ту священную, навсегда запоминающую кнопку "1") не исклю-

чительно по собственной инициативе. Иногда великодушию требуется accoucheuse[1]. Это Джилиан предложила, чтобы я позвонил. Кстати, не стройте себе иллюзий насчет Джилиан. Не знаю, какого цвета очки, через которые вы на нее смотрите, но имейте в виду: она сильнее меня. Я всегда это знал.

И мне это нравится. Свяжите меня шелковыми путами, прошу.

Джилиан. Оливер сказал, что Стюарт отказался с ним разговаривать. Я попробовала позвонить сама. Он взял трубку. Я сказала: "Это Джилиан". Послышался вздох, и Стюарт положил трубку. Разве я могу его винить?

Он выкупил мою долю домовладения. Деньги и имущество честно разделили пополам. Знаете, что придумал Стюарт? Поразительный поступок. Когда мы решили развестись — точнее, когда он согласился дать мне развод, — я сказала, что ужасно не хочется, чтобы в дом еще являлись адвокаты и командовали, кому что достанется, и без того тяжело, а тут еще адвокаты добавят, заставят торговаться за каждое пенни. И знаете, что Стюарт на это сказал? Он предложил: "Почему бы не попросить мадам Уайетт распорядиться?"

— Maman?

— Я уверен, что она разделит все справедливее, чем любой известный мне адвокат.

Правда удивительно? Она все сделала, мы уведомили адвокатов о том, как мы договорились, а после получили одобрение суда.

И вот еще что. Наш развод никак не связан с сексом. Что бы там кто ни воображал. Я не собираюсь вдаваться в подробности, скажу только вот что. Если кто-то находит, что у него или у нее не все хорошо получается, он или она будет прилагать больше старания, верно? С другой стороны, если он или она убеждены, что у них в этом деле полный ажур, то кто-то может начать лениться или проникнуться самодовольством. И тому, кто с ними, все равно будет не очень-то хорошо, что так, что этак. Тем более что на самом деле главное — это с кем.

Когда я выехала, Стюарт оставил в моем распоряжении студию. И плату за нее брать отказался. Оливеру это не понравилось. Он сказал, что как бы он на меня не напал. Разумеется, ничего такого не было.

При разделе пожитков Стюарт настоял, чтобы я взяла себе бокалы, подарок maman, сколько их осталось. Изначально их было шесть, но теперь всего три. Любопытно, что я совершенно не помню, как они разбились.

Мадам Уайетт. Я сожалею об этом случае со свадебным платьем. Я совсем не хотела расстраивать Джилиан, но ее затея была абсурдна. Дважды выходить замуж в одном и том же платье — слыханное ли дело? Так что иногда матери приходится вести себя по-матерински.

Свадьба прошла кошмарно. Нет слов, чтобы перечислить все, что вышло не так. Шампанское было не из Шампани, я не смогла этого не заметить. На первое подали что-то черное, больше подходившее для похорон. Потом еще сложности со Стюартом. Все не слава богу. И под конец Оливер еще заказал какую-то итальянскую настойку, которой, наверно,

1. Повивальная бабка (*франц.*).

можно было бы растирать грудь больному ребенку. Но принимать внутрь? Никогда. Словом, совершенный кошмар, как я сказала.

Вэл. Я даю им год. Нет, правда. Могу заключить пари. На сколько вы хотите? На десятку, полсотни, сотню? Я даю им год.

Нет, послушайте, если Стюарт, который вроде бы создан для семейной жизни, продержался с этой паинькой-мужененавистницей так недолго, на что может рассчитывать Оливер, не имеющий ни средств, ни перспектив и сам, по сути, гомосексуал? Как долго просуществует этот брак после того, как Оливер начнет называть ее в постели Стюартом?

И потом еще ...

Оливер и **Стюарт** Вон отсюда!

Гоните эту дрянь.

Давай-давай.

Убирайся.

Вон.

ВОН!

Вэл. Они не имеют права. Не позволяйте им так со мной обращаться. Я не хуже, чем они, могу ...

Оливер и **Стюарт** ВОН. Либо она, либо мы. Пошла отсюда, дрянь! ВОН. Она или мы.

Вэл. Вы что, не знаете, что это не по правилам?

То есть вы сознаете, что вы делаете? И что из этого может получиться, вы поняли? О чем вы думаете? Игроков не изгоняют. Эй, вы, вы же здесь за главного, разве вы не отвечаете за свою команду?

Оливер. Стю, у тебя есть шарф?

Вэл. Вы что, не видите, что творится? Это прямой вызов вашей власти. Заступитесь за меня. Пожалуйста. Если вы за меня заступитесь, я расскажу, какие у них ...

Оливер. Я ее держу, а ты затолкай ей кляп в рот.

Стюарт. Давай.

Вэл. Вы жалкие люди, вы знаете это? Вы оба. Ничтожества. Стюарт... Олли .....

Оливер. Уф-ф! Вот это была игра. Валда Поверженная. Ай да мы. Стюарт, послушай ...

Стюарт. НЕТ.

Оливер. Было совсем как в прежние времена, правда ведь? Совсем как раньше. Помнишь кино "Жюль и Джим"?

Стюарт. Пошел ты ...

Оливер. Когда освободится твой шарф, прислать его тебе?

Стюарт. Убирайся к черту, Оливер.
Еще раз разинешь рот, я тебе...
Давай-давай, проваливай.

Оливер. Я недавно читал мемуары Шостаковича. Сцена, которую устроила Валда, напомнила мне первую страницу этой книги. Там композитор обещает говорить только правду. Он был свидетелем многих важных событий и знал многих выдающихся людей. И постарается рассказать о них честно, без прикрас и фальши, это будут свидетельские показания очевидца. Прекрасно. Правильно. Но дальше он с иронией, никем не оцененной, продолжает (я цитирую): "Хотя, конечно, у нас есть пословица: "Врет как очевидец".

Это как нельзя точнее подходит к Вэл. Она врет как очевидец.

И еще одно замечание. О нем можно было бы потолковать со Стюартом, будь он склонен сейчас уделить мне несколько минут. Вот что пишет Шостакович о своей опере "Леди Макбет": "И еще она о том, какой могла бы быть любовь, не будь мир так наполнен злом. Зло губит любовь. Законы, собственность, денежные заботы, полицейские власти. Если бы условия были другими, другой была бы и любовь". Разумеется, условия воздействуют на любовь. А экстремальные условия сталинского террора? Шостакович продолжает: "Все беспокоились о том, что станется с любовью. А по-моему, так будет всегда. Всегда кажется, что настали ее последние дни".

Вообразите: смерть любви. А что, может быть. Я хотел сказать Стюарту: "Знаешь, тот философский трактат про законы рынка и любовь, что я тебе тогда изложил, я ведь сам не был уверен, не болтовня ли это. А вот теперь понимаю, что в этом что-то есть. "Если бы условия были другими, другой была бы и любовь". Как это верно. И как мало мы об этом задумываемся. Смерть любви. Это возможно. Это можно себе представить. Это невыносимо. "Курсант Рассел, почему вы хотите вступить в полк?" — "Я хочу, чтобы мир стал безопасен для любви. И я пойду воевать за это, сэр, без колебаний".

Миссис Дайер. Мне нравилось, что у меня живет этот молодой человек. Он, конечно, наболтал мне невесть что. И квартплату за последние две недели задолжал, обещал прислать.

По-моему, он немного со странностями, если хотите знать. Разговаривал сам с собой, я не раз слышала. А эти его выдумки! Мне кажется, он на самом деле не писал никаких сценариев. И он никогда не ставил машину рядом с домом. Как вы думаете, может, у него правда СПИД? От него, говорят, теряют рассудок. Возможно, этим все объясняется. Но все-таки он был приятный молодой человек.

Перед отъездом он попросил позволения отрезать веточку от этого дерева за окном. На память, он сказал. Так и уехал с чешуйчатой веточкой в руке.

Джилиан. Стюарт уезжает. Это, конечно, правильно. Иногда мне думается, что и нам надо бы поступить так же. Оливер все время говорит, что собирается начать новую жизнь, но пока что мы живем в том же городе

и делаем оба ту же работу, что и раньше. Может быть, надо сняться с места и уехать?

Оливер. Анализ, разумеется, был отрицательный. Я так и знал. А вы что, действительно беспокоились обо мне? Mes excuses[1]. Право, я тронут. Если бы я знал, сообщил бы вам сразу же, как получил результат.

Мадам Уайетт. Вы спрашиваете, что я думаю о них — о Стюарте и Оливере, кто мне больше нравится? Но я же не Джилиан, а это самое главное. Она мне сказала: "Я, кажется, знала, каково быть любимой. Но я не знала, каково быть обожаемой". А я ей ответила: "Почему же у тебя такая вытянутая физиономия? Как говорится у вас, англичан: не строй гримасы, накличешь ветер".

И еще я думаю: никогда не бывает в точности как ожидаешь. Меня, как всякую мать, волнует только одно. Когда я познакомилась со Стюартом и позже, когда они поженились, я думала: "Только посмей причинить зло моей дочери!" Стюарт всегда садился против меня, как будто перед врачом или экзаменатором каким-нибудь. И помню, у него всегда были до блеска начищены ботинки. Когда он думал, что я не вижу, он, бывало, поглядывал: не поцарапались ли где? Ему очень хотелось понравиться, произвести на меня хорошее впечатление. Это было трогательно, но я все же немного сопротивлялась. Да, сейчас ты ее любишь, я вижу, да, ты очень со мной вежлив и чистишь ботинки, но подождем годик-другой, если ты не возражаешь. Когда Чжоу Эньлая[2] спросили, как, по его мнению, повлияла на мировую историю Французская революция, он ответил: "Сейчас еще рано судить". Вот и я думала так же про Стюарта. Я видела, что он честный молодой человек, хотя, может быть, не слишком яркий, и зарабатывает достаточно, чтобы обеспечить Джилиан, для начала это неплохо. Но если бы я, как он думал, выставляла ему оценку, я бы сказала так: сейчас еще рано судить, приходите через годик-другой. А пока я подожду и понаблюдаю. Но я никогда не задавалась вопросом: что, если моя дочь причинит зло Стюарту? Так что видите, я не такая уж мудрая женщина. Я как крепость, чьи пушки наведены в ту сторону, откуда ожидается наступление врага, и беззащитная, когда он объявляется с черного хода.

Но вот теперь мы имеем Оливера вместо Стюарта, и спрашивается, что я думаю об этом? Оливер не считает, что чистка обуви — самый верный способ завоевать мое расположение. Наоборот, Оливер держится так, как будто о том, чтобы я плохо к нему относилась, не может быть и речи. Он держится так, как будто мы с ним знакомы всю жизнь. Дает мне советы, какая английская рыба лучше всего годится в прованскую уху вместо средиземноморских сортов, которые здесь невозможно достать. (Поинтересоваться сначала, люблю ли я прованскую уху, ему в голову не приходит.) Он немного со мной кокетничает, мне кажется. И ни на минуту не допускает мысли, что я могу винить его за то, что он разрушил брак моей дочери. Он хочет — как бы это сказать? — уделить мне толику своего счастья. Это странно и довольно трогательно.

Знаете, что он мне на днях сказал? "Maman, — он всегда зовет меня так, с тех пор как разрушил брак моей дочери; своеобразно, правда? — Maman, давайте мы найдем вам мужа?"

1. Прошу прощения (*франц.*).
2. Чжоу Эньлай (1898–1976) — китайский коммунистический деятель.

Джилиан взглянула на него так, как будто ничего более неуместного он сказать не мог, но как бы то ни было, я не обиделась. Он сказал это тоже немного кокетливо, словно вызвался бы на эту роль сам, если бы познакомился со мной раньше, чем с моей дочерью. Наглость, да? Но я не могла на него сердиться.

— Не думаю, что я еще когда-нибудь выйду замуж, — все же ответила я.

— Одного разбитого яйца довольно? — отозвался он и засмеялся собственной шутке. А что тут смешного? Джилиан к нему присоединилась и хохотала так, что я от нее даже не ожидала. Они покатывались со смеху, забыв о моем присутствии, так оно и к лучшему.

Понимаете, я правда не думаю, что еще когда-нибудь выйду замуж. Я не говорю, что никогда больше не влюблюсь, но это другое. Любовь может поразить всякого и во всяком возрасте до самой смерти, спору нет. Но вот замуж... Объясню вам, к какому выводу я пришла после всех лет жизни с Гордоном, лет, которые, что бы вы ни думали, в основном были счастливыми, не хуже, чем у других, я бы так сказала. А вывод такой: когда долго живешь с человеком, то постепенно теряешь способность приносить ему радость, а вот способность причинять боль остается прежней. Ну и с ним, конечно, происходит то же.

Не очень-то оптимистическая точка зрения? Но оптимистами мы обязаны выглядеть только в глазах других людей, а не для себя. Да, скажете вы — Оливер непременно сказал бы, — это только с Гордоном у вас так получилось, он вас просто растоптал, неудачная проба, попытайте удачу еще раз, maman. Но нет, к такому выводу меня привела не только жизнь с Гордоном, у меня перед глазами и другие браки. И я вот что вам скажу совершенно честно. Есть такие неприятные вещи, с которыми можно мириться, если сталкиваешься с ними только один раз. Они тогда не угнетают, можно вообще поставить при них знак вопроса. Но если неприятная истина открывается тебе дважды, она начинает давить и душить. Дважды убедиться, что это так, дважды так — это уже непереносимо. Поэтому я держусь подальше от неприятных истин и от брака. Одного разбитого яйца довольно. Как это у вас говорится? Чтобы поджарить омлет, надо разбить яйца. Ну так не надо мне омлета.

16. D*e consolatione pecuniae*[1]

Стюарт. Если вы спросите меня — а у меня было время поразмышлять об этом, — любовь или то, что люди под этим подразумевают, есть некая система, когда тебя после секса называют "милый".

Я пережил тяжелое время после этой истории. Не расклеился и не сломался, потому что я не из той породы. По-видимому, я и дальше буду жить, как жил, — заниматься более или менее тем же, чем занимался, и останусь тем, кем был, и, безусловно, под тем же именем (я имен не меняю, помните?), и так до тех пор, пока не уйду с работы, и старость начнет разъедать мою личность, и смерть в конце концов сотрет мое имя. Но эта история изменила меня. Нет, не придала мне зрелости, не сделала меня взрослым. Но изменить изменила.

Помните, я рассказывал, как у меня все время было такое чувство, что я не оправдал ожидания своих родителей? Я раньше считал, что так

1. Утешение деньгами (*лат.*).

бывает только между детьми и родителями, а если повезет, то и между ними может не быть. А теперь думаю, что это всегда. Вопрос только в том, кто кого разочаровал. Например, когда вся эта история произошла и мы все проходили через испытание — как я теперь понимаю, не я один через него проходил, — я тогда думал, что не оправдал ожиданий Джилиан. Я думал: так и идет, я в чем-то обманул ожидания родителей (они мне толком не объяснили, в чем), а теперь я обманываю ожидания моей жены, уже в чем-то другом, но тоже совершенно непонятном. Но потом, вскоре, я сообразил, что не я подвел ее, а они подвели меня. Жена предала меня, лучший друг предал меня, и только мой характер, моя глупая манера во всем винить себя помешали мне понять это раньше. Это они меня разочаровали, а не я их. И я сформулировал принцип. Не знаю, смотрите ли вы регби, но несколько лет назад была в ходу такая шутка: надо успеть первым нанести ответный удар. Я теперь живу по этому же принципу: надо успеть первым обмануть ожидания. Обмануть их надежды до того, как они обманут твои.

Подмогой мне послужила работа. Сначала просто как место, куда можно уйти, как что-то еще заслуживающее уважения. Это отдельная система, она и без меня будет существовать всегда. Но она позволяла мне сидеть перед монитором и принимать в ней участие. И за это я своей работе, деньгам был благодарен. Я бывал подавлен, я напивался, конечно, я приходил в бешенство; но стоило мне сесть и заняться деньгами, и я становился спокойнее. Я относился к работе с почтением. Никогда накануне не пил, если утром идти в офис. Приходил обязательно в свежей рубашке, напивался исключительно по пятницам и субботам. Одно время это были каждая пятница и суббота. Но наступал понедельник, и я в белой рубашке, с ясной головой садился на свое место и занимался деньгами.

А поскольку это мне давалось лучше всего в жизни, я стал совершенствоваться, стал больше узнавать. В птицы высокого полета я никогда не метил. Я летаю на средней высоте. Я не сторонник рискованных операций с офшорными саудовскими мега-банками. Я всегда выступал против, говорил, что не надо торопиться, лучше еще раз проверить, все ли учтено, помните, что сталось со Вторым городским банком в кукурузном поясе? Я большой мастер произносить такие речи. Не всем же быть хлыщами в модных костюмах, набивающими карманы в благоприятные времена и прогорающими к двадцати пяти годам. Словом, когда мой банк открыл отделение в Штатах, меня как рассудительного служащего среднего звена отправили в Вашингтон, где я в настоящее время и нахожусь.

И опять же помогли деньги. Я относился к ним с почтением, и они отплатили мне добром. Помню первый случай, когда они мне помогли. Это было незадолго до того, как моя бывшая жена и мой бывший лучший друг окончательно разочаровали меня, вступив в брак между собой. Тяжелое было время, как вы можете себе представить. Я тогда никому не верил, даже в самых пустяковых делах. Откуда мне было знать, может быть, люди нарочно стараются, чтобы я к ним привязался, а потом вонзят мне нож в спину?

В один прекрасный день, вернее — вечер, если быть точным, я решил, что мне нужна женщина. Помимо всего прочего, что Джилиан надо мной учинила, она еще отвадила меня от секса. Я не испытывал потребности в сексе, когда я это надумал, понимаете? Просто я боролся против того, что они со мной сделали. И вот я стал думать, как бы это ус-

троить. Потом сообразил, что ведь для внешнего мира я выгляжу бизнесменом в костюме, почему бы мне и не поступить так, как свойственно бизнесмену? Был субботний вечер. Я упаковал чемодан, доехал на такси до отеля на Бэйсуотер-роуд, снял номер, потом вышел на улицу, купил журнал для бизнесменов и вернулся в отель.

Перелистал страницы объявлений и остановил выбор на учреждении, которое предлагало "образованных девушек, массаж и эскорт, в вашем отеле, кредитные карточки принимаются". Насчет кредитных карточек я задумался. Стоит ли? Такой возможности я не предусмотрел и прихватил с собой изрядную сумму наличными. Может быть, их интересует номер кредитной карточки, чтобы потом вас шантажировать? Но я теперь о́дин из немногих людей в городе, кого никаким шантажом не возьмешь. Семьи у меня нет, не от кого таиться. А если в моем банке станет известно? Им может разве что не понравиться, если я соглашусь на такие проценты, которые бросят тень на мою профессиональную компетентность.

Потом, уже набрав номер, я вдруг испугался: что, если пришлют девушку, похожую на Джил? Это уже будет удар ниже пояса. Поэтому, когда там осведомились, нет ли у меня каких-либо особых пожеланий, я спросил, не найдется ли у них девушки восточного типа? И мне прислали Линду. Точнее, девушку, назвавшуюся Линдой. Она стоила сто фунтов. Это была ее цена. И это купили мне деньги. Я не намерен вдаваться в подробности, потому что я не из тех, кто вдается в подробности на такие темы, скажу только, что покупка того стоила, стоила каждого пенни. Девушка превосходно делала свое дело. Как я сказал, я не испытывал потребности в сексе, просто я решил, что так надо; но очень скоро я уже ощутил и потребность тоже и был рад, что я ее ощущаю. Когда она ушла, я посмотрел, что она записала на кредитном корешке в графе "Количество и название". Там стояло: "Товар". И больше ничего, просто — "Товар".

Иногда пишут разные шуточные названия, например "Оборудование для обслуживания". Или ничего. Или что их попросишь. Но я всегда буду помнить, что Линда написала просто — "Товар". Действительно, это была торговая сделка, бизнес, возразить нечего. Потом было много таких девиц, как Линда, некоторые тоже Линды. Очевидно, они пользуются определенным набором имен. Я знал немало Линд, многих звали Ким, или Келли, или Лорен, или Линзи. А вот Шарлотты и Эммы в этой профессии мне почти не попадались. И еще один плюс состоит в том, что при выборе имени никому из девиц не приходит в голову мысль назваться Джилиан, чтобы угодить бизнесмену в сером костюме с кредитной карточкой наготове. Во всяком случае, не в полной форме. Мне кажется, я бы этого не вынес. Была одна девушка — в Манчестере, по-моему, — которая сказала, что ее зовут Джил.

— Это полное имя? — спросил я, замерев. Я как раз доставал кредитную карточку.

— В каком смысле? — Она растерялась, словно я экзаменовал ее перед тем, как воспользоваться ее услугами.

— Как ты значишься в медицинских документах?

— Джил, конечно.

Конечно.

Мне нравится в Америке. Нравится быть в Америке иностранцем. Иностранцем, но англоязычным. Даже англичанином. Американцы

очень дружелюбны, как нам твердили тысячу раз, и действительно, те, с кем я знаком, держатся по-дружески, но когда они подходят ко мне слишком близко и я делаю шаг назад, они относят это на счет моего англичанства. Они думают, что я немного чопорный, слегка неконтактный, — и пусть себе думают. Я делаю шаг назад — разочаровываю их первый.

И девицы у них хороши. Я имею в виду, профессионалки. Эти зовутся Шелли или Марлен. Эмм и Шарлотт по сю сторону океана в этом бизнесе тоже не встретишь. И ни одной Джилиан. По крайней мере, в полной форме.

Я вам, наверно, теперь не особенно нравлюсь. А может, и раньше не нравился. Ну и ладно. Я больше никому не обязан нравиться. Конечно, у меня в планах нет сделаться кровожадным мультимагнатом, который надо всеми измывается, — я никогда нарочно не обижаю людей, это мне не свойственно. Просто мне теперь уже мало заботы, любят меня люди или нет. Раньше я очень старался нравиться, заслужить похвалу. А теперь, смотрю, мне уже это более или менее все равно. Вот маленький штрих: я снова стал носить очки. Я перешел на контактные линзы ради Джилиан, думал, что так ей больше нравится.

Первое, что говорят про деньги, это что они — иллюзия. Условность. Если вы даете кому-то бумажку в один доллар, эта бумажка доллара не стоит, это всего лишь обрезок бумаги и чуточку типографской краски, но все условились между собой и поддерживают иллюзию, будто она стоит доллар, и поэтому она его и стоит. Все деньги в мире означают то, что они означают, потому что люди согласились приписывать им некую иллюзорную цену. Точно так же и золото, и платина. Почему они высоко ценятся? Потому что все условились, что они стоят именно столько. И так далее.

Вы, наверно, уже поняли, к чему я. Другая всемирная иллюзия, другая вещь, существующая просто потому, что все согласились приписывать ей некую цену, — это любовь. Вы можете считать, что у меня завистливый взгляд, но к такому заключению я пришел. Ведь я столкнулся с ней вплотную. И получил по носу так, что не дай бог. Я сунулся носом в любовь, как сую нос к самому дисплею, когда беседую с деньгами. Я нахожу, что тут можно провести параллели. Любовь — это всего только то, что люди условились считать существующим, чему условились приписывать некую вымышленную ценность. В наше время почти всеми она оценивается как предмет потребления. Но я не согласен. Если спросите меня, то, на мой взгляд, она идет сейчас по искусственно завышенным ценам. И в ближайшие дни можно ожидать обвала.

Когда-то Оливер повсюду таскал с собой книгу под названием "Утешение философией". "Ах, это так утешает, так утешает!" — манерно вздыхал он и высокомерно постукивал по обложке. Я никогда не видел, чтобы он эту книгу читал. Возможно, ему просто нравилось название. Но я человек с другой книгой, с другим названием, современным: "Утешение деньгами". Они действительно утешают, уж поверьте мне.

Теперь, когда у меня больше денег, меня стали находить интересным человеком. Ну не знаю, так ли это. Но отношение ко мне переменилось. И это утешает. Мне нравится покупать разные предметы, и владеть ими, и выкидывать, если разонравились. Недавно вот купил тостер, а через неделю мне перестал нравиться его внешний вид, и я взял да и выбросил его вон. Тоже утешительно. Мне приятно нанимать людей, чтобы делали за меня то, что неохота делать самому, — мыть машину, убирать в квар-

тире, покупать продукты. И это утешительно. У меня, конечно, много меньше денег, чем у некоторых, с кем приходится иметь дело, но, с другой стороны, и много больше, чем у большинства, с кем я сотрудничаю. Тоже утешает. И если заработки мои будут и дальше так расти и если деньги вкладывать разумно, то я смогу жить припеваючи и после того, как перестану работать, вплоть до самой смерти. Что касается этого заключительного периода жизни, то тут деньги, мне кажется, вообще гораздо более действенное утешение, чем философия.

Я материалист. А кем еще можно быть, если, конечно, ты не буддийский монах? Две великие религии, правившие миром в этом столетии, — капитализм и коммунизм, — обе материалистические; просто одна работает лучше, чем другая, как показали последние события. Человека привлекают потребительские товары, всегда привлекали и будут привлекать. С этим надо сжиться. И любовь к деньгам — вовсе не корень всех зол, а, наоборот, исходное условие человеческого счастья, общее утешение. Они гораздо надежнее, чем любовь.

Что увидел — можешь получить. Получаешь то, за что платишь. Это общее правило в мире, где обитают Ким и Келли, Шелли и Марлен. Я не говорю, что всегда без обмана. Конечно, бывает, что и обманывают, как бывают девицы, у которых болезни, и девицы, которые оказываются мужчинами; как во всяком бизнесе, встречаются мошенники, иной раз случаются неудачные покупки. Но обращайся к верным людям, плати верную цену, и тебе продадут, что тебе нужно. Обслужат надежно, профессионально. Мне нравятся условные фразы, которые они произносят, когда приходят. Чем могу быть полезна? Чего бы вы желали? Нет ли у вас особых предпочтений? Наверняка с другими клиентами за этим следует длительная торговля, пока наконец не проскрежещет машинка для кредитных карточек, — их носят в сумочке вместе с противозачаточными средствами. Но со мной торговля простая. Когда меня спрашивают, нет ли у меня особых пожеланий, я не морочу им голову школьными платьицами, плетками и проч. Я прошу, чтобы после всего меня назвали "милый". Всего один раз, и только. Больше ничего.

Я не сыч какой-нибудь, не поймите меня неправильно. Я приезжаю на работу, на работе вкалываю по-черному и зарабатываю деньги. Живу в хорошей квартире вблизи Дюпон-серкл. У меня есть друзья, и мужчины, и женщины, я часто с ними общаюсь, схожусь с ними так близко, как хочу, но не ближе. Разочаровываю первый. И приятельницы у меня здесь тоже имелись. С некоторыми я спал, некоторые называли меня "милый" — до, во время и после. Мне это, конечно, нравится, но верить я не верю. Единственно в какого "милого" я верю — это "милый", за которого мною уплачено.

Понимаете, я не считаю себя завистливым, циничным, разочарованным и тому подобное. Я просто теперь вижу яснее, чем раньше. Любовь и деньги — это две большие голограммы, которые сверкают у нас перед глазами, гнутся и поворачиваются, словно настоящие трехмерные объекты. А протянешь руку — и она проходит насквозь. Я всегда сознавал, что деньги — иллюзия, но и будучи иллюзией, они обладают замечательным могуществом. Что любовь — тоже иллюзия, я не сознавал, не знал, что сквозь нее беспрепятственно проходит рука. Теперь знаю. Стал умнее.

Как видите, я в каком-то смысле перешел на точку зрения Оливера, которую он в оскорбительной форме пытался мне изложить, когда мы оба напились и я в конце концов нанес ему удар головой. Любовь функ-

ционирует по законам рынка, утверждал он в оправдание того, что увел у меня жену. Теперь, став чуть-чуть старше и чуть-чуть умнее, я склонен согласиться: любовь действительно имеет много общего с деньгами.

Из всего этого не следует, что я их обоих простил за то, как они со мной поступили. И ничего еще не прошло. Ничего не кончено. Что делать, я не знаю. Как, когда... Я должен от этого освободиться... Но как?

По моим понятиям, существуют две системы: оплата на месте и оплата потом. Система оплаты на месте работает, как я выше описал, и работает надежно, при условии, что приняты нормальные экономические меры предосторожности. Система оплаты потом именуется любовью. Меня не удивляет, что люди по большей части выбирают второй вариант. Нам всем нравится покупать в рассрочку. Но при оформлении покупки редко кто прочитывает мелкий шрифт внизу. О процентах мы не задумываемся... суммарную цену не подсчитываем... По мне, лучше платить на месте.

Иногда мне говорят, когда я выражаю свои взгляды на этот счет: "Да, я тебя понимаю. Это упрощает все дело. Но когда платишь за секс (мы, конечно, бываем уже пьяны ко времени такого братания), когда платишь за секс, — авторитетно говорят те, кто в жизни не платил за секс, — сложность в том, что шлюхи не целуют". Говорят это не без сожаления и тепло думают о своих женах, которые как раз целуют (но кого? кого еще? — подмывает меня спросить). Я киваю и не пытаюсь их разуверить. У людей такие сентиментальные представления о проститутках. Что будто бы они лишь изображают половой акт, а потом прячутся в скорлупу скромности и сберегают сердце и губы для возлюбленных. Возможно, что бывает и так. Но — шлюхи не целуют? Целуют за милую душу. Надо только заплатить за это. Подумайте, где еще вам могут дать губы в обмен на деньги?

Я не нуждаюсь в вашей жалости. Я теперь поумнел, и у вас нет оснований относиться ко мне свысока. Возможно, я вам теперь не нравлюсь (а может, и никогда не нравился). Но, как я уже сказал, я больше никому не обязан нравиться.

Деньги не могут купить любовь? Очень даже могут. Любовь, как я уже говорил, это такая система, которая обеспечивает, чтобы после секса тебя называли "милый".

17. *Sont fous, les Anglais*[1]

Гордон. Гордон меня зовут. Ну конечно, вы и не можете знать. Гордон Уайетт, теперь улавливаете?

Мне не положено с вами говорить, наверняка это против правил. Известно ведь, что вы обо мне думаете, верно? Грязный сладострастник, совратитель школьниц, бросил жену и ребенка... С такими ярлыками кто же захочет тебя выслушать?

Замечания по делу о Гордоне Уайетте, давным-давно осужденном военно-полевым судом и сосланном в соляные копи.

1. Когда мы познакомились с Мари-Кристин, она была такая забавная, веселая. Я женился, привез ее в Англию. И года не прошло, она завела роман. Думала, я не раскумекаю. Конечно, я раскумекал. Неприят-

1. Дурные они, эти англичане (*франц.*).

ное переживание, но я перетерпел. Было у меня подозрение, что, когда родилась Джилиан, у нее был еще один романчик, но точно утверждать не могу. Я бы и это перемог. С чем я не мог смириться, это что с ней перестало быть весело. Вроде как появились раньше времени старческие черты, какие-то понятия обо всем. Жуткое дело. Совсем на нее не похоже. Во всем-то она права, все-то она так и знала, в таком духе.

2. В доступе к дочери судом отказано по причине извращенного интереса заявителя к девочкам. (Они что, опасались, как бы я не совратил собственную дочь, черт бы их побрал?) Последующие личные просьбы категорически отвергались мадам. Приходилось выбирать: надо ли и дальше добиваться права видеться с ребенком, зная, что все против тебя (и суд, к которому ты проявил неуважение, и присяжные, и приставы, и прочие), и только рвать себе душу напрасными надеждами; или же подвести черту и начать с чистого листа? И то же самое — ребенок, что для нее лучше: думать, что, может быть, существует кто-то, или что определенно нет никого? Непростой вопрос.

3. Главное же, что я обязан заявить, это что я не могу мириться с клеветой на мою жену, на мою нынешнюю жену. Я ее не "совращал", и она не была мне Лолитой. Мы просто познакомились (и вовсе не в школе, между прочим) — и сразу готово дело. Сопротивление бесполезно. С тех пор живем в любви и согласии, растут двое отличных ребятишек. Правда, трудно было найти новое место преподавателя. Перебивался одно время переводами. И сейчас немного перевожу. Но кормилица семьи у нас Кристина. А я так называемый "домашний муж". Освоился с этим положением моментально, как рыба в воде, то-то мадам бы удивилась. Честно сказать, я вообще не понимаю, на что жалуются женщины. Мне лично очень даже нравится "сидеть дома на привязи", как они выражаются.

Ага, я слышу дверь. Видите ли, я обещал, что не буду с вами распространяться на эти темы. Кристина этого не любит. Что прошло, то прошло, было и быльем поросло, ну и так далее. Так что вы уж, пожалуйста, не проговоритесь, ладно? Вот и спасибо. Пока.

Оливер. Я езжу на ветхом "пежо" четыреста третьем. Перекупил у крестьянина, который, верно, спал и видел во сне "тойоту лендкрузер". Мой "пежо" зеленовато-серого цвета — теперь автомобили в такие цвета не красят — и весь такой закругленный по углам. Радиаторная решетка крохотная, как щиток на лице у голкипера. Все очень ретро. Были случаи, когда мотор глох, притом весьма кстати.

Каждое утро я под скрип старой кожи втискиваюсь за баранку и еду в Тулузу. По деревне качу медленно — из-за собаки месье Лажиске. Какой она марки, сказать не могу, а внешние характеристики такие: размеры средние, цвет гнедой, агрессивно-дружелюбен. Остальные особенности, не столь бросающиеся в глаза, нам разъяснил сам месье Лажиске в первый же день, когда мы с Джил вышли прогуляться по деревне и эта луженая глотка о четырех ногах на нас набросилась. "Il est sourd, — сказал владелец пса. — Il n'entend pas[1]". Глухая собака. Как это грустно. Беспредельно грустно. Не может слышать мелодичный посвист хозяина.

Так что я качу осторожно, кивая встречным туземцам, точно третьестепенный член британской королевской семьи. Проезжаю пыльный ромбовидный пустырь, который служит отчасти деревенской централь-

1. Он глухой. Он не слышит (*франц.*).

ной площадью, а отчасти — местом перед входом в кафе, где за столиками два-три деревенских долгожителя попивают утренние напитки из толстых кружек с надписью "Полицейское отделение". Вот стенды "Тотальгаз" у бензозаправочной станции и выцветшая реклама BRILLIANTINE PARFUMÉE[1], и ликера "Суз", намалеванная на торцовой стене. Какие названия! Дальше — заброшенный lavoir[2] — "où sont les blanchisseuses d'antan?"[3] — и наконец, у "Кооперативного погребка" сворачиваю на шоссе. Как почти во всех населенных пунктах в округе, в нашей деревне имеется два замка: старая крепость, чьи стены некогда обагряла пролитая кровь, и вот эта новая постройка из блестящей нержавеющей стали, где красный сок истекает из раздавленной виноградной кисти, а не из жил узника. Искусства войны и искусства мира! По-моему, архитекторы могли бы добиться более яркого контраста, украсив силосную башню кооперативного питейного заведения сатирическими башенками в виде перечниц, а стальные стены прорезав узкими окнами наподобие бойниц.

Вот это жизнь, думаю я, проезжая через виноградники разных сортов: Сенсо, Мурведр, Мальбек, Темпранильо, — их надо только смешать в правильной пропорции, и готово дело. Мы имеем статус VDQS[4], но еще надеемся на повышение.

Видите вон ту круглую каменную башенку? Это всего лишь хранилище, но построено на века и способно выдержать как прибой времени, так и нахрап хлопковых долгоносиков. Впечатляет? Чистейший воздух, дышите носом, и в небе высоко-высоко подвешен ястреб. Это ли не жизнь? Минутку, я только помашу царственной рукой вон тому работяге в синем фартуке, вскармливающему грудью свою лопату. А ведь я был всегда такой мрачный. Любил повторять, что жизнь похожа на вторжение в Россию: начинается легко и быстро, потом постепенно все медленнее, все труднее, потом смертная схватка с генералом Январем — ну и кровь на снегу. Но теперь я смотрю на вещи иначе. Почему бы маршруту не пролегать между солнечными виноградниками, верно? Здесь вообще все гораздо жизнерадостнее. Может быть, просто больше солнца. Помните, как медики открыли зависимость психического состояния от освещения в квартире? Ввинтите лампочки поярче и не платите психиатру. То же самое вполне может относиться и к открытым пространствам. Климат и Веселый Олли.

До Тулузы около часа езды по шоссе A 61. Утренний туман парит над лугами и колышется вокруг крестьянских домов, точно испаряющийся сухой лед. Сворачиваю на школьный двор и останавливаю мой 403-й. Рассыпаю в толпе заждавшихся учеников горсти bon mots[5], словно семечки подсолнухов. Ученики все такие нарядные и... ну да, хорошенькие. И мальчики, и девочки. И все хотят учить английский! Ну разве не удивительно? Я знаю, что педагогу полагается воодушевлять, разжигать жажду познания и прочее, и прочее, но это правило было неприложимо в дождливые вторники на Эджуэр-роуд, когда перед тобой — унылый ряд прокисших кулей с зерном. Здесь же все наоборот: они пробуждают во мне желание учить!

1. Ароматный бриллиантин (*франц.*).
2. Мосток для полоскания белья (*франц.*).
3. "Где прачки былых времен?" (*франц.*) Аллюзия на "Балладу о дамах былых времен" Франсуа Вийона.
4. VDQS, vin délimite dé qualité supérieure (коллекционные вина) — высший винодельческий статус.
5. Острот (*франц.*).

И учишь, учишь целый божий день. А после, быть может, пропустишь не спеша стаканчик красного в обществе ученицы, у которой трудности с прошедшим временем (у кого из нас их нет?), и ленивым ходом едешь через виноградники домой. За несколько километров видишь, как блестят в закатных лучах низкого солнца стальные конструкции ресторана "Кооперативный погребок". Вот промелькнул мой любимый дорожный знак: ROUTE INONDABLE. Чисто галльская экономия. В Англии бы написали: ОСТОРОЖНО! ДОРОГУ ИНОГДА ЗАТОПЛЯЕТ. А здесь – ROUTE INONDABLE, и все. Затем осторожно проезжаешь по деревне и попадаешь в любящие объятия жены и ребенка. Как она горячо обнимает меня, лучезарное дитя, малютка Сал. Льнет ко мне, как мокрая занавеска в душе. Ну чем не жизнь?

Джилиан. Теперь слушайте меня. Меня слушайте. Я думаю, начать надо с описания деревни, в которой мы поселились. Она расположена на юго-восток от Тулузы в департаменте Од на краю виноградников Минервуа вблизи Южного канала. Деревня со всех сторон окружена виноградниками, но это только теперь, а раньше было иначе. В наши дни, если поездить по окрестностям, можно подумать, будто тут спокон века все было так, как сейчас, виноградники почти все очень старые. Но на самом деле здесь произошли большие перемены с появлением железной дороги. До той поры здешние области были самодостаточными с сельскохозяйственной точки зрения. Тут разводили овец, чтобы получать шерсть, крупный рогатый скот – ради молока, наверно, еще и коз, выращивали овощи, фрукты и ну, там, подсолнечник, из которого выжимали масло, турецкий горох и тому подобное. Но провели железные дороги, и экономический профиль региона, как и всюду, изменился, выровнялся. Местные жители перестали возиться с овцами, потому что шерсть, доставляемая по железной дороге, оказалась дешевле местной. Смешанные хозяйства вымерли. Можно, конечно, иногда увидеть козу где-нибудь на заднем дворе, но и только. В настоящее время весь регион занят виноделием. Что же будет, когда в другой какой-нибудь местности начнут производить вино лучше и дешевле нашего, когда наши почвы и виноградники окажутся исчерпаны до конца и больше неконкурентоспособны? С голоду мы, конечно, не помрем, экономисты посадят нас на европособие. Нам будут платить за то, что мы производим вино, которое никому не нужно, мы будем его делать, а потом ждать, пока оно не превратится в уксус, или просто выливать на землю. Второе обнищание, понимаете? И будет очень жаль.

Вон те каменные башенки среди полей – памятники былого. Многие считают их зернохранилищами, но на самом деле раньше у них были крылья. Это бывшие ветряные мельницы, моловшие зерно с тех самых полей, среди которых они стоят. Теперь они остались без крыльев и перестали походить на бабочек. А заметили вы "замок", когда проезжали через деревню? Его все называют "замком", а Оливер сочиняет сказки про осадные машины и кипящую смолу. Спору нет, в этих местах было много сражений, главным образом во время Катарских войн, кажется, и англичане сюда заглядывали столетия два спустя. Но тут небольшая деревня посреди равнины, лишенная какого-либо стратегического значения. Зачем ей замок? Нет, это сооружение – всего лишь древнее зернохранилище и ничего больше.

Единственная здешняя достопримечательность, привлекающая туристов, — средневековый фриз на западной церковной стене. Он тянется от угла до угла, изгибаясь дугой над порталом. На фризе — тридцать шесть каменных голов, через одну то ангельская, то голый череп с аккуратно скрещенными костями снизу. Рай — ад, рай — ад, рай — ад. Или можно истолковать иначе: воскресение — смерть, воскресение — смерть, воскресение — смерть, словно вагоны проходящего железнодорожного состава. Да только мы уже не верим в ад и воскресение. И ангелы, по-моему, больше походят на обыкновенных маленьких детей. Вернее, на одно малое дитя — на мою дочь Софи Анну Луизу. Мы дали ей три имени, все три существуют и по-французски, и по-английски — достаточно переместить ударение, и меняешь национальность. Эти ангельские головки, слегка сглаженные временем, напоминают мне мою дочь. Они словно бы говорят мне: жизнь, смерть, жизнь, смерть, жизнь, смерть.

Какое-то здесь заколдованное место. В Лондоне я никогда столько не думала о времени и смерти. Здесь такая тишь, красота, безмятежность, и жизнь моя худо-бедно устроилась, а я вот размышляю про время и смерть. Неужели это из-за Софи?

Вот, например, фонтан. Нормальное, с некоторой претензией на пышность, общественное сооружение, возведенное в царствование Карла X. Обелиск из розового мрамора, который и теперь добывают в карьере на противоположном склоне горы. На цоколе — четыре головы Пана, держат во рту вроде как трубочки для стрельбы горохом. Из трубочек должна литься вода. Но давно уже не льется. А как, надо думать, радовались в 1825 году, когда установили фонтан и получили чистую воду с дальних холмов. Теперь жители деревни предпочитают покупную воду в бутылках, а фонтан пересох. Зато он теперь исполняет роль еще одного военного мемориала. На одной стороне обелиска — колонка из двадцати шести имен тех, кого эта маленькая деревня потеряла в Первой мировой войне. На противоположной стороне — трое павших во Второй мировой войне, а под ними — один mort en Indochine[1]. А с третьей на розовом мраморе можно разобрать первоначальную надпись 1825 года:

MORTELS, SONGES BIEN
LE TEMPS PROMPT A S'ENFUIR
PASSE COMME CETTE EAU
POUR NE PLUS REVENIR[2].

Вода — как жизнь, говорится здесь. Но вода здесь больше не течет.

Я смотрю на старух. Для домашней работы они надевают цветастые халаты на пуговицах, наряднее, чем просто рабочая одежда. Каждое утро они выходят и метут тротуар перед своим домом. А потом еще немного проезжую дорогу. Я не шучу, они сметают своими старыми швабрами пыль и сор с шоссе, сколько удается достать с тротуара. К вечеру, когда спадает жара, они снова выходят на улицу, но теперь сидят на плетеных стульчиках. И просиживают дотемна, вяжут, судачат, прохлаждаются. Становится понятно, для чего они подметали шоссе. Для них шоссе — это часть двора, где можно посидеть на воздухе.

1. Погиб в Индокитае (*франц.*).
2. Мертвые, спите спокойно / Время бежит быстро / Как эта вода / Чтобы никогда не вернуться (*франц.*).

В конце недели из Монпелье едут нувориши. Но не в нашу деревню, мы для них недостаточно живописны. Они гонят свои джипы дальше и на холмах, откуда открываются виды, включают мощные лампы "хибачи". А у нас плоско, скучно, нет даже местного телевидения. У нас тут есть только два бара, одна гостиница с рестораном, это прямо напротив нашего дома, и булочная, в которой теперь пекут pain noir и pain complet[1], поскольку в бакалейный магазин стали завозить хлеб фабричный, а кроме того, еще скобяная лавка, где можно купить электрические лампочки и крысиный яд. В прошлом году вся страна праздновала двухсотлетие Французской революции. А у нас в деревне было только одно уличное украшение: хозяин скобяной лавки месье Гаррюэ заказал шесть пластиковых швабр, две красные, две белые и две синие, и воткнул напоказ в горшок у порога своего заведения. И сами щетки, и длинные рукояти были одного цвета, так что получилось очень мило. Но потом кто-то купил обе красные — проезжий коммунист, как утверждала одна старуха, — и местное украшательство на том и кончилось. Больше про двухсотлетие не вспоминали, хотя в соседних деревнях устраивали фейерверки, нам было слышно.

По средам в девять часов утра приезжает рыбный фургон с побережья и стоит на рыночной площади. Мы покупаем морского леща и еще какую-то рыбу под названием "пассар" (не знаю, как это переводится). Рыночная площадь имеет форму кособокого овала, посредине — аллея немилосердно обстриженных лип: здесь деревенские старики играют в шары, а старухи иногда переносят сюда плетеные стульчики и сидят наблюдают за игрой, сами же в ней участия не принимают. Игра идет по вечерам, при прожекторе, и над головами игроков вырисовываются в небе черные верхушки дальних сосен. Что они означают во французской деревне, знает всякий: кладбище.

Местная мэрия и почтовое отделение находятся в одном здании. Сначала, желая купить марку, я по ошибке забредала в мэрию.

Вам ведь это все неинтересно, правда? Конечно нет. Вижу, я на вас скуку нагнала. Вас интересует совсем другое. И прекрасно.

Стюарт. Рассказать вам про одну вещь, которая меня всегда слегка обижала? Вы, наверно, подумаете: какая чепуха. Тем не менее это правда.

В субботу она вставала попозже, ей хотелось немного понежиться в постели. Я поднимался первым. На завтрак в субботу или воскресенье мы обязательно ели грейпфрут. Выбор был за мной. Если меня тянуло съесть грейпфрут в субботу, я вынимал его из холодильника, разрезал пополам и клал на два блюдца. Или же это происходило в воскресенье. Вот я съем свою половину, смотрю на вторую, которая предназначена для Джилиан, и думаю: это — ее, она проснется и будет ее есть. И я аккуратненько выковыривал все косточки, чтобы ей не пришлось с ними возиться. Иногда их бывало много.

И знаете, за все время, что мы жили вместе, она ни разу этого не заметила. Или замечала, но не говорила. Но нет, на нее не похоже. Просто не обращала внимания. А я все ждал по утрам в выходные, что она наконец увидит. И каждый раз испытывал маленькое разочарование. Помню, я думал: может, она считает, что вывели новый сорт грейпфрута, без косточек? Как бы они тогда размножались, по ее мнению?

1. Черный хлеб и хлеб с отрубями (*франц.*).

Теперь она, наверно, убедилась, что косточки в грейпфруте есть. Кто у них его разрезает? Не представляю себе, чтобы Оливер... а, черт.

Ничего не прошло. Не знаю, как это может быть, но факт. Надо что-то с этим делать, как-то разобраться. Я уехал, они уехали, но ничего не прошло.

Оливер. Понимаете, она сильнее меня. Уф-ф! Уф-ф! И мне это нравится. Свяжите меня шелковыми путами, будьте так добры. А, ну да, я уже это, кажется, говорил. Ну и что? Зачем так сурово смотреть? Суровый взгляд и горький вздох так понижают качество жизни. Джили иногда, случается, вздохнет, когда я очень уж разыграюсь. Это, знаете ли, большая нагрузка — чувствовать ожидание в притихшем партере. Люди делятся на актеров и публику, вы согласны со мной? Иногда я думаю: вот попробуйте сами разок поактерствовать, тогда узнаете.

Я сейчас скажу вам одну вещь, которую вы еще не слышали. Слово Pravda по-русски означает: "правда". Ну, положим, это вы, наверно, знаете. А я хочу вам сказать вот что: для слова "правда" нет рифмы в русском языке. Подумайте и взвесьте. Не отзывается ли эта нехватка эхом в каньонах вашего сознания?

Джилиан. Мы переехали сюда, потому что Оливер получил в Тулузе место преподавателя.

Мы переехали сюда, потому что, как я узнала, в Музее августинцев, возможно, найдется работа для реставратора. Имеются также и частные клиенты, а я привезла парочку рекомендательных писем.

Мы переехали сюда, потому что Лондон теперь неподходящее место, чтобы растить детей, и потом, мы хотим, чтобы Софи выросла двуязычной, как maman.

Мы переехали сюда из-за климата и из-за качества жизни.

Мы переехали сюда, потому что Стюарт стал слать мне цветы. Можете себе представить? Можете?

Мы все заранее обсудили. Все, кроме вот этого последнего осложнения. Ну как он может? Просто не знаю, искренно ли он пишет, что ему очень жаль, или же это какая-то нездоровая месть. Но в любом случае мне с этим было не справиться.

Оливер. Решение принимала Джил. Разумеется, мы поиграли в демократию, провели консультации за круглым столом, это — святое, но если говорить честно, в браке всегда один человек покладистого нрава, а другой — воинственного, вы согласны? И не выискивайте, пожалуйста, в этом утверждении дежурные стоны мужчины с пониженным гормональным профилем. Давайте лучше примем следующее обобщение: те, кто взял на себя тяготы брака, попеременно выступают то в той роли, то в этой. Когда я за ней ухаживал, я был настойчивым и целеустремленным, а она — трепетной и колеблющейся. Когда же речь зашла о смене тухлых исчадий лондонского автобуса на нежные ароматы трав Прованса, тогда ее кочевое сердце колотилось и гудело, как мощный гонг Дж. Артура Рэнка[1]. Что же до меня, то у меня перспектива разлуки с отечеством если и вызывала сердцебиение, то уловимое разве стетоскопом.

1. Имеется в виду фирменная заставка кинокомпании Артура Рэнка: атлет, ударяющий в гонг.

Послушайте, она даже работу мне нашла. Откопала где-то старый заплесневелый французский справочник, содержащий сведения о том, где нанимают иностранцев. Я только-только разгулялся в Лондоне, поскольку стеатопигий друг увез свою пухлую задницу на другой континент. Но Джил уже нетерпеливо разворачивала крылья, готовясь к отлету; я чувствовал, как она в сумерках сидит на телефонных проводах и грезит о Юге. И если, как я некогда пытался внушить пузану Стю, любовь можно уподобить деньгам, в таком случае брак — это предъявленный счет. Шутка. Во всяком случае, наполовину.

Джилиан. Разумеется, Оливер прежде всего ленив, как все мужчины. Они принимают важное решение и воображают, что теперь могут несколько лет мирно греться на солнышке, как лев на вершине горы. Мой отец сбежал со своей школьницей, и это было, я думаю, последнее ответственное решение в его жизни. Вот и Оливер приблизительно такой же. Производит много шуму, но с малым результатом. Не поймите меня неправильно: я люблю Оливера. Но я его изучила.

Продолжать прежнее существование, только заменив Стюарта Оливером, было просто невозможно. Даже когда я забеременела, Оливер все никак не мог взяться за ум. Я пыталась образумить его, но он обиженным тоном возразил: "Но я счастлив, Джил, я так счастлив". Конечно, меня это растрогало, мы поцеловались, он погладил мой живот, тогда еще плоский как доска, отпустил какую-то глупую шутку насчет головастика, и остаток вечера все было прекрасно. У Оливера такая особенность: он замечательно умеет делать так, чтобы остаток вечера все было прекрасно. Но потом наступает утро. И утром я подумала: я, конечно, очень рада, что он счастлив, и я тоже счастлива, казалось бы, разве этого мало? Но выходит, что мало. Надо быть счастливым и практичным. Вот в чем суть.

Мне не нужно, чтобы мой муж правил миром, — иначе я бы не вышла замуж ни за того, ни за другого, — но я также не согласна, чтобы он топтался на месте, совершенно не заботясь о будущем. За все время, что я знаю Оливера, в его карьере — если это слово тут подходит — произошла только одна перемена, и та к худшему: он вылетел из школы имени Шекспира и поступил к мистеру Тиму. Хотя всякому ясно, что он достоин большего. Его надо было направлять, тем более — в виду моей беременности. Я не хотела, чтобы... да, я знаю, я уже говорила это про Стюарта, но так и есть, и я не стыжусь — я не хотела, чтобы Оливер разочаровался.

Он, должно быть, рассказывал про собаку месье Лажиске? Есть две вещи в нашей деревне, о которых он рассказывает каждому. Это "замок", от повторения к повторению становящийся все более внушительной крепостью крестоносцев или катарской твердыней, и собака. Такой приветливый рыжий пес по кличке Пулидор, который от старости совершенно оглох. Мы с Оливером оба его ужасно жалеем, но по разным причинам. Оливеру грустно, что бедняжка Пулидор на прогулке через поля не слышит больше свиста своего доброго хозяина и вообще от всего отрезан в мире безмолвия. А мне грустно оттого, что рано или поздно он, я знаю, погибнет под колесами. Он выскакивает из дома месье Лажиске пулей, весь охваченный восторженным предвкушением, что вот сейчас, на воле, слух к нему вернется. А водители автомобилей не предполагают, что собака может быть глухой. Я представляю себе, как юноша за рулем на большой скорости проезжает по деревне, видит бегущую

по улице собаку и нетерпеливо сигналит ей, сигналит, но она, глупая, не обращает внимания, он резко сворачивает, но увы — поздно. Я себе все это ясно представляю. Я говорила месье Лажиске, что собаку надо привязать или держать на длинном поводке. Он объяснил, что пробовал один раз, но Пулидор захандрил, ничего не ел, и он его отвязал. Он хочет, чтобы его пес был счастлив. Я возразила, что быть счастливым хорошо, но надо быть и практичным. А иначе собака рано или поздно неизбежно попадет под колеса. Это ясно.

Понимаете?

Стюарт. Я придумывал разные планы. Сначала хотел подкупить какую-нибудь ученицу в этой жалкой школе, куда Оливер устроился. И пусть она пожалуется, что Оливер к ней пристает. Вообще это даже могло быть правдой — ну не к этой девице, так к другой. И его бы за это выгнали. Могли бы на этот раз и в полицию обратиться. Джил, по крайней мере, поняла бы, ради какого человека меня оставила. И это сознание ее бы все время мучило, она уже никогда бы не чувствовала себя в безопасности. Хороший был план.

Потом, в Штатах, я придумал другой. Притвориться, будто я покончил с собой. Понимаете, мне хотелось причинить им сильную боль. Правда, я не решил как. Была мысль написать под чужой подписью в журнал старых выпускников нашей школы, чтобы там поместили некролог, и позаботиться, чтобы непременно послали номер Оливеру. Или можно, чтобы какой-нибудь общий знакомый, приехавший из Штатов, сообщил им эту новость как бы между прочим: "Грустно, что Стюарт застрелился, а? Да, не пережил разрыва. А вы что, разве не знали?" Кто бы это мог сделать? Да все равно кто. Я бы заплатил.

С этой мыслью я не расставался, пожалуй, чересчур долго. Она наводила мрак. И уже становилась соблазнительной. Подмывало и впрямь сделать это — понимаете? Без обмана то есть, им в наказание... Ну, и тогда я ее отбросил.

Но еще ничего не кончено. То есть мой брак-то кончен, это я понимаю. Но это не прошло. И не пройдет, пока я не почувствую, что прошло. Пока не перестанет болеть. Но до того еще ох как далеко. И я никак не могу избавиться от чувства, что это все несправедливо. Но ведь оно должно меня отпустить, верно?

С мадам Уайетт мы переписываемся. И представляете? У нее роман. Ай да мадам Уайетт. Молодец.

Оливер. Наверно, сейчас неподходящий момент для такого признания, но я вообще не специалист выбирать для своих выступлений подходящие моменты. Порой я скучаю по Стюарту. Да-да, можете мне не говорить, сам знаю, что я ему сделал. Я постоянно жую и пережевываю свою вину, как старый переселенец-бур жевал, не глотая, полоску вяленого мяса. И что особенно грустно, иногда мне думается, что Стюарт понимал меня лучше всех. Надеюсь, что ему хорошо живется. Что он завел себе симпатичную, уютную даму сердца. Я представляю себе, как они вдвоем у себя на лужайке перед домом жарят мясо на мескитовом костре, а над лужайкой кружатся птицы кардиналы и оглушительно стрекочут цикады, точно струнная группа Чикагского симфонического оркестра. Я желаю ему всего, этому Стюарту: сил, семейного очага, счастья, ну и болячки в бок, как положено. Пожелал бы ему горячей ванны, да он стал бы

держать в ней тропических рыбок, разве я не знаю? Бог ты мой, при одной мысли о нем хочется ухмыльнуться.

Есть у него девушка, вы не знаете? Я думаю, он завел какую-то темную тайну, что-нибудь эдакое, сексуальное. Может быть, порноснимки? эротические телефонные разговоры? неприличные факсы? Нет, надеюсь, что он уже пришел в себя. Что он больше не боится жизни. Я желаю ему... обратимости.

Стюарт. Я хотел бы уточнить и зафиксировать одну деталь. Вы, наверно, не помните, но у нас с Оливером была одна шутка, вернее, не у нас с Оливером, а у него на мой счет. Будто бы я считаю, что "мантра" — это марка автомобиля. Я тогда не спорил, но вообще-то я хотел его поправить: не "мантра", Оливер, а "манта". Точнее — "манта рэй", классная машина, мощная, выпускает "Дженерал Моторс" на основе "корвета". Я даже подумывал купить такую, когда приехал сюда. Но все же она — не в моем стиле. И это была бы слишком большая уступка прошлому, вы согласны?

Оливер обязательно истолкует неверно.

Мадам Уайетт. Стюарт мне пишет. И я сообщаю ему всякие новости, если они есть. Он все никак не может подвести черту. Уверяет, что строит себе новую жизнь, но я чувствую, что он не в силах подвести черту.

О том же, что действительно помогло бы ему сделать это, я не могу себя заставить ему сообщить. О малютке. Ему не известно, что у них родился ребенок. Ужасно, когда знаешь то, что другому может причинить боль. И оттого, что я тогда не написала сразу, теперь день ото дня становится все труднее поставить его в известность.

Понимаете, они как-то пришли ко мне в гости, и когда моей дочери не было в комнате, а Стюарт сидел как на экзамене — ботинки блестят, волосы зачесаны со лба, — и он мне сказал: "Знаете, у нас будут дети". И сразу спохватился, застеснялся: "То есть я не имею в виду — сейчас... не в том смысле, что она... — Тут с кухни донесся звон чашек, Стюарт совсем растерялся и стал уточнять: — Джил еще не знает, мы об этом не говорили, но я уверен, ну то есть..." Ему не хватило слов. Я сказала: "Да, я понимаю, это будет наш с вами секрет". И он сразу успокоился, и по лицу было видно, с каким нетерпением он ждет, когда вернется Джилиан.

Я вспомнила этот разговор, когда Оливер мне сообщил, что Джилиан беременна.

Софи Анна Луиза. Немного претенциозно, вы не находите? Может быть, по-английски лучше: Софи Энн Луиза. Нет, все равно как-то похоже на внучку королевы Виктории.

Джилиан. Не думайте, пожалуйста, Оливер — хороший преподаватель. В конце прошлой четверти было праздничное чаепитие, и директор мне говорил, как прекрасно Оливер умеет ладить с учениками и как они все его ценят. Оливер потом презрительно фыркнул, когда я это пересказала, он говорит, что его предмет, "английский разговорный и английская культура", — работа не бей лежачего, можешь ляпнуть что придет в голову, и ученики принимают это за бесценный образчик британского юмора. Это вполне в духе Оливера. Хорохорится, храбрится, но на самом деле очень неуверен в себе.

Слать цветы своей бывшей жене через два года после разрыва. Что это должно значить?

Когда я была школьницей — теперь это кажется таким далеким прошлым, — мы с подругами вели нормальные девчачьи разговоры: каким должен быть мужчина, которого мы полюбим? Я всегда просто называла кого-нибудь из кинозвезд. Но про себя думала, что мне нужен человек, которого я смогу любить и уважать и который мне физически приятен. Вот к чему, я считала, надо стремиться, если хочешь постоянных отношений. Но когда у меня начались романы, выяснилось, что все три качества вместе — такая же редкость, как выиграть подряд три клубничины в игровом автомате. Одна выскочит, пытаешься поймать вторую, но первая может уйти. Есть, правда, кнопка "задержать", но она как-то плохо работает.

Любить, уважать и чувствовать влечение. Я думала, что мне достались все три условия в Стюарте. А потом — что в Оливере. Но, должно быть, все три — это недостижимо. Наверно, самое большее, на что можно надеяться, это два условия, а кнопка "задержать" мигает всегда.

Мадам Рив. Говорит, что он канадец. Но, во всяком случае, не из Квебека. Просил комнату с окном на улицу. Как долго тут проживет, он не знает. Еще раз повторил, что канадец. Ну и что? Какого цвета деньги, не все ли равно?

Джилиан. Надо, чтобы были правила. Строжайшие правила, это очевидно, вы согласны? Быть счастливым недостаточно, счастьем необходимо управлять. Теперь я это знаю. Мы поселились здесь, начали с чистого листа, на этот раз без ошибки. Новая страна, новая работа, ребенок. Оливер острил: Ньюфаундголденленд[1]. Как-то раз, когда Софи измотала меня больше обычного, я его оборвала:

— Имей в виду, Оливер. Одно из правил — никаких романов.

— Che?

— Никаких романов, Оливер.

Не знаю, может быть, я взяла неверный тон, но он как с цепи сорвался. Можете себе представить поток красноречия. Всего я не запомнила, потому что, когда я устаю, у меня на Олли включается система фильтрации. Я выбираю только то, на что надо ответить.

— Оливер, я только говорю... учитывая обстоятельства нашего знакомства... когда все думали, что у нас с тобой была интрижка и из-за этого мы со Стюартом разошлись... Я просто считаю, что для собственного нашего спокойствия нам следует вести себя осторожно.

Оливер, как вы, наверно, заметили, умеет быть чрезвычайно саркастичным. Сам он это отрицает, он считает сарказм вульгарным. Изящная ирония, как он говорит, это максимум на что он способен. Так что, возможно, его ответная реплика была всего лишь изящно-ироничной. Он заявил, что, насколько ему помнится, пока я была замужем за Стюартом, у нас с ним не было интрижки исключительно потому, что он отклонил мое очень настоятельное предложение (дальше следовали анатомические подробности, которые я опускаю), и если кого и можно заподозрить в романах, то не его, а меня, и т. д. и т. п. И это, вообще говоря, справедливо, если не учитывать, что у женщины с грудным ребенком, да еще работающей, как правило, не хватит энергии, чтобы прыгать в постель к третьим лицам и все такое прочее.

1. Каламбур: "Новооткрытая золотая земля" (*англ.*).

Это было ужасно. Мы состязались, кто кого переорет. Хотя я-то старалась быть практичной, мною руководила любовь к Оливеру, так мне казалось, а вот он разнервничался и держался как настоящий враг.

Такие вещи сразу не проходят. Да еще стоит такая страшная жара. Всю следующую неделю мы переругивались. И представляете? Этот старый танк, на котором он ездит, потому что, видите ли, он эффектно выглядит, за одну неделю три раза ломался по дороге. Три раза! На третий раз, когда Оливер что-то такое пробурчал про карбюратор, у меня, наверно, сделалось скептическое выражение лица, потому что он взглянул на меня и произнес:

— Ну что же ты молчишь? Скажи вслух.

— Что?

— Давай-давай. Говори.

— Ладно, — соглашаюсь, хоть и понимаю, что не надо бы. — Как ее зовут?

Он зарычал, словно торжествуя победу, я сидела, он стоял надо мной, и я чувствовала — мы оба чувствовали, — что он вполне может сейчас меня ударить, если я скажу еще хоть слово. Я молчала.

Он победил. И мы оба проиграли. Это даже не была настоящая ссора, не по какому-то конкретному поводу, а просто из бессознательной потребности поругаться. Я не сумела управлять счастьем.

Потом я плакала. И думала: БРЮКВЫ, СЛАДКИЕ КАРТОФЕЛИ, ЦВЕТНЫЕ КАПУСТЫ, СПАРЖИ. Никто не сказал тому зеленщику, что так писать нельзя, никто его не поправил. А может, поправляли, да он не послушал.

Нет, тут вам не Англия. Тут Франция, и я сейчас объясню иначе. На днях я разговаривала с месье Лажиске. Ему принадлежит несколько акров виноградников за деревней, и он рассказал мне, что в старину в конце каждого ряда сажали розовый куст. Оказывается, на розе болезнь проявляется раньше всего, так что розовые кусты — это своего рода система раннего оповещения. Месье Лажиске сказал, что теперь эта традиция здесь заглохла, но в других районах Франции она еще сохранилась.

Мне кажется, что и в жизни надо сажать розовые кусты. Людям тоже нужна система раннего оповещения.

Оливер здесь стал другим. Вернее, как раз наоборот: Оливер здесь такой, каким был всегда и всегда останется. Но здесь он иначе смотрится. Французы его, в сущности, не понимают. Я только здесь сообразила, что Оливер — из тех, кто яснее всего выявляется в контексте. Когда я с ним познакомилась, он показался мне ужасно экзотичным; теперь же краски потускнели. И не только от времени и от привычки. Просто здесь имеется еще лишь один английский персонаж, на фоне которого он мог бы выделяться, — я. А этого недостаточно. Ему нужно, чтобы вокруг были такие люди, как Стюарт. Это — как в теории цвета. Если поместить рядом два разноцветных пятна, то оба цвета видишь немного измененными. Принцип совершенно тот же.

Стюарт. Я взял трехнедельный отпуск. Прилетел в Лондон. Думал, тут будет легче со всем этим справиться. Я не ездил по тем местам, где мы бывали с Джил, хватило ума. Но меня одолевали злость и печаль. Говорят, злость пополам с печалью все же лучше, чем одна печаль, но я сомневаюсь. Когда ты ходишь печальный-печальный, люди к тебе внимательны и добры. Но когда к твоей грусти примешана злость, хочется просто стать

посреди Трафальгарской площади и кричать: Я НЕ ВИНОВАТ. СМОТРИТЕ, ЧТО СО МНОЙ СДЕЛАЛИ. ПОЧЕМУ ТАК ВЫШЛО? ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО. Люди, испытывающие печаль, но еще и злость, не способны изжить свою боль; такие люди сходят с ума. Я стал как тот человек, что едет в метро и разговаривает вслух сам с собой. От таких стараются держаться подальше. Лучше ему под руку не попадаться, а то он еще спрыгнет или пихнет. Прыгнет под поезд или пихнет туда вас.

Так что я поехал в гости к мадам Уайетт. Она дала мне их адрес. Я сказал, что хочу написать, потому что при последней встрече они старались держаться по-дружески, а я их оттолкнул. Не ручаюсь, что мадам Уайетт мне поверила. Она неплохо читает мысли. Поэтому я сменил тему и спросил, как ее новый любовник.

— Старый любовник, — поправила она.

— О, — сказал я, вообразив престарелого господина с пледом на коленях. — Вы не сообщили мне, какого он возраста.

— Да нет, я имею в виду, мой бывший любовник.

— Ой, простите.

— Ничего. Это был просто так... эпизод. Faut bien que le corps exulte[1].

— Да.

Я бы так никогда не сказал. Это не мои слова. И вообще не знаю, можно ли по-английски сказать: "тело ликует". Телу приятно, это да, но вот чтобы оно ликовало, не уверен. Но может быть, это у меня так.

Когда подошло время прощаться, мадам Уайетт сказала:

— Стюарт, по-моему, еще рановато.

— Что рановато? — Я подумал, она сожалеет, что я уже собрался уходить.

— Начинать переписку. Повремени еще немного.

— Но они сами просили ...

— Нет, не ради них. Ради себя.

Я обдумал это. И купил карту. Ближайший аэропорт оказался в Тулузе, но я в Тулузу не полетел. Я взял билет до Монпелье. Я ведь мог направляться еще куда-нибудь, верно? Я и поехал было. Сел в машину и поехал прямо в противоположную сторону. Но потом подумал: глупости. И снова поискал на карте.

Я дважды без остановки проехал через их деревню. Первый раз нервничал и ехал слишком быстро. Выскочила какая-то чертова собака и чуть не угодила под колеса, едва выкрутил баранку. Второй раз проехал медленнее, увидел гостиницу. Возвратился, когда уже стемнело, и спросил номер. Никаких проблем. Деревня довольно живописная, но не приманка для туристов.

Я не хотел, чтобы мне сказали: "А у нас тут тоже живут англичане", поэтому представился канадцем, да еще для надежности записался под вымышленной фамилией.

Я спросил номер окнами на улицу. Стою у окна. И жду.

Джилиан. У меня не бывает предчувствий, я не телепат и не принадлежу к тем людям, которые говорят: "Я кожей это чувствовала". Но когда мне сказали, я сразу поняла.

Честно признаться, я мало думала о Стюарте с тех пор, как мы перебрались сюда. Все мое время уходит на Софи. Она так быстро меняется,

1. Нужно, чтобы тело ликовало (*франц.*).

каждый день что-то новое и ни минуты свободной. А еще Оливер, а еще работа.

О Стюарте я вспоминала только в тяжелые минуты. Звучит некрасиво, но это правда. Например, когда впервые убеждаешься, что не можешь или, во всяком случае, не будешь все рассказывать человеку, за которым ты замужем. Так было у меня со Стюартом, и так же с Оливером. Это не то чтобы ложь, а просто как бы подгонка, экономное обращение с правдой. На второй раз это уже не так поражает, но напоминает, как было в первый.

Утром в среду я стояла возле рыбного фургона. В Англии выстроились бы в очередь, а здесь просто толпятся, но знают, кто за кем, и если следующая — ты, но тебе не к спеху, можешь пропустить кого-нибудь вперед себя. Suis pas pressée[1]. Прошу вас. Я буду за вами. За мной была мадам Рив, и она спросила, любят ли англичане форель. Я ответила, что да, конечно.

— У меня сейчас остановился англичанин. Sont fous, les Anglais. — Она посмеялась, показывая, что меня сюда не включает.

Упомянутый англичанин приехал три дня назад и все время сидит у себя в номере. Только раз или два поздно вечером выбирался украдкой на воздух. Говорит, что он канадец, но паспорт английский, и фамилия в нем не та, какой он назвался по приезде.

Когда я это услышала, я сразу поняла. Сразу.

— У него фамилия канадская? — спрашиваю как бы между делом.

— Что значит — канадская фамилия? Я их не различаю. У него записано Юз или что-то в этом роде. Это канадская фамилия?

Юз. Да нет, не особенно канадская. Это фамилия моего первого мужа. Я раньше была мадам Стюарт Юз, то есть Хьюз, но только я не брала его фамилию. Он думал, что я поменяла фамилию, но я оставила свою. И фамилию Оливера я тоже не взяла.

Оливер. Я веду себя паинькой. Изображаю столп семейственной добродетели. Если бы у нас родились близнецы, я бы назвал одну Лара, другую Пената. Я ли не звоню с дороги, когда грозят тулузские заторы? Я ли не встаю среди ночи, дабы заняться запачканными свивальниками малютки Сал и затем протереть ее влажной ваткой? Я ли не ухаживаю за первыми ростками будущего огорода, и разве моя красная фасоль уже теперь не тянет дрожащие усики вверх по бамбуковым подпоркам?

Дело в том, что Джил в настоящее время мало расположена к сексу. С ней теперь все равно что упихиваешь парковочный счетчик в устричную раковину. Согласно замшелому мифу, который донесли до нас les blanchisseuses d'antan, кормящая мать якобы не способна забеременеть. Теперь наконец я могу объяснить, откуда берется этот миф. Просто кормящая мать очень часто отказывается воспринять генное вливание из источника, с которым состоит в законном браке: горизонтальный бег трусцой, в сущности, исключается. Понятно, почему она не беременеет.

Что довольно-таки нечестно, ведь с малюткой Сал это вообще была ее затея. Я был обеими руками за то, чтобы все оставалось как есть.

1. Я не спешу (*франц.*).

Стюарт. Я говорил себе, что у меня не было предварительного плана, но это неверно, план у меня был. Это я только притворялся, будто еду в Лондон просто так, наобум. И что лечу в Монпелье исключительно от нечего делать. И вот, мол, проезжаю через деревню, и надо же, какое совпадение...

Я приехал, чтобы посмотреть им в глаза. Я приехал, чтобы встать посреди Трафальгарской площади и орать во всю глотку. Я знал, что буду делать, когда доберусь до места. Я знал, что им сказать. Я НЕ ВИНОВАТ. СМОТРИТЕ, ЧТО ВЫ СО МНОЙ СДЕЛАЛИ. ПОЧЕМУ ВЫ ТАК ПОСТУПИЛИ СО МНОЙ? А вернее, не им в глаза я приехал посмотреть, а ей. Ведь это все она сделала. Окончательное решение было за ней.

Я собирался высмотреть, когда Оливер отбудет в Тулузу, в этот вонючий лицейчик, где он служит. По словам мадам Уайетт выходит, что это вполне пристойное заведение, но я думаю, она приукрашивает из лояльности. А на самом деле это, конечно, дыра. Я бы выждал, пока Оливер уедет, и пришел к Джилиан. И нашел бы что сказать ей, какие-нибудь слова нашел бы.

Но — не могу. Я видел ее в окно. Она совершенно такая же, как раньше, в зеленой ковбойке, которую я хорошо помню. Только постриглась коротко, для меня это была неожиданность. Но гораздо неожиданнее было другое. Она держала на руках ребенка. Ее ребенок. Их ребенок. Ребенок проклятого Оливера.

Почему вы не предупредили меня, мадам Уайетт? Это сразу выбило у меня почву из-под ног. Напомнило мне о будущем, которого у меня никогда не будет. Обо всем, что у меня отняли. Боюсь, что не смогу с этим сладить.

Как вы думаете, у них все время была связь? Вы так и не сказали мне своего мнения. Сначала я думал, что да, потом немного успокоился и думал, что нет. А теперь опять думаю, что да. Да, все время. Отвратительная вещь — память, вцепилась и не отпускает. Я даже не могу теперь, оглядываясь на тот короткий промежуток моей жизни, считать его счастливым. Они отравили единственный отрезок моего прошлого, когда мне было хорошо.

Повезло Оливеру. Такие люди, как я, не убивают. Я не смог бы перепилить ему тормоза. Один раз я напился и врезал ему головой, но вкуса к таким вещам так и не приобрел.

Жаль, я не смог бы переспорить Оливера. Доказать на словах, что он сволочь, что никакой моей вины тут нет, что Джил была бы счастлива со мной. Но бесполезно и пытаться. Ему ведь только того и надо. Весь разговор он свел бы к своей персоне, к тому, какая у него интересная и сложная натура. И кончилось бы тем, что я бы ему сказал: А ПОШЕЛ ТЫ ЗНАЕШЬ КУДА ВСЕ ТЫ ВРЕШЬ ЗАТКНИСЬ, — это тоже не принесло бы утешения.

Иногда я утешаю себя мыслью, что Оливер — неудачник. Чего он добился за последние десять лет, кроме как увел чужую жену и бросил курить? Он умный, я этого никогда не отрицал, но не настолько умный, чтобы понимать, что мало быть умным. Мало знать разные вещи и уметь забавно рассуждать. Его жизненная стратегия состоит в том, что он себе нравится и думает, что если он будет продолжать в том же духе, рано или поздно найдется кто-нибудь, кто будет ему платить за то, чтобы он оставался какой есть. Как бывает у музыкантов-исполнителей. Да только

никто что-то ему этого не предлагает, и, откровенно говоря, в этой маленькой деревне шансов наткнуться на такого благодетеля почти нет. Что же мы имеем? Переселенец из Англии, на четвертом десятке, с женой и ребенком, едва сводящий концы с концами во французской провинции. В Лондоне у них жилья не осталось, а, можете мне поверить, лишившись жилья в Лондоне, заново им не обзаведешься. (Вот почему я откупил у Джилиан ее долю в доме. Будет куда вернуться.) Я представляю себе Оливера в будущем эдаким хипповатым субъектом, который ошивается в питейных заведениях, вымогает выпивку у заезжих англичан и спрашивает, все ли еще в Лондоне ходят большие красные автобусы? — и кстати, вы уже дочитали свой номер "Дейли телеграф"?

И вот что я вам скажу. Джилиан этого терпеть не будет, если так пойдет год за годом. Она по сути очень практичный и четкий человек, любит ясность и ненавидит бестолковщину. А с Оливером каши не сваришь. Ей, наверно, лучше поступить на службу, а дома с детьми пусть сидит Оливер. Хотя он, пожалуй, перепутает и засунет в коляску кастрюлю, а младенца — в духовку. Дело в том, что она гораздо больше подходит мне, чем Оливеру.

Вот черт. Черт! Говорил же, что никогда больше не буду об этом думать. Эх, надо же... Послушайте, отпустите меня на минутку, ладно? Да нет, ничего особенного, просто я должен чуть-чуть побыть один. Я точно знаю, когда это пройдет. Слава богу, большой опыт.

Вдох — выдох. Вдох — выдох. Вдох —

Вот и все.

Порядок.

Что хорошо в Штатах — это что в любое время суток можно получить желаемое. Несколько раз бывало — я выпью и затоскую. И тогда я заказывал цветы для Джил. "Международные цветы по телефону". Диктуешь номер своей кредитной карточки, и все дела, об остальном они позаботятся сами. И что особенно ценно, отменить заказ уже невозможно.

— Что-нибудь написать, сэр?

— Ничего не надо.

— А-а, загадочный сюрприз?

Да, загадочный сюрприз. Хотя она поймет. И, может быть, ей станет совестно. Я бы не против. Самое меньшее, что она может для меня сделать.

Как я уже говорил, я больше никому не обязан нравиться.

Оливер. Я возился в огороде, старался направить на верный путь два или три незадачливых отростка красной фасоли. Они растут и завиваются, но будучи слепыми, как котята, иногда тянутся не туда. И приходится, осторожно взявшись за нежный стебель, оборачивать его вокруг бамбуковой подпорки, пока не почувствуешь, что он крепко зацепился. Совсем как малютка Сал цепляется за мой средний палец.

Ну чем не жизнь.

Джил последние несколько дней не в духе. Послеродовая, предменструальная или лактационная раздражительность — не разберешь. Ставка на три темперамента, и Олли в проигрыше. Он опять не сумел развлечь публику. Серия пятнадцатая. Надо бы, наверно, сбегать в аптеку и купить валерьянки.

Но вы-то все-таки находите меня забавным? Хотя бы чуть-чуть? Ну признайтесь. Выдайте улыбочку! Веселее!

Любовь и деньги, ошибочная аналогия. Как будто Джил — это зарегистрированная фирма, а я выдвинул предложение о покупке. Послушайте, всем этим делом заправляет Джил, с самого начала заправляла она. Всегда в таких делах заправляют женщины. Иногда поначалу это вроде бы не так, но в конечном итоге всегда выясняется, что именно так.

Джилиан. Он остановился в гостинице, напротив нас. Ему виден наш дом, наш автомобиль, наша жизнь. Когда я утром выхожу со шваброй мести мостовую, мне кажется, я вижу тень в одном из окон гостиницы.

В прежние времена я бы, наверно, поступила так: перешла бы через улицу, спросила, где он тут у них, и предложила бы ему все толком обсудить. Но теперь это невозможно, после того как я причинила ему такую боль.

Поэтому надо ждать, как поступит он. Если он, конечно, сам знает, что хочет сделать или сказать. Он пробыл здесь уже несколько дней. Что, если он не знает, чего хочет?

Если он не знает, тогда я должна подсказать ему, дать знак. Но что? Что я могу ему подсказать?

Мадам Рив. Поль приготовил форель с миндалем, это его коронное блюдо. Англичанин сказал, что ему понравилось. Это первый раз, что он отозвался о гостинице, о своем номере, о еде. Потом сказал еще что-то, я спервоначалу не поняла. Он не особенно хорошо говорит по-французски, с сильным акцентом, мне даже пришлось переспросить.

— Я это ел один раз с моей женой. На севере. На севере Франции.

— А она, стало быть, не с вами, ваша жена? Осталась в Канаде?

Он не ответил. Сказал только, что хочет крем-карамель и потом кофе.

Джилиан. Придумала. Мне пришел в голову не то чтобы план, но вроде того. Самое главное, что ни в коем случае нельзя посвящать Оливера. По двум причинам. Во-первых, чтобы он вел себя как надо, все должно быть натурально. Иначе на него нельзя положиться. Если я просто попрошу его сделать то-то и то-то, он обязательно все испортит, превратит в спектакль, а нужно, чтобы вышло по-настоящему. А вторая причина — что сделать это, все устроить должна именно я. С меня причитается. Вы понимаете?

Стюарт. Я стою у окна. Я смотрю и жду. Смотрю и жду.

Оливер. Маленькие тыковки так разрослись. Я выращиваю сорт под названием rond de Nice[1]. В Англии их, по-моему, нет. Там предпочитают толстые и непристойно продолговатые, они хороши только на приморских открытках. "У вас такой замечательный кабачок, мистер Бленкинсоп!" Ха-ха-ха. Rond de Nice, как следует из названия, имеют сферическую форму. Снимать их надо, когда они больше мяча для гольфа, но меньше теннисного, немного поварить на пару, разрезать пополам, добавить ложку сливочного масла, поперчить -- и наслаждайся.

Вчера вечером Джилиан устроила мне допрос по поводу одной ученицы в нашей школе. Вот уж действительно пальцем в небо. Все равно как обвинять Пелеаса, что он спал с Мелисандой (хотя они-то как раз, я

1. Шарики Ниццы (*франц.*).

думаю, занимались этим делом, а как же). Словом, Джилиан принялась меня доводить. Нравится мне мадемуазель — как бишь ее? — Симона? Вижусь ли я с ней? Не по этой ли причине у почтенного "пежо" опять случился родимчик на прошлой неделе? Наконец, чтобы разрядить атмосферу, я сострил: "Дорогая моя, она и вполовину не столь хороша" — неприкрытая цитата, как вы, очевидно, узнали, одной из реплик Оскара на суде. Ах, как неразумно! Олли, как и Оскара, острословие до добра не довело. К исходу вечера Редингская тюрьма показалась бы мне пятизвездочным отелем. Что такое происходит с Джил? Вы не знаете?

Особенно бесит, что меня упрекают за похотливость, когда у меня даже ладони не вспотели.

Джилиан. Несправедливо? А что справедливо? Какое отношение имеет справедливость к нашей жизни? Некогда сейчас об этом рассуждать. Я должна продолжить то, что начала. Устроить все как надо. Я в долгу перед Стюартом.

Стюарт. Каждое утро, когда Оливер уезжает, она выходит и подметает улицу. Сначала тротуар, а потом еще немного мостовую. Так тут делают все хозяйки. Для чего? Чтобы сэкономить муниципальные затраты на уборку улиц? Ума не приложу. Младенца сажает в высокий стульчик и оставляет на пороге. Не знаю, мальчик это или девочка, и знать не хочу. Он у нее в тени, но так, чтобы видна была мать и чтобы не попадала пыль. Она метет и то и дело оглядывается, мне видно, как шевелятся ее губы, она что-то говорит ребенку. Подметет — и уходит обратно в дом со своим младенцем и со своей шваброй.

Не могу этого видеть. Когда-то это было мое будущее.

Джилиан. Кажется, получается. Может быть, это как раз и нужно Стюарту. И во всяком случае, это все, что я могу. Жутко думать, как он сидит у себя в номере через дорогу и грустит.

Я начала вчера вечером и еще добавлю сегодня. А завтра утром испытаем. Стюарт смотрит, когда Оливер уезжает на работу, я заметила его в окне. А Оливер всегда поднимается раздраженный, если была его очередь вставать ночью и менять пеленки Софи. В такие дни я обычно стараюсь с утра держаться от него подальше — обычно, но не завтра.

У большинства людей бывает так: если сделали что-то дурное и их за это упрекают, они злятся. Это нормально. А у Оливера все задом наперед. Если его упрекаешь за что-то, в чем он действительно виноват, он хитро улыбается и чуть ли не готов похвалить тебя за догадливость. А по-настоящему бесит его, когда упрекают за то, чего он не совершил. Он словно бы думает: черт, ведь можно было это сделать, вот досада. Раз меня все равно подозревают, почему бы мне было не заслужить упрек или хотя бы сделать попытку? Словом, он злится отчасти из-за того, что упустил шанс.

Вот почему я выбрала Симону. Это серьезная французская девочка с постоянно чуть нахмуренными бровями. Для таких девочек обаяние Оливера не существует. На празднике по случаю окончания четверти мне показали на нее как на ученицу, которая как-то попробовала при всем классе сделать ему замечание по английскому языку. Ему это, конечно, не могло понравиться.

На ней я и остановила выбор. И по-моему, удачно.

Кстати: как вы думаете, Оливер был мне верен все это время после женитьбы? Простите, это я так, между прочим.

Из моего замысла вытекают разные сложности. Во-первых, если все получится, нам, по-видимому, придется из этой деревни уехать. Ладно, это можно будет устроить. Во-вторых, надо ли Оливеру все рассказать потом или хоть когда-нибудь? Поймет ли он или же проникнется ко мне еще большим недоверием? Если он узнает, что я сделала это нарочно, может быть, он навсегда перестанет мне доверять.

Есть и еще одна опасность. Но нет, я уверена, что смогу возвратить нашу жизнь в прежнее состояние. Я умею наводить порядок, в этом я специалистка. Зато мы освободимся от Стюарта и Стюарт освободится от нас.

Я, конечно, всю сегодняшнюю ночь глаз не сомкну. Но сегодня очередь Оливера менять пеленки Софи.

Все это мне очень неприятно. Но если я буду и дальше об этом думать, мне может стать так противно, что я вообще все брошу и не доведу до конца.

Стюарт. Я застрял. Не могу сдвинуться с места, как парализованный. Когда они гасят свет, где-то между 11.45 и 11.58, тогда я выхожу пройтись. А все остальное время стою у окна. Стою и смотрю. И думаю, что когда-то это было моим будущим.

Джилиан. Меня охватывает страх. Или, может быть, правильнее сказать: дурное предчувствие? Нет, именно страх. Я боюсь вот чего: как бы то, что я показываю Стюарту, не оказалось правдой.

Оливер. А знаете, что я думаю? По-моему, на Дороге Жизни должны быть дорожные указатели: "Камнепад", "Неровная дорога", "Опасность затопления". Да, дорогу может затопить. Такие знаки должны быть у каждого поворота.

Стюарт. Я выхожу пройтись. После полуночи.

в ночной тишине
Плакучая ива плачет по мне...

Джилиан. Когда я была маленькая, папа мне говорил: "Не надувай губы, не то ветер переменится". Что, если теперь переменится ветер?

Оливер. О господи!

Да, конечно, я виноват. Я не должен был так поступать. Больше этого не случится. Я же не такой на самом деле.

С другой стороны, я бы с удовольствием, ей-богу, рванул, не сбавляя скорости, мимо Тулузы и никогда бы не вернулся назад. Все, что говорят про женщин, — правда. Рано или поздно все оказывается правдой.

Она доводила меня день за днем. Прямо как в... можете, если угодно, проставить название оперы по своему усмотрению. Мне осточертело за вас стараться.

Она устала. Ну и я устал, что дальше? Кто всю эту неделю как проклятый вставал по ночам на горшечное дежурство? Кто часами мается в автомобильных пробках? И меньше всего мне хочется, возвращаясь домой, попадать в лапы испанской инквизиции.

Дело было так. Вчера вечером, когда я вернулся, Джилиан встретила меня, мягко выражаясь, без особого восторга. Тогда я удалился в огород и принялся сжигать опавшие листья. Зачем мне это? Она, конечно, сразу же заключает, что я это делаю, чтобы перебить разоблачительный запах духов "Шанель 69", каковыми якобы пользуется моя якобы любовница. Ну что вы на это скажете?

Ну и так далее. На это уходит почти весь вечер. Спать ложусь совершенно измотанный. Ночные одежды, как обычно, на замке — не то чтобы я пытался его взломать. В три часа ночи приступаю к исполнению горшечных обязанностей. Фекальные запахи сильнее вышибают слезу после того, как дитя переходит на твердую пищу. Но это пустяки, согласно сведениям из надежных источников. Гиацинты и розовая вода в сравнении с тем, что предстоит в дальнейшем.

В свой срок деликатно, как палкой по голове, звенит будильник. И все — снова здорово. Прямо за завтраком. Никогда ее такой не видел, набрасывается на меня сразу, будто всю жизнь упражнялась. Точно знает, куда уколоть. Словесная акупунктура. Я смотрел на ее лицо — лицо, которое я полюбил в день, когда она ошибочно вышла замуж. Теперь оно было умыто злобой. Эти волосы пренебрегли гребнем, как лицо — утренним лосьоном. Рот открывался и закрывался, а я старался не слышать, только думал: может быть, лучше все-таки не являться перед мужем с утра пораньше в виде патлатой фурии, если хочешь убедить его, чтобы не заводил на стороне романов — которых он так и так не заводит? Сюрреализм какой-то, ей-богу. Полный сюрреализм.

И после завтрака она не отстала, а таскалась за мной по всему дому, я уже и не понимал, то ли она больна на голову, то ли не больна, но хотя она вела себя как полоумная, не мог я поверить, что она не в себе. А раз так, значит, и сам в ответ орал на нее. Когда я собрался уезжать на работу, она обвинила меня, что я удираю, тороплюсь к своей хахальнице. Так, крича друг на друга, мы выскочили на крыльцо. Я — к автомобилю, она — за мной и верещит, как ворона. Прямо посреди улицы. Во всю глотку. Попреки, что называется, интимного и профессионального характера. И все вокруг глазеют. Визжит. Подбегает ко мне, почему-то с малышкой на руках, наскакивает, а я пытаюсь открыть дверцу "пежо", проклятый замок заел. Я весь киплю, топчусь на месте, а он ни в какую. Она набрасывается на меня, орет что-то кошмарное. И я ударил ее по лицу, а в руке у меня ключи от машины, поранил ей щеку. Я думал, сейчас упаду, оглянулся на нее, хотел сказать: ведь это все не на самом деле, верно? Надо остановить пленку, нажать перемотку, ведь это всего лишь видеофильм, правда? Но Джил не унималась, визжит как бешеная, лицо искажено ненавистью. Я глазам своим не верил. Я кричал: "Замолчи! Прекрати! Умолкни!", но она не умолкала, и я ударил ее еще раз. Потом взломал замок, прыгнул в машину и уехал.

Смотрю в заднее зеркало — она все так же стоит посреди улицы с малюткой на одной руке, а другой прижимает к щеке окровавленный платок. Еду дальше, а она все стоит. Мчусь как сумасшедший — как сумасшедший, который забыл переключиться со второй скорости на третью. И только когда я на двух колесах вписался в поворот у "Кооперативного погребка", она пропала у меня из виду.

Мадам Рив. Sont fous, les Anglais. Этот канадец, который снял шестой номер и выходил на улицу только ночью, он на самом деле был англича-

нин. Он дважды мне говорил, что он из Канады, канадец, но один раз он оставил паспорт на столе, а мы с девушкой зашли в номер прибраться, так, знаете, он даже фамилию неверную назвал. Поменял фамилию. Молчаливый такой, всю неделю просидел взаперти, а когда уезжал, то пожал мне руку, улыбнулся в первый раз и сказал, что он счастлив.

А та молодая пара, что купила дом старика Бертена, вроде бы симпатичные люди, она так гордилась своей крошкой, а он — своим дурацким старым "пежо", который у него постоянно ломался. Я раз сказала ему, мол, купили бы маленький "рено"-пятерку, как у всех людей. А он говорит, я отрекся от нового мира. Он часто говорил всякие такие глупости, но в самой обаятельной манере.

И что же вдруг случилось? Они прожили здесь полгода, соседи уже начали к ним хорошо относиться, и вдруг они устроили прямо посреди улицы громкий скандал. Собрался народ. Под конец он дважды ударил ее по лицу, прыгнул в свое старое авто и укатил. А она еще минут пять простояла посреди улицы, лицо в крови, потом ушла в дом и больше не показывалась. С тех пор никто ее не видел. Через неделю они вывезли вещи и исчезли. Мой муж говорит, что англичане — народ дурной и драчливый, а чувство юмора у них своеобразное. Дом объявлен к продаже, вон он напротив, видите? Будем надеяться, что следующие жильцы окажутся в здравом уме. Если уж иностранцы, то лучше бы всего бельгийцы.

А больше с той поры у нас в деревне ничего интересного не происходило. Собаку Лажиске переехал автомобиль. Она у него была глухая, а он — старый дурень. Говорили ему, чтобы держал собаку на привязи. Но он, видите ли, не желал лишать Пулидора счастья и свободы. Ну и где теперь это счастье и свобода? Он отпер входную дверь, собака вылетела из дому пулей и прямо под колеса. Некоторые сочувствовали Лажиске. А я нет. Я сказала: "Ты — старый дурень. В тебе, наверно, есть английская кровь".

Ева Липская. Кристина Ларс. Уршуля Малгожата Бенка

Стихи

Перевод с польского и вступление Натальи Астафьевой

Здесь представлены три польские поэтессы. Из трех разных городов — Кракова, Гданьска, Вроцлава. Разных годов рождения. В разные годы входившие в литературу.

В начале 60-х отсверкал фейерверк поэтических дебютов "поколения 1956–го", года четыре новых имен не появлялось. Тем ярче был дебют Евы Липской в 1967-м. Он остался в памяти и в истории польской поэзии одним из знаковых событий 60-х годов. Липской было двадцать два, она была студенткой краковской Академии художеств. Но стала не художником, а поэтом. В ее поэзии преобладают не живописность и колоризм, а интеллект, аналитичность, острая мысль, ирония, парадокс. Пространство поэзии Липской изначально было общеевропейским и даже планетарным. Задолго до 80-х годов, когда она стала выезжать за границу, и 90-х, когда она провела десять лет на дипломатической работе в Вене. "Я тревожусь за мой мир", — писала она в одном из ранних стихотворений ("ИЛ", 1975, № 12). Липская приглядывается к детям, ведь они — будущее мира. Она симпатизирует детям, которые "не слушаются старших... и убегают далеко-далеко. К себе". Но нельзя умиляться, даже глядя на детей, на младенцев или на фотографии младенцев: "...Мы разглядываем снимки Гитлера в пеленках..." Мир Липской — это современный мир, мир тревог и неразрешимых противоречий, трагический мир. В заглавном стихотворении книги 2001 года "Зоомагазины" она подводит итоги XX века, включая обе мировые войны: "...мышеловки из-под Вердена и в завершение Освенцим..." Липская изображает реальный мир, этому не противоречит присутствие в ее поэзии элементов сюрреализма и абсурда, поскольку сама современная действительность сюрреалистична и абсурдна. Но при всем этом поэзия Липской — непостижимым образом — оптимистична. Липская всегда сохраняет присутствие духа. Она дает силу жить в этом мире. С первой же книги Ева Липская остается одним из самых современных польских поэтов, остается точно выражающей меняющееся время.

Но в момент дебюта она хотела быть и была выразителем именно своего поколения. Она и ворвалась в литературу, опережая на год, на два, на пять всех своих польских ровесников-поэтов, их дебюты, их мироощущение, поэтику их творчества. Сверстники Липской, вошедшие в литературу после 1968 года, назвали себя "поколением 68-го", польская критика окрестила этих поэтов "Новой вол-

© Н. Астафьева. Перевод, вступление, 2002
Редакция выражает признательность и благодарность Еве Липской, Кристине Ларс и Урсуле Малгожате Бенке за разрешение безвозмездно опубликовать свои стихи в русском переводе на страницах нашего журнала.

ной". Поэты "Новой волны" утверждали примат гражданской ответственности поэта, примат надличного в поэзии. Липская была их предтечей.

Польские поэты, дебютировавшие чуть позже, во второй половине 70-х годов, полемизируя с "Новой волной", провозгласили примат личного и личностного в поэзии. Эту формацию назвали "Новой приватностью". Название предложил то ли молодой в то время гданьский критик Стефан Хвин, то ли кто-то другой, но из Гданьска. Гданьск в это время как раз претендовал стать еще одной поэтической столицей Польши, наряду с двумя давними — Варшавой и Краковом и двумя новыми — Вроцлавом и Познанью. В Гданьске появилась добрая дюжина талантливых молодых поэтов, активных, бурно эмоциональных, издавших совместно альманах, а каждый в отдельности — по одной, по две, по три книги. Альманах назывался "Новый транспортный корабль статуй". И в стихах, и даже в оформлении альманаха ощущался сюрреализм-экспрессионизм. Но вскоре гданьская плеяда распалась: кто умер, кто уехал, кто ушел в прозу.

Кристина Ларс первую книгу стихов выпустила позже своих гданьских сверстников, в тридцать лет. Тогда же, в 1981 году, она опубликовала в журнале "Пункт" — журнал гданьских молодых — свой манифест. Она писала, что современный поэт должен спасти "ощущение возвышенности существования... Поэтому он не останавливается перед крайностями чувств и образов..." Крайности Ларс в ее сюрреалистической поэтике — это крайности изображения жестокости. Зеркало поэзии Ларс по-своему отражает действительность: действительность жестокой эпохи, с ее смертоубийствами, зверствами, с ее неврозами и психопатологией. В последней книге Ларс (2000 г.) есть стихи о резне в далекой Руанде, о беженцах из Боснии. Заголовок одной из рецензий на ее книгу — "Иероглифы боли"; это словосочетание — цитата из стихотворения Ларс "Снился мне конец света...". Метафизика, эсхатология, апокалипсис. Лишь последние строки стихотворения дают слабую надежду считать конец света началом чего-то нового:

> ...Перед нами зажигался в пустом небе
> свет начала. Эмбрион мира носился над
> водами.

Эти "воды" в стихотворении Ларс — не только прадавние воды, над которыми носился Дух Божий (первые строки Книги Бытия), и не только плодные воды родильного акта. Это еще и вода как главная стихия поэзии Ларс, поэзии, рождавшейся у моря, в Гданьске.

Уршуля Малгожата Бенка на пять лет моложе Кристины Ларс. Ей было двадцать два, когда польский Союз студентов в 1977-м издал в Варшаве ее поэтическую тетрадь "Хрономея". Через год вроцлавское издательство "Оссолинеум" опубликовало книгу ее стихов "Странное наслаждение". Стихи Бенки были удивительные, неожиданные. Книга привлекла внимание. Очень уж отличались стихи вроцлавской студентки (она изучала филологию и психологию) от всего, что публиковалось. Нечто подобное можно было найти скорее уж на выставках польских художников 70-х годов: неомодерн, неосимволизм, неосюрреализм. Поэзия Бенки напоминала декадентскую, модернистскую культуру рубежа XIX и XX веков, именно всю художественную культуру: театр, театральные декорации, живопись. И в ее "театре" меняются декорации, меняются маски, мелькают персонажи. В 1992-м Бенка действительно создаст вместе с мужем-художником театр "Онейрон" (от греч. "онейрос" — сновидение); так театральность, присущая ее поэзии, выйдет за рамки ее поэтических книг. У Бенки великолепное чувство стиля, она свободно владеет стилями разных эпох. Привлекают ее главным образом эпохи

"неклассические". Рецензенты первой книги Бенки видели связь ее лирики с искусством готики, с немецким и английским готическим романом конца XVIII века, со сказками немецких романтиков. Многие фантазии ранней Бенки — гофманианские. Но сквозь ее иррациональную поэзию порой сквозит действительность XX века с ее тоталитарными режимами и жестокостью. Таково стихотворение "Шизофрения часовщика Вольфганга Фридриха Кранца".

Уже раннюю поэзию Бенки поэт Сергиуш Стерна Ваховяк связывал с поэтикой мифа. Бенка свободно чувствует себя и в античной мифологии (цикл об Орфее), и в мифологии славянской, например стихотворение "Мать и дочь". В этом стихотворении Бенка, обычно пишущая свободным стихом, пользуется дольником, стилизованным под народный стих, с приблизительными — тоже на фольклорный лад — рифмами. Стихотворение написано по возвращении в Польшу после долгого отсутствия: в 1983—1991 годах Бенка жила в Париже и в Нью-Йорке. Любопытно, что парижских и американских реалий в ее стихах, написанных за рубежом, почти нет: местом действия поэтического театра Бенки остаются пространства ее воображения.

Ева Липская

Специальный бюллетень

Дети играющие в классы
еще не знают целой правды
о будущем.
Эта их сладкая шизофрения:
взбитые сливки снежных баб
лужайки зеленых кузнечиков
интуиция василька —
вперемешку
с житейской мудростью

© Ewa Lipska, 1993, 2001

родителей грабителей
гангстеров контрабандистов
мошенников сыщиков воров.
Эта их сладкая шизофрения
розовощекая.
Житейский хэппенинг
со всеми последствиями.
Дети еще не знают
что гражданин Гильотен изобрел машину
которая отсекла ему голову.
Они неосторожны. Не слушаются старших.
Спрашивают: почему?
Ответа не ждут
затыкают себе уши пальцами
набивают рот шоколадками
и убегают далеко-далеко.
К себе.

Мы *разглядываем снимки*

Кто твой дедушка и что из этого следует?
Какое имеют происхожденье пятница и суббота?
Откуда взялся голубь воркующий тебе в ухо?
Почему твои сны досягают так далеко?
Чересчур далеко по нашим временам.

Мы разглядываем снимки Гитлера в пеленках.
Мы разглядываем снимки других младенцев
которые потрясли мир.

Г*ражданин маленькой страны*

Гражданин маленькой страны
родившийся неблагоразумно на краю Европы
призван размышлять о свободе.
Как резервист он не задумывался об этом.
Он прерывает утреннее кормленье кита.
Листает словари.
Раз или два в жизни
он проезжал свободу транзитом.
Иногда съедал ланч
и выпивал стаканчик апельсинового сока.
Иногда это были
станции подземки.
Черные рукава туннелей.
Вагончики над пропастями.
Всегда однако возвращался.
К своей коллекции китов.

К прогрессивной химчистке
которой только что дали
экспресс-орден.
К официальным агентствам опровергающим
общую метеорологическую ситуацию.
К оговоркам
предвещающим большие перемены.
К своим личным территориям свободы
по которым он гуляет осторожно
в спасательном жилете
с висящей на плече аптечкой
первой помощи на всякий случай.
Эти пространства его обступают ночью.
Гонит его страх в черной мужской перчатке.
В конце является ему полярное сиянье.
Он оказывается повешен
самим собою
на площади парадов.

Что выбрал? — спрашивает он себя.
Меньшую нелепость
или еще большую проблему.

Женщина позирующая мне для портрета

Женщина позирующая мне для портрета
думает о том что за три часа
она получит сорок пять злотых
на которые купит зеленые чулки
к зеленому плащу. К началу весны.
Я думаю о том что женщине сорок лет
и что ее зеленые чулки позволят мне наконец
использовать изумрудную зелень пахнущую ядом.
Но первые ее морщинки (светлая охра)
благодаря довольно долгому перерыву в позировании
несколько разгладились внося неожиданно
в мою картину полный разлад.

В *праздники*

В праздники можно наконец-то
отключить телефон.
Если родится Бог,
постучит соседка.

Смотрю кинофильм “Касабланка”
с моим всегдашним аппетитом
на отступленья от сюжета.

Одиночеством развлекаюсь.
Плюс горячее молоко с медом.
Мой шестой палец
выстукивает буквы.

Больше не напишу ничего.
Продолжение вечера
неприкосновенно.

Зоомагазины

Зоомагазины.
Лагерь интернированных
моего детства.

Морские свинки. Попугаи. Канарейки.
Нездоровый запах неволи.
Опилки событий.

От депрессии я отплевывалась дома.
Кошка Антигона не показалась больше.
Мышеловки из-под Вердена
и в завершение Освенцим.

Я не предвидела последствий
когда я соглашалась жить на свете.
Добровольно.

Кристина Ларс

Найденный глаз

Этот глаз я нашла в траве
средь острых листьев
Я взяла его в руки легко
как прозрачный белок
и оживляла дыханьем
Переливала из ладони в ладонь
а в нем мелькали запечатленные им картины
Я хотела чтобы отделились
случайные мимолетные мертвые
от тех глубинных
что навсегда в него запали
Я не знала чей это глаз
а хотела открыть в его памяти
запись любви и ненависти
Перебрасывала его из ладони в ладонь
осторожно чтобы не уронить зрачок
Баюкала его чувствуя что мои руки
становятся легкими и мягкими будто
голубиные крылья

А он постепенно темнел
как может темнеть
только глаз найденный в мокрой траве
Постепенно становился похожим
на стоячую воду
в сумерки

© Krystyna Lars. 1985, 2000

В глубине на дне зрачка
кружили неясные блестки
Я ждала чтоб они устоялись
Наконец они сложились в картину

Теперь я увидела лица
матери и отца
Они на меня глядели
Протягивали ко мне руки —
белые костяные погремушки

Я увидела нагую женщину
она кружилась в незнакомом танце
все медленнее и медленнее
Из ранки на ее плече
вытекала струйка крови
У этой женщины было мое лицо

Венец творенья

Венец творенья не человек
Венец творенья стебель укропа

Не улыбайтесь именно так
Венец творенья стебель укропа

Приятель носа
и огуречного рассола
союзник листа хрена
и веточки вишни
хорист симфонии зеленой
дубовых бочек
он сохнет терпеливо
под потолком висящий
в связке своих братьев

Многоперстый
он озаряет Сочельник
и праздник Пасхи

Он не выдумает ни пороха
ни шрифтов Гутенберга
никого не отравит
даже если б хотел
не напишет
ни "Пана Тадеуша" ни нюрнбергских законов[1]
не заседает
в Совете Безопасности

1. Расистские законы об "охране немецкой крови", принятые в Нюрнберге в гитлеровской Германии в 1935 г. (*Прим. перев.*)

Однако же стебель укропа
заслуживает расположенья
Земли и Неба

Его архитектура совершенна
его цвет и солнечная терпеливость
заслуживают гимна

Безгрешный
и чистый
он держит небо над огородом
до поздней осени
защищая первый иней
от обманного октябрьского тепла

Но есть такое мненье
ученое мненье
что на лугах небесных
нет для него места

"Снился мне конец света", – говорит Янка С., учительница из Скарышева

Небо раздвинулось и сквозь огромную щель
вдоль меридианов вылетали вверх
сцены из старых книг и старинных картин,
статуи из белого мрамора,
Парфенон
и Лувр,
Черный Кёльнский собор
взметнулся
из озера, на котором лежал, как перевернутая вверх дном
яхта, и, таща за собою шлейф Снов, улетел в
бездну над нами. Когда этот поток вещей прекрасных
исчез в черной проруби неба, мои дети
остались голыми. Они были сильны и прекрасны.
Блестящие сухожилья,
жемчужно-розовые мышцы, твердые ногти.
Но от их лиц постепенно отклеивались имена. Были только
Движенье и Голод.
Мы шли через город, но я не могла удержать
вокруг их плеч тонкий жизнетворный туман,
который теперь исчезал в туннеле созвездий,
как мерцающая кожа змеи. Это был мой грех.
Прозрачный бинт с Иероглифами Боли
улетал в тьму ночи. Тьма Знаков
гасла. Перед нами зажигался на пустом небе
свет начала. Эмбрион мира носился над
водами.

Уршуля Малгожата Бенка

Хрономея

Это странное имя я просто купила
На каком-то базаре — за кинжал из зеленой бронзы
(на котором виднелось волнующее и бесконечное
изображение дождя:
дождя идущего с чужого континента
может планеты —
держа кинжал в руке я ощущала
его всетяготеющее
стремленье
я чувствовала себя Землей которую держат за волосы
в космосе)

это странное имя подали мне на подносе
из дождя (незнакомого и золотого
с пурпурным отблеском памяти и перегрузки:
шар дождя который сновидел и помнил
и невольно
разгонял созвездья
имя мое — Хрономея —
в этом хаосе яви и вдохновенья
казалось тонет)

как повязку на глазах я ношу это странное имя:
оно имеет силу
взрывать предназначенья

© Ossolineum. 1978
© Urszula M. Benka. 1984, 1995

В *дюнах*

Мальчик
серую память песка о прошлом —
память гор извержений дна морского —
гладил
рукою длинной как у кого-то кто умирает

П*оследнее свидание*

Каждый раз как меня обнимаешь я знаю
что это свидание — последнее в жизни и лишь повторяется
следующими ночами
в их черных многочасовых зеркалах

где нас ждет с горящим цветком на груди этот мальчик
а мы не смеем подойти потому что два наших сердца
лишь выражение его глаз

В*иденья*

Усни. Месяц блестит как жребий.
Я забыла уже даже твое имя,
только в душе моей мальчик — ты чувствуешь? — ложечкой
пересыпает пустыню,
а я ему улыбаюсь все более легкая,
все более нагая
на песке.

Н*а пороге*

Орфей шел к свету
Мгновение назад он углублялся в чрево
Земли как в женское тело
Он весь еще пульсировал дрожал
Не мог он выйти из нее даже не взглянувши
Не мог уйти от нее как от проститутки
Поэтому он обернулся и глядел
В огромные глаза своей любимой
Все еще затуманенные счастьем

Колодец с демоном

Демон нашей свадьбы поселился
в жестяном ведре у колодца на краю леса,
и с тех пор туда мы ходим
порознь
каждую ночь:
я спускаю ведро, ты тянешь веревку,
а когда мы пьем, наши руки с каждым глотком
удаляются друг от друга,
и никакой голос
не замутит прозрачнейшего плеска,
когда демон нашей свадьбы
садится на воду в колодце,
обнажаясь по мере того, как становится видно дно,
и подает нам каждому зонтик:
под твоим — наш день,
под моим — наша ночь,
так что ты без ночи, а я без дня
возвращаемся, ничего не видя сквозь ткань зонта,
и вначале кружим у колодца, где он
руками,
которыми мы не умеем коснуться друг друга,
колотит в жестяное ведро.

А потом, оглохшие под зонтами,
улыбаемся сонно и бежим домой торопливо,
как если бы друг друга мы не знали
и будем познавать теперь друг друга силой.

Мать и дочь

Мать зовет свою дочь: я рожу тебя снова
без изъяна, со святой красотою.
С гладким лбом, с большими глазами,
а не слезами.
Засверкаешь ты звездой на небосклоне,
только поместись в моем лоне!

Дочь заткнула уши, слышать не хочет
и бежит без оглядки, а мать клекочет.
Ковыляет за молодою с клюкою
за ограду, за деревню — на болото.
Убегает дочка с кочки на кочку,
а тот голос приколдовывает дочку:
— Иди, снова рожу тебя — желанной,

чистой, гордой и ладной.
Будешь блестеть, как в земле родничок,
а у берега будешь как челн.
Как облатка в дароносице светиться
будешь в мраке — только дай родиться!

Дочь то рыдает, то хохочет,
а земля из-под ног ее уходит.
Болото черно и вязко,
тростники вокруг торжественно толпятся.
Нагие, потому что день осенний,
и нагая мать перед нею.

— Иди, снова рожу — будешь после
госпожой — хоть на проклятом болоте.
Но тебя оно будет ластить,
очарует и собою украсит.
Будешь всем на соблазн и удивленье,
как в грозу высочайшие деревья!

Дочка тонет и чувствует, что тонет,
а мать на груди ее стонет.
Дочка гладит лицо ее руками,
все исхлестанное в кровь тростниками,
все в болота тихом ореоле,
а оттуда голос, острый до боли.

И мерцает на воде светлым бликом,
в сгнивших пнях — чужим каким-то ликом,
чудным ликом, в грозовом узорочье
драгоценностей, растраченных ночью.
Сверху месяц освещает железный
этих двух обнаженных женщин.

Гюнтер Фрайтаг

Из Флоренции

Рассказ

Перевод с немецкого Н. Васильевой

Я весьма сожалею! — смешно кланяясь, управляющий отелем пятится к двери, упирается в нее спиной, еще раз извиняется. Я стою у окна. Из-за мигрени голова моя обмотана белым полотенцем.

Отельный сброд! — кричу я в соседнюю комнату, но Клаудия не отвечает. Алчные подонки — весь этот обслуживающий персонал! Ни малейшего понятия, как надо принимать гостей! Это же "*Савой*", а не какой-нибудь дешевый бордель... Служащие расхаживают по отелю разряженные, как швейцарские гвардейцы, а управляющий не в состоянии раздобыть даже концертные программы последних лет. И я никак не могу выяснить, сколько раз в городе исполнялась "Фантазия".

До чего смехотворны все эти "лучшие отели"!

На стенах старые мастера, над мойкой — Веронезе, но никто не подумал об архиве концертных программ! Помнишь, как в "Империале" официант, подавая нам десерт, вдруг громко рыгнул?

Это называется — не выдержать стиля! Все равно что сонату Бетховена на гармонике сыграть. Что толку потом в извинениях на превосходном французском? Ты помнишь, как он тогда рыгнул?

Клаудия молчит.

Бросаю взгляд на площадь Республики.

Электронный термометр на противоположном доме показывает девятнадцать градусов. Но никаких электронных показаний относительно

© Günther Freitag, 1994
© Н. Васильева. Перевод, 2002

давящей влажности воздуха. И никаких — относительно моей мигрени. Ею страдают только люди, которые носят головные уборы не по погоде, утверждает отец.

Пока Клаудия наполняет водой ванну, я иду в холл.

Администратор пытается обратить мое внимание на полотенце на голове: легкое недомогание, сеньор?

Да-да, мигрень, полотенце, все в порядке, — отвечаю я ему.

Мальчик показывает на меня пальцем, и мать оттаскивает его за руку.

Дети есть дети, — извиняется она на своем напевном американском наречии южных штатов.

В "Жилли" за столиками на улице сидят молодые люди. В толстых куртках и пальто, подняв воротники. Я ищу себе место внутри, где бы меня не беспокоили. Официант — его лицо, его тонкие в золотой оправе очки знакомы мне еще по прошлой поездке — помогает мне снять пальто. Он спрашивает, не хочу ли я снять заодно и полотенце. Я мотаю головой, и официант принимает заказ.

Когда он возвращается с чашкой шоколада, я осведомляюсь у него о концертных программах, и официант приносит мне проспект культурных мероприятий, который я листаю без всякого интереса.

Любопытно, Клаудия уже спит?

Если она еще не спит, то обязательно заведет разговор о фабрике. Подавая мне пальто, официант желает мне скорейшего выздоровления.

Шляпы, кепки и береты — жизнь потрачена на это. Я иду и бубню себе под нос эту фразу. Подстраиваю свой шаг под ритм слов. Вспоминается телеинтервью в программе светской хроники.

Пухлая дочь тирольского предпринимателя из Имста с раскрасневшимися щеками и капельками пота на лбу улыбается в камеру, то и дело искоса поглядывая на своего тощего кавалера в черном, чьи глубоко посаженные глаза устремлены в пустоту. Или просто мимо объектива камеры. Это, дескать, самый значительный день в ее жизни — иметь честь вместе с принцем фон Церб-Бюттенфельдтом открыть бал в оперном театре. День, который она никогда не забудет и за который *благодарит Господа Бога...*

С пухлой тироло́кой в голове я направляюсь от площади Республики к собору. Прислоняюсь к восточной двери баптистерия. Думаю не о Гиберти[1], а о том, что я не вернусь в "Савой" до тех пор, пока не подстрою ритм моих шагов под ту фразу, которую все еще бубню себе под нос.

Слишком много людей.

Даже ночью туристы осаждают собор. Щелкают его своими фотоаппаратами так, что он вздрагивает, но кроме меня никто этого не замечает. И местные жители и приезжие равнодушно проходят мимо содрогающегося собора. Даже те, кто по долгу службы отвечают за собор, не подозревают об опасности, которая ему угрожает. Пока купол сидит крепко, они не станут ломать себе голову над этой соборной дрожью. Время от времени они направляют в собор специалиста по статике, ко-

1. Лоренцо Гиберти (ок. 1381—1455) — итальянский скульптор и ювелир; представитель флорентийской школы раннего Возрождения. Бронзовые рельефы дверей флорентийского баптистерия ("Изгнание из рая", "Жертвоприношение Исаака" и др.) — работы Гиберти. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

торый делает замеры и успокаивает ответственных лиц: с точки зрения статики, синьоры, никаких проблем, гоните и дальше орды внутрь, на колокольню и под самый купол. Ни малейшей опасности для Брунеллески[1]. Крохотный сдвиг на пару миллиметров, кое-где, может быть, какие-нибудь полсантиметра, но будьте абсолютно спокойны, синьоры, в этом нет никакой опасности для собора. По единодушному мнению всей рабочей группы...

Но я улавливаю его дрожь, когда очередная серия вспышек прорезает ночную темноту!

Закрываю глаза. Вспышки фотоаппаратов вижу теперь как за плотными шторами. Оттесняю пухлую тирольку в дальний угол моей головы. Там и стоит она, потея, рядом с молодым Церб-Бюттенфельдтом и ждет, что я опять открою ей дорогу в центр моего сознания. Слова ГРОЗОВЫЕ РАЗРЯДЫ ФОТОВСПЫШЕК пронзают мне голову насквозь. Через эту дыру Клаудия, улыбаясь, с удовольствием прошла бы со мной под руку в фойе римского дворца, где на суд международной аудитории будет представлена моя последняя коллекция шляп. Клаудии совершенно незачем думать о шляпах, она думает скорее о том, что через несколько дней увидит свое фото в иллюстрированных журналах в разделе светской хроники. На это же надеется и толстая тиролька и ждет не дождется, чтобы я выпустил ее из дальнего уголка моего сознания.

Alta Moda[2] и ГРОЗОВЫЕ РАЗРЯДЫ ФОТОВСПЫШЕК.

БАЛ В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ и ГРОЗОВЫЕ РАЗРЯДЫ ФОТОВСПЫШЕК.

Места для "Фантазии" не остается.

Брендель[3] играет "Лунную сонату" на земле алеманнов и потом сразу мчится на черном автомобиле в аэропорт, чтобы стереть из памяти Альпы.

А я в это время стою с закрытыми глазами, прислонившись к двери баптистерия. Под страшнейшими РАЗРЯДАМИ ФОТОВСПЫШЕК.

Теперь уже нет необходимости подкладывать бомбы в автомобили.

Сто японских туристических групп одновременно покидают свои комфортабельные автобусы на площади Микеланджело. Пять тысяч фотоаппаратов болтаются на японских грудных клетках. Шествие движется вниз по склону холма узкими улочками. Четко разбившись на пары, они подходят к реке. Мост. Далее — через внутренний двор Уффици[4]. По площади Синьории. По широкой торговой улице. В конце ее колонна останавливается. Ни единого слова. В фотоаппараты заряжаются новые батарейки. Все движения точны до автоматизма. Тысячекратный взгляд на кварцевые часы. В соответствии со строгим планом дислокации колонна разбивается на группы, которые быстро окружают собор. Сверка часов.

1. Филиппо Брунеллески (1377–1446) — итальянский архитектор, скульптор, ученый, заложил основы архитектурного стиля Возрождения. Главные работы: купол собора Санта-Мария дель Фьоре, капелла Пацци, церкви Сан-Лоренцо и Сан-Спирито, дворец Питти — все во Флоренции.
2. Alta Moda (*итал.*, "высокая мода") — название коллекций итальянских модельеров, получивших с середины 50-х гг. международное признание наряду с работами модельеров французской школы (Haute Couture) и представляемых в миланских и других итальянских салонах.
3. Альфред Брендель (р. 1931 г.) — австрийский пианист, с 1972 г. живет в Лондоне, известен своими интерпретациями Моцарта, Бетховена и Шуберта.
4. Уффици — картинная галерея во Флоренции.

Несколько подвыпивших парней пошатываясь выходят из бара. Машина "скорой помощи", несмотря на пронзительную сирену, с трудом протискивается сквозь толпу. Тысячи фотоаппаратов одновременно взлетают к лицам. Разом становится светло как днем, и собор с грохотом рушится.

Вам плохо? — интересуется молодой карабинер.

Нет, — говорю я. Просто голова закружилась из-за ослепительного света.

Пожав плечами, он идет дальше. Сделав несколько шагов, оборачивается, а потом исчезает в боковой улочке.

А если разрушение памятников будет продолжаться? — думаю я, сидя за стойкой бара. Сегодня это собор, завтра Санта-Мария Новелла, послезавтра Орсанмикеле и т. д. День за днем с грохотом будут рушиться то церковь, то дворец, то муниципальное здание. А ответственные лица только руками разводят. Никак не могут понять, в чем тут дело. И делятся своей растерянностью со средствами массовой информации. Получают заключения так называемых экспертов. Эти шарлатаны составляют сложнейшие компьютерные программы, в которые вводят многочисленные данные о рухнувших сооружениях, но после трудоемких, продолжительных операций компьютеры неизменно показывают ERROR[1]. Никакого приемлемого OUTPUT[2]. Так как INPUT[3] изначально ошибочен. Поскольку так называемые эксперты не решаются оглядеться по сторонам. Ушли с головой в свои дурацкие программы и даже не думают покидать это сомнительное обиталище.

Электронные засранцы!

Еще рюмку коньяка? — спрашивает официант.

Я не вас этим словом хотел...

Официант улыбается. Он не вполне меня понимает на моем итальянском. Показывает мне полупустую бутылку "Векья Романья": basta cosi?[4]

Я киваю, неловко извиняюсь, но официант уже у другого конца стойки.

В самом дальнем уголке моего сознания толстая тиролька все переступает с ноги на ногу. Жаждет быть наконец-то в центре внимания.

Минутку! — шепотом посылаю я сигнал в свое сознание. Сейчас не самое подходящее время выяснять с вами отношения. И если вы, надеясь на поддержку, будете постоянно искать глазами вашего папашу-промышленника, это вам тоже не поможет. А в какой, собственно, отрасли подвизается ваш родитель? Вы об этом умолчали. Вы опускаете глаза в пол. Мой вопрос вам неприятен, по-видимому, об этом свидетельствует ваша глуповатая мина. Которую вы при моей плохой игре... Но тут вышла осечка с пословицей. Как, впрочем, и с этой смехотворной буклей, венчающей ваши барочные локоны короной не из той оперы... Ваше лицо каменеет. Вы и не подозреваете, в какой вы опасности. Окаменевшее лицо — это не просто избитая фраза, оно означает настоящее окаменение. И с этим выражением лица вы должны будете всю жизнь ходить по

1. Ошибка (*англ.*).
2. Выход информации (*англ.*).
3. Ввод информации (*англ.*).
4. Достаточно? (*итал.*)

Тиролю. Так что если глуповатая мина, которую вы сделали при моей плохой игре, окаменеет, то виновата в вашем будущем внешнем облике будет смехотворная оплошность в пословицах: ведь при плохой игре следует делать хорошую мину!

А где уместна глуповатая мина, этого я вам сказать не могу. Может быть, в каком-нибудь изречении времен Андреаса Хофера[1]. Во всяком случае, это, по-видимому, характерная тирольская черта, ведь и ваш родитель...

Если вы окаменеете с таким тупым выражением лица, то и визиты в чертовски дорогой косметический салон вам не помогут. В одном из таких салонов все же удалось настолько облагородить ваш вид, что вы смогли выступить в роли, с трудом признаваемой за вами публикой, — открыть бал в оперном театре, шествуя под руку с этим юным отпрыском голубых кровей. Но против окаменевшей глуповатой мины салон красоты бессилен. После беглого осмотра, который занял бы не больше минуты, вас бы отправили обратно домой со словами утешения, не преминув, однако, подчеркнуть вашу *внутреннюю* красоту.

Не смотрите на меня с таким ужасом! У большинства проблем все-таки находится решение, так и в этом случае есть выход: каменотес по лицам.

Вы мне не верите? Вам нужны доказательства?

Извольте, я вам приведу один пример. И речь пойдет ни много ни мало о федеральном канцлере. И рот свой снова закройте в уголке моего сознания!

Как вы в этот момент уставились на меня из глубины моего сознания, так некогда и федеральный канцлер, когда он еще был министром финансов, уставился со скамьи правительства на собрание парламентариев. А депутаты (среди которых и сегодня еще много верхоглядов и ротозеев), будучи не в силах сосредоточенно внимать выступающим в прениях, все разом, словно по команде, повернули головы в ту сторону, где сидели члены правительства. Где и министр финансов сидел, уставившись на парламентариев отсутствующим взглядом. Вследствие внезапно наступившего окаменения лица. Когда же министру финансов неожиданно доверили пост канцлера, необходимо было предпринять какие-то меры относительно выражения его лица.

Будущий федеральный канцлер еще перед принесением присяги посетил каменотеса, специалиста по лицам. Тот, покачивая головой, оглядел несколько раз со всех сторон сидящего перед ним и в конце концов пустил в ход свой резец.

Болезненная процедура, полагаете вы?

Да нисколько. Ни капельки крови, только крохотные облачка пыли взмывают после каждого удара над головой пациента. Всего несколько сеансов в ателье каменотеса по лицам — и уже только посвященные могли узнать в нем бывшего министра финансов. Даже и сегодня партия его процветает не благодаря своим концепциям и принципам, а благодаря изменению его облика.

1. Андреас Хофер (1767—1810) — тирольский герой освободительной войны, хозяин гостиницы; в 1809 году во время восстания против французской оккупации — главнокомандующий и регент Тироля. После отказа Австрии от Тироля по Шёнбруннскому мирному договору (1809) Хофер, введенный в заблуждение ложной информацией, вновь поднял восстание, затем вынужден был бежать и в результате предательства попал в плен. По приказу Наполеона был расстрелян, согласно законам военного времени.

Можете поэтому несколько расслабиться в дальнем уголке моего сознания. Если какая-нибудь глуповатая мина и застынет окаменело на вашем лице, то банковский счет вашего родителя безусловно откроет вам дорогу к лучшему в стране каменотесу по лицам. Вот мы наконец и добрались до вашего папочки.

У него, вообще-то, нет никаких фабрик, замечаете вы и говорите это так тихо, что из дальнего угла моего сознания я едва вас могу услышать. Промышленник без фабрик? Вы киваете головой. Смущенно глядите сквозь мое сознание. Ваш отец, говорите вы, не производит никаких промышленных товаров, он владелец крупнейшей в Тироле свинофермы. Откуда вы прямехонько и угодили в государственный оперный театр, чтобы открыть нынешний бал... И вам решительно нечего сказать о взаимодействии музыки, жестов и голоса. Немедленно покиньте мое сознание!

Еще порцию коньяка?

Официант наполняет мою рюмку, не дожидаясь ответа. Не выдают ли мысли о дочке промышленника моего скрытого желания ускорить продажу шляпной фабрики?

Я думаю о Бренделе. Вижу его за роялем. Очки с толстыми стеклами сдвинуты на лоб. Интересно, Клаудия уже спит?

Ну а что с "Фантазией"? В моих приготовлениях я ни на шаг не продвинулся. Кружу на одном месте. Как купол собора в ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДАХ ФОТОВСПЫШЕК.

Прежде чем идти в "Савой", я отправлю телеграмму в Лондон. И в ней объясню свое временное бездействие. Брендель поправляет очки. Говорит, что "Фантазия" была создана осенью 1822 года и значительно отличается от предыдущих фортепьянных произведений. То, что в это же время впервые дал о себе знать сифилис, вполне может быть случайным совпадением. Фортепьяно в качестве оркестра...

Потом пальцы его падают на клавиши. Вступительные аккорды "Фантазии", вибрируя, пронизывают мою голову.

А пока я слушаю "Фантазию", рядом со мной стоят два подвыпивших молодца. Молодые солдаты в своей защитного цвета униформе. Их фуражки лежат на стойке. Головы они положили на скрещенные руки и разговаривают о моей рюмке. То и дело они поглядывают на мое полотенце и смеются. Они выпивают граппы и придвигаются ко мне поближе. Я уже чувствую их локти на моих ребрах. Нет-нет, да слегка толкнут. Не больно, но угрожающе. Как будто бы свое превосходство хотят показать. Брендель уже давно перестал играть. Посреди второй части.

Может быть, вам хочется пересесть? — спрашивает официант, опасаясь неприятностей.

Нет! — отвечаю я и думаю об отце. Вот он сидит за завтраком и изучает экономический раздел в газете. Мы молчим, стараемся есть бесшумно. Даже мать не проронит ни слова, пока отец громко комментирует прочитанное. Издевается над решениями политиков или предпринимателей. В то время как по всей Европе курс акций поднимается, говорит он, намазывая половинку булочки маслом, венская биржа напоминает скорее какое-то третьеразрядное похоронное бюро. Предприятие за предприятием продаются за рубеж или объявляются банкротом. Я быстро проглатываю кусок, поскольку через несколько мгновений последует реплика в мой адрес, на которую отец ждет ответа, но, разумеется, не ответа с набитым ртом. Огосударствленное хозяйство —

это огромное скопище интриганов, частное же — экономическая катастрофа. И все почему? — громовым голосом выкрикивает отец над столом, за которым мы завтракаем, реплику в мой адрес. Потому, произношу я в сторону отца за газетой, что в огосударствленном предприятии последнее слово остается за коррумпированными политиками, а в частных промышленных предприятиях хозяйничают мечтатели и моты! Вот почему все летит в тартарары! — ревет отец и комкает газету. И тут на пороге появляется управляющий предприятием, он смущенно вертит в руках шапку.

В чем дело, Хофман? — спрашивает отец, и мужчина, к которому он обращается, вздрагивает.

Тут... — собирается что-то сказать управляющий, но не может выговорить ни слова. Если человек заикается даже в спокойной обстановке, то малейшее волнение совершенно лишает его дара речи.

Хофман! — ревет отец, и мы наслаждаемся сознанием того, что с нами в это утро уже ничего плохого не случится.

Управляющий делает один шаг в глубь нашей столовой и шепчет: забастовка!

Отец вскакивает и велит мне следовать за ним. Ты сегодня не пойдешь в школу. Я покажу тебе, как должен промышленник справляться с трудностями! Когда мы подходим к фабрике, то видим, что большие ворота забаррикадированы. На площади за ними толпятся рабочие, скандируя свои требования: надбавка к зарплате и улучшение условий труда.

Профсоюз, фабричные комитеты... — пытается объяснить весь взмокший от волнения управляющий.

Тихо! — ревет отец сквозь заводские ворота. Он согласен в течение пяти минут, когда на площади установится тишина, выслушать требования представителей рабочих.

Рабочие перестают выкрикивать лозунги и начинают перешептываться.

Отец жестом подзывает меня. Говорит, когда я стою уже рядом с ним: вот они и испугались. Не знают, как сказать мне о своих требованиях. Никому не хочется с ними вылезать, каждый предпочел бы оказаться в самом заднем ряду. И это решающий момент: сейчас, всего лишь позвонив на пивоварню, я поставлю им мат. Закажу две бочки пива, и самое позднее через час все эти революционеры-любители будут стоять на своих рабочих местах и танцевать под мою дудку.

Две порции граппы! — кричу я официанту и показываю на подвыпивших солдат. Те, ошарашенные, залпом опустошают свои рюмки и слегка отодвигаются от меня.

После следующей рюмки они осведомляются о моей головной боли и рассказывают мне о недугах в их семьях. Я слушаю истории о бабушках, страдавших раком матки, и об отцах с опухолью в мозгу. О врожденных уродствах и несчастных случаях на работе. Как бы то ни было, замечают они, никогда не вредно держать голову в тепле, и пошатываясь выходят из бара.

Я оглядываюсь вокруг. Туристы за стойкой в дальней части бара не заметили назревавшего столкновения. А также и моей триумфальной победы над пьяными солдатами. Юнцами из крестьянских семей Калабрии, как мне стало ясно после того, как они выложили передо мной за стойкой бара свои невеселые семейные истории. С каждым поверенным мне ударом судьбы раз за разом слабела их пьяная бравада. Просто

невероятно, что полотенце на голове и несколько рюмок граппы могут произвести такой эффект...

Стенные часы. Интересно, не поздно ли еще отправить телеграмму в Лондон?

Несколько мужчин в дешевых костюмах подсаживаются поближе. Какой-то лысый толстяк заказывает для меня коньяк. Представляется и хочет вместе со своими друзьями составить мне компанию. Расценивает мое молчание как согласие и жестом подзывает других мужчин, которые тут же обступают меня. Они стоят так близко, что мне приходится вдыхать запах их одеколона и пота.

Один из них хлопает меня сзади по плечу и говорит: это было просто грандиозно, как я сумел разделаться с Террони. Жалкие дармоеды, которые признают только право сильного...

Пожалуйста, без политики, — успокаивает лысый толстяк мужчину за моей спиной. Они здесь, как выясняется, по торговым делам своей фирмы. Полотенце начинает сползать. Я хватаюсь за концы и опять крепко затягиваю его на голове.

Ни слова о политике, поговорим лучше о вашей голове!

О моей голове? — Я снова хватаюсь рукой за полотенце.

Или о ваших головных болях. Или о травме вашей головы. Я и мои друзья очень сожалеем.

А когда я в ответ молчу:

— Да расскажите же!

— А ничего особенного, — отвечаю я.

Ни один человек, — шепчет мне лысый уже на ухо, — не станет без особой на то причины заматывать себе голову полотенцем, выходя из дому. Ни один человек, — повторяет он и овевает мою голову смесью пота и дешевого одеколона. — Мы не уйдем отсюда, пока не узнаем, почему у вас такой странный головной убор.

Мой недавний триумф тонет в отвратительных запахах, идущих от торговых представителей. Их-то уж парой рюмок шнапса из бара не выпроводишь.

Моя голова, — говорю я после некоторой паузы, — была когда-то обычной головой работника швейной промышленности. Головошвейной промышленности. Шляпы, кепки и береты.

Какой-то заика тут же перебивает меня. Жаждет мне сообщить, что он торговый представитель фирмы верхней одежды из Прато, и уже готов рассказать о своих маршрутах по стране, но другие прерывают его стаккато: "Замолчи, Белбеттоне!" Все взоры устремлены на меня, мне надо продолжать.

Много лет я разгуливал с обыкновенной головой работника швейной промышленности. И совершенно никаких проблем, никаких болей.

И без полотенца, — вставляет заика, на которого я больше уже не обращаю внимания.

Время от времени легкие недомогания в связи с переменой погоды, но ни разу ни одного серьезного заболевания. Мой интерес к шляпам, кепкам и беретам постепенно ослабел. Сначала по нескольку дней кряду, а потом и неделями я не появлялся на фабрике. Производственные показатели и стратегия сбыта интересовали меня все меньше. После завтрака я забирался на чердак нашей виллы и усаживался на пыльном полу на корточках среди паутины неподалеку от каминных труб. Никто меня никогда там не беспокоил, так как никто и не мог предположить, что я там.

Лысый заказал по рюмке для своих коллег. Передо мной на стойку официант поставил рюмку коньяку: хозяин угощает. Так как ему тоже интересно послушать мою историю. Обычно, дескать, в баре слышишь только всякие рассказы о женщинах, о распавшихся браках, о непутевых детях, о преступниках или же о футбольных матчах. А моя история, дескать, совсем не обычная. И ему не так уж и важно, правда все это или нет. Правда — ведь это всегда такая скукотища.

Мне приходится, после того как торговые агенты пропустили по рюмочке, опять возвращаться на чердак. Объяснения для полотенца у них пока нет. А без этого мне от этих типов не отделаться.

Итак, я опять усаживаюсь на чердаке рядом с каминной трубой. В полумраке считаю отметины от сучков на обрешетинах надо мной. Знаю, Клаудия двумя этажами ниже раздумывает, чем же ей заняться до обеда, пока я не вернусь с фабрики.

Ну а потом что? — спрашивает официант.

На чердаке забыл я и о шляпах, и о кепках, и о беретах. Я прислушивался к поскрипыванию стропил и открыл для себя, что моя голова — огромный концертный зал.

Этот неожиданный поворот ошеломляет торговых агентов. Такого они не ожидали.

Impossible! non é vero![1] — восклицает официант и до краев наполняет мою рюмку.

Моя голова — это концертный зал, а во всем остальном теле размещаются подсобные помещения, которые всегда бывают при концертном зале. Ноги — это два вестибюля с гардеробами. По ногам вверх ведут две наружные лестницы. По ним публика поднимается к туловищу, где располагаются кафе, ресторан, комнаты для администрации и музыкальных агентов. А также артистическая, где музыканты готовятся к выходу. Поднявшись по шее, оказываешься наконец у цели — в концертном зале.

Слышатся шаги. Обрывки разговоров. Билетеры в ливреях проверяют при входе в зал билеты и продают концертные программки. Те, которые славятся по всему миру своей лаконичностью и насыщенностью информацией и расхватываются в лучших антикварных лавках как желанные раритеты...

Я замолкаю. Но по минам торговых агентов вижу, что они не удовлетворены. Объяснения полотенцу все еще нет.

Я организовал сотни концертных вечеров. И ни единого срыва. Исключительно вечера фортепьянной музыки, так как я терпеть не могу ни смычковые, ни духовые. В основном Шуберт, Бетховен, Скрябин, Лист и Рахманинов. В наше время узких специалистов и устроитель концертов должен иметь свою специализацию.

И вот в один из вечеров некий молодой английский пианист играет Сонату си-минор Листа, сложнейшая в техническом и музыкальном плане вещь, мощнейшие потоки звуков хлынули в концертный зал моей головы, в бешеном темпе бегают по клавишам пальцы, и чем дольше молодой англичанин играет, тем выше поднимается температура в концертном зале моей головы. Давление с повышением температуры тоже начинает меняться. Вот уже некоторые посетители беспокойно за-

1. Невероятно! Не может быть! (*итал.*)

ерзали на стуле, не могут понять, что же так вдруг сдавило им виски. Потоки звуков искажаются, чего англичанин за своим роялем, однако, не замечает и продолжает играть. На сцене, по-видимому, еще сохраняются другие условия, нежели в зрительном зале. Здесь все больше и больше людей, вытаращив глаза, хватаются за голову. То тут, то там кто-то из зрителей падает без сознания со стула. Билетеры в дверях, ошеломленные непредвиденной ситуацией, стоят как прикованные к своим местам. Но никто из них не догадывается распахнуть двустворчатые двери и таким образом выровнять давление.

И хотя молодой англичанин, не отрывая глаз от клавиатуры, продолжает играть, публика уже не слышит больше звуков сонаты, а только треск лопающихся в стенах труб. Зрители вскакивают со своих мест, но из-за установившегося в зале сверхвысокого давления не могут сделать ни шагу. Люди валятся друг на друга и, хватая ртом воздух, остаются лежать на полу. Уже отмечено несколько смертельных случаев по причине остановки сердца, англичанин все играет.

Вдруг раздается страшнейший грохот. Обломки стен летят в концертный зал и убивают бессчетное количество ценителей музыки, до сих пор стойко не покидавших своих мест.

В концертном зале моей головы вдруг становится светло, как днем, его охватывает пламя. Ситуация безнадежная. Пожарные приезжают слишком поздно, трупы любителей музыки преграждают им дорогу к очагу взрыва...

За несколько часов концертный зал моей головы полностью выгорел.

Я оглядываюсь вокруг. Торговых агентов уже больше нет в баре. Один только официант стоит, прислонившись к полке с рюмками.

Мы закрываем! — говорит он и гасит верхний свет.

На вас что, напали? — спрашивает почтовый служащий в единственном открытом окошке.

Нет, — отвечаю я, — я хотел бы отправить телеграмму в Англию.

Значит, не их рук дело, этих малолетних преступников?

Сейчас ведь можно отправить телеграмму в Англию?

Разумеется, — отвечает служащий, но я замечаю, что его интересует только полотенце. — Наверно, авария? Столкнулись с каким-нибудь лихачом водителем на площади Республики?

Я постукиваю кончиками пальцев в окошко служителя.

В городе полно малолетних преступников и всяких хулиганов на машинах. Английские нравы воцарились в городе, и победить их можно, только применив силу.

А телеграмма? — спрашиваю я.

Служащий подвигает мне пальцами бланк и очень подробно объясняет, как его надо заполнять, водя по строчкам тупым концом карандаша. Когда он наконец заканчивает свои объяснения, он еще раз осведомляется, не напали ли на меня преступники. Может быть, китайская мафия?

Это вы о чем? — я хочу отойти с бланком для телеграммы от окошка, но служащий прижал его большим пальцем. Он с такой силой давит на бумагу, что кровь под его ногтем перестает циркулировать.

Вы еще не слышали о китайской мафии в нашем городе?

Я безразлично качаю головой. Полотенце начинает сползать, я снова затягиваю его покрепче.

А вы покажете мне ваши раны, если я посвящу вас в уловки китайцев?

Я молчу.

Ну, тогда, — начинает служащий и перекладывает бланк на свой стол, куда мне до него не дотянуться, — займемся китайцами. Около пяти тысяч их живет на окраине города, работают, кто где устроится. Плетут корзины, точат ножи и ножницы, делают дешевые сувениры, которые везде в городе можно купить. Они соглашаются на всякую грязную работу и за такую плату, на которую не согласился бы ни один местный. Так шаг за шагом и вытеснят они нашу рабочую силу. Понимаете их тактику?

Я молчу. Отворачиваюсь в сторону. Вижу в нескольких метрах от себя старомодные конторки, на потертом зеленом сукне люди сочиняют свои послания. Но мой бланк лежит недосягаемо далеко для меня на столе этого болтуна.

Эти нелегалы приезжают в страну по поддельным документам, и наше правительство встречает их с распростертыми объятиями, стоит им только сказать, что они участвовали в демонстрации на площади Тяньаньмынь или сидели в тюрьме, так как были в политической оппозиции.

Но тут-то и начинаются всякие несуразности. Ни один из сотрудников иммиграционной полиции не говорит по-китайски. Привлекают переводчиков, чтобы выслушивать рассказы вновь прибывших. А пройдохам китайцам достаточно подкупить переводчиков. И дело сделано. Прежде всего благодаря тому, что все нелегалы во время их многонедельного морского путешествия получают прекрасный инструктаж. Им настойчиво внушают говорить только по-китайски. И не на общепонятном китайском, который мог бы разобрать какой-нибудь придурковатый университетский доцент, а на самом редком диалекте. Кроме того, нелегалы наносят друг другу телесные повреждения, которые уже сами по себе производят впечатление и вызывают к беженцам всяческое сочувствие.

Я вам сейчас расскажу, как проходит первое собеседование в иммиграционной полиции: представьте, мы с вами в полицейском участке в порту Генуи.

Прибыл корабль с двадцатью китайцами. В это время на своем посту в участке мирно подремывает молодой полицейский. И вот в его послеобеденный отдых внезапно вторгаются несколько карабинеров с двадцатью китайцами. Полицейскому кажется, что он видит какой-то кошмарный сон: все на одно лицо, все одеты в одинаковую синюю форму. Полицейский ищет хоть какие-нибудь отличительные признаки, но не находит ни одного. И тут китайцы начинают говорить. Все сразу. Какое-то время молодой полицейский слушает эту невероятную какофонию, потом пронзительным свистком заставляет всех стоящих замолчать. В тишине, под одобрительные взгляды карабинеров, полицейский разражается проклятиями и кончает риторическим вопросом, зачем только он оставил свою деревню в Апулии и пошел работать в полицию...

Потом, чуть успокоившись, садится за свой письменный стол и звонит переводчику.

Я прижимаюсь плечами к стеклу окошка и стараюсь, вытянув левую руку, достать бланк телеграммы. Но как ни изгибаюсь, двадцати-тридца-

ти сантиметров мне все же не хватает. Убедившись в тщетности своих усилий, снова отодвигаюсь от окошка. Мне приходит в голову: а что, если меня все это время снимают скрытой камерой и уже завтра, когда фильм будет просмотрен, объявят розыск неизвестного, обвиняемого в неудавшейся попытке ограбления главной почты.

Вы ведь понимаете, что я говорю? — спрашивает служащий.

Разумеется, — отвечаю я и обдумываю, что бы я написал в телеграмме в Лондон, если бы у меня был бланк. Каждое слово, его место во фразе должно быть очень точно взвешено. Всего лишь сбой в тональности, и у Бренделя пропадет всякий интерес к исполнению "Фантазии".

Через два часа в отделении иммиграционной полиции появляется переводчик. Карабинеры выводят китайцев в коридор и спустя некоторое время приглашают по одному обратно в кабинет. Там теперь молодой полицейский иммиграционной службы задает вопросы через подкупленного переводчика.

Ваше имя?

Невнятное бормотание переводчика.

Китаец говорит: Лин Вангфе.

Переводчик записывает имя в анкету. Подобным же образом выясняются вопросы о возрасте, месте рождения и семейном положении. После чего подходят к главному пункту допроса: к причинам бегства и ходатайству о предоставлении убежища.

Что-то невнятное из уст переводчика.

На что допрашиваемый отвечает, совершенно не опасаясь быть разоблаченным: "Весенний рулет с салатом под майонезом, крабы в пекинском соусе, дважды прожаренная свинина с побегами соевых бобов. И если вам этого покажется недостаточно, рыба в кисло-сладком соусе с запеченными в пивном тесте овощами после питательного супа из акульих плавников и печеный Ван Тан, а на гарнир жареный рис с горошком. Ну а раз вы все еще так вопрошающе смотрите в мою сторону, я сообщу вам по секрету, что отец мой был неисправимым пьяницей и его зарезал один из собутыльников, когда они играли в карты. Теперь достаточно? Нет? Я вижу это по вашей глупой европейской физиономии, тогда съедим-ка еще суп из свинины, а на второе курицу с ананасом. Но на этот раз обойдемся без риса, а то наверняка лопнем".

После короткой паузы переводчик переводит сопровождавшуюся жестами отчаяния речь выступавшего: "Господин Лин Вангфе заявляет, что уже много лет назад освободился от пут своего коммунистического воспитания и пришел к демократическим убеждениям, которые он, невзирая на возможные репрессии, высказывал на дискуссиях в партийной организации своего района. Даже после выговора со стороны местного партийного секретаря он не отказался от демократических убеждений и продолжал открыто отстаивать свою точку зрения. После чего однажды ночью был арестован и депортирован в самую северную провинцию. Он был направлен на тяжелые работы с целью политического перевоспитания. Через четыре года ему удалось бежать в портовый город и вскоре после этого переправиться в эту не известную ему страну. Если же его отправят назад на родину, то он будет казнен диктаторским режимом как предатель".

Переводчик заполнил анкету, и молодой полицейский иммиграционной службы хлопнул на нее свою печать. Та же самая процедура повто-

рилась в этот день еще девятнадцать раз... — Теперь уже скоро я получу мой бланк.

Вот приезжают китайцы в наш город, — продолжает служащий и комкает мой бланк, — живут здесь, но вскоре появляются кой-какие неувязочки. Уже много лет количество китайцев остается постоянным. Кто-то из них наверняка должен был умереть или погибнуть в результате несчастного случая, но в городе нет мертвых китайцев. Если кто из них и умирает, то исчезает без всяких следов, на его место тут же переправляют другого, который берет себе имя и профессию мертвого... — Тут почтовый служащий обнаруживает скомканный бланк.

Посылать нельзя! — говорит он. Это, видите ли, был последний бланк для международных телеграмм. А другие находятся якобы в шкафу, от которого ночной смене ключей не выдают. К сожалению, я смогу теперь отправить свою телеграмму в Лондон только утром. Почта открывается в восемь тридцать. Когда я направляюсь по темному залу к выходу, почтовый служащий кричит мне вслед, что я мог бы, прежде чем покинуть почту, все же показать ему свои раны на голове.

По площади Республики молодежь кружит на мопедах. Между закрытыми сувенирными лавками и столиками кафе они от скуки устраивают слалом. Наблюдаю за ними, но в их виражах и петлях нет никакого смысла.

Я снова обращаюсь к толстой дочери промышленника, которая все так и топчется смущенно в самом дальнем уголке моего сознания. Как тот, кто несколько часов прождал на месте несостоявшегося свидания.

Нет ничего зазорного в том, — говорю я ей, — что ваш отец — владелец самой крупной свинофермы Тироля! Идите домой, покиньте мое сознание! Моя голова должна быть свободна для музыки. В ней нет места для тирольских хрюшек!

Вы так все и мучаетесь? — спрашивает портье.

Я молчу. Хочу избежать очередных расспросов о полотенце.

Думаю о Клаудии. Дождалась ли она меня?

Пока я иду к лифту, портье пытается заговорить со мной. Он вспомнил один рецепт своей бабушки. Воистину чудодейственное средство от любой головной боли...

Воспоминание, оно как собака. Разляжется где захочет — и все тут, — говорю я и вхожу в лифт.

Джоанн Лимберг

Стихи из книги "Femenismo"

Перевод с английского и вступление Анатолия Кудрявицкого

"Меня интересует всё..."

Когда психолог пишет стихи, исследование человеческой природы он зачастую начинает с самоанализа. Все-таки объект изучения наиболее знакомый. Так было и с английской поэтессой Джоанн Лимберг, чья недавняя книга под несколько загадочным названием "Femenismo" (слово взято не английское, что вносит элемент некоей словесной игры) как раз и посвящена анализу женской психологии и его художественному осмыслению. Может быть, конечно, это и феминизм, но уж, во всяком случае, не "героический", не "физиологический", а психологический. Многие стихи Джоанн Лимберг построены на материале ее собственной семейной истории, дающем ей прекрасную возможность наблюдений за человеческой психологией в самых разных ее проявлениях. При всем при том логическое начало в стихах Джоанн Лимберг отнюдь не подавляет эмоционального восприятия. Хороший поэт не может не быть человеком впечатлительным, "пропускающим через себя" все происходящее вокруг.

Анализ не только женской, но и общечеловеческой психологии в стихах Джоанн Лимберг становится особенно интересным, когда идея стихотворения гротескна, а построение его фантасмагорично. И таких текстов большинство. "Озорные, загадочные, полные жизни, а порою очень смешные, эти негромкие стихи свидетельствуют о недюжинном таланте автора, владеющего искусством глубоких обобщений", — писал о поэзии Джоанн Лимберг критик Алан Уорнер.

Джоанн Лимберг родилась в 1970 году в Лондоне, вернее в Стэнморе, северном предместье английской столицы. Предки ее по отцовской линии в середине XIX века переехали в Англию из Гааги, столицы Голландии, по материнской же — из бывшей Российской империи. В самом начале XX века ее бабушку еще ребен-

© Joanne Limburg, 2000
© А. Кудрявицкий. Перевод, вступление, 2002

ком привезли в Англию родители. Жившая в городе Кременчуге на Украине еврейская семья бежала от погромов — наверное, в Америку, но пароход пришел в Лондон. Как гласит — вполне недостоверная — семейная легенда, "бессовестный капитан убедил прадедушку, что маяк Хамбер — это статуя Свободы", чем перечеркнул все планы семьи насчет Америки. В школе Джоанн выбрала в качестве факультативного предмета русский язык и литературу, хотя с тех пор, как признается она сама, многое успела забыть и сейчас по-русски говорит с трудом. После привилегированной частной школы она поступила в "самый левый с точки зрения политической ориентации" колледж в Кембридже, выбрала сначала своей специальностью социологию и психологию, но потом перешла на философский факультет. Объясняя причину своего нового выбора, она цитирует одного из героев Айрис Мёрдок: "Меня ничего не интересует, если не считать, что меня интересует всё". Окончив университет, Джоанн жила в разных английских городах — в Кентербери, в Ноттингеме, в столице Шотландии Эдинбурге, перепробовала разные работы — библиотекарем в лондонской библиотеке, менеджером в области масс-медиа, исследователем потребительского рынка. В настоящее время Джоанн Лимберг живет в Кембридже и работает над диссертацией, посвященной психологии творчества, которую готовится защищать в университете графства Эссекс.

Стихи она начала писать в двадцать два года, вскоре после окончания университета. "Писать всерьез", как выражается она сама, Джоанн начала в 1995 году. С тех пор ее стихи публиковались в очень многих английских журналах, в антологии новой английской поэзии под несколько пугающим названием "Свежая кровь" (1999). Из поэтов, повлиявших на нее на разных этапах творческого пути, она называет в первую очередь чешского поэта Мирослава Голуба, шотландских поэтов Нормана Маккейга, Кэтлин Джейми и Джеки Кэй, американцев Сильвию Плат и Энн Секстон. Из классиков ей близки поэты метафизической школы — Джон Донн и Эндрю Марвелл, а еще — Байрон и Колридж, с его "неподдельным интересом к внутреннему миру человека". Про изображение внутреннего мира человека в стихах самой Джоанн Лимберг мы уже говорили, а самоирония, между прочим, ей тоже не чужда. С каким тонким юмором, например, она рисует автопортрет в стихотворении "Фрейд на железнодорожной платформе"!

В 1998 году Британское авторское общество присудило ей престижную премию Грегори (в Англии в Авторское общество входят авторы, то есть писатели, а не агенты по издательским правам, как в России). Опубликованная издательством "Бладэкс букс" книга ее стихов номинирована на премию за лучшую дебютную книгу года в Великобритании. Но премии премиями, а главное, что уже после выхода книги пишутся новые тексты. "Мои стихи видятся мне коллекциями слов и образов, выражающих то, что в разное время меня интересовало", — однажды призналась Джоанн Лимберг. Все пережитое добавляет материала для ее поэзии, в которой мир реальный и мир опосредованный в восприятии предстают читателю в своем противоречивом единстве.

Джоанн Лимберг. Стихи из книги "Femenismo

Среди своего народа

Принцесса переживает трудные времена.
Она не помнит,
как сменила пуховую постель
на терния жизни,

но отдает себе отчет, что по-прежнему
демонстрирует все признаки своего происхождения,
к примеру тонкие пальчики
и полное отсутствие здравого смысла.

Она жалеет несчастных,
что ишачат на государственной службе,
принимает денежное пособие
как знак поклонения.

Когда она вновь займет
подобающее ей положение,
она простит своих подданных,
что толкали ее в автобусе.

Автокуклография

Часть Первая
начинается с того, что я
осушаю крохотные слезки
розового пластмассового младенца,
пока мама кормит моего новорожденного брата.

Через пять лет
следует сцена пытки:
я допрашиваю куклу,
которую бабушка подарила мне
на Хануку — и вскоре умерла.
Я вопрошаю, как такое могло случиться,
и дергаю ее за шнурок.
— Расчеши мне волосы, — говорит кукла,
потом еще что-то такое же бессмысленное,
и я ее
расчленяю.

Так начинается
история моей мести.
Я объявляю войну всем куклам,
подлым, лживым мерзавкам,
чьи тела наглухо запечатаны,
глаза не смыкаются,
а на губах застыла вечная улыбка.
Чем больше я царапаю их,

швыряю наземь, изрисовываю чернилами,
чем сильнее бью их
за то, что они такие глупые,
тем гнуснее их улыбки.

К тому времени как начинается Часть Вторая,
я успела вырасти
и понять то, что должна знать каждая девушка:
куклы — прекрасное прикрытие,
за них можно спрятаться.
И так наконец мы достигли согласия.

Они отвечают на телефонные звонки,
работают вместо меня в офисе,
сидят, скрестив ноги, в пабе,
смеются над чужими шутками.
Им так хорошо это удается,
этим невозмутимым куклам,
с их разговорами о пустяках
и неизгладимыми улыбками.

И никому не дано знать,
какая я противная девчонка,
прячущаяся в своем ящике для игрушек
вверх тормашками, вся в чернилах.

Я и мистер Муза

Я и мистер Муза
в баре.
Он притиснулся ко мне
с бутылкой пива в руке.
Одновременно он поедает глазами официантку.

Говорит, ему нравятся
женщины, которые умеют пить.
Однако я вынуждена признать,
что не могу с ним тягаться —
за его плечами многовековой опыт,
а я слишком хрупкий сосуд
для спиртуозного вдохновения.

Я объясняю ему, что утром мне на работу.
— Нет, — отвечает он, — только не это.
Тебе это не нужно.
Ты и я — мы богема, свободные художники,
мы выше обыденности.
Выпей еще.
Скажи им, что больна, что тебе плохо.

Мне плохо. Меня тошнит.
Я успеваю сесть в последний автобус,
врываюсь домой через парадную дверь
и добегаю до ванной как раз вовремя,
чтобы склониться перед Аполлоном
в его фарфоровом храме.

Размышления в три часа утра

Я снова живу внутри своего
стихотворения,
в котором всегда три часа утра
и дождливая погода.

Кипарисы раскачиваются на ветру,
как метрономы.
Этот ветер выворачивает наизнанку зонтики
во время урагана,
а сейчас делает то же с моей душой.

В такую ночь рождаются метафоры.
Может быть, я проснулась
из-за низкого сахара в крови,
или меня разбудил широкоэкранный сон,
но мои мысли обретают ясность.

Я постигаю смысл этой погоды;
вглядевшись пристально,
распознаю знаки в небесах,
которые некоторым людям — таким, как я —
дано читать.

Фрейд на железнодорожной платформе

Я прихожу рано — я всегда появляюсь рано,
но кое-кто уже здесь:
знакомого вида пожилой джентльмен.
Я вижу, как белеют суставы его пальцев,
обхвативших ручки саквояжа.
Я почтительно приближаюсь.

— Профессор Фрейд,
вам не кажется, что путешествие по железной дороге
может любого свести с ума?
Я имею в виду — вдруг поезд не придет вовремя?
Может, его вообще не будет или нам не достанется мест.
И даже если поезд придет и будут места,
полка для багажа может быть занята,
и нам придется пять часов сидеть,
упершись коленями в свои чемоданы.

Он по-континентальному
передергивает плечами.

— Вы тоже переезжаете, профессор?
Чувствуете ли вы себя после переезда
в некоем чертоге смерти,
пока по новому адресу не начнут приходить письма?

Его профиль как будто спрашивает у горизонта,
почему все всегда пристают к нему с разговорами.

— И вот еще что:
с вами это бывает -- головокружение?
У меня оно всегда на железнодорожных платформах,
как будто рельсы — это магниты.

Он рассказывает расписанию поездов на стене,
что в Вене у него была пациентка,
которая ложилась на рельсы где-то в пригороде,
и этим выражалось ее неосознанное желание
забеременеть от своего отца.

Следует длительное молчание.

— Профессор Фрейд, как, по-вашему,
этот поезд когда-нибудь придет?

Он наконец удостаивает меня взглядом.
Я вижу, как смерть играет желваками на его лице.
— Разумеется, придет, — злобно отвечает он.

Пасхальная ночь с моими предками

В эту ночь
прибывают мои предки,
незваные, но ожидаемые,
чтобы сказать то же, что и всегда.

Они рассаживаются вокруг стола,
но когда я предлагаю им еду, отказываются.

Я включаю телевизор
и жду;
воздух сгущается
от неодобрения.

Наконец я спрашиваю их:
Чего вы от меня хотите?
Что у вас общего со мною?

Почему вы приходите сюда каждый год
в эту ночь?

Что они говорят?

Они говорят:
– И ради этого Господь вывел нас из Египта?
Ради этого мы голодали в пустыне?
Ради этого бежали от инквизиции?
От погромов?

Для того ли мы умирали,
Отвергнув нечистую еду,
чтобы ты набивала холодильник всякой мерзостью?

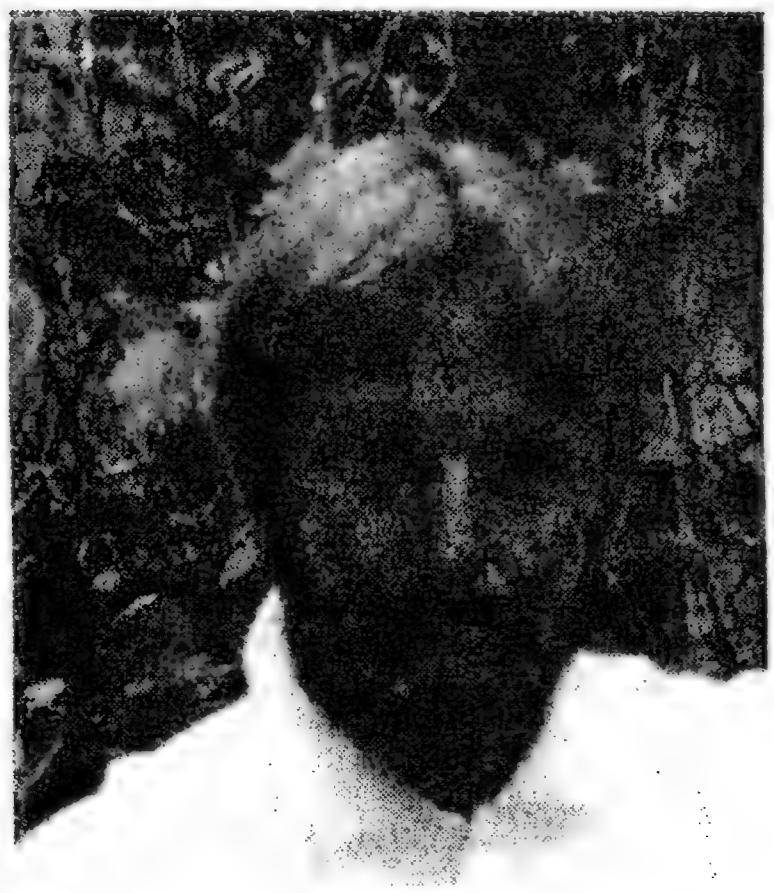
Разве мы пели наши
еврейские молитвы
на мотив христианских псалмов,
что ты так легко их забыла?

Неужели мы страдали ради такой, как ты?
И ты думаешь, что Господь
признает тебя достойной спасения?

Я говорю: – Единственное мое желание –
это жить так, как я хочу.

– Без нас у тебя не было бы жизни.

Филипп Делерм



Первый глоток пива
и прочие мелкие радости жизни

Рассказы

Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич

Глоток Делерма

Такие книги хорошо бы читать по страничке в день, как принимают с утра поливитаминный шарик или несколько "капель для повышения резистентности организма". Судя по тому, что рассказывает о себе сам Филипп Делерм, пятидесятилетний учитель словесности из небольшого нормандского городка, он вполне сознательно расфасовывал эти свои тонизирующие пилюли:

"У меня было очень счастливое детство, я рос, окруженный любовью близких, и, возможно, одной из основных причин, побудивших меня писать, был некий долг благодарности и желание самому чем-то поделиться с другими. Мои родители были школьными учителями, работали и жили в живописных местечках неподалеку от столицы, облюбованных в свое время импрессионистами. Но родом они были с юга, и там, в окрестностях Муассака, я всегда проводил летние каникулы. Много читал, увлекался спортом. Позднее, в студенческие годы в Нантере, я познакомился со своей будущей женой Мартиной. Она тоже грезила детством. В 1975 году мы оба получили назначение в Нормандию, поселились в Бомон-ле-Ро-

© Éditions Gallimard, 1997
© Н. Мавлевич. Перевод, вступление, 2002
Полностью книга готовится к печати в издательстве "Текст".

же и зажили размеренной жизнью, которая позволила нам, помимо работы в школе, осуществлять кое-какие творческие замыслы. Лесные прогулки с маленьким Венсаном, который сегодня уже подрос, дружба с учениками, а еще театральная студия, легкая атлетика, футбол, рисование — все это слилось в единое целое, где книги занимают свое место наряду с прочими составляющими.

Эти детали биографии, мне кажется, вполне объясняют, почему все, что я пишу, постоянно тяготеет к двум полюсам: это записки человека, который, во-первых, влюблен в детство и в память о нем, а во-вторых, ловит счастливые моменты настоящего и наслаждается ими".

"Я не собирался выступать в стиле ретро, — объяснял журналистам автор "Первого глотка пива", когда тираж книжечки перевалил за сто тысяч, — а просто хотел, чтобы читатели разделили со мной эти мелкие радости жизни, минуты простого счастья, эти маленькие 'мадленки'". (Бисквитики-"мадленки" теперь продаются и у нас, но Делерм, конечно же, имеет в виду знаменитую символическую прустовскую мадленку, из вкуса которой в воображении рассказчика вырастает целый собор, целый мир. Не оставшиеся глухими к этим намекам критики дружно окрестили писателя мини-Прустом. — *Н. М.*) Неопределенно-личная форма, в которой выдержано повествование, приглашает читателя примерить все на себя, подумать: "Мне это знакомо". Меня всегда тянуло писать миниатюры в импрессионистском духе". И Делерм их пишет в свое удовольствие, рано утром, в саду или в кафе, не за компьютером, а пером на бумаге.

Когда это лекарство от эмоциональной анемии попало мне в руки, я мгновенно проглотила всю упаковку и, ощутив прилив хорошего настроения и подъем внутренней гармонии, в свою очередь, пожелала поделиться этим счастьем с другими. Превратиться на пару месяцев в канал, по которому протекают волны блаженства, — это ли не предел мечтаний для переводчика, которому то и дело приходится терзаться, содрогаться и спотыкаться, воспроизводя рваные мелодии современной литературы! Я поддалась на эту лакомую приманку и стала игрушкой насмешливой стихии текста.

Любой переводчик знает, как важно найти в русской литературе "подпитку" для работы, некий текст, созвучный оригиналу. Часто эти поиски идут почти бессознательно. Так, переводя Делерма и руководствуясь каким-то собачьим чутьем, я сняла с полки том Набокова и впилась в "Другие берега". А вскоре случилось нечто удивительное. В тот день я долго кроила и перекраивала главку Делерма про пешеходный транспортер на станции "Монпарнас" и остановилась на следующей фразе:

"Едешь строго по горизонтали. В первое мгновение захватывает дух, как будто спускаешься в потемках по лестнице и ищешь ногой несуществующую последнюю ступеньку".

На сегодня работа закончена, настала сладкая минутка, когда можно открыть "постороннюю" книжку и просто читать, не неся никакой ответственности за количество, качество и расстановку слов. Но, не успев прочитать и полстранички "Других берегов", подскакиваю как ужаленная. Набоков описывает, как в детстве ходил по темной лестнице, и мне обжигают глаза строки: "Я лишний раз... поднимал ногу, и на мгновение захватывало дух от призрачной упругости отсутствующей ступеньки, от неожиданной глубины достигнутой площадки".

Мистика? Случайность? На мой взгляд, закономерность. Не стану, однако же, навязывать свое понимание этого резонанса читателям, а предоставлю им истолковывать его на свой вкус и на том закончу.

Итак, глоточек Делерма с утра — и серости будней как не бывало!

Нож в кармане

КОНЕЧНО, не кухонный и не бандитский. Но и не перочинный ножик. Ну, скажем, добротный "лагиоль" или "опинель № 6". Такой нож под стать деду-патриарху, главе рода. Такой нож он носил бы в кармане своих коричневых вельветовых брюк в крупный рубчик. Доставал бы за обедом да накалывал на острие кусочки колбасы или степенно чистил яблоко, нажимая пальцем на лезвие. А после кофе красноречиво складывал — дескать, обед окончен, всем пора снова браться за работу.

О таком ноже мечтаешь в детстве: им бы вырезывать лук и стрелы, выстругивать деревянную саблю с эфесом из сосновой коры; но вот беда — родители твердят, что он не для детей — опасный.

Ну а теперь, теперь-то он зачем? Патриархальные времена давно прошли, и ты давно не ребенок. Да незачем, хоть и сочиняешь что-то себе в оправдание:

— Очень нужная вещь: в походе, на пикнике, просто что-нибудь смастерить, когда нет инструментов...

Но сам-то знаешь: пользы никакой. Да и не в пользе дело. А в удовольствии, беспечном, сибаритском удовольствии иметь такую вещь: красивую и бесполезную, из теплого дерева или гладкого перламутра, с каббалистическим значком на лезвии (кто знает толк, поймет!) — рука с короной, зонтик или соловей — и пчелкой на черенке. Снобизм приобретает особый вкус, когда предмет его — такой вот символ простой жизни. Деревенский шик в эпоху факсов. Этакая тяжеленькая штучка ни для чего, просто лежит себе в кармане; достанешь иной раз пощупать, посмотреть, открыть, закрыть — красота! Сегодняшняя никчемность таит в себе уснувшее прошлое. Чуть прикоснешься — и на несколько секунд почувствуешь себя и седоусым старцем, и мальчишкой у реки, под душистым кустом бузины. Между двумя щелчками лезвия успеешь перенестись из своих средних лет разом в начало и в конец пути — вот в чем прелесть такого ножа.

Яблочный дух

СПУСКАЕШЬСЯ в подвал. И вдруг... Это пахнут яблоки, разложенные для сушки на перевернутых фруктовых ящиках. Ты захвачен врасплох. Не ждал и не просил, чтобы тебе так захлестнуло душу. Но поздно. Яблочный дух, как волна, накрыл с головой. И уже непонятно: как ты мог жить без этой сахаристой терпкости детства?

Нет ничего вкуснее этих сморщенных ломтиков: на вид сухие корочки, но каждая бороздка напитана сгущенной сладостью. Однако есть их не хочется. Чтобы смутная стихия запаха не превратилась в легко опознаваемый вкус. Сказать, что пахнет очень приятно или очень сильно? Не в этом дело. А в обонянии внутреннем — это запах счастливой поры. В нем школьная осень. Вот ты склонился над тетрадкой и фиолетовыми чернилами выводишь буквы. Дождь барабанит в окно, наступил длинный вечер.

Но яблочный дух не только память о минувшем. Он навевает мысли о былом расцвете, свежести, о пропахшем селитрой подвале или тем-

ном чердаке. И пережить, сохранить все это надо здесь и сейчас. Позади высокая трава и влажный воздух сада, впереди горячий вихрь, стремящийся в черноту. Этот запах вобрал в себя все красные, коричневые тона, всю кислоту зеленых. В нем вытяжка из нежной и слегка шероховатой кожуры. Как пересохло в горле, но этой жажды — ты же знаешь — не утолить. Даже если впиться зубами в белую мякоть плода. Надо бы самому обернуться октябрем, земляным полом и низкими сводами подвала, дождем, ожиданием. Запах яблок мучительный. Запах и вкус настоящей жизни, неторопливости, какой мы больше не достойны.

Теплый рогалик на улице

ПРОСНУТЬСЯ раньше всех. Бесшумно, как индеец, одеться, выйти в коридор. Точными движениями часовщика открыть и закрыть за собой входную дверь. Есть! На улице утро, голубое с розовой каймой — сочетание было бы пошлым, если бы не стерильный холод. При каждом выдохе изо рта выбивается облачко; свободным, легким чувствуешь себя на улице в час рассвета. И даже хорошо, что до булочной надо пройтись. Шагаешь, заложив руки в карманы, à la Керуак, ты все и всех опередил, и что ни шаг — то радость. Ловишь себя на том, что идешь по кромке тротуара, как в детстве, когда интереснее всего на краю. Пока все спят, ты втихомолку отхватил у дня порцию чистого времени.

Спят все, да не все! Должна гореть и греть витрина булочной — пусть свет неоновый, но сама мысль о тепле придает ему тепло-янтарный оттенок. А подойдешь, стекло должно быть запотевшим и радушие булочницы искренним — сердечность для самых первых покупателей, пароль для ранних пташек.

— Пять штук рогаликов и багет, не слишком поджаристый!

Из глубины лавки выныривает булочник в заляпанной мукой футболке и посылает тебе приветственный жест, как товарищу перед боем.

И вот ты снова на улице. Обратный путь, конечно же, совсем другое дело. Нет той беспечности, с батоном в одной руке и пакетом рогаликов в другой ты уже смахиваешь на обывателя. Зато можно съесть рогалик. Он теплый и мягкий. Жуешь на ходу, на холоде. И получается: зимнее утро с начинкой из рогалика, а сам ты — печь, дом, кров. Идешь помедленнее, несешь в себе, проносишь сквозь выцветающую серо-розовую голубизну свой свет. День только начинается, но самое лучшее уже при тебе.

Ингаляция

КАК хорошо было болеть в детстве, особенно хорошо выздоравливать, когда никто не мешал тебе валяться и читать в постели комиксы! Увы, с возрастом радостей от болезни поубавилось. Хотя, конечно, остается грог. Глотнуть горячего пряного грогу, да еще когда все тебя жалеют, совсем недурно. Но есть еще более утонченное удовольствие — это ингаляция.

К ней прибегаешь не сразу. Сначала не хочется: горечь, чуть ли не отрава! Путаешь ингаляцию с полосканием, после которого во рту про-

тивный медный привкус. Но что же делать, когда так плохо, больно, такая тяжесть в голове... Вдруг кажется, что станет лучше в кухне. И правда: в простой утилитарности плиты, холодильника, мойки есть что-то, приносящее облегчение. На полке рядом с чаем, обычным и липовым, в пакетиках, стоит флакон фумигалена. На этикетке старомодный контурный профиль — открытый рот жадно вдыхает завиток белоснежного пара. Это и решает дело: приятно окунуться в старину.

Ставишь греться воду. Раньше, помнится, был пластмассовый ингалятор, он состоял из двух частей, которые вечно развинчивались, и от него под глазами оставались следы. Можно было даже читать, если отставить книгу подальше. Ингалятор потерялся, ну и ладно. Надо просто налить в миску кипятку, добавить ложечку золотисто-прозрачной жидкости, и сразу поднимется облако зеленоватого пара. Остается накрыть голову махровым полотенцем. И готово. Тебя затягивает, ты поплыл. Снаружи кажется, что человек прилежно лечится, дышит паром, прогревается. Там же, под полотенцем, все совсем иначе. Ты чувствуешь, как постепенно размягчаются мозги, все обволакивает влажность. На висках проступает испарина. Но главное разыгрывается внутри. Глубокое размеренное дыхание, от которого должны прочищаться носовые пазухи, усиливает побочное действие фумигалена. Ты остаешься неподвижным и в то же время плавно, как лягушка, скользишь в ядовитых бледно-зеленых дебрях. Пар оседает каплями воды, вода клубится паром. Ты разбухаешь, растворяешься, впадаешь в транс. Из обычного мира доносятся то ли очень близкие, то ли, наоборот, далекие-далекие кухонные звуки: там накрывают на стол. Но у тебя в груди и в голове клокочет жар, ты погружен в него, и нету сил отбросить капюшон.

Первый глоток пива

ТОЛЬКО самый первый! Остальные — хоть и отхлебываешь каждый раз все больше — уже не то: ничего не дают, только разливается ватный дурман да распирает сытость. Разве что в последнем, с его безнадежностью конца, тоже что-то есть...

Но первый глоток! Глоток? Все начинается еще не доходя до глотки. Сначала золотые пузырики, вспененная прохлада на губах, потом медленная, щекочущая горчинкой ласка наполняет нёбо. Первый глоток кажется таким долгим! Впиваешь его с наигранно-инстинктивной жадностью. На самом деле все предопределено: и количество — не слишком много, не слишком мало — ровно столько, сколько нужно для хорошего почина; и непременное блаженство, обозначаемое вздохом, причмокиванием или не менее выразительной паузой; и обманчивое ощущение уходящего в бесконечность удовольствия... Сам-то знаешь: лучшее уже позади. Теперь нужно поставить стакан на пористый кружочек и даже чуточку его отодвинуть. Насладиться цветом — горького меда, холодного солнца. С толком и с расстановкой — совершается целый обряд, с тем чтобы овладеть чудом, которое исчезает, едва успев произойти. На стенке стакана с удовлетворением читаешь название — да, это пиво ты и заказывал. Однако сколько бы ни перекликались, как бы точно ни соответствовали друг другу сосуд и содержимое, волшебство невоспроизводимо. Хочется сохранить, облечь в формулы тайну синте-

за чистого золота. Но эта алхимия за белым столиком в пятнах солнца сводится к соблюдению условностей, а удовольствия, чем больше пьешь, тем меньше. И нет в нем радости: пьешь, чтобы забыть первый глоток.

Ночью на дороге

СТРАННАЯ штука машина: она и уютный дом, и звездолет. Вот тебе мятные леденцы под рукой. А вот на приборном щитке — светящиеся звезды, зелено-электрического, холодного синего, бледно-оранжевого цвета. Не нужно даже радио — разве что послушать новости в полночь, уже скоро. Приятно отдаться езде. Казалось бы, все тут покорно тебя слушается, чуть повернешь или нажмешь: руль, переключатель скоростей, дворники, подвижные стекла. Но в то же время это она, кабина, несет тебя, ты в ее власти. Ты здесь в глухой обивке тишины и одиночества, почти как в кресле кинозала: вроде бы главное — перед тобой фильм на экране, и ты его смотришь, но легкое воспарение тела показывает, что важно и другое — твоя согласная зависимость.

Снаружи, в лучах фар, между железной дорогой справа и кустарником слева та же безмятежность. Но приоткрой окно — и тугая струя извне стегнет по сонной дреме, ворвется вихрем скорость. Снаружи сто двадцать в час — ударная волна не меньше, чем у хорошего взрыва на путях.

Пронзаешь темноту. Проносятся щиты и указатели: Футуроскоп[1], Пуатье Север, Пуатье Юг, съезд к заповеднику "Болота Пуату" — французские названия, отдающие уроками географии. Но это пустой звук, слепая явь, которую сметаешь со сноровкой закоренелого лентяя; жмешь на акселератор, поглядывая на спидометр, — и нет больше этой виртуальной Франции, она пополнила число пропущенных уроков.

Кафетерий через десять километров. Там и остановимся. Издали надвигается и разрастается, как порт на исходе плавания, плоский силуэт освещенного собора. Бензоколонка "Super+98". На улице ветерок. Урчит счетчик, носик шланга с механически отмеренной щедростью извергает бензин. Столик кафетерия липковат, как на всех вокзалах и в ночных портовых забегаловках. Эспрессо с кусочком сахара. Был бы кофе, а какого вкуса — не все ли равно. Горячо, горько. Ступаешь тяжело, глядишь рассеянно, скользишь глазами по лицам редких посетителей, но ни с кем ни слова. И наконец забираешься снова в свой корабль, втискиваешься в свою ракушку. Сна как не бывало. И не беда, что еще далеко до рассвета.

"Тур-де-Франс"

"ТУР-ДЕ-ФРАНС" — значит, лето. Лето задолго до конца, жаркий южный июль. В домах опускают ставни, жизнь замедляется, пылинки пляшут в солнечных полосках. Казалось бы, дико сидеть взаперти в такой ясный день. Еще глупее торчать перед телевизором, когда рядом стоит густой лес, заманчиво блестит прохладная речка! Но эта дикость становится позволительной, когда показыва-

1. Парк с аттракционами. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ют "Тур". Смотреть велогонку "Тур-де-Франс" – занятие респектабельное, освященное традицией, и не имеет ничего общего с постыдной праздностью или растительным балдением. Впрочем, смотрят не просто велогонку, а много гонок в одной. Потому что сквозь каждую несущуюся по дорогам Оверни или Бигора группу гонщиков, подобно водяным знакам, проступают все гонщики прошлых лет. За яркими фосфоресцирующими – сегодняшними – майками мерещатся давние, шерстяные: желтая майка Анкетиля, расшитая вензелями "Эльет"[1]; сине-бело-красная с короткими рукавами – Роже Ривьера; желто-фиолетовая – Реймона Пулидора ("Мерсье" – БП – "Хатчинсон"[2]). За современными чечевицеобразными колесами – шины со скрещенными лучами спиц на спине Лапеби или Рене Вьетто. За асфальтовой лентой Альп-д'Юэ с толпами зрителей по обочинам маячит допотопная безлюдная щебенка этапа Ла-Форкла.

Кто-нибудь непременно скажет:

– За что люблю "Тур-де-Франс", так это за красивые виды!

И правда, перед зрителями сменяются картинки праздничнo-разгоряченной Франции, чье население выстроилось цепью по всем долинам, городам и перевалам. Пейзаж пророс людьми в веселом братстве, и только выходки уж слишком буйных болельщиков порой перехлестывают через край. Впрочем, на фоне скалистого перевала Галибье или заснеженно-туманного Турмале щепотка патриотического шутовства лишь удачно оттеняет национальную эпопею и ее героев.

Равнинные этапы не такие напряженные, но следить за ними не менее интересно. Тут-то и чувствуешь особенно явно и остро, что смотришь "Тур", тут оправдывает себя бесконечная вереница рекламных щитов. Не так важно, кто вырвался вперед, кто отстал. Главное – сам факт, ты на миг приобщился ко всей Франции, ее солнцу, ее золотым полям. На экране телевизора одно лето похоже на другое, и особо удачные прорывы запиваешь водой с мятным сиропом.

В *гости ненароком*

Ты никуда не собирался. До завтра надо было еще переделать кучу дел. Просто зашел к друзьям что-то спросить и слышишь:

– Поужинаешь с нами? Попросту, чем бог послал.

Ты угадал, что тебя пригласят, за несколько секунд, и это предвкушение приятнее всего. Греет мысль не только продлить удовольствие, но и нарушить расписание. День прошел точно так, как предполагалось, на вечер тоже были четкие планы. И вдруг: раз-два, и можно лихо, как мальчишка, все перекроить. Разумеется, ты не прочь.

В таких случаях особых церемоний не жди. Тебя не усадят в гостиной в мягкое кресло и не предложат ритуального аперитива. Нет, разговоры пойдут на кухне, между делом: не поможешь мне почистить картошку? За чисткой картошки душевней и непринужденнее беседа. Нет-нет да и сгрызешь редиску. Тебя пригласили просто так, значит, ты

1. Фирма, производящая велосипеды, спонсор команды гонщиков.
2. Все три фирмы ("Мерсье", БП ("Бритиш Петролеум") и "Хатчинсон") – также спонсоры одной из команд.

свой, почти член семьи. Можешь залезать куда угодно, шарить по углам, открывать дверцы. Где у тебя горчица? Будто из детства, из тех времен, когда ты делал уроки на кухонном столе, запахнет луком и петрушкой.

Разговор мало-помалу иссякает. К чему этот неуемный словесный поток? Гораздо лучше уютные полосы молчания между фразами. Никакой неловкости. Возьмешь книжку с полки и листаешь себе. "По-моему, все готово!" – тебя зовут и предлагают рюмочку аперитива, теперь уж не для проформы, – спасибо, нет. Вот все уселись за стол, пристроили ноги на высокой перекладине плетеных стульев. Так хорошо быть гостем запросто – свободно, просто. Домашний черный кот улегся у тебя на коленях – тебя признали. Жизнь замерла – завернула в гости ненароком.

На *пляже с книжкой*

НА пляже не очень-то почитаешь. Лежа на спине это почти невозможно. Солнце слепит глаза, приходится держать книгу прямо над собой на вытянутой руке. Несколько минут терпишь, потом переворачиваешься. Читать на боку, опершись на локоть, когда одной рукой подпираешь висок, а другой держишь раскрытую книгу и перелистываешь страницы, тоже неудобно. В конце концов укладываешься на живот, согнув руки перед собой. У самой земли всегда поддувает. В корешок забиваются крошечные слюдяные чешуйки. На тонкой газетной бумаге карманных книжонок налетевшие песчинки скапливаются, сливаются с сероватым фоном, так что их не замечаешь и, только когда за несколько страниц наберется ощутимая масса, небрежно стряхиваешь их. А на плотной, зернистой и белой бумаге приличных изданий они вклиниваются в текст. Цепляются за матовые шероховатости и поблескивают. Получаются новые знаки препинания, открывается новое поле.

Важно еще, о чем читать. Приятно играть на контрастах. Взять, например, "Дневник" Леото, то место, где он с отвращением описывает месиво человеческих тел на бретонских пляжах. Или "Под сенью девушек в цвету" и очутиться "на водах": мужчины в канотье, дамы с омбрельками, учтивые старинные приветствия. Или, полеживая на солнышке, окунуться в дождливый мир злополучного Оливера Твиста. Или, разомлев от ленивой июльской жары, скакать верхом, как д'Артаньян.

Но неплохо и подбирать чтение "в масть". Например, полеживая на пустынном берегу, растягивать "Пустыню" Леклезио, чтобы застрявшие песчинки вбирали в себя тайны туарегов, неспешные синие тени.

От долгого лежания в такой позе затекают руки, клюет подбородок, в рот набивается песок, тогда приподнимаешься, скрещиваешь руки перед грудью и одну выпрастываешь время от времени, чтобы перевернуть или загнуть страницу. Поза подростка, ну что же! Она добавит в чтение для полноты букета щемящую тоску. Это и есть чтение на пляже: меняешь позы, пристраиваешься, то устаешь, то наслаждаешься урывками. Как будто читаешь всем телом.

В *воскресенье вечером*

ВОСКРЕСЕНЬЕ, вечер. На стол не накрывают, настоящего ужина не готовят. Кому захочется — заглянет на кухню да перехватит чего-нибудь из остатков угощения: кусочек холодного цыпленка с горчицей, рюмочку бордо походя, чтобы допить бутылку, — чем плохо! Гости ушли в шесть часов. До конца дня еще уйма времени. Можно налить ванну — настоящую воскресную ванну, с шапкой голубой пены — и понежиться вволю, утопая в ватных облаках. Запотело зеркало, затуманилась голова. Только не думать ни о прошедшей неделе, ни тем более о наступающей. Поддаться гипнозу тихо плещущих меленьких волн, которые расходятся из-под распаренных сморщенных пальцев. И наконец, когда вся вода уйдет, заставить себя отодрать тело от дна. Взять, что ли, книжку? Да, но потом. А пока лучше телевизор. Подойдет любая, даже самая дурацкая передача. Уставиться в экран и замереть, без всякого желания, без оправданий, без угрызений совести. Это тоже похоже на теплую ванну: приятная истома, осязаемый комфорт. Сидишь так, пригревшись, допоздна, будто и мозги расслабились по-домашнему. Тут-то и подкрадывается тоска. Выключаешь опостылевший телевизор. И переносишься куда-то, чаще всего в далекое детство, теряешься в расплывчатых воспоминаниях о каких-то местах, где ты бродил, переживая школьные неприятности и выдуманные влюбленности. Тебя пронзает, захватывает врасплох, как летний ливень, этот манящий душевный ток, эта радость и боль, привычная, родная... так всегда бывает в воскресенье вечером. Каждый раз — тщетная попытка остаться в капсуле, в надутом пузыре, но стенки его не выдержат напора. Так проявляется изображение на брошенных в ванну квадратиках фотобумаги.

П*ешеходный транспортер на станции "Монпарнас"*

ПОТЕРЯ или выигрыш во времени? Как бы то ни было, но эта бесконечная, безмолвная, прямая, как стрела, движущаяся лента — что-то вроде вынужденной долгой паузы. Самим своим существованием транспортер признает неоспоримое: одолевать такие длинные коридоры, такие огромные переходы людям не под силу. Жертвам хронического городского стресса позволительно тут перевести дух. Но при условии, что они не сойдут с дистанции и эта полупередышка в конечном счете обернется ускорением в их героическом кроссе.

Пешеходный транспортер на станции метро "Монпарнас" гигантский, немыслимо длинный. Ступаешь на него с опаской, как на эскалатор в большом универмаге. Но похожих на крокодильи челюсти складных ступенек здесь нет. Едешь строго по горизонтали. В первое мгновение захватывает дух, как будто спускаешься в потемках по лестнице и ищешь ногой несуществующую последнюю ступеньку. Но вот ты на борту и скользишь по хляби. Ты почему-то в напряжении: оттого ли, что вокруг все движется, оттого ли, что самолюбие протестует против этого внезапного пассивного дрейфа. Впереди, еще наращивая

скорость, размашисто шагают несколько маньяков спешки. Но куда лучше выжидающе замереть, держась рукой за черный поручень. Такие же оцепеневшие статуи, с такими же притворно отрешенными глазами, проплывают навстречу. Странное сочетание близости и недостижимости тех, кто с непринужденным видом уносятся прочь друг от друга. Миг, выхваченный из чужой судьбы, неразличимые, парящие на сером фоне лица. А рядом коридор для ходоков, принципиально презирающих баловство транспортера. Они шагают очень быстро, демонстративно порицая всякую уступку лени. Однако выглядят нелепо и забавно: те, кого они хотели бы усовестить, не обращают на них внимания. Здесь, в механическом пространстве, есть своя неодолимая притягательная сила. Словно заводные человечки налеплены по всей длине однообразной движущейся дорожки. Ты едешь, застыв, похожий на фигурку с картин Магритта, песчинкой городской толпы, а мимо, из ниоткуда в никуда, тянется по бесконечной плоской ленте тающая вереница твоих двойников.

Кино

КИНО – не то место, куда можно, что называется, выйти на люди. С людьми тут почти что не соприкасаешься. Тут другое – входишь в зал и утопаешь в ватной взвешенности. Фильм еще не начался, и аквариумный свет колышет приглушенные голоса. Все мягкое, пухлое, обеззвученное. Неслышно ступая по ковру, с принужденной беспечностью идешь вдоль пустого ряда. Нельзя сказать, что в кресло садишься или даже усаживаешься. Это махрово-плотное, упругое пространство надо освоить. В него толчками втискиваешься, в нем блаженно распластываешься. К этому сибаритству добавляется приятное чувство слияния с другими – ты занял ячейку в одной из шеренг, развернутых перед экраном.

Но дальше общность не идет. Что ты узнаешь, например, о здоровенном парне, который развалился в кресле тремя рядами ближе к экрану и все еще читает газету? Разве что разок-другой он засмеется невпопад или, гораздо хуже, не засмеется, когда будет смешно тебе. В кино не проявляют себя. Сюда ходят, чтобы укрыться, забиться, свернуться. Здесь сидят, как на дне водоема, и вглядываются в голубизну – любое чудо может совершиться в псевдоглубине экрана сцены. Ни запаха, ни дуновения в зале, упирающемся в призрачное упование, в трехмерном храме, где отправляется культ плоскости.

Сгустилась темнота, и засиял алтарь. Теперь ты воспаришь – небесной рыбой, морской птицей. Отнимется тело, и станешь английским пейзажем, нью-йоркским проспектом, бретонским дождем. Ты жизнь, ты смерть, любовь, война, тебя вобрал лучистый конус, где мельтешат пылинки. И когда появляется надпись "конец", ты остаешься в трансе, бездыханным. Но вспыхивает резкий свет. Придется разогнуть затекшие суставы и лунатически двинуться к выходу. Главное – ни слова, никаких замечаний, суждений: слова все сломают. На уходящем из-под ног полу смиренно ждать, пока пройдет амбал с газетой. Застыть, как космонавт в скафандре, сберечь еще хоть на минуту диковинную невесомость.

Новость, услышанная в дороге

"ГОВОРИТ радио "Франс-Интер", 17 часов, в эфире новости..." Потом позывные, а дальше: "Последнее сообщение с телетайпной ленты: скончался Жак Брель".

Твоя машина едет в это время по довольно унылой плоской местности, между Эврё и Мантом. Ты проезжал тут сотню раз и думал о каких-то пустяках: как обогнать впереди идущий грузовик или хватит ли мелочи на дорожную пошлину. И вдруг — стоп-кадр, все застыло. На долю секунды. Навеки. Серая, безликая трехполосная дорога, уходящая к долине Сены, внезапно стала непомерно значительной. И даже красно-белый бензовоз "Антар" в правом ряду, возможно, останется на этом моментальном снимке. Так же бывает, когда нежданно-негаданно оказываешься в каком-нибудь месте, которого не знал и не имел желания узнать, которое было абстрактным названием на привычном пути и смутно связывалось с чем-то утомительным и скучным.

Жак Брель — о нем и без того был в памяти целый альбом: знакомые с детства песни, буквально сокрушительные аплодисменты в зале "Олимпия", когда в 1964 году он пел там "Амстердам". Но все это исчезнет. Пройдет время. Сначала о Бреле будут говорить хорошие слова, будут много и часто крутить его песни. Потом — пореже и поменьше, а потом — совсем мало и редко. Но каждый раз отныне, когда его упомянут, перед глазами будет возникать все та же картинка: идущая по склону дорога, которой ты проезжал, когда услышал по радио о его смерти. Непостижимо, глупо, но ничего не поделаешь. Жизнь — это длинный фильм, и авторадио запросто может стать камерой, а лобовое стекло — экраном. Фрагменты этой ленты мелькают в голове. Но и дорога играет не последнюю роль в съемках: череда мнимо знакомых, стирающих друг друга образов, и вдруг один из них кристаллизуется. Смерть Жака Бреля для тебя — шоссе в три полосы и бензовоз "Антар" в правом ряду.

Артур Кёстлер

Автобиография

Фрагменты книги

Перевод с английского и вступление Л. Сумм

"Типичная история европейца, родившегося в образованной семье в начале нашего века" — этими словами Артур Кёстлер завершает автобиографию. "Типичная история" включает попытку построить новый Израиль, успешную карьеру журналиста, вступление в коммунистическую партию и семь лет спустя разрыв с ней, участие в Испанской войне, французский концлагерь для беженцев-антифашистов и многое другое.

Менялись не только место жительства, политическая ориентация, уровень жизни — менялся язык, менялся характер творчества. Выросший в Австро-Венгрии, в ассимилированной еврейской семье, Кёстлер первые стихи писал по-венгерски, статьи — по-немецки, иврит поспешно выучил в 1926 году перед отъездом в Палестину. Там после года голода и нищеты Кёстлер нашел работу в качестве ближневосточного корреспондента немецкой газеты. На немецком языке написаны и первые его книги. "Типичная история" привела к утрате немецких подлинников "Гладиаторов" (1939) и "Слепящей тьмы" (1940), они сохранились только в английском переводе. С 40-х годов, спасшись бегством из оккупированной Франции и эмигрировав в Британию, Кёстлер переходит на английский язык.

После сорока лет к Кёстлеру пришла популярность, французский перевод "Слепящей тьмы" разошелся огромным тиражом и повлиял на результаты судьбоносных выборов 1946 года: коммунистам не удалось получить власть в стране. Другой роман — "Воры в ночи" (1946) — способствовал тому, что ассамблея ООН проголосовала в пользу создания еврейского государства.

© Л. Сумм. Перевод, 2002

Такой судьбы хватило бы на несколько биографий. Кёстлер и написал их немало: документальные сочинения по горячим следам — "Испанское свидетельство" (1937) и "Подонки земли" (о французском концлагере, 1941); двухтомную автобиографию ("Небесная стрела", "Незримые письмена", 1952—1954), фрагменты которой вошли в данную публикацию. Появление автобиографии в свою очередь завершило некий этап в творчестве писателя — от художественной литературы он переходит к философской: к размышлениям о природе человеческого сознания, науки и истории. Он пишет трактаты и сборники эссе "След динозавра" (1955); "Акт творения" (1964); "Призрак в машине" (1967) и многое другое.

Итоги своей жизни Кёстлер подвел в "Вавилонских кирпичах" (1980): сочетая привычный для Запада жанр дайджеста с авторским комментарием, он заново выстраивает свою биографию из написанных им текстов.

Публикуя фрагменты автобиографии, мы старались сделать эту подборку достаточно репрезентативной как в отношении событий, так и с точки зрения внутренней жизни автора. Какие-то искажения при этом неизбежны, и все же хотелось бы надеяться, что удалось сохранить нелинейный, многогранный образ писателя.

Кёстлер многолик не потому, что непоследователен или неоснователен, а потому что честен, и в каждом своем начинании, в проживании и осмыслении опыта он идет до конца, прослеживая связь между судьбой и временем, все глубже проникая в те слои души, которые, по его словам, "скрепляются единственно парадоксом".

Том *первый*. Небесная *стрела*

С детства и до студенческих лет все мои интересы сосредоточивались на математике и естественных науках, а первым увлечением стали шахматы. Геометрия, алгебра и физика околдовывали меня: подобно пифагорейцам и алхимикам, я надеялся найти в них ключ к тайнам бытия, я верил, что все загадки мироздания сводятся к конкретной умопостигаемой формуле, к чему-то вроде кода сейфового замка, секрета философского камня или эликсира жизни. Мне казалось, что единственная достойная цель жизни — посвятить себя этой задаче, и каждый шаг на избранном пути был полон восторга и изумления...

От звездочетов Вавилона до великих художников и ученых Возрождения потребность исследовать, добывать знания была для человека одним из величайших стимулов; еще во времена Гёте образованному человеку было бы столь же неприлично не интересоваться наукой, как зевать перед картиной. Все нарастающий объем фактов и разделение научного знания постепенно угасили в людях интерес к науке, вручив монопольное право на нее "специалистам". Начиная с середины XIX века физика, химия, биология и астрономия постепенно отступают на второй план в полноценном образовании. И все же до появления теории относительности неспециалист мог поспевать за общим ходом науки. Я вырос в последние годы той эпохи, когда наука еще не превратилась в свод формул и абстракций, не доступных "профанам". Атомы еще обращались в трехмерном пространстве, их разрешалось изображать в виде наглядной модели — маленькие стеклянные шарики кружились вокруг ядра, точно планеты вокруг Солнца. Пространство еще не искривилось, Вселенная оставалась бесконечной, разум был рациональным механиз-

мом. Еще не открыли четвертое измерение и подсознание, четвертое измерение нашего "я", где искривляются прямые линии и разумные выводы сплетаются в сеть иллюзий и самообмана.

Героями моей юности были Дарвин и Спенсер, Кеплер, Ньютон, Мах; пионерами-первопроходцами – Эдисон, Герц и Маркони; моей Библией была книга Геккеля[1] "Мировые загадки". В этом классическом научно-популярном труде, изданном в начале столетия, перечислялось семь "загадок Вселенной"; шесть из них уже считались "положительно разрешенными" (в том числе и вопрос о природе материи и происхождении жизни), седьмая, свобода воли, объявлялась "догмой, основанной на иллюзии и на самом деле не существующей".

Как приятно в четырнадцать лет узнать, что на все загадки мироздания уже найден ответ! И все же меня глодало сомнение, ибо по какому-то недосмотру Геккель не включил в свой список парадокс вечности и бесконечности.

Вечность и бесконечность – как они мучили меня! Однажды летом 1919 года, в пору каникул, я валялся на траве на склоне холма в Буде, глядя в ярко-синее небо. Ничего кроме бесконечной, прозрачной, насыщенной, сияющей синевы. Исполнившись мистического восторга, я почувствовал внезапное, дарованное свыше озарение, обычное в детстве и почти неведомое в зрелости, и вдруг непостижимое ощущение бесконечного пространства пронзило меня, разрушило мое блаженство, уязвило разум, словно укус овода. Представим себе, что мы отправили в небо сверхстрелу, подгоняемую сверхсилой, она преодолеет земное притяжение, промчится мимо Луны, мимо Солнца – и что же дальше? Она продолжит свой путь среди звезд, минует другие Солнца, другие галактики, всякие Млечные, Медовые, Уксусные пути – и что же дальше? Она будет лететь, лететь, через спиральные туманности, через новые галактики и опять через спиральные туманности, без остановки – нет предела этому полету, нет ограничения ни в пространстве, ни во времени! И вот что ужасно: эта стрела – не порождение фантазии, она вполне реальна, ее можно создать, более того, кометы, движущиеся по открытой параболической орбите, как раз и есть подобные стрелы, взмывающие в бесконечность небес, – взмывающие или падающие, все равно. Разум мой истерзался, тщетно пытаясь постичь непостижимое. Как смело небо сиять и смеяться, если за его улыбкой таилась ужасная тайна, которую оно не желало нам открывать?!

Я не мог вынести мысли, что тайна бесконечности так и останется неразгаданной, тем более что я уже знал: если разделить на бесконечность любую конечную величину – массу Земли или массу человека, меня, лежащего на ней, – эта величина съежится до нуля. Итак, с математической точки зрения, если Вселенная бесконечна, то Земля – нуль, и я сам – нуль, и год моей жизни – ничто, и вся жизнь, и все столетия. Но это же вопиющая бессмыслица, в расчеты вкралась какая-то ошибка! Эту загадку нужно разгадать, а для этого – прочесть еще больше книг по гравитации, электричеству, астрономии и высшей математике. Разве Геккель не посулил, что последняя тайна будет разгадана в ближайшие годы? Быть может, именно я избран разгадать ее – ведь, похоже, никого загадка космоса и стрелы не тревожила так сильно, как меня...

1. Эрнст Геккель (1834–1919) – немецкий ученый-дарвинист. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

Жажда абсолюта — стигмат, отметивший тех, кто не способен довольствоваться ограниченным "здесь и сейчас". Одержимость стрелой заставила меня начать поиски; они ни к чему не привели, и тогда на место бесконечности я стал подставлять всевозможные утопии. Все та же одержимость, все то же стремление к абсолюту — все или ничего — привели меня сперва в Землю обетованную, а затем в коммунистическую партию. Некогда эту жажду утолял Бог, но с конца XVIII века место Бога в нашей цивилизации пустовало. В XIX веке произошло столько удивительных событий, что люди не сразу заметили отсутствие Бога, но теперь, когда чудовищные катастрофы положили конец Веку Разума и Прогресса, мы все ощутили вакуум. Я вырос в эпоху разочарований, в век ностальгии и тоски. <...>

Расщепленная стрела

Весенним утром 1924 года я сижу на скамейке в Фольксгартене, одном из волшебных венских парков, рядом — стопка книг. Сверху — памфлет, изобличающий злодейства арабов в Палестине: дети, разрубленные пополам, словно во дни Ирода, еврейские поселенцы, ослепленные, кастрированные, замученные насмерть. Британская администрация не только не вмешивается, но и не позволяет евреям вооружиться для самозащиты.

Читая эту брошюру, я начал задыхаться и трястись от бессильного гнева. Негодование всегда действует на меня подобно физическому недугу. Как большинство людей, "страдающих" хроническим негодованием — так другие маются от хронического несварения желудка, — я чувствую во время такого приступа мощный выброс адреналина в кровь и судорогу готовых к яростной атаке мышц... Дочитав брошюру и слегка успокоившись, я погрузился в свои излюбленные мечтания: я посвящу жизнь делу угнетенных, буду сражаться за них и писать книги, которые разбудят совесть мира. Сколько тонн адреналина извел я на это!

Загипнотизированный этой мечтой, заряженный, нацеленный на "дело", я раскрыл следующую книгу: теория относительности Эйнштейна в изложении Вейля. И тут одна фраза поразила меня и навсегда застряла в памяти. Вейль писал: общая теория относительности вознесла наш разум "на те снежные вершины, куда еще не взбирался человек". Эта достаточно банальная фраза произвела на меня неожиданно сильное впечатление, я словно видел, как изменившая мир формула Эйнштейна — энергия равняется массе, умноженной на скорость света, — тонкой туманной пленкой висит над горными ледниками. Этот образ был исполнен бесконечного спокойствия и умиротворения, на этом фоне убитые дети и кастрированные поселенцы Святой земли съежились до микроскопических размеров. Животные пожирали друг друга на суше и в пучинах океана с момента зарождения органической жизни — таков закон Природы и Истории, и не из-за чего особенно волноваться. Судьбу этих несчастных следует воспринимать столь же отстраненно, спокойно и мудро, как жизненный цикл звезд, завершающийся взрывом сверхновой, как вспышки на Солнце, как превращение гор в болота, а первобытных лесов в уголь. Перемена настроения сопровождалась столь же явной переменой физиологического состояния: я уже не зады-

хался от негодования, я расслабился, успокоился и почти растворился в тишине "океанического чувства"[1]...

Все это может показаться надуманным; рассуждать о расщеплении своего "я" – особый вид тщеславия, тем более для уроженца Центральной Европы, воспитанного на Гёте: "Увы, в груди моей живут две души". Но честная автобиография требует, чтобы я сразу же указал на самостоятельное существование двух душ в моей груди, ибо раскол так и не был преодолен, и постоянное внутреннее противоборство станет основной темой этой книги. По той же причине названия большинства моих произведений строятся как антитеза: "Йог и комиссар", "Взгляд внутрь и наружу", "Слепящая тьма", "Нуль и бесконечность", "Приезд и отъезд". В свое время я выбирал эти названия более или менее бессознательно и лишь гораздо позже заметил объединявшую их схему.

Я продвигался зигзагом, отзываясь на два противонаправленных импульса, точно подопытные собаки профессора Павлова; я метался между политическим фанатизмом и пассивной созерцательностью, между потребностью превратиться в ученика йога и желанием сделаться комиссаром. Наше время образовало силовое поле, весьма схожее с условиями, которые были созданы в лаборатории Павлова: несчастное животное реагирует на взаимоисключающие стимулы экспериментальным неврозом, я же реагировал не лаем, а новыми и новыми книгами. Все, мной написанное, можно рассматривать как историю болезни – экспериментального невроза, приобретенного в лаборатории нашей эпохи.

Этой лабораторией послужила Центральная Европа второй четверти века, а стимулом для меня стало сперва экономическое, а затем и физическое уничтожение того культурного слоя, к которому я принадлежал. По меньшей мере три четверти людей, с которыми я был знаком до тридцатилетнего возраста, погибли в Испании, были затравлены собаками в Дахау, отправлены в газовую камеру Бельзена, депортированы в Россию и там ликвидированы; они выбрасывались из окон на тротуары Вены и Будапешта, задыхались от бессмысленного, нищенского существования пожизненных эмигрантов, а во мне это пробуждало хроническое негодование. Все новые и новые потрясения превращали мои попытки созерцать жизнь со стороны в подлую трусость, а невмешательство – в преступление. С другой стороны, созерцание, неучастие просто необходимы для художника. Конфликт между действием и созерцанием выливался в конфликт между искусством и пропагандой. Я портил свои романы из чувства долга по отношению к тому или иному "делу", я помнил, что в творчестве неуместны проповеди и призывы, и все же продолжал проповедовать и призывать. Легче устоять перед дьявольским наваждением, нежели перед искусителем, принявшим образ вождя крестового похода, исполненным праведного гнева, – что ты ответишь, когда с фанатичных губ сорвется обвинение в "эскапизме", когда они произнесут: "Ты музицируешь, а Рим горит", хуже того, не "Рим горит", а "*твоих* близких умертвили в газовой камере Освенцима", "советский суд признал *твоего* друга нацистским шпионом". Я вновь и вновь винил себя в преступном увлечении искусством и опять надевал рыцарские доспехи, однако и это не помогало – по-

1. Этим термином Фрейд обозначает мистический и религиозный опыт. (*Прим. автора.*)

пробуй-ка писать, когда рука закована в железную рукавицу! Так или иначе, ты в чем-то виноват, и весь круг мучений начинается заново.

Беда в том, что и обвинение в эскапизме, и обвинение в ангажированности равно справедливы. "Кто правит, не свободен от вины", — сказал Сен-Жюст. Бывают времена, когда от вины не свободен и тот, кто действует, и тот, кто пишет, и каждый, кто живет. <...>

Торжество безрассудства

Как-то ночью в октябре 1925-го я возвращался домой после долгого спора о детерминизме и свободе воли с русским студентом Ороховым. Орохов был социалистом; больше, чем все встречавшиеся мне в жизни люди, он напоминал героя Достоевского — он словно вышел из "Бесов": уродливый, терзаемый страстями, искренний и пылкий. Спустя год невыносимая нищета подтолкнула Орохова к самоубийству — он бросился ночью с моста в замерзший Дунай.

В ту ночь в своей почти пустой комнатенке Орохов упорно отстаивал принципы детерминизма, а я утверждал, что в определенных пределах человек обладает свободой принимать решения и сам строит свою судьбу. Мы не пили спиртного, только жидкий чай, зато литрами, и домой я возвращался в приподнятом настроении, точно под хмельком. Шел проливной дождь, у меня не было ни зонта, ни шляпы, я промок до костей, но мне доставляла наслаждение даже тонкая струйка воды, пробиравшаяся за воротник и ледяными каплями стекавшая вдоль позвоночника. На улицах ни души. Мы выпили столько чаю, что мне пришлось остановиться под фонарем и внести свой небольшой вклад во вселенский потоп, и это показалось мне значимым, даже символичным. Придя домой в состоянии восторженного умоисступления, я зажег спичку и неторопливо сжег свой матрикул, священный документ студента (в Австрии он именовался "индекс"), — в него заносились экзаменационные оценки, отметки о прослушанных курсах и все прочие сведения, необходимые для получения диплома. Восстановить этот документ было почти невозможно — в переполненном учащимися Политехникуме хранились только экзаменационные ведомости, но не сведения о посещении занятий, многие из которых были обязательными. Сжигая "индекс", я в буквальном смысле слова сжигал за собой мосты и отрезал себе возможность сделаться представителем почтенной профессии и уважаемым гражданином...

Внезапная влюбленность в безрассудство — вот что стало причиной этого с виду совершенно безумного поступка. Спор с Ороховым вызвал у меня сильный приступ "океанического чувства" — состояния, в котором все ценности могут перемениться. Этот опыт не поддается словесному выражению, это яркое внутреннее сияние, невнятная, колобродящая эйфория, однако порой именно в этом состоянии аморфные процессы подсознания приходят в стройный порядок. Разум абсурден — такова была открывшаяся мне безусловная истина. Уже Кант доказал, что разум отступает перед сколько-нибудь существенными проблемами, перед загадками вечности и бесконечности. Эйнштейн нанес последний удар здравому смыслу, а Фрейд в своей области завершил процесс... Жизнь — хаос, и безумием было бы строить посреди хаоса респектабельную карьеру. Все эти рассуждения могут показаться сомнительными и за-

умными, но во мне говорил не разум, а чувство. Люди, подчинившие свою жизнь логике, внушали мне лишь жалость и презрение.

Я хотел одного: "жить своей жизнью", а для этого нужно было "выскочить из колеи". Я словно воочию видел эту колею, уходящие в бесконечность металлические полосы рельс, уложенные на подгнившие шпалы. Человек с рождения попадает на определенный путь, точно поезд, которому предстоит отправиться по расписанию, и, раз встав на такие рельсы, лишается свободы воли. Орохов прав: нашей жизнью распоряжаются внешние силы, вся она — стальные рельсы, станции, пересадочные узлы. Тому, кто принял эти условия игры, приспособился к ним, уже не сойти с наезженной колеи. Остается одно — соскочить с рельс прежде, чем сформируется привычка, ускользнуть из тюрьмы на колесах...

В ту ночь, когда я сжег свой матрикул, мне приснился вполне реалистичный сон. Я снова был ребенком и шел за руку с гувернанткой по будапештской улице. Мы проходили мимо хозяйственного магазина, я вырвал руку, вбежал в магазин и купил себе лопату...

Этот сон был отражением излюбленной мечты моего детства. В дошкольные годы, на пятом, шестом году жизни, терзаясь одиночеством, я фантазировал: вот убегу из дому, куплю себе лопату и буду зарабатывать на жизнь, как те люди, которых я видел на улицах, — они окапывали деревья и рыли землю для прокладки трамвайных путей...

Может показаться, что решение отправиться в Палестину и возделывать там землю стало логическим продолжением "сожжения мостов", однако эта идея осенила меня лишь несколько недель спустя. Разум не логический механизм; идеи и решения созревают постепенно, набухая и внезапно выстреливая, словно почки на ветках, а не проступают разом, точно калька с готового чертежа. "Очевидным" это решение сделалось лишь задним числом.

Отправиться в Палестину в качестве "халута", то есть поселенца без собственного капитала, было, конечно, не так трудно, как попасть в американскую иммиграционную квоту, но и не слишком-то просто. Британская администрация ежегодно выделяла сионистской организации определенное количество иммиграционных сертификатов, а организация распределяла их по различным партиям. Количеством сертификатов, полученных той или иной партией, измерялось влияние этой партии в Палестине, так что за сертификаты они воевали еще упорнее, нежели за свою долю в фондах организации. Почти все сертификаты для безденежных "халутов" доставались группировкам левого крыла. Они открыли в Европе школы сельского хозяйства, где кандидаты на отъезд проходили не только профессиональную подготовку, но и основательную идеологическую обработку. Учеба длилась год-два, а то и дольше, если сертификаты задерживались.

Только что основанная Ревизионистская партия вообще не располагала сертификатами, однако мой случай был особым: не каждый день начинающий политик-сионист[1] и руководитель студенческого братства изъявляет желание работать дровосеком и водоносом. Пришлось потянуть за кое-какие ниточки, сочинить красноречивые прошения и сдать экзамен по современному варианту иврита. После этого Палестинское

1. Кёстлер был в то время активным участником движения сионистов-ревизионистов, возглавляемого Владимиром Жаботинским, и председателем еврейского студенческого братства "Унитас".

представительство сионистской организации в Вене, которым руководил благожелательный адвокат Блауэр, занесло меня в списки ожидающих разрешения на иммиграцию в качестве сельского рабочего. Помню, с каким кротким недоумением поглядывал на меня доктор Блауэр. Верно, и у него сын учился в университете, и он бы ни за что не позволил ему пуститься в столь нелепую авантюру. Считать себя сионистом — это одно, но к чему же "мальчику из хорошей семьи" отправляться в дикие места к москитам и арабам? <...>

Сертификат я получил в середине марта 1926-го. Родители все еще оставались в Англии. Я написал им длинное письмо — кажется, ничего более красноречивого и лживого я не сочинил за всю свою жизнь. Я уверял их, что еду в Палестину на год в качестве помощника инженера и приобретенный таким образом опыт облегчит мне потом поиски работы и поможет сделать карьеру в Австрии. Надо воздать должное моим родителям: они ответили мне не упреками и угрозами, а благословением. Мама только просила меня держаться подальше от плохой компании "там, на Востоке", а во время морского путешествия кутать горло шарфом, чтобы не простудиться на сквозняке. <...>

Взвешен и найден очень легким

Я направлялся в одну из коммун, в квуцу Хефтсеба в долине Изреель. Слово "квуца" ("группа", "товарищество") обозначает небольшое коллективное поселение, в отличие от крупного — киббуца. Хефтсеба — это арабское название горного склона, на котором расположилось поселение.

Долина Изрееля тянется широкой дугой от Средиземного моря до Иордана. В библейские времена то были самые плодородные земли Палестины, и такими они вновь стали теперь, но в 1926 году долина была каменистой пустыней, царством малярии, тифа и разбойников-бедуинов. К горам, окружающим долину, лепились арабские деревушки, сливавшиеся, в силу некоей природной мимикрии, с лиловым сумраком земли и скал. А внизу, в долине, два белых квадратных здания из цемента, первые еврейские постройки, бросали вызов и местному пейзажу, и туземному населению.

Хефтсеба находилась восточнее других квуц, в глубине арабской территории. Она была расположена на триста футов ниже уровня моря и климатом похвастать не могла (долина Изреель постепенно опускается к востоку и переходит в долину Иордана, самую глубокую впадину Земли). Летом стояла удушливая жара, усугубляемая хамсином — горячим ветром пустыни. Этот ветер так действует на нервы, что старинный турецкий закон считал непредумышленным убийство, совершенное во время хамсина. Природа здесь порождала в изобилии только комаров, мух, тараканов и всевозможных жуков, а земля оставалась сухой, каменистой, полтора тысячелетия — до прибытия еврейских поселенцев — к ней не притрагивался плуг. Население Хефтсебы преимущественно состояло из адвокатов, архитекторов и профессоров философии из Вены и Праги. Эти люди не имели опыта в сельском хозяйстве и привычки к тяжелому физическому труду. Поселение выросло у подножия горы Гелвуй, где Иисус Навин некогда разбил аморитян и приказал солнцу остановиться.

Я добрался до Хефтсебы апрельским вечером 1926 года. Вид ее меня напугал: несколькими днями ранее я высадился с корабля в Хайфе и все

еще находился под обаянием красочного, живописного восточного порта и арабских базаров; теперь же я увидел затерянный посреди пустыни жалкий, трущобный поселок, который состоял из деревянных лачуг, окруженных нищенскими огородами. Хижины эти отнюдь не походили на знакомые мне по картинкам бревенчатые срубы американских пионеров: они напоминали развалюхи, где (как и в старых железнодорожных вагонах) ютились беднейшие жители Европы. Здесь только и было, что две бетонные постройки — хлев и квадратное белое здание, предназначенное для детей (дети жили отдельно от родителей). Не знаю, что я ожидал увидеть, во всяком случае не такое.

Я попал как раз к ужину. Мужчины и женщины собрались в деревянном бараке, служившем общественной столовой (вместо столов — неструганые доски на козлах). Большинству было лет двадцать-тридцать, но выглядели они гораздо старше — усталые, изнуренные. Поставив локти на стол, сгорбившись над тарелками, они молча подносили ко рту ложку за ложкой. На разговоры у них не оставалось сил. Даже их загар не казался признаком здоровья, тем более что на многих лицах проступала малярийная желтизна; у женщин кожа загрубела от жаркого климата и тяжкого труда. Никто не спросил меня, зачем я пришел, меня едва заметили — так я подумал, но потом понял, что ни малейшее движение пришельца не ускользает от молчаливого, но пристального внимания всей общины.

Я спросил, где Гютиг — один из руководителей коммуны, а прежде член "Унитас": его, как я знал, заранее известили о моем приезде. Гютиг слег с приступом малярии, ответили мне, и, ни о чем более не спрашивая, человек, к которому я обратился, подвинулся к своему соседу, чтобы освободить мне место на скамье. Я сел; с другого конца стола ко мне поплыла тарелка супа и кусок хлеба. Мои сотрапезники так и не поинтересовались, кто я, зачем явился. Один из принципов палестинской коммуны гласил: накорми пришельца, предоставь ему ночлег, не требуя ни платы, ни объяснений.

Ужин состоял из лукового супа, хлеба, козьего сыра и оливок. Назавтра мы получили то же самое на обед, а на завтрак — чай и овощной салат с луком. Мясо подавали раз в неделю, по субботам.

Понемногу мне удалось разговориться с соседом справа. Это был тощий, темноволосый человек в очках с сильными линзами, изборожденное глубокими морщинами лицо дышало уверенностью, умом и добротой. Его звали Лейбл — вообще-то, доктор Лейбл. Ему, в числе других, я посвятил свой роман о Палестине "Воры в ночи".

Я сказал доктору Лейблу, что намерен присоединиться к общине.

— Навсегда? — спросил он, не поднимая глаз от тарелки. Я отвечал, что еще не знаю, хотел бы поработать здесь год-другой, а потом, наверное, найду себе место в Тель-Авиве или займусь политикой. На это Лейбл ничего не ответил. Он подносил ко рту одну ложку за другой, тщательно пережевывал хлеб, полностью сосредоточившись на еде. Так едят люди, которым приходится постоянно заботиться о поддержании своих физических сил: тяжелобольные, заключенные концентрационных лагерей, — они знают, что потерять хоть одну калорию значит потерять свой шанс выжить. Немного погодя мой собеседник сказал, что из-за экономической депрессии желающих вступить в общину теперь больше, чем община может принять. Я совсем растерялся, но он пообещал переговорить с секретарем (так называлась должность руководите-

ля общины), чтобы меня оставили здесь на несколько недель испытательного срока.

Прежде чем сделаться членом общины, каждый кандидат проходил испытательный срок, как послушник в монастыре. Коммуна оценивала его физическую пригодность и способность адаптироваться. Только потом я понял, что означал этот краткий разговор с Лейблом: я был "взвешен и найден очень легким". В квуцу, как и в монастырь, не приходят на годик-другой. Недавно сложился обычай, согласно которому молодые люди проводят в коллективном хозяйстве полгода или год, а потом возвращаются к городским занятиям, но в те времена стать членом квуцы значило дать обет на всю жизнь.

Мне предоставили постель в пустой, удушливо жаркой комнатенке. Там спало еще двое мужчин, а другую половину лачуги занимала семейная пара. Через тонкую деревянную перегородку мы различали каждое слово, каждый звук, словно все находились в одном помещении. Полное отсутствие укромности — даже душ и туалет были общественными — сказывалось на нервах поселенцев больше, чем физическая усталость и болезни. Во всех коммунах в первую очередь заботились о детях и скоте, а потом уже о "взрослом населении", поэтому первым делом строили коровник и детский сад, а взрослые жили в палатках и бараках, и зачастую — годами. Лишения были отчасти вызваны скудостью, но отчасти и коллективистской идеологией поселенцев. Квуца превращалась для своих членов в мистическое единство, где не только собственность, но и мысли, чувства и самые интимные стороны жизни — за исключением секса — становились общими. Внебрачные половые отношения рассматривались как проявление эгоизма и социальной незрелости. Конечно, конфликты и трагедии на этой почве случались и здесь, но крайне редко — полагаю, желание притуплялось усталостью, привычкой, давним знакомством. Кстати, в результате возникло довольно занятное явление: половые отношения внутри коммуны стали восприниматься почти как инцест, развивалось стремление к экзогамии, к поиску партнера вне квуцы.

Наутро после приезда меня направили на работу. Довольно крутой участок склона требовалось расчистить под будущий огород. Пока это был голый, засушливый кусок пустыни, из-под камней едва проступала почва. Мне поручили подбирать эти камни, складывать в корзину и выносить за пределы участка, а очистив клочок земли от крупных камней, разрыхлить его мотыгой. После пары часов такого труда ладони покрылись волдырями, голова кружилась, хоть я и накрыл ее мокрым платком, руки и ноги, казалось, выворачивали на дыбе. Лейбл, руководивший расчисткой этого поля, искоса поглядывал на меня, то и дело предлагая остановиться и передохнуть. На второй и третий день легче не стало, лишь к концу недели я понемногу начал втягиваться в рабочий ритм и научился экономить энергию на каждом движении.

Но даже когда физическое напряжение немного ослабело, работа в поле оставалась для меня пыткой. Я любил ручной труд, любил плотничать и циклевать полы, умел устанавливать розетки, и по сей день я с радостью высвобождаю денек для мелкого домашнего ремонта, но я всегда ненавидел махать киркой и лопатой (мне довелось заняться этим вновь в саперных войсках[1]). Мне противна эта рутина, к тому же такая работа не имеет конца, никогда не дает чувства удовлетворения от хорошо и

1. В Англии, во время Второй мировой войны.

правильно сделанного дела. Однако от молодого члена общины требовалась только работа в поле; строительство и квалифицированный труд оставались привилегией людей постарше, специалистов.

Испытательный срок длился четыре или пять недель. Я изо всех сил скрывал свое отвращение к лопате, неуклюжей, ржавой лопате, совсем не похожей на блистательный символ свободы из моих снов, однако в маленькой общине, где каждый живет у всех на глазах, ничего невозможно утаить: мимолетное настроение, тут же испарившееся недовольство, как и первые признаки взаимного расположения или неприязни сразу становятся общим достоянием. Это происходит не из-за сплетен и не потому, что люди следят друг за другом, — просто в столь тесно сплоченном коллективе просыпается шестое чувство. Все индивидуальные отклонения и сотрясения как бы фиксируются сейсмографом. У члена общины возникает странное ощущение собственной прозрачности, как будто его просвечивают рентгеновскими лучами, а спрятаться негде. Рано или поздно это приводит к психологическому кризису. Примерно половина поселенцев, не выдержав такого напряжения, на второй или третий год покидает квуцу; оставшиеся так или иначе приспосабливаются. Проходит еще несколько лет, и они уже не представляют себе иной жизни.

Возможно, через несколько месяцев я бы привык копать землю, но с самого начала я не смог скрыть своего разочарования; кроме того, я сразу же высказал намерение остаться лишь на некоторое время — это считалось проявлением "мирского" легкомыслия; против меня говорила и моя политическая ориентация, а на каждое место в квуце претендовало три или четыре соискателя. Коллективные поселения придерживались крайне левой позиции, Жаботинского[1] считали милитаристом, его партию — фашистской.

Испытательный срок закончился, и Лейбл мягко и сочувственно объявил мне, что общее собрание предпочло двух других кандидатов, по физическому и душевному складу более пригодных для жизни в квуце. Я воспринял это известие со смешанным чувством — огорчения и тайного облегчения. Все трудности, о которых я говорил раньше, были вполне реальными, но, если б я впрямь чувствовал призвание, я бы их преодолел; с другой стороны, я испытывал мучительное разочарование из-за крушения своих планов, и хотя было ясно, что я совершенно не гожусь для такой жизни, мне и сейчас горько вспоминать, как я провалился.

Гордыня моя страдала, но не в меньшей степени было задето и сердце — за несколько недель я успел глубоко привязаться к Лейблу, Гютигу и многим другим и подпал под странное очарование жизни в квуце. Трудно передать, в чем состояла притягательность этой жизни. В тот ранний период квуца казалась чем-то вроде социалистического монастыря и одновременно это было романтическое приключение, освоение диких земель. Невозможно забыть ночной дозор у подножия горы Гелвуй, при свете луны, со старой винтовкой в руках, или блаженные мирные субботние утра, роскошь отдыха, чистой рубашки из общественной прачечной и мяса на обед; поразительное чувство, что ты пускаешь корни в необжитых прежде местах, что ты срастаешься с людьми и эти связи приобретают неведомое ранее качество — они, словно лианы, оплетают

1. Партия Жаботинского призывала к активным действиям для создания еврейского государства.

разрозненные деревья, превращая их в неразделимое живое единство. Уверен, со времен ранних христианских общин не возникало столь удивительного братства, как эти первые коммуны Палестины.

Жизнь в квуце означала существование в условиях героической нищеты и жестокой борьбы на грани человеческих возможностей. Так было тогда, а в некоторых областях Палестины, например в пустыне Негев, так обстоит дело и по сей день. Отсутствовали все удобства, все атрибуты обычного общества. Поселенцев на вражеской территории не охраняла ни полиция, ни вооруженная стража — можно сказать, они держали в одной руке плуг, а в другой меч, как в эпоху Ездры, после возвращения из Вавилонского пленения. В коммуне полностью отменялись наемный труд, частная собственность и деньги. Член общины работал на пределе своих сил и получал за труд лишь самое необходимое: ему предоставляли крышу над головой, кормили, снабжали мылом и зубной щеткой, рабочей одеждой, книгами для чтения, почтовыми марками и презервативами — все это имелось на складе. Дети воспитывались под присмотром нянь и учителей в построенном общиной интернате. Деньги имелись только у казначея и предназначались исключительно для расчетов с внешним миром, но и эти расчеты в основном велись на бумаге — необходимые общине товары закупались в кредит в кооперативных магазинах еврейских профсоюзов, а продукция, произведенная в квуце, продавалась другому отделению той же кооперативной организации. Дети, рожденные и воспитанные в поселении, в глаза не видели ни банкнот, ни монет, они буквально не имели понятия о стоимости денег и не умели с ними обращаться.

Обитатели квуцы все больше отдалялись от реального мира. Жизнь здесь была нелегка, но зато они не испытывали ни финансовых забот, ни тревог и напряжения нормального социума. Община брала на себя попечение обо всех нуждах своих членов от колыбели до могилы.

После пяти-шести лет жизни в такой сложной и искусственной среде многие обитатели квуцы утрачивали способность к другим формам существования, они не могли уже выдержать конкурентную борьбу в большом мире, не могли вновь адаптироваться к его правилам и социальным структурам, к его проблемам и отсутствию надежности. Как ни парадоксально, эти люди чем-то напоминали пациентов туберкулезного санатория, птиц с подрезанными крыльями, не способных покинуть свое надежное убежище.

В ту пору, когда я побывал в квуце Хефтсеба, в Палестине насчитывалось два-три десятка коллективных поселений. После провозглашения независимости Израиля их было уже около ста двадцати, сейчас, когда пишутся эти строки, число поселений перевалило за двести. В отличие от других утопических прожектов, которые в скором времени разваливались, — начиная с "Солнечного Города" Спартака и кончая "Новой Гармонией" последователей Оуэна, — палестинские коммуны сумели превратиться в стабильные сельские хозяйства. В старейших поселениях появилось на свет уже третье поколение. Поистине самое поразительное в квуце — это то, что она уцелела.

И все же не стоит преувеличивать социальное значение этого уникального опыта и превращать его в модель для массовых экспериментов. Коллективные хозяйства создавались элитой переселенцев, добровольцами, сознательно принимавшими все тяготы такого существования. Организовать нечто подобное с помощью принуждения немыслимо, это все

равно что силой загнать большую часть населения страны в монастырь. Даже добровольцам с их пылкой самоотверженностью пришлось пойти на уступки и несколько смягчить первоначальный, крайне суровый устав. За сорок лет, прошедших с тех пор, как в Даганье, на берегу Тивериадского озера, была основана первая коммуна, в устройстве квуцы произошли заметные перемены. Теперь ее членам разрешено обладать кое-какой личной собственностью, одеждой, радиоприемниками, бытовыми приборами; в большинстве коммун малыши могут жить с родителями, а не в интернате. Некоторые поселения не только занимаются обработкой земли, но и строят заводы, устраивают ремесленные мастерские, другие выделяют работникам карманные деньги и позволяют использовать их по собственному усмотрению. Кое-где появляются смешанные формы, нечто среднее между коммуной и фермерским кооперативом. Но эти перемены никак не умаляют достижения пионеров — их ценности, их энтузиазм воодушевляли нарождавшуюся нацию Израиля.

После несостоявшейся попытки влиться в поселение у подножия горы Гелвуй я много раз возвращался в Хефтсебу, посещал другие общины. С самого начала я мечтал написать повесть о жизни в квуце, но осуществилась эта идея лишь двадцать лет спустя ("Воры в ночи", 1945). On revient toujours a son premier amours, мы всегда возвращаемся к своей первой любви — это относится и к писателям, и к их замыслам...

Для меня начался период голода и нищеты, продлившийся около года...

Наконец, в сентябре 1927-го, незадолго до того, как мне исполнилось 22 года, у меня появился шанс обрести постоянную профессиональную работу. Фон Вайзль[1] получил новое назначение — Ульштайны посылали его в экспедицию по Индии, Малайе и Дальнему Востоку. На какое-то время должность фон Вайзля в Иерусалиме оставалась вакантной. Вайзль предложил своему начальству направить туда меня. <...>

Прощание с Иерусалимом

Иерусалимская тоска — эндемическое заболевание, как багдадские фурункулы. Недуг этот порождает трагическая красота и нечеловеческое величие города. Иерусалим прекрасен надменной и одинокой красой горной крепости, высящейся среди пустыни, он трагичен без катарсиса. Гневное лицо Иеговы склоняется над раскаленными скалами, видевшими больше насилия, грабежа и убийств во имя веры, нежели любое другое место на земле. Обитатели Иерусалима отравлены святостью. Иосиф Флавий, служивший здесь жрецом и томившийся иерусалимской тоской, написал загадочную фразу: "Тяжко соединение смертного с божественным". Население города весьма пестро, но все части этой мозаики враждебны друг другу и вздорны. Хуже всего священство: что мусульманское, что христианское, что иудейское. В бытность мою в Иерусалиме муллы в среднем дважды в год призывали к кровавой бойне. Во время Рамадана миролюбивый араб утром в пятницу обменивался шутками со своими жильцами-евреями, потом шел в мечеть, слушал про-

1. Фон Вайзль, как и Кёстлер, был членом студенческого братства "Унитас", активным участником движения сионистов-ревизионистов. Он работал корреспондентом Ульштайнов (владельцев крупнейшего газетного концерна Германии) на Ближнем Востоке и, встретившись там с Кёстлером, помог ему с работой и всячески поддерживал его.

поведь имама, мчался домой, хватал кухонный нож и вырезал всю еврейскую семью, не исключая и младенцев. Православные, католические, сирийские, коптские, армянские священники и представители прочих конфессий вели тяжбы из-за привилегии греческих священников устанавливать лестницу на полу армянской часовни, чтобы вычистить верхнюю часть часовни в храме Рождества Христова в Вифлееме; они спорили, должны ли греки натянуть занавес, прикрепленный к гвоздику номер два у подножия столба, стоящего к юго-востоку от левого ряда ступеней, ведущих к яслям, или позволить занавесу ниспадать естественными складками (оба примера совершенно подлинные, могу добавить еще предписание: "Римляне должны вешать свой занавес на тот же столб естественными складками, оставляя зазор в шестнадцать сантиметров между ним и занавесом православных").

Еврейское священство воевало с мусульманами за право прохода к Стене плача, но не могло прийти к согласию между собой относительно верного способа совершать жертвоприношение; кроме того, по их наущению ортодоксальные юнцы, защищая святость субботы, колотили безбожников, осмелившихся закурить на улице, и швыряли камнями в проезжавшие автомобили.

Политическая атмосфера также была пропитана ядом. Клан Хуссейни истреблял представителей клана Нашашиби, но на время очередного погрома они объединялись для избиения евреев; еврейские партии ненавидели друг друга, англичан и арабов — именно в такой последовательности, — английские сахибы (здесь они именовались "хаваджас") держались, как это свойственно английским сахибам.

В Иерусалиме не существовало ночных клубов, кафе, вечеринок с коктейлями, вообще никакой ночной жизни. Люди держались замкнуто, каждый — в своей общине, клане или партии. Жестокий, фарисейский город, исполненный ненависти, недоверия и поддельных святынь. Я жил на улице Пророков, 29, в пяти минутах ходьбы от Крестного пути, и на таком же расстоянии от мечети Омара, где за шиллинг посетителям показывали след, оставленный на скале стопой архангела Джебраила. Никогда я не обретался в столь тесном соседстве со святостью и так далеко от нее. Вся изуверская история этого города, от Давида до Ирода, от Пилата до крестоносцев, от Тита до Глабба и Бернадотта[1], — свидетельство разрушительного влияния религии, неспособности человека договориться с божеством, крайне неприятных последствий "соединения божественного и человеческого". Иерусалимская тоска — поражение и отчаяние, надменное молчание пустыни, пересохшие водостоки, потрескавшаяся скала.

В социальном отношении мое положение было непростым. Я представлял известный газетный концерн, и это придавало мне определенный вес; я писал фантастическое количество статей для множества ульштайновских газет, и мои доходы быстро росли. Через год работодатели по-

1. Тит Флавий Веспасиан (39—81) — римский император с 79-го года, сын императора Веспасиана, в 70-м подавил иудейское восстание и разрушил Иерусалим. Упоминая Глабба и Бернадотта, Кёстлер существенно забегает вперед по сравнению с описываемым им периодом: шведский граф Фольке Бернадотт, представитель ООН в Палестине, был застрелен еврейскими террористами 17 сентября 1948 г. Джон Б. Глабб (1897—1986), или Глабб-паша, с 1939 г. возглавлял Арабский легион. Из туземной полиции на службе англичан он превратил легион в национальную армию Трансиордании, воевавшую в 1948 г. и позднее с только что созданным Израилем.

высили мне гарантированную зарплату с двухсот до семисот марок, а вместе с гонорарами я получал около тысячи — большая сумма по ближневосточным меркам середины 20-х годов. Хотя мне приходилось содержать родителей, этих денег хватало на весьма комфортное существование. Однако, будучи приверженцем ревизионистской оппозиции, я подвергался бойкоту со стороны сионистской бюрократии и местного еврейского истеблишмента; в качестве сиониста я не мог общаться с арабами; а статус иностранца не позволял мне вступать в британские клубы или вращаться в кругу британской колониальной администрации. Тем не менее от одиночества я не страдал. У меня было несколько друзей в Иерусалиме, мы катались верхом по Иудейской пустыне, ездили по ночам на осликах, выходные я проводил в веселом Тель-Авиве. Еще у меня была Джесси, первая из множества моих собак: немецких овчарок, колли, боксеров и сенбернаров. Я часто ездил в Галилею и соседние страны.

Я вел репортажи из Палестины, Египта, Трансиордании (ныне просто Иордания), Ирака, Сирии и Ливана, а также заочно описывал события в Саудовском королевстве. С осени 1927 года и до перевода в Париж двумя годами позднее я писал еженедельно по три большие статьи для нескольких газет и журналов, принадлежавших Ульштайнам. Примерно половину составляли политические статьи, остальное — путевые очерки и эссе о "королях и капусте", о еврейском театре и о борделях Бейрута, о византийских мозаиках и бедуинском костюме, о царице Савской и о добыче поташа на Мертвом море. Одна из этих статей, увы, рассыпавшихся в прах в Публичной библиотеке Нью-Йорка, была посвящена удивительным приключениям Джесси (полное имя — Джессика Ковач де Ковачхази), приведшим к аресту банды, прозванной "Черной рукой Иерусалима".

Джесси оказалась первой овчаркой, попавшей в Иерусалим, и сделалась знаменитостью. (Кроме нее в Палестине — в Тель-Авиве — в ту пору проживала лишь одна овчарка, убогое, вульгарное существо по кличке Паша.) Я привез Джесси из Будапешта, возвращаясь из своего первого европейского отпуска. Вообще-то я собирался привезти из Европы жену, которая помогла бы мне одолеть иерусалимскую тоску, но намеченная мной невеста в последний момент заявила, что боится москитов и арабов, и предпочла мне дантиста из югославской Суботицы (не знаю, как насчет арабов, а москиты там пострашнее палестинских)...

В 1928 году Жаботинский наведался в Иерусалим и принял под свой контроль старейшую газету на иврите "Доар хаймом" ("Ежедневная почта"). Я стал членом редколлегии и писал еженедельную колонку международных новостей, однако куда больше занимал меня другой раздел газеты: еврейская пресса была невыносимо провинциальной и напыщенной, и я мечтал придать нашему изданию более человеческий, европейский, светский дух, сократить уксусно-кислую полемику, а вместо нее давать факты и новости, бороться, бороться с иерусалимской тоской. Среди прочих мер я предложил сделать страничку выходного дня, целиком посвященную развлечениям: загадкам, анекдотам, конкурсам, акростихам, шахматам. Жабо согласился и поручил мне выпуск этого приложения. Фривольное нововведение пользовалось успехом в Святом Граде, несмотря на мою оплошность: в первом выпуске я напечатал двадцать вопросов, позаимствованных из ульштайновского журнала "Уху" ("Филин"). В следующем номере я посулил опубликовать ответы,

но ухитрился куда-то задевать журнал, из которого мне следовало эти ответы переписать, и никакими силами не мог раздобыть другой экземпляр. С большинством вопросов типа "Какова длина Великой Китайской стены?" или "Кто изобрел липучку от мух?" мне помогла сладить энциклопедия, но в двух-трех случаях пришлось высасывать сведения из пальца. Один из этих вопросов до сих пор преследует меня в кошмарных снах: "Какие грызуны живут дольше всех?" Я обращался в Еврейский университет, в Сельскохозяйственный отдел Сионистского комитета и к молодой англичанке, увлекавшейся орнитологией, но они ничего об этом не знали, так что я своей волей назначил в долгожители белку. Никто не оспорил сей научный факт.

Успех развлекательной странички подогрел мои амбиции, и я решился ввести в еврейскую среду кроссворд. Сделать это было непросто, ведь еврейский алфавит состоит исключительно из согласных; гласные появились только в VI или VII в. н. э. и не использовались ни на письме, ни в печати — только в букварях, да и то под согласными, а не в одном ряду с ними. Итак, еврейские кроссворды можно было построить только из согласных, что чрезвычайно осложняло как их сочинение, так и разгадку. Я связался с молодым евреем-лингвистом, увлекшимся этой проблемой, и вместе мы создали первые шесть образчиков этого жанра. Возникла еще одна проблема: как их назвать. В Иерусалиме слово "кроссворд" — "крестословица" — вызвало бы всеобщее возмущение, ортодоксы не дали бы нам житья. Перед этой опасностью дрогнул даже Жабо. Мы назвали их hidud hamo'akh' — "акробатика для ума". Я до конца жизни буду гордиться тем, что оказался одним из отцов еврейского кроссворда.

И все же, несмотря на подобные развлечения, я все больше уставал от Палестины. Сионизм в 1929 году застыл на мертвой точке, иммиграция почти прекратилась, а чудовище нацизма, которому предстояло превратить этот тоненький ручеек в неостановимый поток, еще таилось в темной утробе будущего.

Я приехал в Палестину юным энтузиастом, поддавшимся романтическим побуждениям, но вместо утопии обнаружил реальность, весьма, надо сказать, сложную — и привлекательную, и отталкивающую; но постепенно отталкивание стало сильнее, и причиной тому был еврейский язык — устаревшее, окаменевшее наречие, давно переставшее развиваться, заброшенное самими евреями задолго до нашей эры — во времена Христа они говорили по-арамейски, — а теперь насильственно возрождавшееся. Архаическая структура и древний словарь совершенно не годились для выражения современной мысли, для передачи оттенков чувств и смыслов, важных человеку XX века. Используя иврит в качестве официального языка, маленькая еврейская община Палестины отрезала себя не только от западной цивилизации, но от собственного культурного прошлого.

Я понимал: переход на иврит для меня означает духовное самоубийство. Я довел свою лояльность по отношению к сионизму до того, что принял палестинское гражданство и оформил палестинский паспорт. В то время мало кто из сионистов отваживался на подобный шаг, даже доктор Вейцман[1] сдал британский паспорт только после своего избрания президентом Израиля. Я мог отказаться от европейского гражданства,

1. Хаим Вейцман (1874—1952) стоял у истоков сионистского движения. В 1948 г. стал первым президентом Израиля.

но не от европейской культуры. Я был романтическим идиотом, влюбленным в иррациональное, но тут меня оберегал инстинкт. Я знал, что в среде, говорящей на еврейском языке, я всегда останусь чужаком и при этом постепенно утрачу связь с европейской культурой. Я уехал из Европы в возрасте двадцати лет, теперь мне исполнилось двадцать три, и я досыта наелся Востоком — и арабской романтикой, и еврейской мистики. Мои разум и дух жаждали Европы, томились по Европе, стремились домой.

Очередной отпуск приходился на июнь 1929-го. Я решил после отпуска не возвращаться в Иерусалим. Я не просил своих работодателей о переводе заблаговременно, страшась отказа: теперь я считался специалистом по Ближнему Востоку, и им, конечно, было бы удобнее там меня и оставить. Я решил поставить их перед фактом, рискнуть — пан или пропал: либо они предоставят мне другую работу, либо начну все с нуля. Вновь проявилась склонность сжигать мосты...

В Берлине я оставил багаж в камере хранения и направился к своему шефу, главе новостного агентства Ульштайнов Магнусу. От исхода этих переговоров зависело, в какой гостинице я поселюсь — в дорогой или дешевой.

Я заявил Магнусу, что готов уйти из концерна, лишь бы не возвращаться в Иерусалим. Он вроде бы и не удивился, просто кивнул, словно чего-то подобного и ожидал, суховато усмехнулся и предложил:

— Если вы пресытились святостью, не подойдет ли вам Париж?

В последующие годы мой интерес к сионизму увял, я был поглощен более широкими социальными проблемами.

Но тринадцать лет спустя настал день, когда заработали газовые камеры и крематории Гитлера, и мне пришлось с горечью вспомнить о первой, покинутой любви. <...>

В *эпицентре магнитной бури*

Новая моя работа так же резко отличалась от прежней, как окружавший меня нынче пейзаж: в Иерусалиме я был сам себе голова, в Париже подчинялся боссу и отсиживал на работе строго определенные часы. С другой стороны, Ближний Восток считался тогда задворками, а Париж — центром политической жизни Европы.

Концерн Ульштайнов в Париже представлял Лео Шталь. Он был старше меня примерно двадцатью годами... Широкоплечий, тяжеловесный баварец иудейского вероисповедания, ветеран Первой мировой войны, наградившей его хромотой и железным крестом... Скрупулезно честный, до педантичности обязательный работник, однако, к несчастью, не столько журналист, сколько бюрократ. Атмосфера в нашей редакции заметно отдавала интернатом или казармой...

Шталь отнюдь не был тираном или придирой, из каждой поездки в Берлин он возвращался с очередной прибавкой к жалованию для своих подчиненных, однако журналистику он полностью сводил к канцелярской службе. Он запирал нас на весь день в конторе. Что бы ни творилось во Франции, Шталь не считал нужным вести репортаж с места события — нам следовало лишь пролистывать французские газеты и бюллетени пресс-агентств, делать выжимки и перелагать их сообщения. За год службы в Париже мне лишь один раз — и то после трех месяцев

работы — довелось присутствовать на заседании парламента, хотя я ежедневно описывал и комментировал происходившие там прения...

По утрам в 3.45 я выпивал в одном из ночных бистро между Биржей и Центральным рынком кружку кофе с ромом и закусывал круассаном. Я исполнял этот обряд, что бы мне ни пришлось съесть или выпить во время ночного дежурства, поскольку завтрак символизировал начало нормального рабочего дня. Ради столь раннего часа я позволял себе глоток рома — в сочетании с обжигающим, черным, как смола, кофе-эспрессо он оживлял и приводил в порядок нервы.

В бистро толпились разносчики газет, грузчики с рынка, мусорщики. Они завтракали стаканом перно с маленькой чесночной сосиской. Я не мог оторваться от этого зрелища: полусонный человек дрожащей рукой подносит ко рту стакан зеленовато-желтой жидкости, и после первого же глотка дрожь исчезает, человек как будто заряжается силой, энергией на весь трудный день. Это казалось колдовством. По-настоящему, кофе и круассанами, эти люди завтракали час или два спустя...

В начале пятого разносчик из "Ашетт" приносил шестнадцать главных утренних газет, хранивших запах типографской краски. За пятьдесят минут я пролистывал их, переваривал, размечал, делал вырезки. У меня оставалось еще примерно столько же времени, чтобы подготовиться к девятиминутному разговору с Берлином в 5.45, когда я должен был передать репортаж не менее чем в тысячу слов. То был настоящий акробатический трюк — ведь в эту тысячу слов я втискивал полный обзор деятельности различных французских партий, причем как во внутренней политике, так и на международной арене...

В 6.45 я диктовал по телефону еще семьсот слов — преимущественно новости (уже без комментариев), мелочовку, смесь. В 7.30 — третий и последний утренний звонок в Берлин, на сей раз конфиденциальный, не в концерн Ульштайнов, а в агентство новостей Социал-демократической партии Германии, ибо втайне все парижские корреспонденты либерально-капиталистического треста Ульштайнов являлись также корреспондентами агентства новостей социал-демократической партии. Втайне, разумеется, только от внешнего мира и от читателей, а так и Ульштайны, и социалисты были в курсе этого занятного соглашения: с 6.45 до 7.30 из буржуазного корреспондента я превращался в социалистического и передавал в "Социалистишер прессединст" сокращенную и должным образом окрашенную версию своего репортажа.

Для заграничного корреспондента нет ничего необычного, а уж тем более постыдного в работе на несколько газет более или менее различной политической ориентации — лишь бы они не были откровенно враждебны друг другу, ведь немногие органы печати могут содержать во всех столицах мира штатных журналистов на полном окладе. Но в данном случае покровительственно-небрежно, точно к бедному родственнику, мы относились к Социал-демократической партии Германии, в ту пору сильнейшей из немецких партий. Я упоминаю об этом, чтобы подчеркнуть нелепость ситуации: такая мощная партия — и не может содержать в Париже собственного корреспондента. Однако это было типично для социалистов всего мира, и тут одна из причин их упадка и гибели.

За последние тридцать лет немецкие, австрийские, французские и британские социал-демократы не раз приходили к власти либо как абсо-

лютное парламентское большинство, либо в коалиции с союзниками, но никому из них не удалось создать полноценную ежедневную газету с массовым тиражом — и британская "Дейли геральд", и французская "Популэр", и немецкая "Форвертс" оставались занудно-провинциальными партийными листками и не могли конкурировать с газетами политических оппонентов даже в ту пору, когда эти оппоненты терпели поражение и превращались в меньшинство. Полагаю, вся беда в недостатке воображения, а главное — в недостатке человеческого отношения к людям. Социал-бюрократы видят в "народе" лишь объект своей пропаганды, а не живых людей, с собственными вкусами, интересами, предрассудками, которые нужно понимать и разделять, если хочешь преобразить мир. Хотя большинство социалистических лидеров "вышли из народа", они больше не принадлежат к народу, они стремятся контролировать людей, манипулировать ими, не отождествляя с ними себя. Интонация их больше всего годится для памфлета или лекции, а такой язык современное человечество не воспринимает. "Дейли геральд", "Популэр" и "Форвертс" так и не освободились из плена этой мертвящей традиции. Социалисты смогли изменить закон-другой, реформировать какие-то учреждения, но не атмосферу, не мировоззрение людей, которыми они правили, и в результате социал-демократия оказалась исторически обречена.

Едва ли я столь отчетливо понимал это, когда, засыпая на ходу, наборматывал в телефон свой репортаж для социалистического пресс-агентства в Берлине, однако особого усердия при исполнении этой части своих обязанностей я не проявлял, и даже педантичный Шталь не требовал от меня письменной копии материала, переданного бедным родственникам. Невозможно было уважать партию, столь мало уважавшую самое себя и здравый смысл своих приверженцев. Эта партия не понимала, что пресса — это власть, ей было наплевать, какую второсортную чушь ее газеты скормят народу — главное, чтобы на первой полосе красовались партийные лозунги. Тогда я еще не сопоставлял преимущества социалистического и коммунистического движения, однако, обслуживая в качестве корреспондента социалистическую партию, я ощущал исходившую от нее апатию, близкую к застою и предвещавшую ей печальную судьбу.

Наши сообщения в целом были честными и добросовестными, в соответствии с великой либеральной традицией, которую Ульштайны отстаивали на протяжении почти столетия. По-моему, я ни разу не вставил в статью или в новости злонамеренную ложь. Разумеется, практически каждое сообщение из парижского корпункта имело подобающий политический и мировоззренческий оттенок, однако оттенок сугубо достойный, "прогрессивный". В этом отношении мы со Шталем жили душа в душу.

Как ни странно, о политике мы не говорили, впрочем, этого и не требовалось, поскольку мы оба инстинктивно придерживались одних и тех же взглядов. Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, мы принадлежали к одной эпохе, к одной и той же среде: оба — уроженцы Центральной Европы, вскормленные немецкой культурой; мы поддерживали Веймарскую республику, однако, благодаря наследственной примеси иудейского космополитизма, были совершенно чужды германскому шовинизму. Мы пылко выступали против войны, про-

тив милитаризма, против реакции, за "Локарно" и "Рапалло", то есть за франко-германское и российско-германское сотрудничество, за Пакт Келлога, ставивший войну вне закона, за Лигу Наций, карающую любого агрессора, за "объединенную Европу" Бриана[1]. Мы прохладно относились к Британии, провинившейся перед нами тем, что она оставалась колониальной империей (как, впрочем, и Франция, но кто воспринимал ее всерьез?), и тем, что она своей "макиавеллиевской политикой 'разделяй и властвуй'" препятствовала объединению Европы. Мы верили в национальное самоопределение. освобождение колониальных народов и социальный прогресс.

Прогресс воплощался в "левых силах" — либералах, социалистах и коммунистах, различавшихся лишь степенью, а не характером своей "прогрессивности". Ульштайны официально поддерживали демократическую партию Германии, однако ее благонамеренный либерализм казался несколько устаревшим. По своей политической программе ближе всего нам были социалисты, но эти филистимляне вызывали у нас сочувствие, смешанное с презрением. Коммунисты Германии и Франции много шумели и суетились, и все же их бескомпромиссный радикализм производил сильное впечатление, да и за спиной у них стояла Россия, "Великий Социальный Эксперимент", который мы считали своим долгом изучать непредвзято и даже с симпатией. Словом, мы, безусловно, сражались на стороне добра.

Отстаивая свои взгляды, мы вступали в благородные, рыцарские битвы. Мы боролись за всеобщее разоружение и за общеевропейскую полицию под эгидой Лиги Наций; мы боролись против вздорных притязаний союзников на репарации, которыми союзники придавили юную Веймарскую республику и тем лишь играли на руку националистам и реваншистам. Мы обличали идиотизм победителей: у них еще оставался шанс построить новую Европу, а они вновь предались пустой вражде, самоубийственным раздорам, которым пора уже было отойти в прошлое. О да, мы были людьми в высшей степени просвещенными и разумными, вот только мы не заметили, как закончился Век Разума и Просвещения.

Иногда космический вихрь вызывает магнитную бурю на земле, но человек не обладает органом чувств, способным уловить эти бури, моряки не знают, почему их компасы сошли с ума. Так и мы жили в эпицентре магнитной бури, но ничего не заметили. Мы вели словесные битвы и не видели, что привычные слова утратили прежний смысл и ведут нас в ложном направлении. Торжественно, точно молитву, мы повторяли слово "демократия", а через считанные годы крупнейшая нация Европы с помощью сугубо демократической процедуры облекла властью своих губителей. Мы обожествляли Волю Масс, а их воля клонилась к убийству и самоубийству. Мы считали капитализм пережитком и с радостью бы заменили его новейшей формой рабства. Мы проповедовали широту взглядов и терпимость и были терпимы к тому злу, которое уничтожало

1. В Рапалло (1922) был подписан договор о восстановлении дипломатических отношений между Германией и Россией. Локарнский пакт (1925), гарантами которого выступил ряд государств Европы, предусматривал неизменность границ между Германией и Францией (а также Бельгией) и сохранение демилитаризованной Рейнской зоны. Фрэнк Б. Келлог (1856—1937) — госсекретарь США (1925—1929). Вместе с Брианом составил Пакт Келлога—Бриана об отказе от войны как орудия межнациональной политики. Аристид Бриан (1862—1932) — французский социалист, между 1925-м и 1932-м одиннадцать раз занимал должность премьер-министра. Отстаивал проект "объединенной Европы". Лауреат Нобелевской премии мира.

нашу цивилизацию. Наш социальный прогресс обернулся лагерями рабского труда, наш либерализм превратил нас в пособников тиранов и угнетателей, наше миролюбие поощряло агрессию и новую войну.

У нас есть только одно оправдание: мы не подозревали, что живем в эпицентре магнитной бури, что компасы наших слов, так надежно служившие в прошлом, теперь указывают ложный путь...

Черная пятница 29 октября 1929-го разразилась вскоре после моего переезда в Париж. Мы почти не обратили внимания на это событие. Понадобилось несколько месяцев, чтобы его отголоски достигли другого берега Атлантики, но как только на Европу обрушилась первая ударная волна, последствия не заставили себя ждать. В Германии безработица достигла отметки в семь миллионов человек — каждый третий из трудоспособного населения. В той же пропорции возросло влияние национал-социалистов. Основы были потрясены, гибель Европы была уже недалека, но в наших репортажах из Парижа крах Нью-Йоркской биржи едва ли вообще упоминался. В нашей конторе на улице Паскьер мы принимали его за очередной финансовый кризис и не видели, что начался кризис нашей цивилизации.

Портрет автора в возрасте двадцати пяти лет

В промежутках между напряженной работой в редакции и ночными сменами я писал каждый месяц очерк-другой для "Фоссише цайтунг" — о сюрреалистическом кино (только что вышел на экраны фильм Бунюэля "Андалусский пес", ставший классикой), о фантастических скандалах вокруг "Газетт дю Франс" и столь же фантастическом исчезновении белого генерала Кутепова (будучи добрым прогрессистом, я, разумеется, не верил, будто генерала похитило ГПУ). Писал я и о знаменитом театре марионеток Пикколи, которым увлекался какое-то время, о весне в Париже и первых шагах французского звукового кино, о новой книге Метерлинка и о теории света, принесшей герцогу де Бройлю Нобелевскую премию 1929 года по физике.

Последняя статья существенно повлияла на мою судьбу. Я явился к де Бройлю через час после того, как в редакцию пришла молния из Стокгольма. Сам он еще не получил подтверждения, что стал лауреатом. Герцог ликовал, как мальчишка, и не пытался скрыть свой восторг. Он дважды переспросил меня: "Вы уверены, это не ошибка?" До меня ему успели позвонить еще два журналиста, задававшие идиотские вопросы насчет пятен на солнце и лучей смерти, так что де Бройль очень обрадовался, убедившись, что я в свое время изучал физику и сохранил глубокий интерес к этой науке. Мы проговорили три или четыре часа. Де Бройлю было тогда около тридцати семи лет, в этом человеке гений удивительно сочетался с личным обаянием. После этой встречи я ночь напролет исступленно проработал и написал свою статью — популярное изложение той революции в науке и философии, которую несла с собой теория волновой механики Бройля—Шрёдингера. Через несколько дней статья вышла в "Фоссише цайтунг", ее прочел доктор Франц Ульштайн, старший партнер концерна. Он решил, что мне следует работать именно в научно-популярной журналистике...

Профессор Йоэль, научный редактор "Фоссише цайтунг", уходил на пенсию, и по настоянию Франца я сделался его преемником. Прорабо-

тав год в Париже, в сентябре 1930-го я получил новую должность в Берлине.

Наступил период быстрого профессионального роста, я стал научным редактором самой уважаемой газеты Германии и научным консультантом всего огромного треста Ульштайнов. Спустя год к этому прибавилась должность иностранного редактора "Б. Ц. ам миттаг". Мой доход составлял две тысячи марок в месяц, то есть за четыре года он возрос вдесятеро и практически достигал максимума, возможного по тем временам для журналиста в Германии.

Закат либерализма

В Берлин я приехал 14 сентября 1930 года, в день роковых выборов в рейхстаг...

До 14 сентября у партии национал-социалистов было 12 мест в германском парламенте; в этот день она получила 107 мандатов. Партии центра были сокрушены, демократическая партия практически перестала существовать. Социалисты потеряли 9 мандатов. У коммунистов прирост голосов составил 40 %, у нацистов – 80 %. Конец надвигался. Развязка наступила спустя два с половиной года.

На следующий день после выборов я начал работать в огромном здании на Кохштрассе. Люди еще не пришли в себя от потрясения. Я нанес визит вежливости редакторам четырех ежедневных газет и дюжины еженедельников – их кабинеты располагались на втором и третьем этажах похожего на лабиринт офиса. Мне вяло пожимали руку, глядели растерянно. Кто-то с кислой усмешкой спросил: "Чего ради вы уехали из Парижа?" Появление нового научного редактора в такой момент казалось вопиющей бессмыслицей.

Через несколько дней паника улеглась, и на Кохштрассе, как и повсюду в Германии, люди вернулись к обыденным делам, уже не замечая, что страна превратилась в бомбу замедленного действия. Мы то слышали, как тикает часовой механизм, отсчитывая нам последние минуты, то забывали о нем. Ко всему привыкаешь, а этот процесс растянулся на два с половиной года. (То же самое происходит сейчас, в 1951 году, когда я пишу эти строки. Часы тикают, но мы уже не воспринимаем этот звук. Еще два-три года, чуть больше или чуть меньше.)

Большую часть служащих в концерне Ульштайнов составляли евреи. Остальных ждала не лучшая участь: доктор Геббельс ненавидел "банду Ульштайнов". Мы были воплощением всего, с чем он воевал: "безродного космополитизма", "иудео-пацифизма", "плуто-демократии", "западного декаданса" и "площадного журнализма". Mutatis mutandis[1]...

Каждый реагировал на приближавшуюся катастрофу в соответствии со своим темпераментом. Были среди нас и профессиональные оптимисты, и оптимисты от природы. Первые обманывали читателей, вторые – самих себя. Одни говорили: "До такого дойти не может"; другие говорили: "Они слишком слабы, они ни на что не решатся"; третьи: "Наци слишком сильны, надо им кинуть кость"; четвертые твердили: "Вы боитесь призраков, у вас мания преследования, истерия"; а еще кто-нибудь присовокуплял: "Ненависть ничего не дает, надо отнестись к ним с

1. С должной поправкой (*лат.*).

сочувствием и пониманием"; и, наконец, многие тупо повторяли: "Я просто не могу в это поверить"...

Впоследствии все спрашивали себя: как мы могли быть такими глупцами, почему сидели сложа руки, ведь исход был очевиден! Вот ответ: все это длилось два с половиной года, были приливы и отливы, человеческое воображение довольно лениво, а потому для большинства "очевидный исход" вовсе не был заранее очевиден.

Я не дождался развязки, я уехал в Россию в июле 1932-го, через несколько дней после того, как по приказу фон Папена социал-демократическое правительство Пруссии было разогнано восемью солдатами во главе с лейтенантом. Я наблюдал лишь около двух лет агонии. В моей памяти это время сливается в нерасчлененный поток, и я уже не различаю тогдашние колебания от отчаяния к надежде и обратно, я вижу лишь неуклонный путь вниз — сперва пологий, затем все более крутой и наконец — стремглав, в бездну.

Каждая фаза распада отражалась на том предприятии по производству общественного мнения, где я работал. Тональность наших газет ощутимо менялась. В "Фоссише цайтунг" ввели постоянную рубрику, посвященную немецким меньшинствам за пределами рейха. Многие из нас впервые услышали термин "судетские немцы". Это звучало столь непривычно, провинциально, что сотрудники газеты, подшучивая, говорили друг другу: "Ты типичный судетский немец". Однако новая колонка была отнюдь не шуткой, а первым, едва заметным сдвигом от космополитической ориентации к пангерманской...

В 1932 году в концерне шли "холодные чистки". Несмотря на свое еврейское происхождение, Ульштайны пытались потихоньку, не афишируя, увеличить процент арийцев в издательстве. Насколько я помню, увольняли только евреев, а принимали в штат исключительно арийцев. Вопреки своей прежней радикально-прогрессистской тенденции, Ульштайны изгоняли радикалов, нанимая взамен "надежных" националистов...

Социал-демократические идеалы могли воплотиться в реальность в 1918 году, после распада Германской и Австрийской империй. То был единственный шанс. Старый порядок рухнул; народы капитулировавших стран были готовы к радикальным переменам — сложилась уникальная историческая ситуация. Социалисты не просто упустили эту возможность — каждый их шаг приближал гибель обеих юных республик. Достаточно было прислушаться к рокочущим, самодовольным голосам этих ораторов, чтобы утратить надежду и впасть в отчаяние. Это чувство было столь сильным — я и сейчас испытываю его, — что по сравнению с ним я ощущал в ту пору куда меньшую неприязнь к нацистам. На данной психологической особенности следует заострить внимание: она типична для всех левых и становится одной из причин заката Европы.

Разумеется, я боялся гитлеровских полчищ и ненавидел их, но то была спокойная ненависть, она не накалялась тем пламенем, которое разжигается лишь близостью к объекту ненависти. Ненависть, как и любовь, расцветает только на общей почве, при наличии единой основы. Социалисты провозглашали те же принципы, что и я; я считал их законными наследниками и хранителями иудео-христианской традиции, линии еврейских пророков, Нагорной проповеди, нравственного императива Канта, свободы, равенства и братства. Нацисты — дикари, верные своей природе, но социалисты — братья, обманувшие наше доверие...

Важно помнить, *когда* это происходило. В 1930-м прогрессивная немецкая интеллигенция прекрасно знала постыдную историю социалистической партии, но о советском режиме дурные слухи еще не просочились. Троцкого, главу оппозиции, отправили в изгнание — довольно мягкая мера, когда речь идет о революционной борьбе. Советские руководители еще не предстали перед публичным судом, никому из членов оппозиции не вынесли смертного приговора. То были идиллические дни. Чистки, террор, показательные процессы начались четыре года спустя, после убийства Кирова в декабре 1934 года...

Россия казалась нам "Великим Экспериментом". Кое-что в этой системе вызывало сомнения, кое-что заслуживало критики, но не было явных причин с порога отвергать всю систему — так поступали лишь консерваторы и реакционеры, те самые, кто придерживался благосклонного нейтралитета по отношению к итальянскому и немецкому фашизму. Среди прогрессивной интеллигенции раздавались одинокие голоса Бертрана Рассела и Герберта Уэллса, с самого начала решительно настроенных против советской власти. Таких голосов было немного, и к ним никто не прислушивался...

Одни решения мы принимаем, поддавшись благому порыву, к другим нас подталкивает отсутствие альтернативы. В результате сентябрьских выборов 1930-го либеральный средний класс предал свои убеждения и отказался от прежних идеалов. Мне казалось, что активная борьба против нацизма возможна либо в рядах социалистов, либо в рядах коммунистической партии. Сопоставляя историю этих организаций, их решимость и доблесть, приходилось исключить первый вариант и поневоле предпочесть второй.

Не я один пришел к подобному выводу. Поляризация, не оставлявшая среднего пути между опасными крайностями, нарастала с роковой неотвратимостью. Об этом красноречиво свидетельствует название тогдашнего бестселлера, книги некоего Никербокера "Германия нацистская или советская?". Не было третьей силы, не было лучшего выбора.

Психопатология неофита

В такой момент я всерьез принялся за изучение коммунистической литературы.

"Едва я дочитал 'Людвига Фейербаха' Энгельса и 'Государство и революция' Ленина, как в голове у меня что-то щелкнуло и произошел интеллектуальный взрыв. Для описания духовного экстаза, знакомого лишь новообращенным (не важно, о какой вере идет речь), слова 'я увидел свет' слишком бедны. Свет струился отовсюду, разом со всех сторон; Вселенная казалась мозаикой, все части которой одновременно, как по волшебству, встали на место. Я знал ответ на все вопросы; сомнения и конфликты ушли в проклятое прошлое, в то сразу же отдалившееся от меня прошлое, когда я прозябал в жалком невежестве, в бесцветном и бесформенном мире тех, *кто не знает*. С этой минуты ничто уже не тревожит внутреннего спокойствия посвященного — разве что накатывающий порой страх утратить веру, ибо лишь она придает жизни смысл — утратив ее, окажешься вновь 'во тьме внешней, где плач и скрежет зубов'".

Так я писал в статье, вошедшей в сборник "Бог, обманувший надежды". Шесть авторов этой книги (кроме меня, еще Луис Фишер, Андре

Жид, Игнацио Силоне, Стивен Спендер и Ричард Райт), отошедшие от веры в коммунизм, пытались проанализировать путь, в свое время приведший их к принятию этой религии. Перечитав книгу, я убедился, что ни один из ее создателей так и не сумел исчерпывающе ответить на ключевой вопрос нашей эпохи, постичь, отчего мир раскололся на два враждебных лагеря, устремившись, по-видимому, к своей гибели. На этих страницах я попытаюсь продолжить анализ причин, сделавших столь притягательным учение Маркса–Ленина–Сталина.

Первый и главный результат воздействия на меня марксизма я могу описать только так: сам того не заметив, я перешел из открытого интеллектуального пространства в замкнутую логическую систему. Марксизм – это закрытая система (как и фрейдизм, и католичество), то есть это, во-первых, некий универсальный метод, притязающий на объяснение всех на свете явлений и на решение всех пугающих человечество проблем; далее, закрытая система не модифицируется в соответствии со вновь обнаруженными фактами, а вырабатывает достаточно эластичные средства для нейтрализации этих фактов и с помощью высокоразвитой казуистики подчиняет их заданной схеме; и, в-третьих, как только вы вступаете в магический круг замкнутой системы, вы лишаетесь почвы для самостоятельного диалога с ней.

Последний пункт заслуживает пояснения. К примеру, попав в замкнутую систему фрейдизма, вы уже не можете усомниться в существовании "комплекса кастрации", поскольку в ответ вы услышите, что все ваши доводы представляют собой всего-навсего рационализацию подсознательного сопротивления, обусловленного как раз наличием у вас этого самого комплекса. Вы попадаете в порочный круг, откуда логика не выведет. Точно так же, если, будучи марксистом, вы спросите, с какой стати Ленин двинул в 1920 году войска на Польшу, вам ответят, что в ваших рассуждениях видны пережитки мелкобуржуазного сознания. Словом, закрытая система исключает всякую возможность объективной дискуссии, прибегая к двум взаимосвязанным уловкам: во-первых, с помощью определенной схоластической процедуры она лишает факты научной ценности, а во-вторых, любой спор она переводит с объективного уровня на субъективный, выискивая за доводами противника скрытый психологический мотив. Правила игры, принятые в замкнутой системе, предполагают именно такой подход. Человеку извне подобные установки кажутся абсурдными, но они вполне последовательны и работают четко.

Атмосфера закрытой системы накалена, это просто котел эмоций. Отсутствие объективности в диспуте многократно компенсируется его исступленностью. Новичок проходит полную обработку, в том числе обучается применять присущую данной системе логику. В итоге неофит овладевает техникой дискуссии, заведомо превосходящей все возможности "внешнего" оппонента. Новообращенный досконально изучает великие дебаты прошлого между апостолами и неверующими; он хорошо знает историю ересей и схизм; знакомится с классическими спорами янсенистов и иезуитов, Фрейда и Юнга или Ленина и Каутского. Благодаря этому человек системы сразу же распознает позицию и "тип" своего оппонента, классифицирует его аргументы согласно привычным категориям, предвосхищая вопросы и ответы, словно ходы в шахматном дебюте. Опытный представитель закрытой системы – богослов, психоаналитик, марксист – с легкостью превратит в отбивную любого оппо-

нента, отстаивающего открытую систему, доказав тем самым и себе, и миру преимущества собственного кредо.

Ощутив свою силу, представитель закрытой системы готов проявить известную терпимость по отношению к чужаку. В спорах с язычниками, пациентами или, скажем, буржуазными реакционерами он держится спокойно, покровительственно, снисходительно, и его превосходство, уверенность в себе, заразительная искренность его веры создают особого рода отношения между наставником и новообращенным. Таковы отношения гуру и ученика, исповедника и кающегося, психоаналитика и пациента, активного члена партии и "сочувствующего", преклоняющегося перед ним "попутчика".

Как ни странно, в литературе по данной проблеме не уделяется внимания феномену "переноса", который играет столь важную роль в процессе обращения в новую веру. Я убежден, что каждый неофит проходит через стадию восторженной привязанности и даже интеллектуальной влюбленности в человека, ведущего его по этому пути, ставшего для него образцом. Католики и фрейдисты — я вновь указываю две наиболее очевидные параллели марксизму — всемерно подчеркивают нашу потребность в духовном наставнике или, соответственно, в психоаналитике, однако коммунисты предпочитают впоследствии стирать этот период из памяти неофита, ибо их система категорически отрицает ценность личных отношений. Тем не менее и в истории марксизма личные отношения и эмоции играют огромную роль. Пророк Маркс не терпел рядом равных себе, ему требовались только ученики, а те, как правило, сначала преклонялись перед ним, а потом отвергали. Эта схема с поразительной точностью воспроизводится в отношениях Фрейда и его последователей: они постоянно "бросают" и "предают" учителя. В мире нормальной логики разногласия можно уладить с помощью доводов и дискуссий, но принцип замкнутой системы гласит: "Все или ничего", а потому разногласия превращаются в раскол, ересь или предательство. У Маркса были Лассаль и Бакунин; у Фрейда — Адлер и Юнг.

Замкнутая система неизбежно складывается в иерархию авторитетов. Первоучитель, чье слово несет богооткровенную истину, наделяет духовной и светской властью избранный круг приближенных — апостолов, обладателей "семи колец" Фрейда, испытанных членов ЦК или политбюро. Каждый, принадлежащий к узкому кругу посвященных, в свою очередь излучает часть магической силы на последователей, передавая ее на более низкую ступень и т. д., до самого далекого периферийного слоя. Даже представитель нижнего уровня этой иерархии несет факел, пламя которого было зажжено в святая святых. Каждый "активный член партии", проводящий работу с неофитом, обладает в его глазах сияющим нимбом эзотерического ордена...

Отчасти притягательность коммунистического гуру обусловлена и окружающей его таинственностью. Фамилию свою он скрывает или подменяет псевдонимом; у него нет адреса, выйти на него можно только через специальных посредников ("связных"). Так ведут себя не только "аппаратчики", но и все активные члены партии, даже если в данный момент партия находится на легальном положении. Конспирация зародилась в царской России и стала традицией или даже ритуалом для всех коммунистов мира. Первое же соприкосновение с представителем партии дает новичку почувствовать, что коммунисты живут особой жизнью, окутанной тайной, скрытой от общества, они постоянно рискуют

и приносят себя в жертву. Даже взрослые, не слишком романтические люди испытывают дрожь восторга, соприкасаясь с тайной, а еще сильнее лестное чувство избранности — дескать, гонимый, привыкший к опасности человек удостоил тебя своим доверием, позволил оказать ему малую услугу...

Коммунисты превратили конспирацию в культ со своими обрядами и обычаями, с особым священным языком. Проведя несколько лет в подобной атмосфере, большинство партийцев обнаруживает симптомы "конспиративита" — душевного состояния, граничащего с паранойей. В одной из следующих глав я расскажу о девушке, впавшей в острую фазу мании преследования прямо у меня на глазах, но даже эта патология окутана, как ни странно, флером притягательности для "человека извне". <...>

Том *второй*. Незримые письмена

Сжигая мосты

Я вступил в компартию 31 декабря 1931 года...

Я обратился в Центральный Комитет КПГ (Коммунистической партии Германии) с письменным прошением принять меня в ряды партии. Примерно через неделю я получил довольно таинственный ответ на официальным бланке и с неразборчивой подписью. Мне было предложено ("В соответствии с запросом глубокоуважаемого господина от 31 декабря") встретиться "с представителем нашей фирмы" в помещении берлинской бумажной фабрики.

В назначенном месте в урочный час я познакомился с Эрнстом Шнеллером, главой Отдела агитации и пропаганды (Агитпропа) Германской коммунистической партии, руководившим также одним из "секретных аппаратов" (то есть разведгруппой) Коминтерна. Была у Шнеллера и иная ипостась: он состоял депутатом рейхстага. Двойное существование в качестве государственного человека и конспиратора-подпольщика не представляло собой ничего исключительного — значительная часть коммунистов жила да и сейчас живет, как говорят французские "товарищи", *a cheval* — игроки обозначают этим выражением ставку на два номера рулетки одновременно. Не считалась эта двойная жизнь и чем-то нечестным. Элементарная марксистская диалектика поощряет использование конституционных свобод, предоставляемых буржуазным обществом на погибель этого самого общества.

Я дважды встречался с Эрнстом Шнеллером в тот год, но с тех пор его больше не видел. Через несколько лет нацистский суд приговорил его к шести годам заключения, и Эрнст умер в тюрьме. Внешне он ничем не был замечателен: застенчивый, худой, костлявый, с заостренным лицом, кривой улыбкой. Шнеллер сказал мне, что придерживается вегетарианской диеты и питается преимущественно сырыми овощами и фруктами; он к тому же не читал никаких газет, кроме партийной прессы. Сперва я принял его за узколобого бюрократа, но мой первоначальный снобизм быстро сменился чувством уважения к его спокойной и умной аргументации. Я сообщил Шнеллеру о своем желании бросить работу, отправиться в Россию, сесть за руль трактора, однако ему хвати-

ло нескольких часов, чтобы разъяснить мне: гораздо больше пользы партии я принесу, если сохраню свои убеждения втайне и буду по-прежнему работать журналистом, по мере возможности влияя на политику своей газеты и передавая партии всю внутреннюю информацию, какая попадет в руки. Хотя партия остается пока на легальном положении, в любой момент она может оказаться вне закона и будет вынуждена уйти в подполье — так сказал Шнеллер. В такой ситуации, когда наступит час сражаться против фашизма и империалистической агрессии, люди вроде меня, играющие определенную роль в обществе и не заподозренные в связи с коммунистами, окажутся особенно ценными. Все это показалось мне столь разумным, что к концу первой встречи я принял его предложение и, не вполне отдавая себе в этом отчет, сделался сотрудником секретной службы Коминтерна.

Во время второй и последней нашей встречи Шнеллер вручил мне партийный билет на имя Ивана Штейнберга. Он привел с собой темноволосую краснощекую девицу по имени Паула — связную, обеспечивавшую контакт с моим непосредственным начальником в "аппарате", Эдгаром...

Кроме Паулы и Эдгара никого в "аппарате" не было. Обычно мы встречались у меня на квартире; Паула отстукивала на машинке всю накопившуюся у меня информацию, а Эдгар, расхаживая взад-вперед по комнате, задавал кое-какие вопросы, уточняя мои сведения. Это был стройный, улыбчивый молодой человек лет тридцати, блондин с открытым лицом и честным взглядом. Настоящее его имя я узнал лишь двадцать лет спустя из примечаний к книге Александра Вайсберга "Заговор молчания" (Лондон, 1952):

"В книге "Бог, обманувший надежды" Кёстлер упоминает человека по имени Эдгар... Его подлинное имя Фриц Бурде, это был рабочий-революционер из Гамбурга, хороший человек и верный товарищ. Я познакомился с ним в 1936 году в Москве, он занимал высокий пост в разведке Красной Армии... Долгое время ГПУ и военный комиссариат соперничали за право контроля над этой могущественной секретной организацией, действовавшей за границей. После ареста Тухачевского у ГПУ были развязаны руки. Оно отозвало из-за рубежа и арестовало почти всех тайных агентов военной разведки. Фриц Бурде возглавлял секретный отдел Красной армии в Скандинавии. Получив, как и все остальные, приказ вернуться в СССР, он сказал друзьям, что его ждет смерть, но альтернативы у него нет".

Я не знал, какая участь постигла "Эдгара". Через десять лет после нашей встречи я использовал его в качестве прототипа для Бернарда, молодого нацистского агента из "Приезда и отъезда". Мне нужен был красивый, симпатичный нацист, способный расположить к себе читателя, — и, к своему удивлению, я обнаружил, что изображаю улыбчивое лицо и приятные манеры коммуниста Эдгара. Он как нельзя лучше вписался в эту роль.

Мои контакты с аппаратом были достаточно поверхностными и оборвались через два-три месяца. Я работал в ту пору иностранным редактором "Б. Ц. ам миттаг" и научным редактором "Фоссише цайтунг", двух ежедневных газет концерна Ульштайнов... В качестве иностранного редактора я имел доступ практически ко всей конфиденциальной политической информации, стекавшейся в этот мозговой центр Веймарской республики. Моим помощником состоял юноша двадцати одного

года, некто фон Э., сын вышедшего в отставку посла. Разница в возрасте между нами была невелика, и мы скоро сблизились... Дней через десять молодой человек зашел уже так далеко, что готов был служить Делу. Отец фон Э. принимал у себя в доме членов генерального штаба и дипломатов, и я поручил своему молодому коллеге держать ухо востро и докладывать мне всю представлявшую хоть какой-то интерес информацию, в особенности относительно "подготовки Германией и другими империалистическими странами агрессии против Советского Союза".

Несколько недель все шло как нельзя лучше, но потом юного фон Э. настигли угрызения совести и однажды утром после бессонной ночи он предъявил мне ультиматум: он должен раскрыть нашу предательскую деятельность, а иначе застрелится. Он написал подробное признание на имя генерального директора издательства, однако сказал, что вручить письмо он может лишь с моего согласия. И он положил мне на стол длинное написанное от руки послание.

С логической точки зрения это был чистейшей воды вздор. Даже в глазах закона мы не совершали ничего криминального, не похищали военных секретов, не торговали государственными документами. Фон Э. всего-навсего передавал мне обрывки салонной сплетни, а я, в свою очередь, сообщал эти скудные сведения товарищам. Но подобные аргументы не произвели никакого впечатления на молодого человека. Он утверждал, что готов быть марксистом или социалистом, но передавать информацию агентам иностранной державы — это совсем другое дело, это измена, и не важно, являемся мы шпионами в строго техническом смысле слова или нет. Если я не позволю ему очистить совесть и во всем сознаться, он не сможет жить.

Я не слишком серьезно воспринял угрозу фон Э. Мне трудно было поверить в реальность всей этой сцены. Юноша стоял передо мной навытяжку, напрягшись всем телом, отказываясь присесть хоть на минуту. Бледный, глаза налились кровью, резко обозначились черные подглазья. Вероятно, он, сам того не сознавая, драматизировал ситуацию, и мне тоже был знаком восторг преувеличенного трагизма, однако мне казалось, что он способен завести эту игру чересчур далеко и в самом деле покончить с собой. Донкихотское требование, чтобы я сам разрешил ему вручить начальству признание, звучало абсурдно, и все же я согласился, почти не пытаясь спорить, даже не прочитав письмо, положившее конец и моей профессиональной карьере, и службе в аппарате. <...>

Портрет автора в роли товарища

Потеряв работу, я вырвался из оков капиталистического мира, а поскольку тем самым и "аппарату" я перестал приносить пользу, не было более причины скрывать мою принадлежность к партии. Я отказался от квартиры в престижном районе Ной-Вестенда и переехал в многоквартирный дом на Боннерплац. Большинство обитателей этого дома были нищими писателями и художниками, придерживавшимися радикальных взглядов, и дом получил прозвище "Красный квартал". Я вступил в местную коммунистическую ячейку и наконец зажил жизнью полноправного члена партии.

В нашей ячейке числилось примерно двадцать человек. Нас никогда не покидало чувство, что мы являемся частью великого, организованно-

го и послушного целого. Среди нас были литераторы Альфред Канторович и Макс Шрёдер (оба они теперь вернулись в Восточную, коммунистическую Германию), психоаналитик Вильгельм Райх (он порвал с партией в 1933-м и ныне возглавляет Институт оргонных исследований в Рейнджли, США, штат Мэн), актеры авангардного театра "Мышеловка", девушки с интеллектуальными амбициями, некий страховой агент, а также рабочие. Нашу ячейку можно назвать нетипичной, поскольку большинство ее членов составляли интеллектуалы, однако ее функционирование и повседневная рутина подчинялись общим правилам.

Деятельность наша была отчасти легальной, отчасти конспиративной. Обязательные собрания проходили раз в неделю, но более активные члены поддерживали постоянный контакт друг с другом. Официальные мероприятия неизменно начинались с лекции на политическую тему (ее читал инструктор районного комитета или руководитель ячейки, получивший указания из районного комитета). В лекции излагалась позиция партии по различным текущим вопросам. Затем следовала дискуссия, но дискуссия весьма своеобразная. Основной принцип коммунистической дисциплины гласит: если партия определила генеральную линию по отношению к той или иной проблеме, любая критика принятого решения подлежит осуждению как уклонизм и саботаж. Теоретически, пока окончательное решение не принято, допустимы различные мнения, но на практике с рядовыми членами никто не советовался и точка зрения партии определялась в верхах. Один из лозунгов немецкой компартии предостерегал: "На фронте не спорят", а другой напоминал: "Где бы коммунист ни был, он находится на передовой". Итак, наши дискуссии всегда служили выражением замечательного единства взглядов.

В ту роковую пору, весной и летом 1932 года, в Германии прошло несколько сотрясших страну выборов, более похожих на ряд стихийных бедствий: президентские выборы, двукратные выборы в рейхстаг, местные выборы в Пруссии — четыре добела раскаленные избирательные кампании в течение восьми месяцев, и это при том, что страна и так стояла на грани гражданской войны. Мы принимали участие в этих кампаниях, распространяя партийную литературу и собственные листовки и посылая агитаторов из дома в дом. Самой трудной работой была агитация, мы занимались этим преимущественно в воскресенье поутру, пока все еще дома: звонишь в дверь, вставляешь ногу в приоткрывшуюся щель, просовываешь брошюры и листовки и пытаешься вовлечь хозяев в политическую дискуссию — тут же, не сходя с места. Мы торговали Мировой Революцией вразнос, точно пылесосами. Обычно нас встречали неприветливо, но без особой враждебности. Дверь перед моим носом часто захлопывали, однако подраться ни разу не пришлось. Правда, мы не звонили в те квартиры, где жили нацисты, — мы прекрасно знали в лицо всех нацистов соседних кварталов, как и они нас, благодаря системе ячеек и "блоквартов"[1]. Вся Германия — и города, и деревни — была покрыта этими двумя враждебными, тонко и плотно сплетенными сетями.

Для партии последнее лето Веймарской республики стало переходным периодом: мы готовились уйти в подполье и занимались перегруппировкой кадров... Хотя ячейки продолжали функционировать, членов ячеек тайно распределяли по пятеркам, причем предполагалось, что члены одной группы не подозревают о составе другой — на самом

1. Первичные организации партии национал-социалистов.

же деле, поскольку мы все жили в одном доме, мы прекрасно знали, какая пятерка в чьей квартире собирается. В ночь, когда горел рейхстаг и Геринг нанес смертельный удар коммунистической партии, пятерки рассыпались и сложная конструкция подпольных групп по всей Германии обвалилась. Мы-то дивились конспиративным талантам наших руководителей, и, хотя все мы читали книги по технологии революции и гражданской войны, наша способность к критическому анализу оказалась до такой степени подавлена, что никто не осознавал страшной подоплеки избранной этими руководителями тактики: подготовка к долговременному подпольному существованию в виде децентрализованных групп означала, что наши вожди заранее смирились с неизбежной победой нацизма, а разделение партии на маленькие группы указывало, что партия не намерена открыто, с оружием в руках, сопротивляться гитлеровскому перевороту, что ожидаются лишь отдельные, незначительные по масштабу акции.

Нет, мы, рядовые, об этом и не подозревали. В то долгое, душное лето 1932 года мы то и дело затевали стычки с нацистами. В Берлине почти каждый день с той или другой стороны кто-то погибал. Полем боя стали пивные, маленькие прокуренные кабачки в рабочих районах. В одних встречались нацисты, в других — наши. Ошибиться при выборе пивной значило угодить в лапы врага. Время от времени нацисты обстреливали наши "сборные пункты". Это делалось в отменных традициях чикагских гангстеров: банда штурмовиков медленно проезжала в автомобиле мимо пивной, стреляя в посетителей сквозь стеклянные стены, а затем, резко нажав на газ, скрывалась из виду. У нас было намного меньше машин, чем у коричневорубашечников, поэтому акции возмездия осуществлялись на ворованных или одолженных у сочувствующих автомобилях. Осуществление этих акций брали на себя члены Союза красных фронтовиков, объединения коммунистов — ветеранов войны. Мой автомобиль периодически забирали совершенно незнакомые мне товарищи, а спустя несколько часов возвращали — я не задавал вопросов, объяснений мне не предлагали. Маленький, открытый "фиат" красного цвета совершенно не подходил для налетов, но других автомобилей в нашей ячейке не было. Так единственный уцелевший осколок моего буржуазного прошлого теперь служил делу пролетарской революции. Я и сам нередко садился за руль, развозил брошюры и листовки, выслеживал машины нацистов (нам сообщали их номера), прикрывал своих. Как-то раз мне пришлось перевозить ручной печатный станок с вокзала в подвал под бакалейной лавкой.

Среди членов Союза фронтовиков, реквизировавших мой автомобиль для партизанских вылазок, попадались порой довольно зловещие типы с берлинского дна. Об их приходе меня предупреждал телефонный звонок или устное сообщение из районного комитета. Почти не случалось, чтобы один и тот же человек появился дважды. Если миссия казалась относительно безопасной, мне самому приказывали сесть за руль. Мы медленно проезжали мимо пивных, наблюдая сквозь стеклянные витрины за сборищами нацистов, или же охраняли свою пивную, когда наш информатор в стане нацистов предупреждал о запланированном нападении. Это мне меньше нравилось: мы караулили возле пивной, выключив фары и не заглушая мотор. Как только появлялся какой-нибудь автомобиль, раздавались щелчки — мои спутники снимали

револьверы с предохранителя, — а мне ласково советовали "убрать черепушку". В перестрелке мне участвовать не довелось.

Однажды люди из Союза красных фронтовиков перед вылазкой маскировались у меня в квартире: приклеили усы, нацепили очки, напялили черные жилеты и котелки. Я видел в окно, как они отправлялись в путь — четыре достойных господина в котелках, в нелепом маленьком красном автомобиле, точно участники похоронной процессии. Они вернулись через четыре часа, переоделись в обычную одежду, молча пожали мне руку и ушли. Мне дали инструкции на случай, если полиция возьмет машину на заметку во время какой-либо акции: тогда я должен сказать, что ее угнали и я нашел ее в безлюдном переулке.

Время от времени проносился слух, будто нацисты собираются напасть на наш "Красный квартал" — подобные налеты на дома, где проживали коммунисты, случались и ранее. Объявлялась боевая тревога, люди из Союза фронтовиков несли дежурство. В одну из этих ночей в моей тесной квартире засело чуть ли не тридцать человек, вооруженных револьверами, свинцовыми трубами и кожаными дубинами, словно остатки разбитой армии...

Я включился в деятельность ячейки с тем же пылом и полной самоотверженностью, с какими в семнадцать лет вступил в студенческое братство. Я жил в ячейке, с ячейкой, для ячейки. Я больше не был одинок, я обрел то теплое чувство товарищества, о котором мечтал, я утолил свою страсть быть частью коллектива, "чему-то принадлежать".

Лишь понемногу я стал догадываться о некоторых подводных течениях под безмятежной с виду поверхностью. Я заметил, что личные отношения внутри ячейки не то чтобы порицаются, но и не приветствуются, а то и навлекают подозрения во "фракционности". "Фракционность", то есть попытка создать собственную политическую группировку, — тягчайшее партийное преступление, и если двое или более товарищей начнут часто общаться и во время общих дискуссий будут отстаивать одну и ту же позицию, их непременно обвинят в формировании тайной фракции.

В школах-интернатах и монастырях любые личные отношения воспринимаются как скрыто-сексуальные, а в партии дружба кажется подозрительной с политической точки зрения. В этом даже есть известный смысл, ведь люди, полностью посвятившие свою жизнь партии, вряд ли способны к личным, политически неокрашенным отношениям. Партийные лозунги выдвигали расплывчатое и безликое понятие "солидарности рабочего класса" вместо индивидуальной дружбы, а верность другу подменяли "лояльностью по отношению к партии". Партийная лояльность подразумевала прежде всего безусловное подчинение, в том числе и отречение от друзей, уклонившихся от партийной линии или по иной причине навлекших на себя кару. Почти того не сознавая, я привыкал контролировать свои поступки, свои слова и мысли.

Я знал: все, что я скажу на собрании ячейки или в частной беседе, даже тому товарищу женского пола, чья голова покоится на моей подушке, — все попадет на заметку и когда-нибудь обратится против меня. Я понял, что отношения с другими членами ячейки определяются не наивным доверием, а "революционной бдительностью"; мой долг — докладывать о любой еретической реплике, промолчать было бы преступлением против партии, а отвращение к подобному кодексу чести — все-

го лишь проявление сентиментальности, мелкобуржуазных предрассудков...

Я узнал, что обыкновенная порядочность, верность, правила "честной игры" отнюдь не являются устойчивыми законами бытия — нет, это лишь эфемерные порождения капиталистического общества и царящей в нем конкуренции. В античности был свой кодекс чести, при феодальном строе — другой, при капитализме — третий, и каждый раз правящий класс пытается навязать нам его в качестве вечного закона. Абсолютных законов этики не существует, каждый класс, приходя к власти в процессе исторического развития, приспосабливает так называемые "законы" к своим потребностям. Революция — не игра в крикет. Цель оправдывает средства — таков ее принцип, а главный метод — метод диалектического материализма...

Необоримое очарование диалектического метода может понять лишь тот, кто изучал труды его основателей, читал, к примеру, "Людвига Фейербаха" Энгельса, "Восемнадцатое брюмера" Маркса, "Государство и революцию" Ленина. Я полностью погрузился в интеллектуальный мир, который я уже назвал ранее "замкнутой системой" — нечто вроде самодостаточной вселенной средневековых схоластов. Все мои чувства, восприятие искусства и литературы, личные отношения подверглись пересмотру и были приспособлены к новой схеме. Менялся мой словарь, грамматика, синтаксис. Я начал избегать всякой оригинальности в выражениях, сколько-нибудь необычного построения фразы. Эвфония, эмфаза, сдержанный стиль, нюансы смысла — все вызывало подозрение. Язык, а с ним и мысль, проходил процесс дегидратации, кристаллизуясь в виде готовых блоков марксистского жаргона. Имелся десяток-другой эпитетов, разрешенных и даже предписанных для употребления, а именно: *вырождающаяся, лицемерная, больная* (капиталистическая буржуазия); *героический, дисциплинированный, обладающий классовым сознанием* (революционный пролетариат); *мелкобуржуазный, романтический, сентиментальный* (гуманизм); *оппортунистический* и *сектантский* (соответственно правый и левый уклонизм); *механистическое, метафизическое, мистическое* (неверное суждение); *диалектическое, конкретное* (верное суждение); *пламенный* (протест); *братский* (привет); *непоколебимая* (верность партии).

Правда, некоторые языковые изыски допускались и даже поощрялись. Так, в полемике желательно было прибегнуть к иронии, однако единственным выражением иронии служили кавычки, например: "революционное" прошлое Троцкого; "прогрессивные" шаги "социалистического" правительства и т. д. Не меньшей популярностью пользовались и "семантические перевертыши" — начало им положил Маркс в знаменитом памфлете против Прудона "Философия нищеты и нищета философии". Этой увлекательной игрой можно было тешиться бесконечно: "война за прибыли и прибыли от войны", "психология подросткового периода или подростковый период психологии", "законы террора и террор законов" и т. д. Имелись также некоторые словесные блестки, считавшиеся признаком хорошего тона. Например, в одной из своих работ Ленин упомянул Герострата, поджегшего храм, чтобы таким путем стяжать славу. И вот то и дело я натыкался на фразы типа: "Преступное Геростратово безумие контрреволюционеров, пытающихся противостоять героическим усилиям трудящихся масс Родины пролетариата осуществить второй пятилетний план в четыре года"...

За три поколения применение диалектического метода значительно упростилось. Не составляло труда, скажем, доказать, что всякий несогласный с линией партии является агентом фашизма, поскольку: а) расходясь с линией партии, он ставит под угрозу единство рядов; б) ставя под угрозу единство рядов, он повышает шансы на победу фашизма и отсюда в) *объективно* он действует как агент фашизма, даже если *субъективно* ему отбили почки в фашистском концлагере. Столь же легко можно продемонстрировать, что общественная или частная благотворительность служит целям контрреволюции, ведь она скрывает от масс истинное лицо капиталистической системы и тем самым способствует ее сохранению.

Литературные, художественные, музыкальные вкусы тоже подвергались обработке. Высшей формой музыки признавалось хоровое пение, ибо здесь индивидуализму противопоставляется коллектив. Именно эта идея привела к неожиданному возрождению греческих хоров в авангардных коммунистических драмах 20-х годов. Хотя отдельные персонажи не изгонялись вовсе с театральных подмостков, их следовало наделить "типическими чертами" и полностью обезличить. По тем же правилам создавалась и коммунистическая проза. Героем романа становился не отдельный человек, а некая группа людей — партизанский отряд эпохи Гражданской войны; деревня, преобразуемая в колхоз; работники завода, сражающиеся за выполнение пятилетнего плана. Роман должен был быть "действенным", то есть дидактическим; каждое произведение искусства несло свой социальный заряд. И опять-таки, не имея возможности полностью избавиться от индивидуальных персонажей, авторы превращали их в типичных представителей того или иного класса, партии или политического направления.

На самом деле этот подход (если не впадать в крайности) вполне применим в сфере политического и идеологического романа. Позднее, когда я писал критические статьи, я выступал против марксистской теории искусства и пытался соединить общественно значимое с противоречивыми требованиями эстетики и психологии, но при этом сам вновь и вновь становился жертвой того самого заблуждения, против которого предостерегал. Последствия многолетней идеологической обработки залегают на глубине, едва ли доступной сознанию. Их нетрудно обнаружить в моих романах, написанных и спустя десять лет после разрыва с партией.

Марксизм, надо признать, принес ценные плоды и в области литературной критики, и литературы как таковой. По крайней мере двое ведущих критиков современности, Эдмунд Уилсон и Лайонел Триллинг, многим обязаны этому методу. Ортодоксальная "пролетарская" литература 30-х годов кажется ныне выхолощенной и устаревшей, однако целое поколение поэтов и прозаиков, принимавших Маркса в небольших удобоваримых дозах, оказали существенное влияние на культуру XX века. Оден, Ишервуд, Спендер и Дей-Льюис в Британии; ранний Дос Пассос, Стейнбек, Колдуэлл и Синклер Льюис в США; Барбюс, Роллан, Мальро, Сартр и Спербер во Франции; Бехер, Брехт, Вайнерт, Ренн, Зегерс, Реглер, Пливье в Германии — я называю лишь немногих.

Моя судьба складывалась иначе, чем у большинства "попутчиков" 30-х годов. Я приступил к первому роману, уже разочаровавшись в коммунизме и приближаясь к разрыву с партией. Дело в том, что и в области эмоций, и в области эстетического вкуса я оставался подростком почти до тридца-

тилетнего возраста, но опять же, причиной моего замедленного развития отчасти стало семилетнее пребывание в коммунистической партии. Пока я оставался правоверным, сама вера подрывала мои творческие способности, каковы бы они ни были. Марксистское учение подобно лекарству вроде мышьяка или стрихнина: в небольших дозах оно оказывает стимулирующий эффект, а в больших — парализует творческие силы. Большинство "социально ориентированных" авторов 30-х годов ощущали стимулирующее воздействие марксизма, потому что они не вступали в партию, а симпатизировали ей с безопасного расстояния, но те немногие, кто решился на последний шаг — Виктор Серж, Ричард Райт, Игнацио Силоне, — в период активного членства в партии оставались бесплодными и обрели свой подлинный голос лишь после выхода из нее. Интересно, что сталось бы с католическими писателями, такими, как Мориак, Ивлин Во или поздний Бернанос, если бы они подчинили себя монастырской дисциплине или хотя бы приняли постриг?

С русскими авторами дело обстояло иначе. Они не могли "симпатизировать издалека": начиная с 30-х годов литература в Советском Союзе строго регламентировалась, партия применяла литературную критику в качестве дисциплинарного орудия, затыкала непокорные глотки, а затем прибегала и к физическому уничтожению писателей. Многие наши собратья в России — и величайший из них, Александр Блок, — заранее предвидели, куда ведет этот режим, и предпочли самоубийство. Почти все, кто создавал великую советскую литературу в первое десятилетие после революции, были официально или тайно ликвидированы во время чисток. Выжившие либо лишились своего дара, либо превратились в придворных шутов, отмеченных Сталинской премией. То же самое произошло и с коммунистическими писателями других стран, сохранившими членство в партии: с Иоганнесом Бехером, Луи Арагоном.

Фанатическая приверженность партии не могла помрачить мой разум настолько, чтобы я вовсе перестал замечать наиболее нелепые явления новой для меня среды. Я видел, что инструкторы, направляемые районным комитетом на наши собрания, понятия не имеют о событиях, выходящих за узкие пределы борьбы рабочего класса, стачек, демонстраций и работы профсоюзов. Они не знали и знать не хотели, что христианско-демократический канцлер Брюнинг действительно не приемлет Гитлера и что существует разница между британскими консерваторами и немецкими нацистами: с их точки зрения, демократия являлась "скрытой формой диктатуры капитализма", а фашизм — "открытой формой", что же до "классового содержания" обоих режимов — они полностью совпадали. Политические трения между различными "буржуазными" партиями считались симптомом "внутренних противоречий капиталистической системы", поскольку в действительности все социальные силы распределяются исключительно по классовому признаку. Мне это казалось и неверным, и верным. Неверным, поскольку грубо упрощалась сложная реальность, и верным, поскольку в исторической перспективе, говорил я себе, нюансы не имеют значения, и все любимые мной тонкости тоже не имеют значения, и, следовательно, диалектический телескоп являет нам истину.

Труднее было смириться кое с какими феноменами из области языка и стиля. После выступления на собрании, в котором несколько раз прозвучало слово "спонтанный", расположенный ко мне товарищ намекнул, что впредь было бы лучше обойтись без этого эпитета, ведь

"спонтанные проявления революционного духа" входят в теорию Троцкого о перманентной революции. Это произошло в самом начале моей партийной карьеры, и хотя я согласился, что подобного рода лексический пуризм — неотъемлемое проявление "революционной бдительности", в глубине души я придерживался иного мнения. Вскоре расхождение между словом и мыслью сделалось для меня привычным.

Товарищ, побывавший в Советском Союзе, пересказывал мне содержание прослушанной там лекции. Партийный инструктор, выступая перед литературным кружком фабричных рабочих, говорил: "Рассматривать поэзию как особый дар, которым одни люди обладают, а другие нет, — буржуазная метафизика. Этот навык, как и любое другое ремесло, приобретается через обучение и практику. Нам нужно больше классово сознательной пролетарской поэзии, надо увеличить производство стихов на литературном фронте. Новички должны начинать с пяти-десяти строчек в день, затем ставить себе задачу произвести двадцать или тридцать строк и так постепенно наращивать количество и качество своей продукции".

Позднее и на мою долю выпало услышать, как лектор из России утверждал, будто мода на чрезвычайно длинные стихотворения в Германии 20-х годов служит идеологическим отражением валютной инфляции, потока обесцененных бумаг. Я постоянно натыкался в России на такого рода чушь, но уговаривал себя, что это все пустяки, трогательное проявление энтузиазма, избытка сил отсталого народа, пробуждающегося после столетий бездеятельности и угнетения. Нельзя ожидать от "отсталых масс", чтобы они тут же сравнялись по образованности с бывшим редактором концерна Ульштайнов.

Через несколько месяцев пребывания в партии вера начала переходить в более изощренную и устойчивую форму. Все, что меня не устраивало, можно было списать на "пережитки капиталистического прошлого", "неизбежные перегибы революции" или "временные трудности". Высшие интересы революционной стратегии подчас принуждали к тактике, казавшейся жестокой, нелепой или крайне деспотической, но марксист не должен судить "механистически", по внешним признакам, как это делает буржуазная пресса, кроме того, публичные выступления коммунистов должны учитывать уровень отсталых масс.

Так моя первоначальная наивная вера трансформировалась в личную эзотерическую религию, более гибкую и устойчивую к событиям реального мира. Если человек, не имеющий подобного опыта, спросит меня, как могли интеллигентные люди приспособиться к причудливым зигзагам партийной линии, я готов ответить, что каждый образованный коммунист, от членов Советского политбюро до участников французского "литературного кружка", вырабатывал собственную тайную философию, призванную не объяснять факты, а отделываться от них. Можно придумать различные обозначения для этого умственного процесса: двойное мышление, контролируемая шизофрения, мифологизация, десемантизация смысла, но психологическая суть остается все той же, и без этого объяснения портрет автора в роли товарища останется незавершенным.

Существовало, правда, препятствие, непреодолимое для самообмана. Я смог приспособить и речь, и мышление к требованиям партийного жаргона, но мимикрия распространялась только на устное слово; когда же приходилось писать, я наталкивался на бессознательное

внутреннее сопротивление. Я считался опытным журналистом, но за все время пребывания в партии даже под угрозой голодной смерти не смог написать ни единой статьи, приемлемой для коммунистической прессы. Вначале мне еще поручали составление брошюр и листовок для нашей ячейки, но, хотя в этих текстах я точно следовал линии партии, стиль всегда оказывался чересчур неортодоксальным, и районный комитет их забраковывал. Позднее, в 1934 году, во время Саарской кампании[1], я взялся издавать юмористическую партийную газету, но и ее закрыли после выхода первого же номера. Я научился произносить речи в предписанном партией стиле, четко соразмеряя их с уровнем "отсталых масс", а свои эзотерические истины и частное мнение держал в герметичном отсеке мозга; однако, пытаясь применить те же методы к рукописи, я впадал в оцепенение, путался в синтаксисе, усеивал страницу кляксами, все время отвлекался, а потом ловил себя на том, что старательно вывожу изображение обнаженной богини, подъявшей к солнцу молот и серп[2]...

Одна особенность партийной дисциплины оказала на меня сильное и долговременное влияние — это культ пролетариата и презрение к интеллигенции. Интеллектуалы, происходившие из среднего класса, были в партии людьми второго сорта, и нам об этом постоянно напоминали. Нас терпели поневоле, поскольку в переходный период партия нуждалась в инженерах, врачах, ученых и литераторах — выходцах из дореволюционной интеллигенции, но мы заслуживали не больше доверия и уважения, чем так называемые "полезные евреи" в гитлеровской Германии, которые надевали в качестве отличительного знака нарукавную повязку и получали небольшую отсрочку, покуда не перестанут быть полезными и не разделят судьбу своих сородичей. Для коммунистического режима социальное положение родителей и прародителей столь же важно, как для нацистского — расовая принадлежность. Соответственно, наши интеллектуалы родом из среднего класса всячески тщились придать себе облик пролетариев: носили свитера грубой вязки, выставляли напоказ грязные ногти и общались на жаргоне. Представители рабочего класса, независимо от уровня развития и образования, заведомо проявляют более правильный подход к любой политической проблеме, чем шибко умные интеллектуалы, — таков был неоспоримый догмат. Рабочие обладали классовым чутьем — здесь мы вновь обнаруживаем сходство с нацистским противопоставлением "еврейской изощренности" и "здорового природного инстинкта расы".

Эта атмосфера оказалась как нельзя более питательной для моего хронического комплекса неполноценности. В главах, посвященных детству, я пытался показать глубину и силу этого недуга, его связь с чувством вины и постоянной тревоги. Позднее мне удалось спрятать эту проблему за внешней бойкостью, но внутреннее ощущение, что на самом деле я всего-навсего подделка, что все мои неудачи и унижения вполне заслужены, а вот успехи получены мошенническим путем, только усилилось. Я испытывал постоянное желание "быть самим собой и больше никем", но человеку, страдающему подобным расстройством, легче забраться на

1. Речь идет о подготовке к референдуму о статусе Саарской области — останется она под управлением Франции, как было после Первой мировой войны, или вернется в состав Германии.
2. Я попытался описать эту духовную пытку в книге "Век вожделения", в главе "Усталость синапсов". (*Прим. автора.*)

Эверест, нежели стать самим собой. Известно, что заика Демосфен учился говорить с камешками во рту, пока не сделался лучшим оратором Греции, но почем знать, научился ли он без натуги общаться со своими друзьями?

Партийная работа сближала меня с рабочими; они говорили спокойными, нормальными голосами, они и вели себя вроде бы вполне естественно. Наука тогда еще не додумалась до того, что водитель грузовика или электрик могут страдать от тех же неврозов, что и литератор, и лишь не имеют достаточного запаса слов, чтобы выразить себя. В ту пору мне казалось, что пролетарии — члены нашей ячейки — все сплошь сильные, молчаливые, крепкие, добрые люди, не только исторически предназначенные наследовать землю от вырождающейся буржуазии, но и умственно более здоровые и цельные, чем дутые умники вроде меня. Короче, классово сознательный пролетарий играл в марксизме ту же роль, что и благородный дикарь у Руссо, сверхчеловек у Ницше и человек "почвы и крови" у Гитлера — это своего рода Сверх-Я коммунистической интеллигенции. Я уже излагал причины, почему на меня это оказало особенно глубокое воздействие.

Достаточно просто объяснить, как человек моего склада характера и судьбы приходит к коммунизму; гораздо труднее передать то особое состояние духа, которое побуждает молодого человека двадцати шести лет стыдиться своего пребывания в университете, проклинать бойкость своего ума и изощренность речи, постоянно бичевать себя за приобретенные культурные привычки и вкусы и мечтать об интеллектуальной кастрации. Если б эти вкусы и привычки можно было удалить, как опухоль, я бы с радостью лег под нож...

Единственным "отвлечением от классовой борьбы", не порождавшим во мне чувство вины, оставалась любовь. Я описывал ранее, как преследование ускользающего призрака Елены занимало меня более двадцати лет. Для большинства мужчин, особенно в англо-саксонских странах, секс является основным источником вины, беспокойства и страха, но для меня только отношения с женщинами и были свободны от вины — быть может, потому, что я сохранял наивное, романтическое представление о них, воспринимал каждый роман как нечто уникальное и неповторимое. Мне кажется, как раз это ощущение неповторимости и сберегает чистоту в отношениях между полами. Самое мерзкое в разврате, в тупой погоне за удовольствиями — это допустимость сравнения...

Некоторые женщины, с которыми моя жизнь переплеталась в эти два берлинских года, остались навсегда моими друзьями; две погибли при воздушной бомбардировке, две умерли в концентрационном лагере, еще одна — от туберкулеза, а одной удалось достичь высокого положения: она вышла замуж за зубного врача из Персии.

Хотелось бы мне писать об эмоциональном, как пишут о политической карьере или о пути литератора, но тут больше боишься наскучить читателю, нежели шокировать его. Только сами участники этих событий воспринимают их как нечто уникальное. Этот оазис, это волшебство — все только для двоих. Как бы то ни было, думать нас учат книги, а жить — женщины (уверен, какой-нибудь французский автор это уже сказал).

На память приходят два эпизода. Хотя участниц его я близко не знал, здесь будет вполне уместно рассказать оба случая: они весьма характер-

ны для лихорадочной атмосферы "сумерек богов", сгустившихся над Берлином в последние месяцы перед приходом нацистов к власти. Первая история довольно мрачная, в нее трудно поверить тому, кто не был свидетелем массового психоза, охватившего немецкий народ на закате Веймарской республики. Произошло это с моим коллегой по редакции; я забыл его имя, что-то вроде Эрендорф – так его и назову.

Во время карнавала 1932 года Эрендорф отправился на танцульку и подцепил высокую, красивую блондинку лет девятнадцати-двадцати, с большой брошью в виде свастики на груди, веселую, без комплексов, брызжущую здоровой животной радостью бытия – словом, идеальную Hitler-Madchen[1] Дивного Нового Мира. После танцев Эрендорф уговорил девицу пойти к нему на квартиру. Она с готовностью отвечала на все его авансы, как вдруг, в кульминационный момент, она приподнялась на левом локте, выбросила правую руку вверх в фашистском приветствии и, задыхаясь, простонала: "Хайль Гитлер!" Эрендорфа чуть удар не хватил. Когда он слегка опамятовался, прелестная блондинка разъяснила, что они с подружками торжественно поклялись "всегда вспоминать нашего фюрера в самые священные для женщины моменты".

Вязальщицы Французской революции нашли достойных преемниц в лице гитлеровских валькирий. К слову, должен признаться: к роли женщины в политике я всегда относился как махровый реакционер. Если взять историю в целом, вмешательство женщин в государственные дела никак нельзя назвать благотворным. Тиранов-мужчин, по крайней мере, уравновешивает не меньшее количество реформаторов, но длинному ряду чудовищ женского пола, от Мессалины до Екатерины Великой и бухенвальдской надзирательницы Ирмы Гризе, мы отнюдь не можем противопоставить равное число женщин-гуманисток. Сколько книг написано для мальчиков о великих мужах, но где книги для девочек о великих женах? Впрочем, сборник биографий всевозможных гарпий, оставивших свой след в истории, мог бы стать всемирным бестселлером. Я имею в виду женщин, непосредственно вмешивавшихся в политику; их влияние, осуществляемое через посредство мужей и любовников, – это совсем иная проблема, хотя и тут, мне кажется, они чаще подстегивали амбиции своих мужчин, нежели пытались смягчить их агрессивность.

Вторая история как нельзя лучше дополняет первую. Руководитель нашей ячейки, Альфред Канторович, пригласил товарища женского пола выпить с нами чаю в его квартире. Мы сидели втроем. Темноволосая тоненькая девушка – я встретился с ней впервые – могла бы показаться привлекательной, если б не неряшливость в одежде и странно отсутствующий взгляд. Она не участвовала в разговоре, даже не прислушивалась к нам. Внезапно она попросила Канторовича:

– Выгляни из окна, проверь, там ли он. Только осторожно!

Канторович из-за занавески обозрел улицу.

– Никого там нет, – успокоительным тоном сказал он.

– Когда я входила в дом, он прятался за фонарным столбом, – настаивала гостья.

Она говорила тихо, отрешенно, тусклым, невыразительным голосом. Канторович сказал мне, что товарищ Хильда попала в беду – ее уже много дней преследует какой-то человек, но из ее слов Канторович не мог понять, полицейский это или кто-нибудь другой.

1. "Гитлеровская девушка", то есть проповедуемый нацистами идеал женщины.

— Вовсе не полицейский, — все тем же безучастным тоном перебила его девушка. Мы уговаривали ее объясниться, и она, помолчав, сказала, что это парень из Bezirksleitung (то есть из районного комитета партии).

С большими усилиями — девушка то и дело смолкала, застывала неподвижно, и у нее стекленели глаза — мы вытянули из нее запутанный рассказ: дескать, человек из районного комитета (то есть наше непосредственное начальство в партийной иерархии) хотел переспать с ней; она отказала ему; тот обвинил ее в каком-то, неведомо каком, преступлении против партии и теперь повсюду преследует, хоронясь после наступления темноты в подъездах и за фонарями.

Мы с Канторовичем попытались обсудить ситуацию, как-то помочь Хильде, но она уже утратила к нам всякий интерес. Девушка ушла в себя, смотрела мимо нас остановившимся, неподвижно-пристальным взглядом. Она сидела за столом в жесткой, застывшей позе, словно окаменела. Затем верхняя губа приподнялась, обнажив зубы и десны, и на лице проступила гримаса, похожая на оскал. Две-три слезинки выкатились из уголков глаз и медленно поползли по лицу, но девушка не всхлипывала, не давала никакого выхода своим чувствам. Гримаса, напоминавшая оскал мертвого кролика, не сходила с ее лица. Мы поняли, что латентная паранойя перешла в острую форму, девушка помешалась прямо у нас на глазах. Мы кое-как усадили ее в такси, и Канторович отвез Хильду в больницу.

Однажды я выхватил кролика из пасти спаниеля. Зверек с виду был цел, но несколько секунд спустя умер — от испуга или от шока. Ту же самую гримасу я увидел на лице товарища Хильды — обнаженные десны, стеклянные глаза. Это страшное и жалкое зрелище еще долго преследовало меня, особенно в моменты душевной тревоги. Превращение лица в маску, человеческого существа в робота — знакомая примета "Ахора"[1], ужаса моих детских лет. Наверное, несчастная девушка так или иначе была обречена на психическое заболевание, даже если б и не вступила в коммунистическую партию, но сам мотив ее безумия характерен для той обстановки, в которой мы жили. Несомненно, в ее истории была какая-то крупица истины, которая затем обросла болезненными фантазиями. В иные столетия мания преследования обращалась на дьяволов и инкубов, но для бедняги Хильды Сатана принял обличие "парня из районного комитета", разоблачающего ее "проступки" перед партией.

Валькирия-истеричка и товарищ Хильда, конечно, не могут представлять всех женщин Германии, но вполне убедительно представляют "политически сознательную" часть ее женского населения в 1932 году от Рождества Христова. <...>

"Окунись в грязь"

Я ждал визы в Россию. Лишившись работы, я просил у партии разрешения эмигрировать. Это рассматривалось как особая привилегия: вообще-то обязанностью каждого коммуниста было работать во имя револю-

1. "Ахор" — аббревиатура, сочиненная Кёстлером (Archaic Horror, "первобытный ужас") для обозначения испытываемого в детстве отчаяния и безысходного ужаса. Для автора первым опытом такого рода стала операция по удалению гланд, описанная в первом томе.

ции в своей собственной стране. Однако, поскольку я все еще числился либеральным журналистом (Ульштайны не стали распространяться о причинах моего увольнения), партия решила воспользоваться этим камуфляжем. Было решено: я отправлюсь в Россию, чтобы под видом буржуазного репортера написать цикл статей о первой пятилетке. Я заключил договор с литературным агентством Карла Дункера — оно бралось размещать мои очерки в двух десятках газет различных европейских стран. Однако проходил месяц за месяцем, а визу мне все не давали.

Мне надо было на что-то жить. Выплаченную Ульштайнами компенсацию за расторжение контракта я отослал родителям в надежде, что им этого хватит на два-три года, то есть до окончательной победы Революции. Себе я оставил деньги лишь на проезд до Москвы, ибо легкомысленно полагал, что, как только партия даст согласие на поездку в Москву, я тут же получу визу. К счастью, я ухитрился довольно дорого продать в "Мюнхнер иллюстрирте цайтунг" детективный рассказ с продолжением, а помимо того я продолжал печататься — теперь уже в качестве внештатного корреспондента — в "Фоссише цайтунг". Уволить разоблаченного агента коммунизма и тем не менее позволить ему неофициально работать на фирму — таков был один из приятных парадоксов столь презираемого мной буржуазного либерализма.

Я бы и доныне ждал визы, если бы в Берлин из Москвы не возвратился Иоганнес Бехер.

Бехер, коммунистический поэт-лауреат, возглавлял "Лигу пролетарских революционных писателей Германии". Это был высокий, крепкий баварец с мясистым, невыразительным лицом. Очки в металлической оправе с толстыми стеклами придавали его лицу еще большую непроницаемость. Его можно было принять за учителя математики или директора страховой компании, но никак не за поэта, однако за спокойной, отчужденной внешностью скрывалась сложная, притягательная личность.

Бехер прославился в Германии в безумные годы после Первой мировой войны, прославился отчасти как молодой поэт-экспрессионист, отчасти попыткой двойного самоубийства: он прострелил голову девушке, с которой условился вместе умереть, но, выстрелив в себя, каким-то чудом выжил. Суд оправдал Бехера, поскольку он действовал в состоянии аффекта.

Самой характерной чертой Бехера был циничный юмор, совершенно несвойственный партийцам. К этому следует добавить способность точно оценивать людей, поразительное умение справляться с любой ситуацией и беспощадность, необходимую для лавирования в мутных водах. Вероятно, именно это необычное для поэта сочетание качеств позволило Бехеру уцелеть посреди больших чисток и постоянных ловушек, подстерегающих коммунистического литератора на каждом шагу. В партийных кругах его прозвали канатоходцем — это звучало и смешно, и несколько жутко, особенно когда представишь себе его крупную, крепкую фигуру.

Мы с Бехером сблизились, и он добыл для меня официальное приглашение по линии МОРПа — Международного объединения революционных писателей. Я должен был написать книгу о Советском Союзе: "Россия глазами Запада". План книги, предложенный МОРПом, в общем совпадал с сюжетом той серии статей, которую я собирался писать для агентства Дункера: г-н К., либеральный корреспондент, полный антикоммунистических предрассудков, начинает путешествие по России, од-

нако при виде достижений пятилетки постепенно меняет свою точку зрения и к концу поездки превращается в друга и почитателя Советского Союза. МОРП представлял собой отдел Коминтерна, Бехер занимал в нем достаточно высокий пост, так что мне наконец выдали визу.

Имущества у меня почти не было; я жил в гостиницах или в меблированных комнатах, любимые книги умещались в большой корзине. Однако у меня еще оставалась машина — маленький красный "фиат", верно служивший нашей ячейке. Товарищи ласково прозвали его "Мальхен"[1]. Как-то раз Бехер спросил меня, намереваюсь ли я перед отъездом продать "Мальхена". Я сказал, что предпочитаю подарить автомобиль партии.

— Партия — это большая организация, — заметил Бехер. — Немецкий отдел МОРПа составляет ее часть. Было бы логично оставить "Мальхена" нам.

Я признал, что это вполне логично, а поскольку председателем немецкого отдела состоял Бехер, казалось столь же логичным передать "Мальхена" лично ему. Через несколько дней я уехал в Россию, а он отправился на машине в Шварцвальд, на поиски поэтического вдохновения. В знак благодарности он организовал мне контракт на будущую книгу с Российским государственным издательством[2], и я получил аванс в три тысячи рублей. Эта удачная сделка дала мне понять, что в Советском Союзе писатель полностью зависит от партии.

В конце июля 1932 года я наконец повернулся спиной к буржуазному миру и поспешил в Страну обетованную. Через полгода Веймарской республике предстояло превратиться в нацистский рейх. Прошло шесть с половиной лет с тех пор, как я отправился в другую Землю обетованную, в Палестину. Я вновь испытывал радостный восторг, сжигая за собой мосты, все то же лихорадочное возбуждение от путешествия в Утопию. Много лет прошло, прежде чем я понял, что не знающий покоя путник стремится лишь к одной цели: убежать от самого себя. <...>

Сортировочная машина

Мое путешествие началось не с Москвы, а с Харькова, в ту пору столицы Советской Украины. Друзья, жившие в этом городе, пригласили меня погостить, освоиться для начала в новом мире. Алексу Вайсбергу и его жене Еве предстояло сыграть немаловажную роль в моей жизни.

Ева, темноволосая, поразительно красивая, работала художником: расписывала посуду. Я был с ней знаком с раннего детства; в "Боге, обманувшем надежды" она названа по имени; в других книгах я придумывал ей псевдонимы. Алекс, физик по образованию, состоял в коммунистической партии Австрии. Я встречался с ним в берлинской мастерской Евы еще до их свадьбы; поженившись, они уехали в СССР — Алекса пригласили заняться интересной исследовательской работой. Знали бы мы тогда, что Еву и Алекса ждут в России годы тюрьмы и пыток, что трагический опыт Евы станет документальной основой моего романа "Слепящая тьма"...

В ту пору я представлял себе лишь тот образ России, который создала советская пропаганда: сверх-Америка, страна величайшего историче-

1. Так в немецкой версии автобиографии; в английской — "Гретхен".
2. Вероятно, имеется в виду ГИХЛ.

ского эксперимента, полная сил, энергии, энтузиазма. Девиз первой пятилетки гласил: "Догнать и перегнать Запад", и с этой задачей страна справилась даже не за пять лет, а за четыре года. Другой лозунг сулил: "На границе мы пересядем в поезд, идущий в XXI век".

Некоторые детали все еще свежи в моей памяти и спустя двадцать лет. Во-первых, таможня на границе, в Шепетовке. В качестве репортера я пересекал границы почти всех европейских и ряда азиатских стран, но с таким досмотром не сталкивался: таможенники не удовольствовались обычной процедурой — сунуть руки в чемодан, прощупать дно и боковые стенки, вытащить и повнимательней оглядеть два-три предмета, — нет, они распаковали весь багаж, разложили наше добро на стойке и на грязном полу; они развернули все свертки, вскрыли коробки конфет и пакетики с запонками, просмотрели каждую книгу, проверили каждый листок бумаги. Потом они принялись упаковывать все, как было. Это заняло полдня, и пока досмотр не закончился, в вагоны нас не пускали — наши купе тем временем подвергались столь же тщательному обыску.

Большинство пассажиров в поезде составляли русские. Они везли главным образом еду. На стойке и на полу таможни громоздились сотни фунтов сахара, чая, масла, сосисок, лярда, печенья и всевозможных консервов. Меня поразило выражение лиц таможенников, перебиравших эти продукты: они были полны зависти, алчности. Мне самому приходилось голодать[1], и я ни с чем не спутал бы тот жуткий блеск в глазах, с каким голодающий бережно, любовно берет в руки палку салями.

Поезд, пыхтя, тащился по украинской степи, часто делая остановки. На каждой станции толпились оборванные крестьяне, протягивали нам белье и иконы, выпрашивая в обмен немного хлеба. Женщины поднимали к окнам купе детей — жалких, страшных, руки и ноги как палочки, животы раздуты, большие, неживые головы на тонких шеях. Сам того не подозревая, я попал в эпицентр голода 1932—1933 годов, который опустошил целые области и унес несколько миллионов жизней. Теперь ужасы этого периода признаны официально, тогда их скрывали от всего мира. При виде того, что творилось на станциях, я начал догадываться, что произошла какая-то катастрофа, однако понятия не имел ни о ее причинах, ни о масштабах. Русские попутчики разъясняли мне, как могли, что эти несчастные — "кулаки", богатые крестьяне, противившиеся коллективизации земли. Пришлось согнать их с наделов, иного выхода не было.

Другой эпизод показался мне столь незначительным, что я отметил его лишь подсознательно: мы подъехали к реке, через нее строили мост, и проводник прошел по вагону со стопкой квадратных картонных листов под мышкой, закрывая ими все окна. Я спросил, зачем он это делает, и мне с улыбкой ответили, что это мера предосторожности против любой попытки сфотографировать мост, ибо все мосты относятся к военным объектам. Так я впервые столкнулся с абсурдными ухищрениями, которые я и тогда, и долго еще впоследствии считал проявлением революционной бдительности.

Еще один сюрприз ожидал меня в Харькове: на перроне меня никто не встретил. Я хотел позвонить Вайсбергам, но единственный телефон-

1. После ухода из киббуца Кёстлер почти год искал работу. Его ежедневная "диета" сводилась к лепешке — питте и полфунту оливок или изюма.

автомат на центральном вокзале Харькова вышел из строя. Роль такси исполняли конные "дрожки", точно как у Чехова. Мне удалось-таки разыскать квартиру Вайсбергов, а телеграмма, посланная мной из Германии, отстала от меня на 18 часов. В 1932 году письма путешествовали по России неделями, телеграммы внутри страны шли несколько дней, а пользоваться междугородним телефоном могли исключительно партийные и государственные служащие.

Жестокий натиск реальности на иллюзию я встретил, как подобает верующему, — да, я был кое-чем смущен, озадачен, но амортизаторы, приобретенные благодаря партийной выучке, тут же включились и смягчили шок. У меня были глаза, чтобы видеть, но был и разум, чтобы диалектически разъяснять увиденное. "Внутренний цензор" гораздо надежнее всех назначенных сверху надсмотрщиков...

Кроме того, я писал книгу и мог избавиться от сомнений и страхов, высмеяв их на бумаге... Эта работа превратилась в своего рода трудотерапию; с ее помощью я преодолевал "заблуждения" и придавал требуемую форму "сырым впечатлениям". Я научился автоматически относить все, что меня возмущало, к "наследию проклятого прошлого", а все хорошее именовать семенами "светлого будущего". Включив в своем мозгу эту автоматическую сортировочную установку, европеец еще мог, живя в России в 1932 году, оставаться коммунистом.

Такой аппарат щелкал в головах всех знакомых мне иностранцев и наиболее интеллигентных русских. Они знали, что официальная пропаганда — сплошная ложь, но оправдывали ее "отсталостью масс"; они понимали, что уровень жизни в капиталистических странах несравненно выше, чем в России, но оправдывали это положение тем, что при царизме русским приходилось еще хуже; их тошнило от поклонения Сталину, но и это они оправдывали: "мужик" якобы нуждался в новом идоле взамен содранных со стены икон.

В невыносимых условиях у человека остаются, в зависимости от темперамента, три выхода: мятеж, апатия или самообман. Советские граждане понимали, что мятеж против самой мощной и совершенной в истории полицейской системы равносилен самоубийству, и потому большинство пребывало в состоянии внешней апатии и внутреннего цинизма, а меньшинство искало спасения в самообмане.

Я принадлежал к этому меньшинству. Коммунисты поднаторели и в технике массовой агитации, и в приемах самообмана. В мозгу истинно верующего внутренний цензор прекрасно справляется с работой цензора государственного: не дожидаясь требований власти, коммунист сам принуждает себя соблюдать строжайшую дисциплину, сам себя запугивает и подавляет свою совесть...

По-русски я говорил неверно, зато бегло. Я выучил язык за четыре месяца, перед самой поездкой, тем же ускоренным способом, что и иврит перед своей палестинской эпопеей, и жонглировал своим запасом примерно в тысячу слов на манер гидов и портье, пренебрегая грамматикой и синтаксисом. Это позволяло мне выходить одному на улицу, ездить в трамвае, а не в казенном автомобиле, самому делать покупки, общаться с теми, кто соглашался вступать со мной в разговор.

Единственным видом транспорта в Харькове служили устаревшего образца трамваи, ходившие с интервалом в 20-30 минут. В них набивалось вдвое и даже втрое больше пассажиров, чем предполагалось "нормой вместимости": гроздья людей висели снаружи, цепляясь, словно ак-

робаты, за ручки, окна, решетки, буфера и крышу. В первую же поездку у меня вытащили не только бумажник, но и ручку из нагрудного кармана, а из кармана брюк — сигареты. В трамвае была такая давка, что я бы не почувствовал, как мне отрезают штанины. Скученность в транспорте, в учреждениях, в немногочисленных местах отдыха и развлечений превратила Россию в рай для карманников, доведших свое искусство до виртуозной степени. В основном карманниками становились "беспризорники" — бездомные сироты, скитавшиеся по стране, точно стая саранчи еще со времен Гражданской войны.

В 1932 году в Харькове в свободной продаже имелись лишь марки, липучки для мух и презервативы. Кооперативные магазины, снабжавшие население продуктами и бытовыми товарами, опустели. Я далеко не сразу ощутил размеры постигшего Украину бедствия, поскольку в привилегированном магазине для иностранцев царило сравнительное изобилие, но с первого же дня меня насторожило отсутствие потребительских товаров: ни обуви, ни одежды, ни писчей бумаги, ни копирки, ни расчесок, ни заколок, ни сковородок, ни кастрюль — ничего, не было даже иголок для примуса, а без этого инструмента невозможно было прочистить горелку примуса, на котором каждая русская семья готовила себе еду. Позднее, после аварии на Харьковской электростанции, город остался на зиму без света, и запасы керосина для примусов также иссякли.

Весть, будто в тот или иной магазин что-то завезли, распространялась мгновенно, и люди кидались покупать все подряд: зубные щетки, мыло, сигареты, фитили или сковородки. Завидев очередь, прохожие тут же присоединялись к ней. "Хвост" заворачивал за угол, и стоявшие в конце понятия не имели, "что дают". От скуки они развлекались догадками и слухами. Я пристрастился к этому национальному виду спорта и уже на второй день пребывания в Харькове явился домой с губной гармоникой и пятновыводителем — эта жидкость прожгла дыру в выходном костюме Алекса.

Походы на базар тоже могли бы стать азартным занятием, кабы не сжимающая горло судорога. Рынок находился на большой пустой площади. Продавцы сидели на корточках в пыли, разложив свое добро на платках. В качестве товара предлагались ржавые гвозди, драное платье, сметана — меркой служила ложка, и вместе со сметаной в нее попадали мухи. Старухи горбились над одиноким пасхальным яичком или кучкой засохшего козьего творога, старики с босыми мозолистыми ногами меняли разбитые сапоги на кило черного хлеба и щепотку махорки. На обмен шли также лапти и даже каблуки и подошвы, оторванные от сапог, — вместо них привязывали тряпки. Старики, которым нечего было продавать, пели украинские песни. Кое-кто подавал им копеечку. На коленях у женщин или рядом, на мостовой, лежали младенцы; матери брали их на руки покормить — искусанные мухами губы впивались в иссохшие сосцы и тянули оттуда, должно быть, не молоко, а желчь. У многих было что-то не в порядке со зрением — кто косил, кто лишился глаза, у кого зрачок затянуло непрозрачным, млечным бельмом. У большинства опухли руки и ноги, лица становились не худыми, а одутловатыми, того специфического оттенка, который Толстой, описывая заключенного, сравнил с цветом побегов, прорастающих в погребе из картофельных клубней...

Официально никакого голода не было, о нем лишь глухо упоминали, прибегая к намекам: "Трудности на фронте коллективизации". Слово "трудности" — одно из наиболее употребительных в советском жаргоне, с его помощью катастрофы сводятся к минимуму, а достижения соответственно раздуваются. Советский гражданин сразу же понимает, что "величайшая победа революционных сил в Британии" означает прирост голосов у коммунистической партии на полпроцента, а "определенные трудности в области здравоохранения в Биробиджане" — это эпидемия холеры.

Через неделю в мой словарь вошли такие насущные для местного обихода выражения, как "пятилетка", "командировка" (служебная поездка), "пропуск" (разрешение проехать или пройти), "начальник", "ремонт". Я узнал, что за "валюту" можно купить любые, самые недоступные товары, что "сейчас", хоть и означает буквально "в течение часа", на самом деле сулит то же, что испанское "mañana" ("завтра"), а "культурный человек" — это всякий, кто не плюется, не ругается, умеет обращаться с носовым платком и считает в уме, не прибегая к костяным счетам. Я обнаружил, что советские часы и прочие механизмы приходится отправлять "в ремонт" четыре раза в год; научился писать на грубых серых листах бумаги и мыться под повешенным на стене рукомойником в форме самовара — вместо крана у него внизу поршень, на который приходится все время нажимать, чтобы пошла вода. Я убедился, что ни карта города, ни милиционер не помогут найти нужный адрес, поскольку все улицы переименованы, а жители называют их по-старому; я видел, как работников и служащих перемещают по всей стране, словно шахматные фигуры. Все эти подробности я впитывал с интересом, даже с энтузиазмом, ведь то, что пугало меня, было наследием прошлого, а все хорошее — залогом счастливого будущего. К тому же я всегда испытывал ностальгию по первобытному хаосу, жаждал апокалипсиса, и вот наконец мог в него погрузиться...

Каждый гражданин Советского Союза постоянно опасается, как бы его не отправили в командировку в дальние места — на Урал, в Восточную Сибирь или в Казахстан. Это не форма наказания, это может произойти с каждым, на любой должности и в любой момент. "Командировка" — это служебное задание, а при социалистической экономике на государственной службе состоят все.

При этом ездить по России отнюдь не просто. Хотя в ту пору советские граждане теоретически еще имели право путешествовать по стране по собственному желанию, невероятная перегруженность всех средств транспорта позволяла отправиться в путь только обладателям официальной подорожной — "брони"... Привилегированные граждане, имевшие бронь, получали билет раньше или позже, в зависимости от "силы" их организации — министерства, фабрики, совхоза и т. д. Безусловным преимуществом обладало ГПУ, за ним — партработники, правительственный аппарат, армия, тяжелая индустрия, легкая металлургия, производители потребительских товаров, профсоюзы, исследовательские институты — примерно в таком порядке. Этой же иерархии подчинялось распределение квартир, комнат и углов (этим ведал жилищный отдел горсовета), мест в гостинице для иногородних (гостиницами также распоряжались из единого центра), ею же определялось, в каком кооперативе вам предстоит отовариваться и попадете ли вы на парад или на премьеру в театре. Всякий раз, когда я обращался за железнодорож-

ным билетом или за продовольственной карточкой, меня тут же спрашивали: "Из какой вы организации?"...

Права и привилегии человека полностью определялись рангом его организации в социальной пирамиде и его собственным местом внутри этой организации. <...>

Начало путешествия

Внештатный корреспондент находится в самом низу описанной мной структуры, но я значился не просто журналистом — я "входил" в МОРП, а эта организация, связанная с Коминтерном, располагалась примерно посреди иерархической лестницы. Сверх того, я был членом партии, и это повышало мой статус (правда, партии немецкой, а не советской, что, в свою очередь, этот статус понижало)...

С другой стороны, я мог представиться буржуазным журналистом, сотрудником известных газет, — в качестве такового я получил аккредитацию в Наркоминделе. Тем самым я обретал высокий ранг, так сказать, на другом склоне пирамиды, я мог рассчитывать на номер в отеле "Интурист", на мягкий вагон, на продукты из ИНСНАБа — сети кооперативных магазинов, обслуживавших исключительно дипломатов, иностранных корреспондентов и специалистов. Мне было неприятно пользоваться буржуазными привилегиями, но во время путешествия по отдаленным голодающим регионам я только так мог обеспечить себе кров и пищу.

Посещая партийные комитеты или заводы, я никогда не предъявлял свои "буржуазные" наркоминдельские документы, не показывал я их и попутчикам в поезде, чтобы не вызвать у них настороженности и отчуждения; с другой стороны, я не совался с коминтерновским письмом в гостиницы, железнодорожные кассы и магазины, чтобы не лишить себя особого отношения, предназначавшегося из пропагандистских соображений для гостей из стран капитала. Двойное существование не казалось мне бесчестным — можно считать его символом двойного существования самого Советского Союза как уважаемой в мире державы (по линии Наркоминдела) и как тайного центра мировой революции (по линии Коминтерна). Каждый член партии сразу после обращения усваивает этот принцип.

Так я путешествовал в двух ипостасях — и символически, и буквально: с одной пачкой документов в левом кармане и с другой — в правом. Я их ни разу не перепутал благодаря простому мнемотехническому приему: Коминтерн находится слева.

И все-таки я не мог бы разъезжать по стране в одиночку без постоянной помощи со стороны единственной организации, эффективно функционировавшей по всей стране, то есть ГПУ. На каждом вокзале Советского Союза имелся комиссариат ГПУ, поддерживавший хоть какой-то порядок в этом хаосе. В функции вокзального ГПУ входил не политический надзор, а обычные обязанности железнодорожных чиновников или турагентов: дать информацию и обеспечить проезд уполномоченным и командированным. Выйдя из поезда, я первым делом шел в станционный отдел ГПУ, предъявлял документы, и мне автоматически предоставляли те жизненно необходимые вещи, которые не мог получить здесь ни один путешественник, если за ним не стояла "организация": я

получал комнату или койку, продуктовую карточку, возможность проехать дальше. Железнодорожное ГПУ не несло на себе зловещий отпечаток того органа, чьим административным филиалом оно являлось; как я уже сказал, это была единственная эффективно работавшая структура в стране, это был стальной каркас, скреплявший пирамиду воедино. Все же характерно, что этот каркас подчинялся не правительству и не местной администрации, а Главному политическому управлению, службе безопасности. Не террор, а само вездесущее присутствие этой организации, без которой невозможно обойтись, ибо только она одна способна что-то сделать, определяет жизнь тоталитарного полицейского государства. <...>

Надежда

Проведя несколько дней в Тифлисе, я отправился дальше, в Баку, столицу Азербайджана, центр российской нефтедобычи. Мне предстояло проехать еще несколько тысяч километров по советской Средней Азии, поэтому в Баку я собирался провести всего неделю. В итоге я задержался там почти на три недели, отчасти потому, что этот город заворожил меня (я описал его в "Веке вожделения"), отчасти потому, что там меня настигла влюбленность, вызвавшая мучительный душевный разлад.

Все началось в поезде — и неудивительно, ведь в России поезда дальнего следования играют ту же роль, что на Западе трансатлантические пароходы: путешествие дает иностранцу чуть ли не единственную возможность завязать знакомства за пределами официальных контактов.

Еще на станции в Тифлисе произошло короткое замыкание и в спальном вагоне погас свет. Я сидел один в темноте, и тут вошла девушка, а за ней — высокий человек в форме красного командира. Он где-то раздобыл свечу, и в ее мерцающем свете я впервые увидел Надежду Смирнову — гибкую девушку лет двадцати пяти, не уступавшую ростом своему спутнику. Черный, явно сшитый на заказ костюм подчеркивал ее стройность. Пламя свечи бросало сияющий отблеск на пышные темные волосы. Ее лицо было обращено ко мне в профиль — классическая, надменная и чистая красота. Я до сих пор убежден, что ничего прекраснее в жизни не видел: необычайно высокий, подымающийся сводом лоб, губы греческого юноши, словно высеченные резцом скульптора. Она повернула голову, и я обнаружил в ее лице тревожный контраст между профилем и фасом: профиль был грозно-прекрасен, анфас девушка тоже была очаровательна, но совсем по-иному. Невероятно большие темные глаза (зрачки расширились, приноровляясь к слабому освещению) казались слегка близорукими, ей как будто хотелось приблизить свое лицо к лицу собеседника, рассмотреть его, но она запрещала себе это движение, и оттого к неземному совершенству ее черт прибавлялось нечто печальное и трогательное. В профиль Надежда выглядела величественной, недосягаемой знатной дамой; анфас — совсем молоденькой девушкой. Движения ее были быстрыми и порывистыми. Я тут же сравнил ее тонкую фигурку с легендарным образом петербургских балерин, которых никогда не видел.

Видение длилось лишь несколько секунд. Офицер негромко, вежливо извинился, Надежда молча наклонила прелестную головку — они попали не в то купе. Они ушли. В обоих чувствовалась порода, изящество,

воспитанность, совершенно неуместные в тусклом пролетарском мире. Поезд наконец дернулся, и я лег спать, томясь мучительной и запретной тоской по загнивающему буржуазному Западу, где женщины, обладающие подобной осанкой и красотой, источают аромат духов и долгие часы проводят за туалетным столиком.

Рано утром я поднялся и вышел в коридор глотнуть свежего воздуха — и сразу же увидел Надежду. Она стояла у окна напротив своего купе, соседнего с моим, по-видимому, любовалась пейзажем.

Я пристроился у своего окна. Ее красота так поразила меня, что я не мог произнести ни слова. Меня вновь охватила болезненная подростковая застенчивость. Я знал: что бы я ни сказал, все прозвучит нелепо и фальшиво. Я трусливо оправдывал себя тем, что у нее есть спутник, тот высокий офицер-красноармеец. Так — молча — мы провели минут пять, и Надежда удалилась в свое купе. Потом она спрашивала, почему я держался так высокомерно-угрюмо и не заговорил с ней. Я признался в своих страхах, но она мне не поверила.

Я пошел в вагон-ресторан, и через минуту в дверях появилась Надежда. Официант проводил ее к моему столику, где оставалось свободное место, и девушка опустилась на стул, молча поздоровавшись тем же изящным, легким кивком, что и накануне. Подавив охватившую меня панику, я изобрел наконец достаточно оригинальную фразу и спросил божественное видение, не в Баку ли она едет (вообще-то других станций на этом маршруте не было).

— Да, — отвечала Надежда, — и вы тоже?

Так завязался самый горестный роман в моей жизни, и эти воспоминания преследуют меня по сей день.

Я сразу же отчаянно влюбился в Надежду. Малейший ее жест, наклон головы, когда она подносила стакан к губам, — все наполняло меня ликованием. Я знал, что влюблен, ведь самым заветным моим желанием стало тут же умереть за нее — или хотя бы коснуться ее руки. Мне уже стукнуло двадцать семь лет, но я вновь пал жертвой вечной романтической иллюзии.

Вагон-ресторан на удивление хорошо снабжался: черный хлеб, огурцы, селедка, водка, чай и красная икра. Я заказал все, что было в меню. На Кавказе многие начинают день с изобильной "закуски", но я впервые в жизни пил водку в восемь часов утра. Изумительный эффект. На Украине я научился пить водку по всем правилам: опрокидываешь маленькую стопочку чистой, прозрачной, огненной жидкости ("водка", "водочка" — эти ласковые уменьшительные означают попросту "вода"), подносишь к лицу ломоть ржаного хлеба, вдыхаешь его насыщенный, чуть кисловатый, освежающий голову аромат и хрупаешь большой огурец, засоленный с петрушкой. Надежда сперва слегка удивилась, затем улыбнулась и принялась с любопытством наблюдать за мной, заслоняя свое лицо стаканом с чаем. Внезапно она откинула волосы за спину, отставила в сторону безвкусный чай и протянула через стол пустую рюмку, предусмотрительно поставленную официантом подле ее прибора. Какое счастье! Ее рука движется мне навстречу, словно заключая тайный союз.

Мы просидели в вагоне-ресторане до полудня, мы болтали, ели красную икру и выпили всего лишь одну маленькую бутылку водки. Я с облегчением услышал, что высокий офицер остался в Тифлисе — просто знакомый, сказала она, проводивший ее на поезд. Узнал я также, к немалому своему удивлению, где работает Надежда: она служила в отде-

ле водоснабжения горсовета Баку и возвращалась из Кисловодска, кавказского курорта минеральных вод, где провела полагавшийся ей раз в году двухнедельный отпуск. Надежда свободно говорила по-французски с мелодичной русской растяжкой — любой другой акцент в этом языке я считал недопустимым. Она немного изъяснялась и по-немецки; воодушевившись, Надежда цитировала Пушкина и Маяковского. Ей была присуща сдержанная живость манер, она не брала на себя инициативу, но охотно откликалась на мою, и я угадывал в моей собеседнице неколебимую благовоспитанность jeune fille de bonne famille[1], чей отец, чиновник средней руки, с трудом сумел оплатить ее обучение в чем-то вроде российского "Sacré Coeur". Все это никак не сочеталось с отделом городского водоснабжения. Я так и сказал, и Надежда еще шире раскрыла свои большие глаза, демонстрируя удивление. Когда она так раскрывала глаза, не произнося вслух вопроса, и их сияние почти вплотную приближалось к моему лицу, я терял голову. Я повторил:

— Отдел водоснабжения — не может быть!

— Почему? — спросила она. — Чем бы вы занялись на моем месте, скажите пожалуйста?

Я искренне ответил, что принял ее за актрису Большого театра, за приму-балерину или, по крайней мере, за жену народного комиссара.

Она улыбнулась и ответила чуть насмешливо, но так, что я не посмел развивать эту тему:

— В отделе водоснабжения жизнь поспокойнее.

Она охотно слушала, а разговор в основном вел я. Три или четыре часа я трещал без умолку, рассказывал о Париже, Вене, Египте и Северном полюсе. Надежда поощряла меня, сперва небрежно, но постепенно в ее расспросах о Европе зазвучала жалобная настойчивость, неутолимая ностальгия. Я уже знал, как безнадежно томятся образованные русские хотя бы по отблеску того мира, который им никогда не будет дозволено увидеть. Я всем сердцем сочувствовал Надежде и впервые начал смутно осознавать, сколь чудовищен режим, отрезавший двести миллионов своих подданных от всей остальной планеты. Надежда задавала вопросы один за другим, то разумные, то обезоруживающе наивные и невежественные, и на моих глазах изящная, надменная девушка превращалась в ребенка, привязанного тяжким недугом к постели, — так больная девочка жадно расспрашивает о детском празднике, куда ей не суждено попасть. Контраст между неприступным, классически прекрасным профилем и внушающим безотчетное сочувствие лицом, повернутым анфас, стал более явным и в то же время более понятным мне.

Мы вышли из вагона-ресторана, и Надежда пригласила меня в свое купе. Там мы оставались, пока поезд не прибыл в Баку. Мы посмотрели книги, привезенные мной из Европы, потом Надежда внезапно решилась показать мне наряд, добытый через посредство какого-то знакомого своего друга в Кисловодске: шерстяной джемпер и пару импортных замшевых туфель. И то и другое было самым заурядным массовым товаром, но в России ни о чем подобном и мечтать не приходилось. Я не сумел скрыть свою растерянность, Надежда сникла — она не устояла перед искушением продемонстрировать мне свое приобретение, а я испортил

1. Девушка из хорошей семьи (*франц.*), ср. далее "Sacré Coeur", "Святое сердце", то есть Кёстлер сравнивает Надежду с француженкой, получившей воспитание в религиозном колледже (для подобной параллели у него было не больше оснований, чем для того, чтобы вообразить свою спутницу балериной).

ей удовольствие. Я поклялся, что в следующий раз привезу ей из Европы все сокровища земли, от лионского шелка до персидского нарда; я произнес эти слова, стоя на коленях на полу купе (замечу в скобках, что, путешествуя по России, я из практических соображений одевался в русские сапоги с высокими голенищами). Надежда вознаградила меня на русский манер царственным прикосновением своих губ к моему лбу.

Во второй половине дня поезд добрался до Баку, и я пригласил Надежду на ужин. Она сказала, что живет вместе с тетей, — и вот мы нашли извозчика, отвезли мой багаж в отель "Интурист" и помчались на квартиру к тете. Это была небольшая двухкомнатная квартира: спальня и гостиная — в гостиной Надежда устраивалась на ночь на диване. Мебель старая, облезлая. Тетя оказалась сморщенной маленькой старушонкой, бесцветной, безучастной. Она одевалась опрятно и старомодно, шею ее украшал кружевной воротник. По-французски старуха говорила совершенно свободно. Я опасался, что тете мое появление придется не по вкусу, однако она не обнаружила ни малейшего неудовольствия. Любопытства она была лишена напрочь. Пока Надежда умывалась, тетя готовила чай. Мы провели еще с полчаса, лениво перебрасываясь словами, и отправились ужинать. Надежда надела новый джемпер и замшевые туфли. Поймав мой взгляд, она улыбнулась, трогательно посмеиваясь над самой собой, но промолчала. Тетя, заметив ее наряд, воскликнула: "C'est joli"[1]. Более эмоциональной реплики мне от нее слышать не довелось.

На улице Надежда схватила меня за руку и принялась щебетать, точно птичка, выпущенная из клетки. Я спросил ее, чем занимается тетя.

— Ничем, — отвечала она, — тетя — вдова.

Я спросил, кем был ее дядя — оказалось, при царе он занимал должность консула одной европейской державы. О родителях Надежда сказала только, что они умерли.

Через несколько дней я упомянул о тете при одном моем приятеле, работавшем в ГПУ (далее я подробнее расскажу о нем). На следующий день этот человек сказал мне:

— Я спрашивал *начальника* о тетке вашей подруги. Начальник рассмеялся и ответил: "*Старая, старая шпионка*".

Этот голос до сих пор звучит у меня в ушах. Что касается Надежды, она была всего лишь "под наблюдением".

В Баку я оказался вдвойне связан с ГПУ. Должен напомнить, что все эти события происходили в 1932 году, то есть до Большого Террора. Несмотря на периодические приступы "зубной боли", я оставался верным коммунистом, а потому к "товарищам из ГПУ" относился примерно так же, как добропорядочный англичанин относится к полиции. Лишь эта организация могла добиться какого-то толку в Советском Союзе. Служить в ГПУ было величайшей честью для любого партийца, свидетельством безупречной преданности. "Каждый большевик обязан быть чекистом", — настаивал Ленин, и каждый большевик, как русский, так и иностранный, принимал эти слова за безусловную истину. После разрыва с партией, когда я жил в страхе перед убийцами, роковая аббревиатура сделалась для меня символом террора, столь же ненавистным, как и свастика, но в 1932 году эти буквы означали отеческое попечение, вездесущее и всевластное. Я обращался к ним с детским доверием. Вероятно, я оказал-

1. Это красиво (*франц.*).

ся намного наивнее других членов партии. Виной тому, как я уже говорил, присущая мне инфантильность.

На второй или третий день пребывания в Баку я отправился за продуктами в ИНСНАБ, кооперативный магазин, где отоваривались иностранные специалисты. Я питался почти исключительно красной икрой, больше в продаже ничего не было. Рядом со мной в очереди стоял худощавый юноша с искривленным плечом. Он, как и я, говорил с сильным акцентом. Пока наши пайки красной икры заворачивали в старые номера "Правды", мы познакомились. Семь лет спустя этот персонаж появится на страницах "Слепящей тьмы" под именем маленького Леви. Из магазина мы вышли вместе.

В реальной жизни его звали Пауль Вернер. Маленького роста, проворный, как ласка, хрупкий на вид, но выносливый, с бледным острым лицом ребенка, выросшего в трущобах. Правое плечо поднималось намного выше левого, словно защищая лицо от постоянных ударов. Легко было вообразить, как Пауль бежит с газетами по Фридрихштрассе, выкрикивая заголовки вечерних новостей, или катит тележку с овощами по лондонским тротуарам — если б только не темные, кроткие глаза, глаза печального, стареющего горбуна. Тихий сосредоточенный взгляд противоречил порывистым жестам и резким чертам лица. Он как бы говорил: "Не важно, как я выгляжу, как говорю, — на самом деле я совсем другой".

Я сразу же потянулся к Вернеру. Какая радость — здесь, на краю света, повстречать товарища из немецкой КП, человека, говорящего на том же языке, на том же жаргоне, что и я. С ним можно было болтать, не запинаясь из-за плохого знания русского, с ним мы тут же принялись обмениваться шутками. Я и не догадывался, как мне этого не хватало, а Вернер истосковался по немецкой речи гораздо больше, чем я. Он уже больше года проработал в Баку. Присматриваясь к нему, пока мы бродили по угрюмым улочкам, насквозь пропитанным запахом нефти, я ощутил окружавшую его ауру горестного одиночества. Пауль сказал, что состоит на профсоюзной работе. Мне это показалось странным: зачем азербайджанской профсоюзной организации понадобился парень из Лейпцига? Вернер пожал перекошенным плечом: он политический беженец, партия направляет его с одной работы на другую, и в данный момент он работает то ли инструктором, то ли лектором по европейскому профсоюзному движению. Конечно, я был наивен, но не до такой степени. Я сразу же с восторгом угадал в своем новом приятеле "товарища из ГПУ", которому должность в профсоюзе служит прикрытием. Эта гипотеза подтверждалась некоторыми несообразностями в его рассказе, а главное — инстинктом, укрепившимся во мне после общения с "аппаратом" Шнеллера и другими товарищами, занимавшимися какими-то таинственными делами. Разумеется, полной уверенности у меня не было.

Я пригласил Вернера в гостиницу выпить водки. Мы проболтали еще несколько часов, а потом я поспешил на свидание с Надеждой. Между прочим, я спросил Вернера, где мне достать для моей книги материал об иностранном шпионаже в Баку. Он изумился и посоветовал мне отказаться от подобной идеи. Я возразил, что придаю этой теме большое политическое значение. Капиталистическая пресса все время поносила Советский Союз за подозрительное отношение к иностранцам, жесточайший визовый режим и прочие меры безопасности. Мне требовался

материал о шпионаже, чтобы показать необходимость этих правил и реальную угрозу вредительства и шпионажа. В Баку, нефтяной столице, поблизости от турецкой и персидской границы, было самое место для тайных интриг. Мне бы раздобыть два-три ярких и убедительных примера.

Вернер только плечами пожимал. И тут меня осенило:

— Знаешь что? Я обращусь к первоисточнику. Пойду в ГПУ и попрошу дать мне консультацию. Конечно же, все имена и подробности мы изменим.

Вернер расхохотался:

— Сколько ты уже в Союзе? Шесть месяцев? Пора бы научиться соображать. В ГПУ приходят не задавать вопросы, а отвечать на них. Идиот! Тебя спустят с лестницы, и ты наживешь серьезные неприятности.

Но я не сдавался. На другой день мы договорились встретиться за обедом. "Профсоюзный работник" Пауль Вернер (обычно они бывают очень загружены) располагал изрядным количеством свободного времени.

На следующее утро я отправился в бакинский отдел ГПУ. Он находился во внушительном здании Белого города — современного европейского квартала, однако атмосфера внутри этого дома показалась мне самой заурядной: перед будкой бюро пропусков выстроились длинной цепью те же угрюмые, плохо одетые люди, каких я видел повсюду в очередях. Они не выглядели расстроенными или напуганными. У коменданта (так именовались консьержи в официальных учреждениях), невзрачного и неряшливого человечка, было на редкость отталкивающее лицо. Меня это почему-то удивило. Помнится, все, стоявшие передо мной в очереди, протягивали коменданту повестки, отпечатанные на машинке, а он ставил на них штемпель с указанием часа и минуты, когда они входили в здание ГПУ, — опять же привычная рутина, знакомая мне по другим советским конторам. У меня повестки не имелось, и комендант сердито спросил, зачем я пришел. Я предъявил рекомендательное письмо Коминтерна (удостоверение буржуазного журналиста тут, разумеется, было неуместно) и просил о встрече с "компетентным товарищем из отдела по борьбе со шпионажем". Комендант уточнил, с какой целью, но я отказался отвечать и настаивал на своем. "Вам в экономический отдел", — проворчал комендант. Эта подробность тоже врезалась мне в память. По сей день я не в силах понять, с какой стати ГПУ, специально созданное для борьбы со шпионажем, прибегало к такой маскировке. Однако эвфемизмы и камуфляж непременно входят в заговорщическую романтику коммунизма.

Комендант перешел в другую кабинку со звукоизоляцией и позвонил по телефону. Мне он велел ждать. Я простоял примерно с полчаса, а затем явился человек в форме, отвез меня на лифте наверх и провел по коридору в кабинет — маленькую комнату, где стоял массивный стол и три стула. За столом сидел высокий, наголо бритый офицер. Он без улыбки предложил мне сесть и рассказать, в чем дело. Офицер держался вежливо, но холодно и напряженно. Я выложил перед ним свои верительные грамоты и кратко поведал о причинах визита. Офицер несколько минут пристально изучал мои документы, перечитывал их трижды, точно хотел запомнить наизусть. Затем он уставился на меня — лицо его по-прежнему не выражало никаких эмоций — и изрек: "Мы не предоставляем такую информацию, гражданин". Меня задело, что он назвал меня "гражданином", а не "товарищем". Я повторил аргументы, которые уже приводил в споре с Паулем. Пока я говорил, в дверь постучали и вошел

другой офицер. Он на военный лад козырнул моему собеседнику и положил перед ним стопку бумаг. Начальник принялся подписывать эти бумаги, а вновь прибывший, не присаживаясь, всматривался в меня с любопытством и, кажется, с иронией. Этот офицер был высоким и стройным. Лицо красивое, смуглое, манеры непринужденные — по сравнению с ним тот, за столом, с бритым черепом, глазами-пустышками, в жесткой топорщащейся форме, казался представителем более примитивной расы, этакий бюрократ-неандерталец. Я отметил, что, хотя мои документы он изучал весьма внимательно, бумаги он подписывал с маху, едва бросив на них рассеянный взгляд. Смуглый офицер вышел из кабинета, вновь молодцевато отдав честь, а начальник лишь коротко кивнул в ответ. Затем, обернувшись ко мне, он оборвал меня на полуслове: "Мы обсудим ваш запрос с коллегами. Вероятно, мы вас вызовем". Я спросил, следует ли мне заглянуть через несколько дней. Он отрезал: "В этом нет необходимости. Мы своевременно дадим вам знать". С этими словами он меня отпустил. Разумеется, меня так никто и не вызвал — глупому иностранцу просто преподали урок. Больше я никогда не заходил в "контору" ГПУ ни в Баку, ни в других городах.

Мне живо запомнилась краткая немая сцена с двумя офицерами. Что-то в ней было неправильное, какой-то обман. Несколько дней спустя Вернер разгадал эту загадку. К тому времени он уже перестал притворяться, будто служит в профсоюзе. Когда я описал ему свой визит в ГПУ, Пауль расхохотался — он смеялся заразительно, по-мальчишески — и сказал: "Они проделали с тобой обычный трюк: тот, смуглый, молодцеватый, и был начальником, а за столом сидел его подчиненный. Начальник придумал какой-то предлог, чтобы войти, потому что он интересовался тобой". — "Зачем же они поменялись ролями?" — "Разве ты не знаешь, — отвечал Пауль, — что кибицу[1] наблюдать удобнее?"

Благодаря этому разговору, а отчасти из-за эмоциональной напряженности, возникшей к тому времени в отношениях с Надеждой, эта причудливая, выразительная сцена запомнилась навсегда, так что и годы спустя я все еще видел ее словно наяву. Через шесть лет, когда я рылся в памяти в поисках прототипов для двух персонажей моего романа, этот образ вспыхнул вновь, отчетливый, как галлюцинация, и два офицера превратились в Иванова и Глеткина из "Слепящей тьмы".

Я не уверен, что память сохранила точную последовательность событий, произошедших в Баку. Во время второй или третьей встречи с Вернером, за обильной трапезой с водочкой, я напрямую заявил, что считаю его "товарищем из ГПУ". Вернер не стал отрицать, он признался даже, что ему было поручено сблизиться со мной, однако через пару дней это задание отменили, поскольку в местном ГПУ получили из Москвы сведения обо мне, и начальник сказал: "Твой приятель в порядке, не стоит его разрабатывать".

Разумеется, я был страшно доволен и польщен этим решением, но Вернер радовался еще больше. Он был так одинок — только когда мы уже расстались, я смог постичь всю глубину его одиночества и почти физиологическую потребность в собеседнике, которому можно было бы доверять. За два дня Пауль поведал мне свою историю — историю маленького Леви из "Слепящей тьмы", только с другим концом.

1. Кибиц — это зритель, присутствующий при шахматной партии или игре в карты. Kiebitz по-немецки "чибис" и "болельщик". Кёстлер пишет немного иначе: Kibitz — это форма языка идиш, вошедшая в современный английский.

Пауль вырос в Саксонии, в Лейпциге, в семье рабочего. Он рос уличным мальчишкой и все еще смахивал на него, а из задумчивых глаз выглядывал книгочей и мечтатель, которым он стал. Вернер вступил в Молодежную коммунистическую лигу, а затем его приняли в партию. Партия запасалась оружием для уличной войны с нацистами. Вернер принял участие в дерзком "акте" с целью добыть оружие и вынужден был бежать за границу. Около года он странствовал по Бельгии и Франции, то воровал еду, то зарабатывал на ломоть хлеба и щепотку трубочного табака, убивая бродячих кошек и продавая их шкурки. Наконец Пауль вышел на связь с местным партийным отделением. Ему пришлось выполнить несколько тайных заданий, в последний раз он ликвидировал изменившего делу функционера. Об этом убийстве Вернер говорил не мучаясь, но явно смущаясь, как человек, сделавший глупость и страшащийся показаться собеседнику смешным. Вместе с тем он испытывал необоримую потребность в исповеди. Порой тяжкое замешательство вынуждало его отводить глаза, в другие минуты он кротко, вопрошающе глядел прямо мне в лицо, словно пытаясь угадать мою реакцию. Он закончил рассказ, и я спросил, не снится ли ему это убийство по ночам. Нет, отвечал Пауль, в кошмарах ему являются только умерщвленные им кошки, ему чудятся их глаза, их вонь.

Пауля вывезли в СССР после ликвидации предателя, предоставили политическое убежище, а затем и нынешнюю его работу. Я уже знал, что эта работа как-то связана с ГПУ. В чем именно она заключалась, он не сказал, а я не стал спрашивать.

О Надежде и ее тете Пауль сообщил мне через несколько дней после того, как рассказал о себе. С этого момента события начинают расплываться в моей памяти, и только несколько эпизодов выделяются ярко и отчетливо, словно острова в тумане. Я блуждал по запутанному лабиринту чувств, и любая попытка начертить задним числом его план обернется упрощением или мелодрамой.

Поначалу я был потрясен и не хотел верить Паулю. Две одинокие женщины, причем одна — вдова иностранного консула, другая — ослепительная красавица, неизбежно навлекали на себя подозрение. Партия рассматривала социальное происхождение как критерий политической благонадежности, а Надежда и ее тетя несомненно принадлежали либо к аристократии, либо к верхушке буржуазии. Мне не верилось, что тетя и впрямь занималась шпионажем, слишком уж это было бы примитивно и саморазоблачительно. Возможно, в свое время консул и даже она сама, как водится, поставляли те или иные сведения разведке — скорее всего, это и имел в виду "начальник", назвавший ее "старой шпионкой", однако именно такое прошлое полностью исключало использование старухи для шпионской работы в нынешних условиях. А Надежда — сама мысль, что она может быть агентом иностранной разведки, казалась чудовищной и нелепой. Она находилась под наблюдением — что ж с того? Пусть только Вернер познакомится с ней, и он тут же убедится в абсурдности этой идеи.

Вернер того и добивался. Я даже не помню, кто из нас предложил устроить встречу — да и какая разница! Кажется, Вернер, чтобы не пробудить у Надежды подозрений, просил меня сделать вид, будто мы подружились еще в Германии, но я не решился — притворяться я не умею. Само собой, мы не могли назвать Надежде подлинную профессию Вер-

нера — такое нарушение партийной дисциплины приравнивалось к предательству и для меня в ту пору было бы немыслимым.

Мы пошли пообедать в один из двух "коммерческих" ресторанов Баку. Тогда, наряду с рабочими столовыми, еще функционировали коммерческие рестораны, но они считались дурным местом, где собирались лишь иностранцы, дельцы черного рынка и "паразитические пережитки нэпа". В каждом городе был такой ресторан, а то и несколько (самым знаменитым был московский "Метрополь"), и все хорошо понимали, что каждое произнесенное здесь слово сейчас же станет известно ГПУ, но только в этих ресторанах можно было (за бешеные деньги) хорошо поесть и выпить, причем в них царила дореволюционная атмосфера с услужливыми официантами и цыганским хором. Это было так заманчиво, что люди ради этого рисковали своей репутацией, и в залах не оставалось ни одного свободного столика...

Наш обед не удался. Я с трудом уговорил Надежду прийти. Она явилась не в новом джемпере и замшевых туфлях, а в черном, пошитом на заказ костюме. Когда она плавной, плывущей походкой направилась к угловому столику, где ждали мы с Вернером, по залу пронесся шепот восхищения. Вернер буквально выпучил глаза. Девушка приветствовала нас знакомым мне легким наклоном головы, но я сразу же ощутил, как ей неприятен Вернер.

Не помню, говорил ли я Надежде, что состою в партии. В любом случае, она об этом догадывалась. О Вернере я сообщил лишь, что случайно встретил в кооперативном магазине молодого немца, работающего в системе профсоюзов. Теперь я видел, что напрасно свел их вместе: хотя мы с Вернером принадлежали к разным мирам, между нами чувствовалось нечто общее, и этой связью, очевидно, была наша принадлежность к партии. Сперва мне почудилось, будто Надежда ревнует к нашей близости, но потом я увидел, что она не ревнует, а напугана. Отталкивание, которое вызывал в ней Вернер, естественно перерастало в недоверие ко мне. Надвигалась катастрофа. Наши отношения рушились, а я ничего не мог поделать.

Однажды я уже видел Надежду испуганной. Мы впервые остались наедине в моей комнате, и тут печальное воспоминание о прежнем, неудавшемся романе пробудило в ней опасение, что я обойдусь с ней небрежно, а то и жестоко. Благодаря этому опыту я знал, как выглядит Надежда, когда она напугана, и видел, что она боится Вернера. Она храбро сражалась со своим страхом, вздернула подбородок, застыла, все ее тело напряглось, словно в ожидании удара палача. В прошлый раз я почти не шутя сравнил ее с Марией Антуанеттой на эшафоте, и теперь, сидя за ресторанным столиком, я вновь увидел, как она напряженно поднимает голову, как неестественно выпрямляет спину. В России личное достоинство не в чести и заискивать перед опасным врагом не считается зазорным, но Надежда даже не улыбнулась Вернеру. Она держалась вежливо и отчужденно, кутаясь в свое молчание, и, хотя я ощущал исходивший от нее аромат духов, сама она отдалилась от нас на тысячи миль.

В отчаянии я пил рюмку за рюмкой. На столе появилась вторая бутылка. Внешне наши отношения вроде бы сгладились, но тут до меня дошло, что скованность Вернера вызвана вовсе не поразительной красотой нашей гостьи, а комплексом социальной неполноценности — этого еще не хватало! Пока мы общались один на один, я не замечал за ним ничего подобного, тем более что в партии пролетарий стоит выше пред-

ставителя среднего класса, но здесь, в ресторане, он оказался в меньшинстве против нас двоих, умевших орудовать ножом и вилкой. От этого первобытного ужаса не избавит и марксизм. Во мне глубоко укоренилось чувство вины перед пролетариатом, символом которого был для меня Вернер: калека, дитя улицы, добывавший себе пищу отловом бродячих котов, гонимый, преследуемый властями, принесший партии гораздо большую жертву, чем я, интеллектуал из среднего класса. Я не мог успокоить Надежду, рассеять ее тревоги, она полностью отгородилась от нас, но я мог подбодрить Вернера, проявить солидарность с ним, подчеркнуть нашу с ним близость. Надежда отталкивала его, как мне казалось, с высокомерием высших классов, тем самым превращая нас с Вернером в союзников. В каждом треугольнике два угла соединяются основанием, а вершина остается в одиночестве — в тот день эта роль выпала на долю Надежды.

Я не совершал сознательного выбора, я сделал его невольно, я поступал безотчетно, инстинктивно, но ведь так можно оправдать любое предательство. Никто не решает в некий конкретный момент: "Да, я стану изменником" — в предательство соскальзывают постепенно.

После этого обеда Надежда почти неделю избегала меня. По телефону она отвечала, что очень занята. Мы не поссорились, не сказали друг другу ни единого резкого слова. Потом мы случайно столкнулись на улице, и вплоть до моего отъезда все шло вроде бы по-прежнему, хотя на самом деле что-то изменилось необратимо. Надежда не стала объяснять, почему она не хотела видеться со мной, а я не настаивал на объяснении.

Однажды мы вместе пошли на почту (я получал корреспонденцию до востребования). Пришла телеграмма из Берлина, что-то вроде: "Стокгольм и Мадрид гарантированы, Цюрих и Варшава под вопросом. Телеграфируйте маршрут, срочно высылайте материал". Мой агент Карл Дункер сообщал о размещении моих статей в прессе, но со стороны этот текст мог показаться загадочным и даже подозрительным.

Я сунул телеграмму в карман пальто. На обратном пути Надежда по уже установившейся привычке шла рядом со мной, мы сплели пальцы, спрятав руки в тот же карман пальто, где лежала телеграмма. Возле здания, где работала Надежда, мы простились. Вернувшись домой, телеграммы в кармане я не нашел.

Она могла выпасть случайно — но это крайне сомнительно, почти невозможно. Тогда я не понимал, что произошло; теперь знаю. Если б я вовремя догадался, груз вины, накопленный мной за двадцать лет, был бы значительно легче.

Мне представлялось два логических объяснения. Либо Надежда — агент ГПУ, и все ее поведение, в том числе и откровенная враждебность по отношению к Вернеру, было лишь умело разыгранной комедией. Эта гипотеза уязвляла мое самолюбие, но я предпочел бы этот вариант, ведь мы с ГПУ были союзниками. Однако эта версия казалась нелепой, поскольку ГПУ и так читало все мои телеграммы (они проходили через цензуру).

А если Надежда была шпионкой — все во мне противилось этому предположению, — то какой интерес для иностранных держав представляет телеграмма, адресованная журналисту Кёстлеру? Бессмыслица, да и только. Но тут я припомнил, как жадно я в свой конспиративный пери-

од подбирал любые крохи информации, чтобы сообщить их Эдгару, и эта версия уже не казалась мне столь абсурдной.

В конце концов я рассказал про телеграмму Вернеру.

Авторы научной фантастики слишком мало внимания уделяют той возможности путешествия во времени, о которой я когда-то исступленно мечтал: если б изобрели машину времени, я бы сумел исправить причиненное в прошлом зло.

Донос — прямая обязанность каждого члена партии, испытание его лояльности. Когда начались чистки, жены разоблачали мужей, мальчики подписывали заявления с требованием вздернуть отцов на виселицу. Партия научными методами вывела бациллу доноса — главное биологическое оружие в войне против человеческого духа.

За семь лет пребывания в компартии я предал только одного человека, но дороже Надежды в те годы у меня никого не было. Я без преувеличения говорил, что с радостью, с восторгом умер бы за нее. Партию, во имя которой я ее предал, я не любил, я терзался сомнениями и подчас отчаивался в Деле, но я стал частью партии, подобно тому как мои руки, мои внутренности — часть меня. Это не особые отношения, это тождество.

Я цепляюсь за смягчающие мою вину обстоятельства: я изо всех сил подчеркивал перед Вернером вероятность случайной потери телеграммы, и он вроде бы спокойно принял мой рассказ, и потом, я же был уверен, что всеведущие товарищи во всем досконально разберутся и найдут ускользнувшее от меня безобидное решение этой загадки. Я ведь не мог знать, что спустя три года начнется террор и подобного заявления будет достаточно, чтобы погубить любого человека, обречь Надежду на участь Марии Антуанетты.

Самое мучительное для меня — разгадка, на которую я набрел чересчур поздно. Надежда никогда не задавала мне личных вопросов, довольствуясь тем, что я сам рассказывал. Ее интересовали Париж и Берлин, Нил и Иордан, а к обстоятельствам моей личной жизни она, по-видимому, была равнодушна. Я был слеп, я не понимал, что любая женщина жаждет узнать о возлюбленном как можно больше. Надежда с надменным профилем и статью балерины из гордости скрывала свое любопытство, но девочка, тоскующая взаперти, украла телеграмму, чтобы проверить — не от любовницы ли это послание, не от жены ли из далекого обольстительного Парижа или Берлина.

Я предал ребенка...

Только одна мысль отчасти утешает меня.

Незадолго до моего отъезда Вернер, тщательно подбирая слова, предложил: "Посоветуй ей найти работу в другом городе". Не впрямую, намеками, он дал понять (тогда я представления об этом не имел, но позже беглецы из России подтвердили это), что не слишком важная персона, привлекшая внимание местного ГПУ, может ускользнуть от него, переехав в другую часть страны. Перегруженная "контора" прекращала вести дела второстепенных подозреваемых, если те исчезали из поля зрения местных карателей, да и невозможно было бы уследить за миллионами намеченных жертв в стране, превратившейся в огромное кочевье. Если б Надежда рассталась со своей опасной тетей и переехала, ска-

жем, в Ленинград, где у нее были друзья, у нее бы оставался шанс уцелеть, но в Баку ее раньше или позже подстерегала беда.

Раз Вернер дал мне этот совет, стало быть, он не верил в виновность девушки и пытался ее спасти. Эта мысль подбадривала меня. Я сохранял даже крупицу надежды, что Вернер не счел нужным докладывать об исчезновении телеграммы. Как именно он поступил, я никогда не узнаю. Иногда мне мерещится один исход, иногда — другой.

Пароход отплывал около полуночи, но, как всегда, задержался. До четырех утра мы с Надеждой топтались на опустевшем причале. День и ночь на Баку падал черный снег с нефтяных вышек, из огромных труб нефтеочистительных заводов. Около часа ночи пошел моросящий дождь. У Надежды намокли волосы — она никогда не носила ни шляпу, ни платок. На дождь она не обратила бы внимания, если б не липнущий к волосам вместе с влагой запах нефти. Шампунь в Баку не продавался. У меня заныло сердце: я представил себе, как Надежда будет отмывать густые волосы хозяйственным мылом.

С Вернером я попрощался в гостинице, чтобы на причал меня провожала только Надежда, но теперь мы никак не могли закончить тягостное, длившееся часами препирательство. Я посоветовал Надежде поискать работу в Ленинграде, она спросила зачем, я ответил: "Просто так". Она повторила свой вопрос, я — свой ответ. Больше я ничего не имел права говорить ей. Запас русских слов у меня был невелик, Надежда тоже не все могла высказать по-французски. Многое осталось недосказанным — хватило бы на целую книгу.

Конечно, мы собирались переписываться, я обещал, завершив поездку, возвратиться в Баку, — и оба мы понимали, что нашим планам не суждено сбыться. На причале — ни души, лишь пройдет время от времени патруль красноармейцев.

Остальные пассажиры уже спали на борту. Мы шагали взад-вперед, не обращая внимания на слякоть и вонь. Я сжимал холодные пальцы, прятавшиеся в кармане моего пальто. Отсрочка лишь затягивала пытку. И снова Надежда принималась выспрашивать: "Почему ты советовал мне переехать в Ленинград?" Она никогда еще не бывала столь настойчивой, а я не смел ответить.

В темноте лицо девушки вновь сделалось таким, каким я увидел его впервые в распахнутую дверь купе три недели — нет, вечность тому назад. Выражение надменной, неприступной чистоты вернулось к ней. Больше мы ничего не могли сказать друг другу. Ее рука, все еще лежавшая в моем кармане, лишилась тепла. Безжизненный, из вежливости одолженный мне предмет.

Я ждал спасительного свистка парохода с тем нетерпением, с каким приговоренный к повешению ждет, чтобы распахнулась под ногами крышка люка, — скорей бы покончить со всем этим. И вот свисток прозвучал. Мы медленно подошли к сходням, остановились. Я попытался поцеловать ее — и не смог. Надежда не сделала ответного движения, она опустила голову — с волос стекала вода, — посмотрела на новые замшевые туфли: "Теперь им конец", — пробормотала она. И на этом все кончилось.

Я поднялся на борт. Меня завели в душный спальный отсек, полный храпящих тел. Из соображений государственной безопасности на палубу никого не выпускали. Я не мог даже махнуть ей рукой на прощанье.

Плавание по Каспийскому морю от Баку до Красноводска заняло около суток. Я не поднимался с койки. Меня охватила апатия, перешедшая в острое физическое страдание. Потом я обнаружил, что болен, вернее, я убедился, что Надежда была больна, и я заразился от нее.

Я не был ни удивлен, ни шокирован, почувствовав симптомы гонореи. Тем острее стала жалость и нежность к тоненькой одинокой девушке, покинутой на причале в Баку. Я сам был так опустошен, так одинок посреди Каспийского моря, что приветствовал болезнь как напоминание о ней. С тех пор как началось массовое производство антибиотиков, гонорея уже не представляет опасности, но в то время в России, при отсутствии элементарных понятий о гигиене, это заболевание было повальным. Мужчины при должном уходе излечивались за две-три недели, но у женщин болезнь принимала более упорную форму. Я знал, что у Надежды был до меня другой возлюбленный. Казалось символом и воплощением ее судьбы, что подобное унижение постигло именно ее, прекрасный и чистый призрак погибшего мира.

Я долго колебался, следует ли упоминать на этих страницах о нашей общей болезни, не лучше ли промолчать. Я боялся не столько возмутить читателей, сколько вызвать насмешки. Полагаю, определенные пропуски в автобиографии вполне уместны, если не нарушается суть повествования, но эта болезнь кажется мне знаком происходившего в то время, в той стране истребления человеческого в человеке, унижения его достоинства, гибели нормальных отношений. К тому же это лишнее доказательство старой истины: худшее мучение боги приберегают для своих любимцев, для невинных.

Письма Надежде Смирновой оставались без ответа. Не знаю, дошли ли они до нее. ГПУ столь же капризно, как боги. Я не получал известий ни от нее, ни от Вернера.

Во время большой чистки все немецкие коммунисты, жившие в России, за очень небольшим исключением, были арестованы, депортированы или выданы гестапо. Во время войны почти такая же участь постигла немцев Поволжья и немецкий анклав Украины. Практически нет надежды, что Вернер пережил Черную Смерть, но если он уцелел, мои мемуары не причинят ему вреда — миновало двадцать лет, да и все факты хорошо известны "кому надо".

Если Надежда осталась в Баку, она погибла, если успела уехать — быть может, она спаслась. Иногда я уговариваю себя, что она устроилась в Москве или Ленинграде, представляю себе, как она живет в столице, но воображение подводит меня, и мне все время представляется иная сцена: тот вечер в ресторане, когда она не пожелала солгать, не уделила ни единой улыбки Вернеру и так необычайно высоко и неподвижно держала голову. Она была из тех, кто, как говорит Коран. носит на шее свою судьбу.

Я уже говорил, что кроме Надежды никого никогда не предавал, ни будучи коммунистом, ни потом, сделавшись антикоммунистом. То, что произошло в Баку, превратило меня в малопригодного коммуниста, а потом — в плохого борца с коммунизмом, то есть в чуть более пристойного человека. Я впервые заглянул в незримые письмена. Будь я католиком, я бы счел свое предательство актом провидения и на том утешился. Но я не католик.

Орудия судьбы

Несколько дней я провел в Ташкенте, безликом административном центре Средней Азии, неделю — в казахском совхозе, и моя поездка была завершена. Я вернулся в Москву, однако влияние моей организации (или мое положение внутри этой структуры) оказалось недостаточно сильным для того, чтобы обеспечить меня в столице жильем, где я мог бы приняться за свою книгу, так что я поехал в Харьков, к своим добрым Вайсбергам и две недели пользовался гостеприимством Алекса и Евы, пока мне не удалось забронировать номер в харьковской гостинице "Интурист". Здесь за зиму и весну 1933 года я написал "Красные дни".

Тем временем Гитлера назначили канцлером. Месяц спустя нацисты срежиссировали свою Варфоломеевскую ночь, и в Германии начали истреблять наших товарищей. Об этом событии я узнал вечером, сидя у Вайсбергов, мирно играя с Алексом и профессором Шубниковым в преферанс по копейке. Алекс описал эту сцену в своей книге "Заговор молчания". Пока мы торговались за прикуп, Шубников, руководивший лабораторией физики низких температур, типичный старый душка профессор, рассеянный, несколько эксцентричный, ни с того ни с сего задумчиво произнес:

— Теперь вот они рейхстаг подожгли. И зачем это им понадобилось?

— Что? — возопили мы.

— А вы не слышали? По радио передавали: нацисты подожгли ваш парламент.

Мы с Алексом сразу поняли, что это значит. В первые недели после того, как Гитлер возглавил коалиционное правительство, нацисты пытались соблюдать видимость законности и демократических норм. Теперь настал час отбросить всякое притворство. Был дан сигнал начинать террор. Германия превращалась в тоталитарное государство.

Мы издалека предугадывали такое развитие событий, но, как обычно бывает, когда сбываются наши печальные пророчества, это застало нас врасплох. Не помню, что я сказал, что сделал. Алекс в своей книге пишет, что я принялся паковать вещи, намереваясь безотлагательно ехать в Германию, а он уговорил меня дождаться вечерних новостей, выяснить все поподробнее. Я, похоже, все еще верил, что партия выйдет на баррикады. Сколько мы твердили о баррикадах в революционных речах, сколько пели о них в революционных песнях! Однако вечерние известия уничтожили последние иллюзии: баррикад никто не строил. Партия, даже на последних выборах набравшая пять миллионов голосов, сдалась без борьбы. Гитлер победил вчистую, и победу его никто не оспаривал.

В тот вечер за игрой в преферанс моя жизнь полностью переменилась, а я не сразу это заметил. Из экскурсанта я превратился в политэмигранта, каковым мне предстояло оставаться ближайшие тринадцать лет...

Каждое утро в харьковских газетах я читал отчеты о выполнении и перевыполнении плана, о соревновании между исполненными энтузиазма ударными бригадами, о героях труда, представленных к ордену Красного Знамени, о гигантских заводах, построенных на Урале, и т. д. и т. п. Я видел фотографии смеющейся, несущей флаги молодежи или живописных стариков узбеков, с мудрой улыбкой склонившихся над букварем, — и ни слова о голоде, о тифе, о погибающей деревне. Да что там,

в харьковских газетах не упоминалось даже об отсутствии электричества в самом Харькове. Мы жили словно во сне: газеты писали о какой-то другой стране, создавали иную реальность, совершенно не соприкасавшуюся с нашей повседневной жизнью. В результате москвичи понятия не имели о том, что делалось в Харькове, а тем более в Ташкенте, Архангельске, Владивостоке, на расстоянии двенадцати дней пути от столицы. На поездах разъезжали преимущественно государственные и партийные служащие, а они не отличались болтливостью. Огромную страну накрывало плотное одеяло молчания, и никто за пределами узкого круга посвященных не мог сложить цельную картину из разрозненных кусочков мозаики.

Новости в России распределяются только вдоль ребер пирамиды, вдоль линий, сходящихся у вершины, и не сообщаются по горизонтали. Так советский режим сочетает централизацию с изолированностью каждого региона от других...

В апреле я закончил "Красные ночи", напечатал шесть экземпляров и разослал их в государственные издательства Москвы, Харькова, Тифлиса и Еревана, подписавшие со мной договоры на немецкое, русское, украинское, грузинское и армянское издания. В "Боге, обманувшем надежды" я говорил, что эти договоры и изрядные авансы отнюдь не обеспечивались моей литературной репутацией — на тот момент у меня вовсе не было таковой, поскольку я не опубликовал еще ни единой книги. Авансы я получил благодаря "сильному" письму из Коминтерна. Где бы я ни предъявлял его, в Харькове или в Ереване, директор издательства, страшась обвинения в саботаже, спешил подписать договор на существовавшую еще только в виде проекта книгу, которая должна была стать "важным вкладом в нашу борьбу на фронте пропаганды". Так чужими руками Коминтерн финансировал мое путешествие по Советской России. Этим же способом расплачивались и с другими иностранными писателями, не состоявшими в партии. Кому не лестно слышать, что узбеки, таджики и даже эскимосы жаждут прочесть его книгу? И всякий вознегодовал бы, если б ему намекнули, будто гонорары, полученные от нескольких государственных издательств, весьма напоминают подкуп. Такие вот чудеса творит государственный контроль в области книгоиздания.

Несмотря на множество договоров, вышло лишь одно издание "Красных дней", в Харькове: его опубликовали на немецком языке для живших на Украине немцев. То была тоненькая брошюра в бумажном переплете, потерявшая в цензуре более половины своего объема. Ее выпустили в 1934-м, когда я уже покинул страну. Авторский экземпляр мне не прислали, и о том, что книга вообще была издана, я узнал тринадцать лет спустя, получив по почте от не назвавшего свое имя американского читателя книжицу, случайно приобретенную им во время турпоездки по Союзу.

Русский перевод, самый важный с точки зрения авторского самолюбия, так и не вышел в свет. Через три месяца после сдачи рукописи один из руководителей московского издательства сообщил мне, что она отклонена из-за "чересчур легкомысленного и даже фривольного тона". Горькое разочарование, но хорошо еще, что мне не предъявили обвинения в политическом уклонизме и моя партийная репутация осталась незапятнанной.

Тогда же Пауль Дитрих, мой друг и непосредственный начальник в германском отделе Коминтерна, сообщил, что партия решила не оставлять меня в России: вожди и интеллектуальная элита немецкой компартии (те, кто спасся от нацистского террора) собирались в Париже. Париж превращался в центр антифашистской пропаганды, и меня направляли туда.

В России мне было бы нетрудно найти работу, в Париже приходилось начинать все с нуля, но я воспринял этот приказ с облегчением. Хоть я и сохранил веру в коммунизм, жизнь в России произвела на меня гнетущее впечатление. Только теперь, в ожидании отъезда, я посмел самому себе признаться в этом. Тусклые улицы, безнадежная нищета, угрюмая официозность речей и печатного слова, всепроникающий дух исправительного заведения. Быть отрезанным от всего человечества, читать газеты, где нет ни критики, ни дискуссий, нет даже сенсаций: уголовной хроники, скандалов, секса — нет ничего по-человечески занимательного. Призывы, лозунги, стереотипы, полная нивелировка всего и вся, и над всеми — вездесущий портрет Старшего Брата, следящего за нами неподвижным взглядом. Пустота и холод индустриализованного пещерного века...

Мне, как и другим иностранным коммунистам, пережить шок от столкновения с советской действительностью помогало одно: мы убеждали себя, будто ситуация в России порождена не изъянами системы, а отсталостью русского народа. В Германии, Австрии или во Франции революция будет протекать совершенно по-другому. Немецкие товарищи шептали друг другу: "Wir werden es besser machen" — "У нас получится лучше". Каждый коммунист, поживший какое-то время в Советском Союзе, возвращался домой, если можно так выразиться, титоистом.

Именно эта надежда — мы-де справимся лучше — поддерживала во мне веру, правда уже не ту наивную веру, с какой я годом раньше садился в Берлине в поезд, направлявшийся прямиком в Утопию; моя вера сделалась несколько мрачной, замкнутой, эзотеричной, но зато и более гибкой. Теперь я верил в коммунизм не благодаря примеру России, а вопреки ему. Вера, удерживаемая вопреки очевидности, гораздо устойчивей и живучей, нежели вера, опирающаяся на что-либо зримое. Она выдерживает даже разочарование.

Последние недели перед отъездом я провел в Москве. Я познакомился со многими представителями Коминтерна и высшей советской иерархии, в том числе с Михаилом Кольцовым, Карлом Радеком, Николаем Бухариным. Всех их постигла одна и та же судьба. Бухарин и Радек показались мне замечательными людьми, однако видел я их лишь однажды, в официальной обстановке, и потому не решусь описывать их, полагаясь на свои воспоминания, к тому же я придал некоторые характерные черты Радека и Бухарина Рубашову, герою "Слепящей тьмы", так что теперь я уже не в состоянии отделить прототипы от персонажа, составленного из их черт моим воображением.

Все это были усталые люди. Чем выше они стояли на ступенях советской иерархии, тем явственнее ощущалась исходившая от них усталость. Я нигде не встречал таких измотанных, износившихся людей, как на высшем уровне советского руководства, среди старой гвардии большевиков. Сказывались не только постоянные перегрузки, нервное напряжение, тревоги, но и их прошлое: годы подполья, тюрем и ссылок, годы Гражданской войны и голода, — а также правила игры, по которым

от них в любой момент могли потребовать, чтобы они принесли в жертву свою жизнь. "Покойники на каникулах", – называл их Ленин. Их уже ничто не пугало, ничто не трогало. Они отдали Делу, истории все, что могли, выжали из себя все, до последней капли, сгорели дотла, но продолжали преданно светить холодным мертвым светом, точно фосфоресцирующий труп.

В следующем поколении, в поколении глеткиных, доминирует иной тип людей. Их менталитет как нельзя лучше сформулировал молодой партийный работник (его слова приводит в своей книге Дж. Брукбергер[1]):

Мы – верующие, но не такие, как вы. Мы не верим ни в Бога, ни в людей. Мы сами создаем богов и переделываем человека. Мы верим в Порядок. Мы сотворим мир по образу своему, мир без изъяна, где человек избавится от лохмотьев христианства и достигнет космического величия как высшее звено в цепи эволюции. Мы сражаемся не за режим, не за власть, не за богатство; мы – орудия судьбы.

Самое сильное впечатление на меня произвели не "покойники на каникулах" и не глеткины следующего поколения, а совсем другие люди. В ту пору советская империя занимала шестую часть обитаемого мира, ныне она напрямую или через посредство своих вассалов правит третьей частью земли. Невозможно удержать столь обширные территории с помощью одного лишь террора. Да, апатия подданных, их пассивная покорность, склонность к самообману, готовность обольщаться пропагандистскими иллюзиями – все это облегчало правителям задачу, но не могло сделать рыхлую структуру государства более прочной. Партийный и государственный аппарат, завербовавший в свои ряды каждого третьего из трудоспособного населения страны, был, разумеется, заинтересован в сохранении системы, но подавляющее большинство этих "бюрократов", находившихся на нижних этажах пирамиды, влачило столь же нищенскую, лишенную уверенности в будущем жизнь, как и те, кем они правили. Существовала, однако, особая порода людей: они предохраняли колоссальный механизм от сбоя, заставляли его двигаться даже с несмазанными подшипниками и рвущимися трансмиссиями. Трудно дать ясное определение этой категории людей, хотя я отчетливо помню каждого из них. Точнее всего будет, пожалуй, сослаться на еврейскую легенду о тридцати шести праведниках – ее приводит Манес Спербер в романе "Смерть во прахе":

В детстве наш раввин говорил мне: человечество не могло бы прожить и дня без этих тридцати шести праведников, оно погибло бы под бременем своих грехов. Праведники не отмечены ни титулом, ни званием, их никто не знает, они никому не выдадут свою тайну, а может быть, они и сами не знают о ней, но это они в каждом поколении оправдывают существование рода людского, они каждый день заново спасают мир.

В ту поездку по Советскому Союзу я находил их повсюду: Хаджи Мир Баба и полковник Анвар Уморзаков, Ораджилидзе в Тбилиси, культпроп в Мерве, маленький Леви в Баку, секретарь парткома в Харьковском институте физики, юная комсомолка-москвичка, инженер на Горьковском автозаводе, женщина-врач в среднеазиатской деревне, офицер ГПУ в Казахстане и многие другие. Я мог бы назвать около ста имен – столь-

1. J. L. Bruckberger. One Sky to Share. New York, 1952. (*Прим. автора.*)

ких людей этого типа я встретил за год путешествия. Это значит, что в стране их тысячи, десятки тысяч.

Что их объединяет? "Они не отмечены ни титулом, ни званием". Это люди самых разных профессий, отнюдь не фанатичные приверженцы режима, но это они, когда я горевал и отчаивался, возвращали мне веру в будущее Советского Союза. Каждый из них создавал вокруг себя, в океане хаоса и чудовищной бессмыслицы, островок порядка, нормальных человеческих отношений, достоинства. В какой бы области они ни трудились, их благое влияние распространялось на все окружение. Архипелаг таких человеческих островков, протянувшийся через весь Советский Союз, скреплял страну воедино, спасал от распада.

Этих людей — и коммунистов, и беспартийных — можно назвать советскими патриотами в том смысле, какой придала этому слову Французская революция. Это не герои и не святые, их гражданские добродетели идут вразрез с ожиданиями того самого режима, которому они служат. В стране, где все страшатся и избегают ответственности, они берут ответственность на себя, они отваживаются на инициативу и независимость суждений, когда от всех требуют только слепого послушания, они верны и преданы своим друзьям, коллегам, окружающим их людям в мире, где лояльность следует проявлять лишь по отношению к начальству, а преданность — исключительно по отношению к государству. Эти люди сохранили чувство чести и личное достоинство в среде, где такие понятия сделались предметом насмешки.

Подобных людей тысячи; жалкое меньшинство, обреченная жертва очередной чистки — и все же эта порода не вымирает. Те, с кем я познакомился в России, в основном были молодые люди тридцати с небольшим лет, то есть принадлежали к поколению, выросшему после революции. Ныне я встречаю тот же тип среди послевоенных эмигрантов из России, представителей следующего поколения. Прямые, честные, энергичные и бесстрашные люди были и остаются самой надежной опорой режима, отвергающего все их ценности. Будучи коммунистом, я не удивлялся встрече с такими людьми, я считал их продуктом революционного воспитания, "новой человеческой породой", предсказанной Марксом; теперь же я понимаю, что само существование этих людей было чудом, ибо такими, какие они есть, они стали не благодаря революционному воспитанию, а вопреки ему. Торжество несокрушимого человеческого духа над бесчеловечной, *рас-человечивающей* средой.

Давление среды кажется неодолимым. Медленное, упорное, неотвратимое, как прилив, как эрозия почвы. Постепенно наступает то искажение разума, которое я пытался описать, и еще более страшная коррозия души. Человек отрезан от метафизических основ, от религиозного опыта, от любой формы "океанического чувства". Вместо принадлежности к единому космосу — "социалистическая бдительность" и диалектические упражнения, акробатика мозга, заменяющая стремление к бесконечности. Душа иссыхает, и эта духовная засуха страшнее физического голода. В Соединенных Штатах, где наблюдается такое же отвращение к метафизике, уход от трагического плана бытия, — правда, в силу иных причин — бальзамировщики с помощью помады и румян превращают покойников в нетленных участников cocktail-parties[1]; в Советской России ими распоряжаются еще проще: никаких погребальных обрядов,

1. Вечеринки, "коктейль-пати" (*англ.*).

смерть лишена трагического величия и малейшего налета мистики, превращена в строку статистики. На конгрессе писателей в Москве Андре Мальро, вдоволь наслушавшись речей, суливших всеобщее счастье в Дивном Новом Мире, спросил вдруг:

— А что, если ребенок попадет под трамвай?

Последовала неловкая пауза, и под одобрительный гул кто-то ответил:

— При совершенном социалистическом планировании системы транспортных коммуникаций несчастных случаев не будет.

Я уехал из России в конце лета 1933 года...

Последние дни в Советском Союзе, как и первые, я провел в Харькове, у Вайсбергов. Мы снова играли в карты с милым профессором Шубниковым. Спустя пять лет Шубников дал в ГПУ следующие показания:

Вайсберг приехал в наш институт из Германии, где он был завербован гестапо. В его задачи входила организация саботажа и шпионаж. Он пытался завербовать меня в свою организацию, но я отказался, поскольку я уже состоял с 1924 года на службе у германской шпионской организации. С того времени мы работали параллельно, не вступая в контакт друг с другом[1].

У Алекса я встречал многих его замечательных коллег: директора института профессора Лейпунского, возглавлявшего также отделение ядерной физики; Льва Давидовича Ландау, вундеркинда российской физики, — вместе с Лейпунским он участвовал в создании советской атомной бомбы; бывал здесь и глава лаборатории кристаллографии старый профессор Обремов, и британский физик Мартин Руэман, которого Алекс переманил в Харьков. Все эти блестящие ученые, заглядывавшие вечерком в квартиру Вайсбергов выпить чаю или перекинуться в картишки, пять лет спустя засвидетельствовали, что Алекс — немецкий шпион, склонявший их к саботажу и убийствам. Эти люди не были трусами или негодяями, они вынуждены были подписать эти показания. На следующей стадии чистки их самих арестовали, и тогда им пришлось винить и себя и друг друга в еще более фантастических преступлениях. В 1939 году кое-кого из них (Ландау, Лейпунского и Шубникова) выпустили на свободу и они вернулись к работе; Руэмана выслали в Англию (он по-прежнему числится в коммунистической партии). О судьбе Алекса и Евы я расскажу позднее.

Выездную визу получить было не легче, чем въездную, и тем большее облегчение я испытал, когда мне наконец ее предоставили. Алекс провожал меня на вокзал, как всегда, круглощекий, словоохотливый, веселый. Поезд тронулся, и Алекс успел сказать мне на прощание:

— Что бы ни случилось, Артур, — всегда держи высоко знамя Советского Союза!

Окончание в следующем номере

1. A. Weisberg. Conspiracy of Silence. London and New York, 1952. (*Прим. автора.*)

Андрей Михайлов
Обретение Пруста

Как-то было замечено, что все мечты и планы обычно сбываются, вот только ждать иногда приходится слишком долго, настолько долго, что не все доживают до осуществления мечты. Примерно так произошло у нас, в России, и с Прустом. Критик умный и проницательный, Георгий Адамович еще в середине 20-х годов написал о Прусте: "Он, вероятно, будет любим в России". Не только три четверти века назад, но и совсем недавно это могло показаться броским парадоксом. И что же? Пророчество Адамовича осуществляется у нас на глазах. Нет, конечно, мы еще не можем сказать, что Пруста стали у нас любить повсеместно и тем более поголовно, но стойкий интерес к нему в России проснулся, и издательства соревнуются в выпуске его книг и книг о нем.

Все издания последних лет просто трудно перечислить, к тому же такой перечень наверняка будет неполным, ведь постоянно появляются новые книги. Переиздается, естественно, главное произведение Пруста – его цикл "В поисках утраченного времени", но выходят в русском переводе и другие его сочинения. Так, в 1999 г. переиздан ранний сборник новелл и очерков "Утехи и дни" (впервые вышел у нас в 1927 г., теперь же этот старый перевод перепечатан); в 1999 г. вышли также "Против Сент-Бёва. Статьи и эссе" (в переводе Т. Чугуновой) и "Памяти убитых церквей" (перевод И. Кузнецовой, отметим, что лучше было бы не "убитых", а "убиенных"). В 2000 г. появилась очень хорошая книга – сборник стихотворений Пруста, посвященных художникам и музыкантам. Книга прекрасно оформлена, но, главное, образцово переведена Натальей Стрижевской; она же написала умное, глубокое предисловие, в котором наше понимание Пруста выведено на новый, заслуживающий того уровень. Чтобы кончить с переводами "малого" Пруста, упомянем недавно опубликованные все те же его стихотворения о живописцах и музыкантах в переводе В. Ладогина. Впрочем, "переводом" эту работу назвать трудно, это не перевод, а переложение, к тому же весьма вольное и даже подчас разухабистое. Но это тоже показатель растущего интереса к творчеству писателя.

Свидетельством такого интереса стала и выставка "В сторону Пруста (Моне, Дебюсси и другие)", организованная в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в декабре 2001 – январе 2002 г., проведенные в ее рамках очередные Декабрьские вечера и очередные же Випперовские чтения – научная конференция, посвященная Прусту и его эпохе (больше 25 докладов). О достоинствах и упущениях выставки говорить не будем, но вот что поразительно: редкая московская газета ничего о ней не написала, хотя оценки были самые разные. Десять лет назад такого и быть не могло.

Не будем подробно останавливаться на наших недавних исследованиях, посвященных Прусту, упомянем лишь книги, статьи и эссе М. Мамардашвили, В. Подороги, С. Бочарова, Т. Балашовой, А. Кушнера, А. Таганова, Н. Пахсарьян и других, а также переводы работ Ж. Делеза, Ж. Женетта, Д. Фернандеса, К. Мориака, В. Набокова, А. Моруа...

© А. Михайлов, 2002

Самым заметным событием в нашем "обретении Пруста" стало появление в санкт-петербургском издательстве "Амфора" в 1999–2001 гг. семитомника, куда вошли целиком (ну наконец-то!) "Поиски утраченного времени". Первые шесть томов напечатаны в переводе Н. М. Любимова с довольно подробными примечаниями О. Волчек и С. Фокина; последний том переведен А. Н. Смирновой (видимо, ее же комментарии – досадно краткие и беспомощные). Всему изданию предпослано содержательное и вполне компетентное предисловие профессора Ивановского государственного университета А. Н. Таганова.

"В поисках утраченного времени" – не просто главная книга Пруста, это в известной мере его единственная книга, все же остальное – подготовка к ней, примеривание и приспосабливание. Не только ранние новеллы, статьи о литературе и искусстве, но даже, казалось бы, проходная и необязательная светская хроника, что Пруст время от времени печатал в "Фигаро", была такой подготовкой. Что же тогда говорить о его незавершенных книгах "Против Сент-Бёва" и "Жан Сантей" – это уже первые наброски и пробы, в основном отвергнутые, но, как становится ясно только сейчас, благодаря глубоким текстологическим разысканиям, порой оказывающиеся первыми вариантами "Поисков", ряда их эпизодов.

Создание главной книги потребовало от писателя необычайного сосредоточения и самоотдачи. На протяжении полутора десятилетий Пруст был одержим этой работой, отдав ей все свои силы. Отсюда и результаты. В наши дни уже ясно, что Пруст не был ни снобом, ни декадентствующим эстетом, ни литератором-любителем, а был гениальным художником и великим тружеником. Отрицать и то и другое теперь вряд ли кто отважится. Но так было не всегда и не сразу.

То, что это главная книга Пруста и что произведение это очень значительное, стало понятно довольно быстро, недаром за второй роман цикла – "Под сенью девушек в цвету" – ему присудили в 1919 г. Гонкуровскую премию. В России это тоже поняли, вот почему к переводу "Поисков" обратились у нас уже в 20-е годы, причем еще до того, как последний том цикла увидел свет. Эти ранние опыты (А. Франковского, Б. Грифцова и др.) были несомненно удачны, но дело все никак не получалось довести до конца. Правда, в 1934–1938 гг. выпустили уже четыре романа и пятый – "Пленница" – был А. Франковским переведен. Но для русской судьбы Пруста симптоматично, что пятый том так и не вышел – либо из-за войны, либо из-за усиливавшейся с каждым годом идеологической "бдительности", ведь писатель давно ходил у нас в неблагонадежных. С легкой руки А. Луначарского и М. Горького его книга трактовалась как бессвязный поток воспоминаний, к тому же болезненных и ущербных, а ее автор считался закоренелым снобом, заискивающим перед аристократией, не знающим живой жизни и даже тщательно отгораживающимся от нее листами пробкового дерева, которыми он велел обить свою комнату (все эти мифы теперь счастливо развеяны).

А потом интерес к Прусту, даже "отрицательный" интерес, как к "вершине литературного упадка" и "классику буржуазного паразитизма", с чем следовало решительно бороться, как-то сошел на нет. Писатель попал, вместе с Джойсом и Кафкой, в модернистскую обойму, и серьезно им перестали заниматься. Тем более переводить. И так продолжалось более тридцати лет. Редкие упоминания произведений писателя непременно носили уничижительный характер, творчество Пруста было прочно связано с кризисом буржуазной культуры, будучи его одним из ярчайших и красноречивейших проявлений. Но нетрудно предположить, что книг Пруста у нас почти не читали, не читали даже те, кто, казалось бы, должен был это делать по своему профессиональному долгу; так, в конце 50-х годов один видный литературный критик и теоретик литературы признался мне, что Пруста нет в его личной библиотеке (между прочим, очень непло-

хой), его он читал, вернее пролистал, давно, да это не так уж важно: место этого писателя в литературе своего времени раз и навсегда непререкаемо определено.

В конце 60-х годов перевести весь прустовский цикл задумал наш известнейший переводчик Николай Михайлович Любимов (1912–1992). Решение это было по меньшей мере смелое. Во-первых, работа предстояла огромная и неимоверно трудная; речь идет как о необъятных размерах произведения Пруста (это не менее 3 500 страниц обычного книжного формата), так и о стилистическом богатстве, разнообразии, даже разноголосице прустовской прозы, насыщенной философскими рассуждениями, неожиданными психологическими наблюдениями, проникновенными описаниями природы, живописи, впечатлений от музыки, но также яркими бытовыми и сатирическими зарисовками. Добавим, что книга Пруста была и закончена и незавершена одновременно; ее сюжетный и идеологический "костяк" был давно готов — не только в голове автора, но и в его черновых рукописях, — но на него все время нарастало новое "мясо"; короткие мысли и наблюдения разворачивались в пространные пассажи, судьбы многочисленных персонажей реализовывались все в новых эпизодах (так, знаменитое описание смерти литератора Бергота перед картиной Вермеера было внесено Прустом в беловой текст в самый последний момент), не все концы с концами из-за этого оказывались связанными, и даже некоторые фразы оставались оборванными. Но смелым было и само обращение к Прусту: начатая гигантская работа могла надолго задержаться в письменном столе переводчика — вспомним, с каким трудом пробивались к советскому читателю произведения Кафки, Гамсуна, Музиля, Хаксли, Джойса; появление каждой такой книги бывало и издательским подвигом, так как постоянно приходилось преодолевать идеологические препоны. Не избежало, как увидим, подобных препятствий и предпринятое Любимовым издание Пруста.

И, наконец, последняя сложность. Существовала, да и сейчас существует стойкая точка зрения, что перевод А. Франковского наиболее точно и глубоко передает все стилистические особенности прозы Пруста. Тем самым соревноваться с Франковским — это обрекать себя на неминуемое поражение. Что же, перевод Франковского — бесспорно хороший перевод, к тому же он — первый, и лавры первооткрывательства всегда его осеняют. Но вот что отметим: в те годы, когда Любимов решил переводить Пруста, мы знали лишь две книги из семи в переводе Франковского, еще две — в других переводах (Б. Грифцова, А. Федорова), явно переводу Франковского уступавших, три же последние книги вообще никогда не выходили по-русски (то, что перевод "Пленницы" чудом сохранился, еще не было известно). К тому же все наши переводы 20-х и 30-х годов основывались на совершенно случайных французских изданиях (других тогда и не было), с текстологической точки зрения явно неудовлетворительных, испещренных ошибками и пропусками. Отдельные неточности либо спорные решения были и в переводе Франковского, тем более в переводе Федорова. Что было делать в этой ситуации? Возможных решений было, видимо, три. Или не делать ничего, то есть отказаться от перевода, но тогда наш читатель оставался бы без полного Пруста. Либо редактировать старые переводы, что и неинтересно, и неправомерно (впрочем, так иногда поступали: например, в 1955 г. вышла "Молль Флендерс" Дефо в переводе все того же Франковского, но с восстановленными пропусками и исправленными ошибками). Наконец, смело браться за перевод. Любимов выбрал последнее.

Он работал поразительно быстро, но за этой быстротой не было поспешности, за ней стояли исключительная усидчивость, даже одержимость, и конечно же — талант. Но также — огромный предшествующий опыт, ведь были переведены в своих главных произведениях Сер-

вантес, Рабле, Боккаччо, Мольер, Бомарше, Мериме, Флобер, Доде, Мопассан, де Костер, Франс, Метерлинк. Но также – прекрасное знание русской классической литературы, и ее великих представителей (особенно любимы были Пушкин, А. К. Толстой, Тургенев, Достоевский, Чехов, Бунин), и писателей второго и даже третьего ряда; здесь суждения Любимова были глубоки и оригинальны, а познания на удивление обширны, им вполне могли бы позавидовать многие специалисты-литературоведы. Но также – врожденная наблюдательность, интерес к природе, к многоразличным приметам быта и нравов, к театру, вообще культуре. Детство Любимова прошло в маленьком городке Калужской губернии, и позже он писал в одной из своих блистательных работ о мастерстве перевода: "Если б в моей жизни не было этого городка, этого сада, этой первой встречи с музыкой, то разве я мог бы перевести Пруста, разве я мог бы вжиться в Комбре с его тоже ведь задумчивой, тихоструйной, самобытной красотою, в этот маленький мирок, живший жизнью не торопливою, не напряженною, но тем глубже впитывавшей в себя впечатления?"

Переводу предшествовала длительная подготовительная работа. Любимов внимательнейшим образом перечитал Пруста, выписывая в специальные тетрадки трудные случаи, анализируя повествовательную манеру писателя (и тут он самостоятельно, не читая французских исследований, пришел к правильному выводу, что Пруст не был "стилистом", вроде Флобера или Мопассана, что он работал не над словом и слогом, а над содержанием и смыслом). Опять-таки в особые тетрадки вносились первые попытки перевода отдельных пассажей, фраз, слов, имен, топонимов. Другие тетрадки содержали критические замечания по поводу переводов предшественников; Любимов охотно отмечал их находки и удачи, но и хотел учиться на чужих ошибках.

Перевод Франковского Любимов хорошо знал. Мешал ли он ему? Хотя в разговорах он это отрицал, но, думается, все-таки порой мешал. Бывают случаи (это обычно короткие и простые фразы), когда возможен лишь один бесспорный вариант перевода, любой другой будет не просто ухудшением, но даже отходом от оригинала, его некоторым стилистическим искажением. С этим Любимову случалось сталкиваться. Ограничимся только одним примером, первой прустовской фразой. У Франковского: "Давно уже я стал ложиться рано"; у Любимова: "Давно уже я привык укладываться рано"; у Пруста: "Longtemps, je me suis couhcé de bonne heure". Как видим, в оригинале нет ни "привык", ни стилистически окрашенного "укладываться" (вместо вполне нейтрального "ложиться"). Таких случаев небольших смысловых сдвигов в переводе Любимова не так уж много, ведь прустовская фраза подчас сложна и, главное, длинна. (Вспомним Горького: "Французы дошли до Пруста, который писал о пустяках фразами по 30 строк без точек".) Скажем несколько слов и об этой пресловутой "прустовской фразе". Обычно полагают, что структура ее запутанна и противоречива. Да, трудные и даже очень трудные фразы у Пруста встречаются, но в основном как результат авторской работы над текстом, то есть позднейших исправлений, вставок, вычеркиваний. Изначально же, в своем первозданном звучании, фраза Пруста ясна и прозрачна, безошибочно логична и потому совершенно понятна и при чтении, и на слух (в этом писатель был старательным учеником мастеров прозы XVII века – Паскаля, Лабрюйера, Ларошфуко, г-жи де Севинье). Трудности возникают при знакомстве с переводом, особенно переводом буквалистским, выполненным с сознательной установкой на слепое воспроизведение французских синтаксических структур, подчиняющихся, как известно, иным закономерностям, чем синтаксические структуры русского языка. Хотя в нашей читательской традиции принято считать Пруста писателем "трудным", виноват в этом не только он сам, но и наши переводчики.

Любимов в своем переводе старался Пруста прояснить, сделать его фразу более легкой, воспринимаемой без сомнений и затруднений, но более легкой не по отношению к смыслу прустовской фразы, а ее буквальному переводу; для этого он порой (но вообще-то довольно редко) дробил фразу на несколько фраз, охотно пользовался точкой с запятой, не нарушая тем не менее течения смыслового периода, но придавая его частям известную автономность. Богатой прустовской лексике переводчик искал адекватные русские соответствия, и тут обнаруживалось свободное и гибкое владение русским языком, всеми его стилистическими пластами. Изобретателен, находчив и, если угодно, остроумен был он в передаче прямой речи, прекрасно понимая, что она является в руках Пруста мощным средством языковых характеристик. Но иногда он перегибал палку и его заносило (не будем забывать, что за плечами переводчика была работа над Рабле, де Костером, "Тартареном из Тараскона" Доде). От случая к случаю он позволял себе откровенное языковое озорство, которое само по себе приводило к интересным результатам, но все-таки бывало отходом от стилистической сдержанности Пруста. Вот красноречивый пример (из книги "Содом и Гоморра"). На светском приеме барон де Шарлю глумливо и резко говорит об одной даме (маркизе де Сент-Эверт), причем в ее присутствии. Вот как это перевел Любимов: "Этот неделикатный молодой человек осмелился задать мне вопрос, поеду ли я к маркизе де Сент-Эверт. Нет, слуга покорный, я в ее сент-эвертеп не ходок. Уж больно она сент-эвертлява <...> Мне эта сент-эвертунья, сент-эвертушка, сент-эвертихвостка не по нутру". Быть может, эта забавная словесная игра и передает грубость и ерничанье де Шарлю, но в оригинале она недопустима, хотя бы из-за словообразовательных возможностей французского языка. Между прочим, у Пруста эта тирада более прямолинейна, натуралистична и груба; приведем ее в переводе А. Федорова: "Этот дерзкий молодой человек <...> спросил меня сейчас, нисколько не заботясь о том, что этого рода нужды следует скрывать, буду ли я у г-жи де Сент-Эверт, то есть, по-моему, страдаю ли я расстройством желудка. Во всяком случае я постарался бы облегчить его в месте более комфортабельном..." Это пример, конечно же, исключительный, но в переводе Любимова речь прустовских персонажей бывает иногда более заострена и индивидуализирована, чем у французского писателя.

Добавим, что Любимов никогда не бывал за границей, в том числе в Париже (такова была тогда наша жизнь), и не знал многих местных реалий. Так, у него Одетта гуляет по "аллеям Булонского леса", в то время как речь идет об "авеню Булонского леса" (ныне "авеню Фош") — широкой улице, идущей от Триумфальной арки к Булонскому лесу; это было местом великосветских прогулок. Не разобрался переводчик и со структурой парижских кафе, не подозревая, что там за одним столиком не могут сидеть несколько посторонних друг другу посетителей. Любимов мог принять "Люксембург" (то есть Люксембургский дворец, где был музей) за название крошечного европейского государства, а фамилию художника-портретиста XVIII в. Натье — за обозначение профессии ("плетельщик"). Многие из этих огрехов удалось исправить при издательском редактировании очередных томов.

Надо сказать, что перевод первого тома "Поисков" делался по случайным французским изданиям, но начиная со второго тома Любимов перешел на трехтомник так называемой "Библиотеки Плеяды" (компактные тома на тонкой бумаге, тщательно прокомментированные). Но тогда, в 70-е и 80-е годы, еще не было переиздания "Плеяды" в четырех томах с совершенно новыми примечаниями (1987—1989), как и объемистого трехтомника 1987 г., которыми "Амфора" воспользовалась самым широким образом.

Печатать Пруста взялось издательство "Художественная литература". На первых порах дело двигалось весело и споро: в 1973 г. вышел

первый том, в 1976-м – второй, в 1980-м – третий. А потом произошла заминка. Перевод "Содома и Гоморры" долго лежал в издательстве, и лишь обращение переводчика в "компетентные органы" позволило этот том издать (1987), да и то с ханжескими цензурными изъятиями. Любимов, чувствуя, что силы уходят, стал торопиться и быстро перевел "Пленницу", но Гослит опять медлил – книга вышла только в 1990 г.; следы торопливости можно в переводе заметить: текст по-русски звучит прекрасно, но в нем встречаются смысловые ошибки. Не дожидаясь выхода "Пленницы", верный своему замыслу – перевести всего Пруста, Любимов уже работал над переводом "Беглянки", между прочим, так и не получив договора от неповоротливого Гослита. Но теперь он работал медленно и трудно, он уже не летел по тексту, как в былые годы, а тяжело шел по нему, постепенно проникаясь к этой замысловатой прозе равнодушием и даже неприязнью. Он жаловался на головокружение, головные боли, бессонницу, усталость, виня в этом Пруста. Врачи настоятельно советовали работу бросить. В октябре 1992 г. она была прекращена. Конец тома остался непереведенным, да и в других местах были пропущены большие куски текста. А через два месяца, 22 декабря, Н. М. Любимова не стало.

"Беглянку" выпустил уже не Гослит, а издательство "Крус", причем дважды – один раз, так сказать, в первозданном виде, другой – с восстановленными пропусками (на своих местах, но в квадратных скобках) и с исправленными ошибками. Однако вдова Любимова осталась недовольна исправленным изданием, вот почему "Амфора" была вынуждена напечатать неисправленный текст, а пропуски – в хорошем переводе Л. Цывьяна – поместить в раздел "приложений", что, конечно, затрудняет чтение. Это бы ладно, но более двух десятков мелких описок и ошибок Любимова в издании "Амфоры" исправлены не были. А у переводчика, например, Альбертина ездит на мотоцикле (вместо велосипеда, с. 137), беседует с подругой на берегу моря (вместо реки Луары, с. 150), накидывает "купальник" (все-таки лучше, учитывая эпоху, "купальный халат", с. 102), герой дает девочке-нищенке пять франков (в действительности – пятьсот, из-за этого и скандал, с. 23), один и тот же персонаж называется на соседних страницах то д'Олороном, то д'Олроном, то герцогом д'Ольрнским. Очень жаль, что "Амфора" не обратила на это внимания, ведь другие опечатки, описки и ошибки были исправлены.

Но к старым опискам и ошибкам издание "Амфоры" щедро добавило новые. Многие тома просто пестрят всевозможными опечатками; здесь и пропущенные (или лишние) буквы, слоги, отдельные слова, подчас оказываются потерянными целые куски текста (так, в "Содоме и Гоморре" на с. 89 пропущено 20 строк). Все это, думается, – от излишней торопливости, которая неизбежно оборачивается досадной небрежностью.

Особенно много всяческих несуразностей в примечаниях. Они, как известно, призваны пояснять прежде всего непонятные читателю наших дней намеки, упоминания и реалии (которые не очень-то затрудняли современников Пруста), но также углубить понимание творчества писателя, поставить его в контекст эпохи, а данное произведение и конкретный его эпизод – в контекст творческого наследия Пруста, в том числе в соотнесении с его биографией. Говоря упрощенно, надо объяснять, не кто такие Мюссе, Руссо, Рафаэль, Тициан (что сделано в издании "Амфоры"), а почему писатель упоминает именно их и как раз в этом месте. Да, подчас это сделать трудно, но последние французские издания, на которые ссылаются комментаторы "Амфоры", буквально переполнены всевозможными сведениями, так что было откуда выбирать. Впрочем, когда наши комментаторы немного отходят от французских источников, у них появляются неточности, ошибки, неудачные дефиниции. Не повезло, например, Проспе-

ру Мериме: то он назван автором "исторических романов и новелл" (т. I, с. 533)[1], то ему приписана "биография" Стендаля (т. II, с. 594), которую в действительности он не написал (он оставил короткие воспоминания о своем старшем друге).

Повторим, примечания в издании "Амфоры", опирающиеся на недавние разыскания французских литературоведов, довольно подробны и интересны. Вместе с тем прокомментировано все-таки далеко не все: не десятки, а сотни намеков и упоминаний Пруста остались без пояснений. Ограничимся лишь одним примером. В романе "По направлению к Свану" говорится об одной картине Вермеера, "которую Морисюи приобрел на распродаже..." (т. I, с. 432). В примечаниях разъяснено, что́ это за картина и когда состоялась распродажа, но вот только не сказано, кто этот загадочный Морисюи — коллекционер, перекупщик, случайное лицо?.. Любимов этого не знал (не знал и Франковский); в действительности речь идет о знаменитом музее "Маурицхёйс" в Гааге, который посещал и Пруст.

Встречаются в примечаниях "Амфоры" спорные даты и спорные утверждения, например, что Фенелон был "отлучен от церкви" за свой роман "Приключения Телемака" (I, с. 531); да, неприятности у Фенелона были, но не из-за романа, с должности его смещали, но от церкви все-таки не отлучали. И подобных примеров немало: почему, например, Карл V назван "немецким" императором (I, с. 518; надо бы: "германский"), Пизанелло — "французским" живописцем (III, с. 626), а Малларме — "романистом" (III, с. 651)? Неверно, что в ряде произведений Бальзака фигурирует некая русская аристократка Щербатова (IV, с. 654; надо: Щербелова), что известный роман Шамиссо называется "Пьер Шлемиль" (II, с. 600; надо: "Петер Шлемиль"), что вторая фамилия поэта Монтескью была "Фрезензак" (I, с. 534; надо: "Фезанзак"), что существовало средневековое предание о "сыновьях Эдмона" (I, с. 520; надо: "Эмона"), что в Средние века творил поэт Рутбёф (I, с. 520; надо: "Рютбёф") и т. д.

Очень много в примечаниях неверных дат, и это тоже результат поспешности и небрежности; этим можно объяснить и появление Людовика XVII (I, с. 534) и даже Людовика XIX (IV, с. 661). Это, конечно же, опечатки, но как можно было их не заметить! Ведь они портят такую большую и кропотливую работу.

Досадно еще и другое. Широко воспользовавшись новыми французскими изданиями, О. Е. Волчек и С. Л. Фокин не проверили по ним текст перевода (следы такой проверки видны лишь в единичных случаях). Тем самым текстологические достижения последних лет прошли ими незамеченными. И уж совсем непонятно, почему перевод "Обретенного времени" не состыкован с переводом Любимова: у "дипломанта премии "Триумфальная арка" Аллы Смирновой появляется "Шарлюс" (у Любимова "Шарлю", что тоже возможно), композитор "Вентей"(в остальных томах "Вентейль"), семейство "Камбремер" (что совершенно правильно, но Любимов-то придумал "Говожо", дабы передать не вполне приличную игру слов); в "Обретенном времени" подруга Альбертины Андре совершенно напрасно названа "Андреа", и что уж совершенно недопустимо, так как безграмотно, герцог Германтский фигурирует как "господин Германтский". Бесспорно, каждый переводчик имеет право выбирать свой вариант, но это ведь не отдельное издание, а единый семитомник. И жаль, конечно, что О. Волчек и С. Фокин не составили подробные комментарии к этому тому, как они это сделали в шести первых томах.

Несмотря на некоторые недочеты и промахи, издание "Амфоры", включенное в очень удачную серию "Тысячелетие", дало нам наконец полного Пруста, точнее, дало целиком его главное произведение. Спустя три четверти века, с великими трудностями, с ситуациями попросту

1. Для краткости названия частей эпопеи Пруста заменены римскими цифрами. (*Прим. автора.*)

трагическими (Луначарский умер, едва начав предисловие к новому изданию Пруста, Франковский погиб во время Ленинградской блокады, так и не увидев выхода переведенной им "Пленницы", болезнь и смерть помешали Любимову довести перевод "Поисков" до конца), вопреки нападкам конъюнктурной критики, цензурным запретам, опасливой медлительности издательств, эта великая Книга, столь сильно повлиявшая на весь облик литературы XX столетия, теперь у нас в руках и может говорить сама за себя. Теперь мы можем вдумываться и вчитываться в этот "запутанный роман" (А. Кушнер), знакомиться с его неторопливым сюжетом, с блистательными лирическими пассажами, так своеобразно и трепетно раскрывающими нам вечную красоту природы, музыки, живописи, литературы, с яркими сатирическими картинами бытия светского общества, с проникновенным изображением человеческих отношений, всей их гаммы — от сыновней любви, теплоты родственных и дружеских связей, до напряженных любовных страстей, навязчивых подозрений и болезненной ревности, до снобистских предрассудков, приземленного тщеславия обывателя (даже если он самых аристократических кровей) и возвышенного тщеславия автора-творца, посвятившего себя искусству и благодаря ему разрывающего сковывающие рамки Времени.

Борис Дубин

Человек двух культур[1]

Меньше всего я имею в виду идиллию. Быть, как Вадим Козовой, человеком двух культур — или двух литератур, обе из которых он, по словам ценившего его Мориса Бланшо, "блестяще знал" и к обеим из которых "принадлежал своим творчеством"[2], — состояние отнюдь не безоблачное. Уж скорее тут вспомнишь старые слова любимого Вадимом Тютчева:

Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.

Но еще труднее и многократно драматичнее стать человеком двух культур в стране, невротически закрывшейся от мира, в обществе, где официоз десятилетиями насаждал равнодушие и недоверие к другим, думающим и говорящим иначе, взращивал непонимание, нежелание понять разномышленника, где укоренялась душная неприязнь ко всему чужому.

После смерти Вадима Козового французский историк и искусствовед польского происхождения Кшиштоф Помян назвал русский ум своего друга "в то же время глубоко и полностью европейским" и добавил: "В своих книгах, в самой своей личности он воскресил это единство, которому русская культура обязана несколькими из собственных вершин"[1]. Поэт — его ум, сама его личность — и язык, Россия и Европа соединены здесь не зря, как не случайно с подобным единством связываются и высшие достижения русской культуры. В чем логика такого соединения и что эта более общая логика приоткрывает в жизненном, творческом пути Вадима Козового, в логике этого пути?

Первыми в голову приходят, конечно, сделанные Козовым переводы французских поэтов — Гюго и Нерваля, Бодлера и Малларме, Лотреамона и Рембо, Клоделя и Валери, Реверди и Аполлинера, Шара, Мишо, Деги и многих еще[2]. Казалось бы, так. Но ведь сам поэт на их примере говорил об "отвращении к переводу... упроченном истинными муками, какие... испытывал, когда помогал другим... втискивать свой голос в "кадаверическую" жесткость французского синтаксиса и письменной речи" (имеется в виду работа Мишеля Деги и Жака Дюпена над переводами стихов Козового, завершившаяся выходом двуязычной книги[3]). Но ведь он, презирая племенной национализм, все-та-

© Б. Дубин, 2002

1. В основе статьи — выступление на международной конференции "Русская поэзия — французская поэзия", организованной Мишелем Окутюрье и Элен Анри-Сафье в Парижском университетском центре Мальзерба 14—16 марта 2002 г. Для публикации исходный текст значительно доработан.

2. Maurice Blanchot. Poésie et temps (машинописный "внутренний" отзыв 1988 г. на программу работы В. Козового в Национальном центре научных исследований — здесь, как и во всех других случаях ниже, я цитирую неопубликованные тексты по материалам, хранящимся в архиве вдовы поэта, Ирины Емельяновой, которой приношу глубокую благодарность; переводы с французского во всех случаях принадлежат мне. — *Б. Д.*).

1. Poésie, 1999, № 89, p. 7.

2. Значительная часть их собрана в антологии Французская поэзия. Перевод В. М. Козового. М., 2001. Полную библиографию публикаций поэта, включая переводные, см. в кн.: Твой нерасшатанный мир: памяти Вадима Козового. Стихи, письма, воспоминания. М., 2001.

3. Vadim Kozovoi. Hors de la colline. Прочь от холма. Version française de l'auteur avec la collaboration de Michel Deguy et de Jacques Dupin. Postface de Maurice Blanchot. Avec des illustrations de Henri Michaux. P., Hermann, 1984.

ки напористо аттестовал себя "русофилом", а русский и французский языки называл "противоположными полюсами". Больше того, Козовой, кажется, и вообще считал перевод несовместимым с "бескомпромиссностью поэзии". Как же тогда понять его пожизненную привязанность к переводам, ведь много раз переписанные и все-таки опять переписываемые по-русски "Озарения" Рембо сопровождали его буквально до последних часов? Собственный вариант ответа у Козового таков: есть внутренняя, не рассуждающая корысть поэзии, и поэзия (подчеркну, поэзия, а не "литература"!) ищет "сродства душ" вот в такой неожиданной, парадоксальной форме, умножая и углубляя различия.

Поэзия (а поэтический перевод — одна из законных и полноценных форм поэзии в новое время, свидетельство ее усложнившегося существования) идет от различия между естественным языком и языком стихов. Так называемый родной язык — всегда как бы чужой поэту. Я хочу сказать, что одного его поэту мало. Вместе с тем он чужой еще и в ином смысле: только благодаря *другому* языку, причем маячащему — проступающему, ускользая — *внутри* твоего родного, вообще становятся возможны стихи. Но точно так же и только так становится возможным перевод, этот ответ на стихи другого. Поэтому язык поэзии, объединяющий через различие, всегда ощущается как моментально опознаваемое "целое", обособленное и всеприсутствующее здесь и сейчас даже на слух. И хотя этот язык никогда не дан до конца, в любом стихотворении, любой строке, в ее фрагменте он воплощен "весь", воспринимается разом как единство ("в Слово сплочены слова", по Пастернаку). Больше того, это единство — мое, это и есть "я".

Таков один полюс языка, полюс тождества — Козовой называл его утопическим, а я назову адамовым, райским. Он для поэта исходный и определяющий; им, как бы он ни был недостижим, жива поэзия. Второй полюс можно назвать историческим или полюсом различий: здесь говорит послевавилонское многоголосье "другого" с напластованиями разных эпох и укладов, переплетением ремесел и биографий. включая горячую, горячечную речь нынешнего дня. Козовой называл эту разноречивую поэтическую материю интонацией, а искусство нового времени — интонационным. Для него оно определялось переживанием "роковых минут", разрыва времен, и предчувствием их апокалиптического конца — ницшеанских сумерек и смертельной борьбы богов. Двойственность, которую чувствует в поэзии новейший поэт и его неразлучный аватара-переводчик, — не просто индивидуальная черта, психологический бзик: она связана с самим современным миром, с новым статусом и состоянием языка в нем, с расколотым мироощущением послеромантической эпохи. Об этом новом чувстве и назначении языка писал еще Вильгельм Гумбольдт: язык для него вынужден принимать в себя "двойную природу мира и человека, чтобы передавать их взаимное действие друг на друга"[1].

В этом смысле семантический и символический барьер "чужого языка" — своего рода вечный двигатель перевода, его primo motore и вместе с тем perpetuum mobile. В сознании переводчика, его внутреннем "театре" подобный барьер — что-то вроде рампы: в соотнесении с ней на сцене появляются и вступают во взаимодействие такие фигуры, как "я", "другой", "я как другой", "никто" (не я и не ты, но любой и всякий). Вместо понимающего истолкования в филологии поэзия предлагает прямое действие — перевод: действие через разрыв, в самом разрыве, самоощущение раны. Отсюда — "поэт в катастрофе", сказанное Козовым, как точно отметил Кшиштоф Помян, не только о Пастернаке, но и о себе самом.

1. Вильгельм фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. Процесс рождения новой теории и практики перевода из нового отношения к языку у романтиков, прежде всего — Гельдерлина и Августа Шлегеля, обстоятельно и тонко прослежен Антуаном Берманом, см.: Berman A. L'épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. P., 1995; Idem. La traduction et la lettre ou L'auberge du lointain. P., 1999, p. 79–96.

"Я — другой" ("Je est un autre", Рембо) — исток и закон поэтического слова в новейшее время. Переживая чужое как свое, а свое как чужое, чувствуя себя чужаком любому природному языку, переводчик делает чужое опосредующим. Так он работает с речью: выращивает в своем родном наречии другой язык, способный усвоить и передать чужое. Тем самым он создает новое, уже не *натуральное*, а *символическое* измерение языка, без которого его детский язык и не смог бы повзрослеть, стать для него языком культуры — путем к другому. Как не смог бы такой неповзрослевший язык и выстроить, вместить, сделать понятным другому его, поэта, стереоскопическое "я", которое, словами Рембо, "есть другой". Вызов, который улавливает переводчик в воздухе эпохи и ответить на который он берется, это вызов недостачи, вызов со стороны нехватки, обращенный к его "я", к самим основам его "я" — материнскому языку. Не став языком перевода, не дорастя до способности переводить — то есть не испытав, не впитав, не преобразив в поэтическое действие интерес говорящего на родном языке к чужому и к языку чужого, — этот родной язык останется обедненным, однобоким, плоским. А не достигнув этой воображаемой взаимности и полноты, он не сможет в полной мере ощущаться даже и как родной. Провалы и сбои в переводе (говорю не об ошибках, а о косноязычии, спазме, афазии, подстерегающей немоте одиночества, самоизоляции, некоммуникабельности) происходят не от слабого или неточного знания переводчиком чужого языка: это признак его натянутых отношений с природным языком, неестественности его отношения к себе.

Антологию французской поэзии XIX–XX веков, над которой Вадим Козовой работал фактически всю сознательную жизнь, он в наброске предисловия к ней называл "собранием того, что русский поэт любит в чужой поэзии и что, на его взгляд, ему удалось передать в поэзии родной, с достаточной точностью и надлежащей силой... главная задача поэта — сделать переводимое обогащающим фактом русской поэзии". И пояснял в дружеском письме: "Главное — добиться впечатления, что данную вещь писал ты, со всей силой, на какую способен, но "ты" — другой, лишь потому с предельной смелостью оригинальному поэту изменяющий, что хочешь остаться ему верен в наивысшей степени..." В наиболее развернутом виде соображения о возможностях, цели и цене поэтического перевода представлены Вадимом Козовым в краткой, но чрезвычайно насыщенной "Заметке переводчика", которая завершала в 1998 г. его публикацию русскоязычного Малларме в журнале Мишеля Деги "Поэзи". Там он писал: "...каждое твое следующее слово — независимо от любых технических задач — целиком остается *внутри* русской поэзии и, значит, подразумевает *соперничество* с тем, что переводишь... Либо сделанный тобой перевод со всей вложенной в него строгостью станет фактом, обновляющим твои собственные стихи и поэзию, которая пишется сегодня на твоем родном языке, пусть даже ее ресурсы представляются тебе окончательно исчерпанными, — либо игра вообще не стоит свеч... подобная задача со всеми откликами одного поэтического языка в другом, одной интонации, преодолевающей границы разумного — а также заумного и даже безумного — языка, в близкой ей другой, выходящей за такие же границы своего наречия, понятно, не умещается в сферу чисто цивилизаторских трудов по просвещению и популяризации"[1].

Скажу еще раз: источник и двигатель переводческого труда по Козовому — сознание смысловой катаст-

1. Vadim Kozovoi. Note du traducteur. Poésie, 1998, № 85, p. 179. Это эссе вместе с другой русской и французской прозой поэта, а также подборкой его писем войдет в книгу "Тайная ось", которую И. Емельянова готовит к публикации в издательстве "Новое литературное обозрение".

рофы, гностического несовпадения, неустранимого разрыва вещи и смысла, смысла и слова, речи и языка. Поспешная мысль будней предпочитает скользить подальше от таких разрывов; твердолобая власть чувствует в подобном скандале угрозу и измену, вызов себе. И, надо сказать, чувствует верно. Поэт — и переводчик поэзии — это испытатель языка на отзывчивость, а значит, и мира на прочность: разрыв и усилие смысла он носит в себе. Козовой даже во французской поэзии выбирал для себя то, что расшатывало, говоря словами Целана, "решетки речи" ("Sprachgitter"), что и в "классическом" по ясности галльском наречии жило самыми границами слова, — выбирал не просто труднейшее, но как бы уже и не принадлежащее языку или еще до него не дошедшее. Близко знавший Вадима французский социолог, историк, переводчик русской литературы Алексис Берелович в недавнем разговоре заметил, что Козовой, задолго до вынужденной эмиграции в 1981 году, уже создал для себя пространство на границе существования, в конце пятидесятых читая за колючей проволокой лагеря новейших французских поэтов, — того же он искал потом и в слове как поэт, как переводчик. Характерно, что в своей составленной уже во Франции заявке на издание "Озарений" Рембо в собственных переводах Козовой писал, что этот шедевр французской литературы "'торчит' в ней особняком, каким-то ни на что не похожим 'монстром'" и что "Рембо вышел за пределы устоявшегося письменно-синтаксического французского литературного языка, буквально взорвав его экстатической речевой интонацией".

И конечно же, прав писавший о Козовом Морис Бланшо: непереводимость поэзии — "вовсе не в непосильном переложении с одного языка на другой, а в само́м первородном языке, в том, что ускользает в нем именно тогда, когда дается в руки, не оставляя и только что оттиснутого следа, который всякий раз тут же стирается". Поэтому первоочередная для Бланшо задача поэта (переводчика как поэта и поэта как переводчика) — "пере-ложить то чужеродное, что уже *есть* в языке. Но мало того, переложить на такой язык, который никогда не дан тебе так, как дается родной: это некая ритмическая траектория, где важен лишь переход, напряжение, модуляция, а вовсе не точки, которые при этом минуешь, не пределы, которые не определяют здесь решительно ничего. Тем самым поэзия становится как бы воплощенной тягой к переводу, который сама же делает невозможным, или бесконечным переносом, к которому взывает, тут же его отбрасывая или перечеркивая"[1].

"Перевод, "это безумие", — завершает Бланшо, цитируя здесь Малларме, — становится для нас несбыточной необходимостью... Написанное на родном языке поэта, стихотворение уже́ и всегда отличается от этого языка, его то ли восстанавливая, то ли устанавливая впервые. Вот это неустранимое отличие, эту коренную несовместимость и схватывает переводчик, ею он сам и захвачен, а это, в свою очередь, изменяет уже его собственный язык, заставляет данное ему с детства наречие двигаться в непредвиденном, небезопасном направлении, отнимает у него то равенство себе, ту однозначность, которые в противном случае... свели бы язык к "здравому смыслу"[2].

"Traduire, 'cette folie'"... Жизнь в разрыве не противостоит для Козового жизни во взаимодействии, в диалоге: поэзия питается энергией их напряжения, током конфликта. Отсюда двуязычие Вадима — не просто адаптивное, бытовое, но творческое, литературное, необходимое его поэтическому слову. Отсюда его постоянная перекличка с множеством ушедших и живых — в стихах, эссе, письмах, надписях на книгах, уличных разговорах и ночных собеседованиях, в его деятельности переводчика, публикатора, комментатора русской и французской словесности.

1. Maurice Blanchot. La parole ascendante. Vadim Kozovoi. Hors de la colline, p. 121.
2. Ibidem, p. 126.

Его жизнь поддерживали и несли два крыла: поэзия и дружба. Обоими этими дарами он был награжден с избытком, об их связи писал в эссе к девяностолетию Мориса Бланшо[1]. Еще раз вернусь к рассказу о первых годах Вадима во Франции, когда он вместе с Мишелем Деги и Жаком Дюпеном готовил для издательства "Эрманн" книгу своих стихов в переводах на французский язык. Вот как об этом рассказал недавно, уже после смерти Козового, Жак Дюпен: "Помочь переводу Вадима на французский значило для нас хотя бы на несколько медяков уменьшить наш ему общий долг. В этом самоперекраивании из одного языка в другой ему, нам приходилось отделяться от себя, чтобы над собой подняться, отрываться от себя, чтобы начать видеть, углубляться в подземные жилы и залежи двух наших языков. В их складки, жерла, расселины. Скользить, проваливаться, нырять. Чтобы добыть энергию, жажду, необходимую двузначность. Воля к различению, отделяющему волоконце от волоконца, высвечивает узлы, перекрестки, общность. Труд всепоглощающей неточности, какое-то нечеловеческое переплетение несоединимого..."[2]

Картина, только что вызванная французским поэтом в памяти (три собрата, бьющихся каждый над собственным родным языком и тянущихся к чужому — опять-таки, каждый к своему, — чтобы прийти к какому-то незнакомому, пока еще неведомому для них общему), кажется парадигмой современной словесности, чуть ли не ее аллегорией. Чем заняты у нас на глазах трое друзей? Они повторяют первичное движение поэзии в Новое время: ищут единое через разрыв, свое через чужое. Но, поглощенные этим, они на деле, в собственной борьбе с собой и другим, в этом одолении/подчинении, схватке Иакова с ангелом воспроизводят формулу современности (modernité Бодлера и Рембо), больше того — саму матрицу культуры как ее "языка". А вместе с тем как бы возвращают в ответ России — donnant donnant, по заглавию книги Мишеля Деги, тот дар, который она в свое время приняла от Европы, создав русскую литературу XIX–XX веков в качестве отклика на услышанный и принятый ею европейский вызов. Не зря Козовой, незаурядный медиевист и глубокий знаток российской старины, в собственных стихах тяготевший к архаике Аввакума и Державина, раннего Гоголя и Лескова, Ремизова и Хлебникова, в своих переводах был полностью сосредоточен именно на новейшей эпохе, или, как он ее именовал, "ars nova", — от романтиков через сюрреалистов до второй половины теперь уже прошлого столетия[1]. Как бы по некоему биогенетическому закону поэзии он повторял в своем индивидуальном пути путь своей страны, историю ее словесности. Ведь только там и тогда, где и когда Россия чувствовала себя не посторонней современности, а деятельно и дружески участвовала в ней вместе с Европой, заодно с миром, она и приходила к своим наивысшим вершинам. Не случайно, говоря о такой поэзии, без которой невозможно жить и которая держится сама собой, "ни на чем", Козовой называл протеическое имя "Пушкин". По мысли Козового, для подобной, "поверх барьеров", дружбы культур даже "время, погибель и смерть" — не враги, а сообщники, и "Пушкин там целует Хармса, Батюшков ходит в обнимку с Кафкой, Мишо выкидывает коленца рядом с Розановым, а Нерваль бормочет на ухо Тютчеву..."

1. Vadim Kozovoi. Pour Maurice Blanchot. Poésie, 1997, № 82, p. 106–109.
2. Poesie, 2000, № 91, p. 5.

1. В отчете для Национального центра научных исследований в 1997 году одной из главных тем своей работы — не отделяя в ней политики от культуры, а исследований от публикаций и переводов — Козовой указал "'разрыв времен' в его связи с языком авангардного искусства или, точнее сказать, ars nova" и среди знаменательных для этой эпохи имен поставил рядом Достоевского и Ницше, Рембо и Малларме, Блока и Цветаеву, Пастернака и Валери, Хлебникова и Малевича.

Феномен Джулиана Барнса

Екатерина Тарасова

"Хамелеон британской литературы"

Так назвала английского писателя Джулиана Барнса журналистка Мира Стаут в статье "Романист-хамелеон", посвященной его творчеству: "Как только вы пытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет". И действительно, одиннадцать романов, четыре из которых – детективы, написанные под псевдонимом Дэн Кавана, сборник рассказов, сборник эссе, сборник статей и рецензий... Конечно же, Барнс узнаваем, но тем не менее практически каждая его книга не похожа на предыдущие. Близкий друг Барнса американский прозаик Джей Макинерни сравнивает писателя с антрепренером, который всякий раз начинает дело с нуля: "Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос... Опять и опять он изобретает велосипед". Барнс одинаково умело работает с малыми (рассказ, эссе) и большими (роман) повествовательными формами, а темы, интересующие писателя, идут от таких глобальных проблем, как сотворение мира, человеческие взаимоотношения, политическая ситуация в Восточной Европе, до проблемы приготовления бутерброда, по выражению Стаут. Сам писатель объясняет разнообразие жанров и затрагиваемых им проблем следующим образом: "Я считаю, что моя творческая задача – отражать окружающий мир во всей его полноте и противоречивости".

Сформулированная таким образом творческая задача не нова для английской литературы. Еще в конце XIX века, когда доминирущим художественным методом был реализм, в Англии возникла "полемика о реализме", дискуссия об "искренности в английской литературе", основной вопрос которой состоял в том, насколько существующий художественный метод отражает действительность, а проще говоря – насколько "реален" реализм. Роман викторианский – основной в английской прозе XIX столетия – как будто бы воссоздавал действительность, но на самом деле строился на строго определенном наборе клише и выверенных формул, и его связь с окружающим миром была более чем зыбкой. Попыткой воссоздания "истинной" реальности стала художественная практика английских модернистов – Джеймса Джойса, Вирджинии Вулф и других, предложивших новую повествовательную технику, отражающую многообразие мира. Однако постмодернизм не подхватил эту эстафету. Постмодернисты, убежденные в непознаваемости действительности, решили, что литература должна ориентироваться не на реальность, а на другие тексты. Римейки классических произведений, бесконечные текстовые игры адептов этого направления уже успели надоесть читателю. В постмодернистском контексте современной литературы слова Барнса, определяющие цель его творчества, приобретают очень актуальное и даже злободневное звучание. Такая позиция пи-

© Е. Тарасова, 2002

сателя, живо интересующегося проблемами современности и человека в ней, усложняет его отношения с постмодернизмом, многие положения которого он разделяет, но в то же время делает его автором, чрезвычайно привлекательным для самой широкой читательской аудитории.

К тому же в отличие от некоторых своих собратьев по перу, ведущих уединенный, скрытый от посторонних взглядов образ жизни, писатель меньше всего похож на литератора-затворника: он активно общается с коллегами, читателями и журналистами. Его практически невозможно застать на месте, он то раздает автографы в Париже, то участвует в обсуждении своей новой книги в Лондоне.

Критики разделяют симпатии читателей: на сегодняшний день 57-летний прозаик является лауреатом нескольких престижных литературных премий, в том числе Букеровской, премии Сомерсета Моэма, премии Медичи. А с 1995 года британец Барнс является кавалером французского ордена Искусств и Литературы.

Первый роман Барнса "Метроленд" вышел в 1980 году и принес автору литературную известность (а также премию Сомерсета Моэма). До этого выпускник Оксфорда пробовал перо на журналистском поприще, не оставленном им, кстати, и по сей день. В качестве кинообозревателя и литературного редактора Барнс сотрудничал с такими изданиями, как "Нью стейтсмен", "Нью ревью" и "Обсервер". "Метроленд" – описание бурных шестидесятых с точки зрения англичанина, студента-словесника, увлекающегося культурой Франции. Политические события уходят на второй план, это меньше всего объективное изложение исторических фактов, но как раз наоборот, субъективное повествование, фиксирующее эмоциональное восприятие мира обычным человеком, для которого его личная жизнь, личная история и французская литература гораздо важнее любых политических волнений. Вот как, например, он увидел Париж 1968 года: "В общем, я был в Париже как раз во время майских событий, когда горела Биржа, когда восставшие студенты захватили здание театра "Одеон", когда закрыли метро Бийанкур, когда по городу ходили слухи о каких-то танках из Германии, – я был там, но почти ничего не видел. Вернее, вообще ничего не видел... Я приходил домой по вечерам и записывал только: "Анник" – на протяжении многих недель"[1].

Приоритет эмоции над фактом, субъективной версии над общепризнанной, интерес к Франции – все это было заявлено уже в первом романе и остается основными элементами барнсовской вселенной.

Англичанин, помешанный на французской культуре и осмысляющий свое существование через нее, – герой многих произведений Барнса, несомненно наделенный в этом смысле автобиографическими чертами. Казалось, было бы логично предположить, что именно французская, а не английская культура – основной предмет "изучения" прозаика. Однако это не совсем так, произведения Барнса предлагают иное решение вопроса: каждая культура, по его мнению, осознает себя через противопоставление с другой, их отношения, изначально оппозиционные, становятся в итоге неотъемлемым элементом самой воспринимающей стороны; поэтому английская культура, рассмотренная через призму ее порой непростых отношений с культурами французской и американской, именно так и может быть "увидена" наиболее отчетливо.

1. Здесь и далее роман цитируется по изданию: Дж. Барнс. Метроленд. М., Изд-во АСТ, 2001. Перев. Т. Подкидаевой.

Постоянно сталкиваясь и тесно общаясь со своими культурными антагонистами, отбросив стереотипные представления о них, а значит, и о себе, англичане начинают лучше понимать самих себя. Так, следующий роман Барнса, "Попугай Флобера" (1985), соединяющий в себе черты сразу нескольких жанров — романа, биографии, эссе, — во многом посвящен проблеме взаимопроникновения культур. Как всегда у Барнса, этот процесс описан через личное восприятие героя: доктор Джеффри Брейтуэйт чрезвычайно увлечен творчеством Гюстава Флобера. Он путешествует по Франции и размышляет о писателе, пытаясь создать свою версию его биографии. Причем, в отличие от академических биографий, вариант Брейтуэйта целиком построен не на фактах, а на предположениях. Он рассказывает о Флобере не как о гении и "великом французском писателе", а как о человеке — о его желаниях, комплексах и проблемах. В качестве эпиграфа Барнс использует отрывок из письма Флобера к одному из своих друзей: "Когда Вы пишете биографию друга, Вы должны делать это так, как будто Вы мстите за него".

В этих словах и содержится ответ на вопрос о том, что такое вариант доктора. Прежде всего это — "биография друга". Брейтуэйт строит свою версию, основываясь на материале особого рода: на письмах Флобера, в которых писатель сравнивает себя с тем или иным животным, на его дневниковых записях, где он размышляет о своих прошлых реинкарнациях, на замыслах так и не написанных произведений, то есть не на фактах, а как раз наоборот, на том, чего не было, но что могло бы быть. К тому же, тем, кто не является специалистом по Флоберу, сложно судить о том, действительно ли Барнс цитирует его письма или же он, как и его герой, создает одну из возможных версий. Для Барнса важно предложить вариант, указать на существование разных мнений, заставить читателя сомневаться как в истинности общепринятого суждения о писателе, так и в самой возможности достижения какой-либо истины вообще. По убеждению Барнса, писатель — это его тексты и интерпретация их каждым читателем. Писатель — "попугай", повторяющий чужие слова. Да, в процессе творчества он занимается плагиатом, но иначе и не может быть, так как он имеет дело с языком, с особой материей, принадлежащей одновременно всем и никому. Поэтому само понятие "плагиат" лишается здесь негативной окраски.

Неудивительно, что для своего романа английский писатель выбрал именно фигуру Флобера, ведь сам Барнс разделяет его эстетические воззрения о взаимодействии произведения и автора. Как и Флобер, Барнс настаивает на том, что произведение самоценно и должно восприниматься без оглядки на личность и жизненные перипетии творца. Барнс скажет позже в одном из своих произведений, описывая картину Жерико "Сцена кораблекрушения": "Но тут есть и полезная подсказка зрителю: вам предлагают картину, а не мнение"[1].

Все должно одинаково приниматься во внимание и одинаково подвергаться сомнению — и версия ученого, и версия дилетанта. Мир не может быть исчерпывающе объяснен ни одной из версий, взятой отдельно, только их взаимосвязь отражает его наиболее полно. Не существует никаких авторитетов, которые должны восприниматься как носители безусловной истины. Такое отношение к "авторитетному высказыванию" лежит в основе ставшей уже знаменитой барнсовской иронии. Она возникает в результате отстранения — в тот самый момент, когда писатель абстрагируется от общепринятой интерпретации того или иного факта и как будто бы смот-

1. Здесь и далее роман цитируется по изданию: Дж. Барнс. История мира в 10 ½ главах. М., Иностранка: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2001. Перев. В. Бабкова.

рит на мир со стороны. Именно такой взгляд дает ему возможность представить привычное и стереотипное в необычном свете.

Нельзя сказать, что идеи, высказанные писателем в романе, были в 80-е годы внове: нет, их появление во многом подготовили французские структурализм и постструктурализм 60-70-х, но "Попугай Флобера" интересен тем, что эти идеи прозвучали в нем чрезвычайно отчетливо и повлияли на форму произведения. Поэтому роман по праву считают манифестом постмодернизма. Книга содержит важнейшие для этого художественного течения постулаты — такие, как приоритет версии над фактом, субъективного над объективным, сомнение в возможности существования конечной истины.

Эти же мысли рефреном отзовутся и в "Истории мира в 10 ½ главах" (1989), романе, принесшем писателю международную известность. Барнс напишет там: "История — это ведь не то, что случилось. История — это всего лишь то, что рассказывают нам историки". Писатель обратился к теме более глобальной — вознамерился предложить свою версию библейского сюжета о потопе, рассказав о нем с разных точек зрения, например с точки зрения древесного червяка, и показать тем самым, что всякое мнение имеет право на существование. В романе Барнс вволю поэкспериментировал над жанровой формой, представив на суд читателей книгу, состоящую из 10 новелл и Интермедии, объединенных общим смысловым полем — библейским мифом. Но для каждого из героев романа потоп — это не далекий миф, а личная, пережитая история.

Некоторые части романа написаны в виде документа: архивной рукописи, письма и так далее. Однако в книге природа документа как признанного исторического источника, объективно излагающего события, подвергается сомнению. Документ фиксирует лишь то, что представляется истиной его автору, — одну, но далеко не единственную точку зрения. Предлагая вариант, писатель переводит существующую истину в разряд вымысла; общепринятая интерпретация событий является в романе лишь одной из возможных версий, но важно, что ни один из предложенных вариантов не заменяет ее, не становится приоритетным. Какая же интерпретация верна? Автор намеренно отказывается помогать читателю в нелегком деле выбора, читатель не испытывает влияния "всемогущественного" авторского слова, он волен остановиться на том варианте, который кажется истинным именно ему.

В своем следующем романе, "Как все было (*обсуждение*)" (1991), Барнс предложил читателю еще бóльшую свободу, вообще отказавшись от авторского слова и предоставив, таким образом, читателю и персонажам возможность общаться напрямую, без посредника. В многочисленных интервью Барнсу постоянно задают вопрос о происхождении такой необычной повествовательной техники. Он неизменно отвечает, что ему самому доставляет огромное удовольствие наблюдать за своими персонажами, он не придумал их, а просто однажды словно услышал какие-то голоса и записал их так, как слышал. Возможно, объяснение Барнса является только ловким, как теперь принято говорить, PR-ходом, но даже в этом случае писателю хочется верить, настолько "живы" выдуманные — или услышанные — им голоса. Герои по очереди исповедуются перед читателем, а отсутствие авторского слова и жизненность тех затруднений, которые они испытывают, максимально сближают слушателя и рассказчиков, так что Стюарт, Джиллиан, Оливер и прочие не могут восприниматься читателем иначе, как живые люди, их современники.

После успеха этого романа Барнс выпустил в 2000 году его продолжение — "Любовь и т. д.", выполненное в той же технике и с теми же персонажами, но только "десять лет спустя". Взятые вместе, эти книги являются своеобразной реконструкцией столь распространенного в английской литературе прошлых веков жанра "нравоописательного романа". Причем "нравоописательность" дилогии проявляется сразу в нескольких аспектах. Во-первых, писатель воссоздает нравы, то есть обычаи жизни современных британцев, размышляет над таким, с трудом переводимым на русский язык понятием, как "englishness" или "britishness" ("английскость", "британскость"). Персонажи книги живут в Англии, во Франции и в Америке, это не только путешествующие британцы, но и настоящие французы и американцы. Поэтому английская жизнь освещается сразу с нескольких сторон, снаружи и изнутри. Барнс, как уже говорилось, настаивает на том, что только так культура может быть представлена как живой организм, увидена как единое целое. Культура же изолированная, замкнутая в себе, даже для жителей той страны, которой она принадлежит, становится не больше чем набором мертвых штампов (этой проблеме посвящена книга Барнса 1998 года "Англия, Англия", в которой писатель собрал огромное количество стереотипных мнений о своей родине). Во-вторых, Барнс постоянно ставит своих героев перед выбором между нравственным и безнравственным, моральным и аморальным. Как часто бывает в жизни, понятия эти смешиваются и разделить их чрезвычайно трудно. Персонажи книги — не положительные или отрицательные герои, а люди, сталкивающиеся в жизни с проблемами насколько обычными, настолько и нерешаемыми; их поступки, вынесенные на суд читателя, не могут быть оценены однозначно. Писатель намеренно ставит читателя в положение не менее сложное, чем своих персонажей. Перед человеком, открывшим книгу, возникает множество точек зрения, противоречивых мнений о любви, дружбе, доверии, семейной жизни и так далее. И читатель вновь должен выполнить непростую задачу — выбрать для себя ту версию, которая кажется ему наиболее близкой к истине.

Мария Табак

"*Франция – моя вторая родина*"

Эти слова взяты из интервью Джулиана Барнса корреспонденту американского журнала "Нью-Йорк обсервер" Карлу Свэнсэну. По признанию писателя, в истории, в самом ландшафте страны, лежащей по другую сторону Ла-Манша, есть что-то глубоко созвучное его душе, волнующее воображение. При этом Барнс заметил, что, вероятно, он — единственный английский писатель, который, будучи без ума от Франции и имея возможность приобрести там дом, до сих пор этого не сделал. "Милую Францию" Барнс навещает довольно часто — не реже двух раз в год; предпочтение отдает Франции провинциальной (провинцию Барнс любит больше, чем мегаполисы; на вопрос репортера, почему он поехал читать лекции в Балтимор, а не в какой-нибудь крупнейший университет США, Барнс ответил лаконично: "Потому что это не Нью-Йорк. Я хотел поехать в настоящий американский город").

© М. Табак, 2002

Барнс свободно владеет французским и отлично знает французскую культуру. В самом этом факте нет ничего необычного, особенность Барнса в том, что он, будучи английским писателем, остро ощущает свою принадлежность к французской культуре. Английская критика не раз упрекала его во франкофильстве. Французы же, которым Барнс рассказывал об этих претензиях, удивленно возражали: как же так, ведь вы типичный англичанин с типично английским чувством юмора — и именно за это мы вас любим.

Творчество Барнса — результат соединения двух культур: английской и французской. Отсюда и многие художественные особенности его книг.

Из всех литератур Барнс больше всего любит французскую, из всех французских писателей — Флобера. О Флобере Барнс писал много: статьи, предисловия к английским изданиям, литературоведческие эссе и, наконец, знаменитый роман "Попугай Флобера". Роман этот ориентирован прежде всего на французскую аудиторию (Флобер — культовая фигура у себя на родине); размышления о жизни и характере Флобера перемежаются размышлениями об эпохе, в которую он жил. Важную роль здесь играет полемика с Сартром, написавшим в свое время книгу о Флобере с красноречивым названием "В семье не без урода".

"Попугай Флобера" — книга очень необычная. Трудно определить ее жанр: в ней можно найти черты романизированной биографии, литературоведческого эссе, романа-исповеди... Список можно продолжить. В книге (будем условно называть ее романом) два главных героя: француз — писатель Гюстав Флобер и англичанин — бывший врач, "флоберист"-любитель Джеффри Брейтуэйт, от лица которого ведется повествование. Героев разделяют сто лет. Но — и это главная особенность барнсовских сюжетов — ничто не может помешать двум людям вступить в диалог. Что всколыхнулось в душе Брейтуэйта при виде чучела попугая, вроде бы того самого, что стояло на столе Флобера во время его работы над "Простой душой"? "...Но здесь, в этом обычном зеленом попугае, сохраненном обычным и все же чудесным образом, было нечто, заставившее меня почувствовать, что я почти знаком с писателем". Чучело попугая помогло Брейтуэйту понять Флобера — притом не только как писателя, но и как человека. Проникнув в душу гения, Брейтуэйт обнаружил, что теперь он может проанализировать и собственную жизнь и найти причину своей личной трагедии. Семейная жизнь Брейтуэйтов до боли напоминала жизнь семьи Бовари. Брейтуэйт, как и Шарль Бовари, был врачом, как и Шарль, любил свою жену, которая была ему неверна; жизнь Эллен оборвалась так же трагично, как и жизнь Эммы Бовари (не случайно и имена у них созвучны). У двух семей — английской и французской — одна и та же судьба. А сам Флобер, которому так никогда и не довелось узнать, что такое семейное счастье? После смерти матери он остался в полном одиночестве, совсем как Шарль Бовари, совсем как Брейтуэйт. Флобер для Брейтуэйта — родственная душа. И какие уж тут могут быть национальные различия, когда "всюду страсти роковые и от судеб защиты нет"?

Родственность душ Флобера и Брейтуэйта заключается еще и в стремлении обоих хоть на миг перестать быть только французом или только англичанином, почувствовать себя "другим". Флобер говорил о себе: "Я китаец в той же мере, что и француз". Брейтуэйту, как и его создателю, тоже тесно в рамках своей культуры. И, как и Барнса, его очень интересует вопрос о восприятии одной нации другой. В этом смысле примечательна глава из "Попугая Флобера", в которой речь идет о "великой любви" писателя. Предположительно, этой "великой любовью" была англичанка — гувернантка Джулия

Герберт, некогда работавшая в доме Флобера. Однако об их романе ничего не известно — не сохранилось ни писем, ни упоминаний, способных подтвердить или опровергнуть эту версию. И вот знакомый Брейтуэйта сообщает ему, что он завладел перепиской Флобера и Джулии. Брейтуэйт обрушивает на него шквал вопросов: хорошо ли Флобер знал английский, понравился ли ему Лондон (кстати, услышав ответ, что да, понравился, Брейтуэйт почувствовал прилив нежности к писателю и про себя даже назвал его "милым старым Гюставом"), посетил ли он английские бордели? И лишь в самом конце разговора выяснилось, что владелец писем, выполняя волю Флобера, сжег их. Кроме того, не все, что он сообщил об их содержании, возможно, является правдой — как и советовал Флобер, он каждому рассказывает лишь то, что тот хочет услышать. Такой поворот сюжета — чисто барнсовский ход: у Барнса не бывает однозначных выводов и оценок, только предположения. Вариативность — отличительная черта поэтики Барнса (кстати, эта черта в большей степени присуща французской литературе, чем английской, тяготеющей к рационализму). Так, говоря о Луизе Кале, многолетней возлюбленной Флобера, Брейтуэйт предлагает две версии: по первой, Луиза — нудная, взбалмошная дамочка, думавшая женить на себе гения; по другой — умная, талантливая, искренне любившая Флобера женщина, которую великий писатель не захотел понять.

[27 ил 7]

Брейтуэйт неоднократно предпринимает попытки представить, что думают французы о его стране. В очередной раз возвращаясь в Англию, он размышляет: "Что думают об этой поездке не-британцы?.. Шутят ли нервно на тему тумана и каши? Флобер находил Лондон пугающим; это нездоровый город, заявлял он, там невозможно найти pot-au-feu[1]. С другой стороны, Британия была домом Шекспира, символом ясной мысли и политической свободы, страной, где Вольтеру был оказан радушный прием и куда бежал Золя". Похожий эпизод встречается в одном из рассказов Барнса из сборника "Через Ла-Манш" (весь этот сборник посвящен отношениям англичан и французов, о чем нетрудно догадаться уже по одному его названию). Герой рассказа, англичанин, едет на поезде в Париж и начинает "мысленно рисовать своего французского двойника, который сейчас едет в противоположном направлении, глядя на поле хмеля, где еще не натянута бечева: это старик в свитере из шерсти шотландской овцы, страстный поклонник апельсинного джема, виски, яичницы с ветчиной, магазинов "Маркс и Спенсер", le fair-play, le phlegme и le self-control[2]; а также чая с густыми девонширскими сливками, песочного печенья, тумана, шляп-котелков, церковных хоров, неотличимых друг от друга домиков, двухэтажных автобусов, девушек из "Шалой лошадки", черных такси и деревень в Котсуолде. Старый хрыч, старый французский хрыч"[3].

Стандартные представления одной нации о другой не раз высмеиваются на страницах барнсовских произведений. К примеру, в "Попугае Флобера" Брейтуэйт, назвав свое имя, спрашивает читателей: каким вы меня себе представляете? И сам отвечает на этот вопрос: вы меня воображаете жителем страны сосен, крапчатого твида, представителем миддл-класса, с усиками, с чувствительной женой, по выходным катающимся с ней на лодке, отдающим предпочтение джину перед виски. На самом же деле все совсем не так: усов нет, люблю виски, а не джин, а твид и вовсе терпеть не мо-

1. Тушеное мясо и овощи (*франц.*).
2. Игра по правилам, бесстрастие, самообладание (*англ.*).
3. Здесь и далее роман цитируется по изданию: Дж. Барнс. Туннель. "ИЛ", 1998, № 11. Перев. И. Стам.

гу. Джилиан, героиня романа "Любовь и т. д.", запутавшаяся в своих отношениях с бывшим и нынешним мужьями, жалуется, что люди начинают болтать о "браке втроем" только из-за того, что она – наполовину француженка. Однако осмеянием все не ограничивается: Барнсу важно понять, откуда берутся штампы – о мрачной сдержанности англичан, о любвеобилии и свободолюбии французов, об упрямстве и основательности немцев? Причина распространения подобных глупостей кроется либо в полнейшем непонимании двумя народами друг друга, либо в сентиментальном отношении к чужой стране. Во втором Барнс не видит ничего дурного. А вот собственную страну идеализировать опасно, ведь "даже минимально непредвзятый взгляд на нее может незамедлительно вызвать глубокое разочарование". Сам Барнс говорит то же самое в своих интервью. Непонимание же надо преодолевать – это принцип всего творчества Барнса; непонимание – зло, оно ведет к конфликтам и трагедиям.

Однако готовых рецептов и суждений у Барнса, как уже говорилось, нет. Жизнь подчас необъяснима. Брейтуэйт в "Попутае Флобера" произносит замечательную фразу, в которой сходится все: "Эллен. Моя жена: я чувствую, что понимаю ее хуже, чем иностранного писателя, умершего сто лет назад. Это аберрация или это нормально? Книги говорят: она сделала это, потому что... Жизнь говорит: она сделала это, потому что сделала. Книги – это где вам все объясняют; жизнь – где вам ничего не объясняют. Я не удивляюсь, что некоторые люди предпочитают книги. Книги придают жизни смысл. Единственная проблема заключается в том, что жизни, которым они придают смысл, – это жизни других людей и никогда не ваша собственная".

Дарья Бондарчук

Через Ла-Манш и обратно

Роман Джулиана Барнса с Францией продолжается уже много лет: французы, присудившие ему две литературные премии и почетные звания, считают автора "Попутая Флобера" "утонченным, искусным, образованным"[1] писателем, "самым французским из английских юмористов"[2].

Барнс, в свою очередь, в ответ на упреки соотечественников во франкофильстве заявляет: "У меня нет сентиментального отношения к французской культуре. Так, например, в области литературы мне наиболее близко реалистическое, скептическое, прагматическое, нетеоретическое направление, представленное такими писателями, как Монтень, Вольтер и Флобер. Как можно, регулярно перечитывая Флобера, сохранить хоть каплю сентиментальности?.. Я не француз и не чувствую себя ответственным за их коррумпированных политиков или изворотливых бизнесменов, за их предубеждения и расизм – этого мне вполне хватает и дома. Я бы согласился с тем, что мое отношение к Франции двоякое, односторонне пристрастное – не так ли бывает с теми, кто выбирает себе другую страну?"[3]

© Д. Бондарчук, 2002

1. Savigneau Josyane. Les Prix Litteraires. Le Monde, 18 Nov. 1992.
2. Matthias Debureaux. Lettres de Londres. Lire, Nov. 1996.
3. You ask the questions: Julian Barnes. Independent, 4 Feb. 2002.

Начиная с первой своей книги, "Метроленд", и вплоть до сборника эссе "Хочу заявить" (2002) Барнс остается верен "французской теме" и с неизменным постоянством возвращается к многовековой истории англо-французских отношений. Писатель стремится разрушить привычные стереотипы, сложившиеся по обе стороны пролива, и перевести давний спор "ростбифов" и "лягушатников" в иную плоскость.

Франция, ее язык, культура, традиции, искусство являются для Барнса точкой соотнесения, своеобразным зеркалом, позволяющим лучше разглядеть облик современной Англии. Франция обладает чрезвычайно важным для Барнса-англичанина качеством — надежной "инакостью", проявляющейся во всем, от бытового уклада до особенностей менталитета. Богатый синонимами французский язык с его изящной фразеологией и музыкальным звучанием становится для многих героев Барнса альтернативным способом выразить себя, избежать банальности, однобокости и абсолютной ясности английской фразы.

Пласты французской культуры активируются различными способами: отсылками и прямыми цитатами из французских классиков (эпиграфы к двум главам "Метроленда" взяты из "прóклятых поэтов"), реминисценциями и перекличками с известными текстами. Влияние французского языка также очевидно на лексическом и грамматическом уровнях: речь персонажей пестрит галлицизмами и жаргонными выражениями, а мадам Уайетт из "Любовь и т. д.", ставшая с годами забывать английский, и вовсе употребляет невозможные для британца конструкции.

Для героев дебютного романа Барнса, подростков Кристофера и Тони, Франция олицетворяет собой свободу, искусство, любовь — все то, что, как им кажется, ожидает их в будущей, взрослой, настоящей жизни. Мальчики из тихого лондонского предместья восхищаются Бодлером и Рембо, щеголяют в разговоре французскими словечками, эпатируют преподавателей и конечно же мечтают "пройтись по мокрой булыжной мостовой в свете газовых фонарей, и чтобы где-то вдали звучала шарманка". Они представляют себя фланерами, разгуливающими по широким набережным Сены, однако их мечты неизбежно сталкиваются с будничной реальностью: добропорядочные буржуа, спешащие на поезд после очередного дня в конторе, скучные однообразные дома, "перекрестные штрихи узких улиц на нисходящих викторианских террасах", бесчисленные ячейки сот гигантского "термитника" Килберна. В их сознании Лондон и Париж четко противопоставлены друг другу: здесь — неизменная станция "Тотнем-Корт-роуд" и неизбежная предсказуемость маршрута — "в сторону Бонд-стрит", там — бесцельная праздность flânerie, измятая постель "в какой-нибудь chambre particuliére", бесконечное разнообразие возможностей.

В "отчаянных поисках оригинального, живописного и настоящего" друзья устремляются прочь из Англии, один — в Марокко, другой — во Францию. Попав в Париж, Кристофер действительно живет так, как когда-то мечтал подростком: изучает искусство, рисует, ходит в кино, просиживает дни напролет в уютных кафе, встречает свою первую любовь, переживает расставание, влюбляется вновь. Именно с приобретением эмоционального опыта к нему приходит понимание того, что жизнь не вмещается в жесткие рамки каких-либо теорий, не подчиняется законам логики или абстрактных построений. Прожив свою мечту "изнутри" и осознав, что прежняя страсть к искусству проистекала исключительно из пустоты

его прежнего существования, повзрослевший герой покидает Францию, прихватив с собой томик "Воспитания чувств" Флобера.

Перемещение героя в пространстве (Метроленд – Париж – Метроленд) сопровождается смещением его ценностных установок и переходом из "возраста теорий" во взрослую жизнь. В конце романа, окидывая мысленным взглядом свою теперешнюю жизнь в родном городке – счастливая семья, благоустроенный дом, интересная работа, – Кристофер приходит к выводу, что "бесполезное это занятие – придавать вещам смысл и значение, которых в них нет".

Тот же путь – из Англии во Францию – проделывают и персонажи десяти рассказов сборника "Через Ла-Манш", вышедшего в Великобритании в 1997 году. В этой небольшой книжке Барнс открывает перед читателем широкую перспективу почти двухтысячелетней истории англо-французских отношений: от 40-х годов н. э., когда плененные римлянами бритты построили первую во Франции дорогу, до первых десятилетий XXI века, в котором живет герой "Туннеля", последнего рассказа сборника.

Персонажей этой книги, людей разных столетий и несхожих судеб, объединяет одно – все они англичане, волей случая или намеренно оказавшиеся во Франции и вынужденные строить свою жизнь в совершенно новом, непривычном для них окружении. Одни, как композитор Леонард Верити из "Вмешательства" или велосипедист Энди из "Брамбиллы", бежали из Англии, чтобы добиться успеха, реализовать свои мечты, стать знаменитыми. Другие, как леди Флоренс и Эмили или генерал-франкофил Хамильтон Линдсей, находят в зрелые годы успокоение и утешение в очаровании французской провинции. Третьи оказываются жертвами мистификаций, как герой "Эксперимента" дядюшка Фредди, бывший проездом в Париже и успевший войти в анналы истории знаменитой группы сюрреалистов во главе с самим Андре Бретоном, или писатель, посещающий загадочную литературную конференцию, организованную скандально известной Мастерской потенциальной литературы УЛИПО.

Открывающаяся перед читателем картина англо-французских взаимоотношений чрезвычайно противоречива. На протяжении столетий добрососедские настроения сменялись враждебностью, скрытая недоброжелательность перерастала в вооруженное противостояние, ненависть уступала место раскаянию. В "Драконах" перед читателем предстает трагический эпизод их общего прошлого: ирландцы, наемники французского короля, расправляются с французскими протестантами на юге Франции. И те и другие – жертвы своих королей, и вместе они проклинают общего врага, Кромвеля.

Однако за многие годы общие беды и радости сблизили две страны, а стремительное развитие цивилизации стерло пространственно-временные границы: "Париж стал ближе, чем Глазго, а Брюссель – чем Эдинбург". Сев на поезд в Лондоне и ни разу не предъявив паспорта, можно уже через каких-нибудь три часа шагать по бульвару где-нибудь в центре Парижа, как это делает пожилой англичанин из рассказа "Туннель".

И все же, "Через Ла-Манш" – это не только описание приключений англичан во Франции, но и повествование о французах, их жизни, восприятии истории, о взаимном притяжении и отторжении двух народов. Любопытно заметить, что в "Соединении" рассказ о строительстве англичанами железнодорожной линии, соединяющей Париж с Руаном и Гавром, ведется попеременно с нескольких точек зрения. Сначала читатель видит события глазами "французской компании", посещающей место прокладки путей, за-

тем наблюдает за странной группкой людей, приехавших посмотреть на железную дорогу, с позиции английского рабочего Тома Йорки. Потом мы узнаем о том, как относятся к сооружению виадука местный кюре и его паства, и читаем мнение французской газеты "Фаналь де Руан" о роли англичан в развитии национального транспорта во Франции. [2 ил

Выстраивая повествование, Барнс добивается особого стереоскопического эффекта, возникающего в пространстве художественного текста. Такой метод применяется в фотографии и кинематографе, когда для создания объемного образа используются стереоскопические пары изображений предметов, заснятых с различных точек. При бинокулярном восприятии человеческие силуэты, очертания зданий и предметов становятся выпуклыми и смещаются относительно друг друга в пространстве, что и создает впечатление глубины и объемности изображения.

Автор соотносит, сравнивает, противопоставляет французскую и английскую точки зрения, и именно благодаря такому сопоставлению он наилучшим образом выявляет многочисленные грани культурно-исторических взаимосвязей Англии и Франции. Для того чтобы понять, кто такие англичане и что такое современная Англия, чтобы увидеть различия и определить, чем она похожа на другие страны, а что составляет ее особенность, писатель обращает свой взгляд за ее границы, и Франция в этом смысле – лишь одна из возможных проекций. Барнс не мыслит статичного существования культуры, истории, цивилизации вне контакта с окружающим миром. Он видит прошлое и будущее Англии в диалоге с другими странами, другими народами, ведь именно в ситуации взаимного общения "я" и "другого" – пусть и небесконфликтного – происходит процесс самоопределения и самопознания человека и человечества.

Софья Фрумкина

История, увиденная Барнсом

Рассматривая "явление" Барнса в рамках постмодернистского повествования, можно сказать, что именно роман "История мира в 10 ½ главах" наиболее репрезентативен в этом отношении.

"История мира" была написана в 1989 году и представляет собой своеобразное продолжение предыдущей книги "Попугай Флобера" (1985). В интервью, данном Александру Стюарту в октябре 1989 года ("Los Angeles Times Book Review"), Барнс говорит, что после "Попугая Флобера" у него появилась идея написать "путеводитель по Библии" от лица того же рассказчика. Позже он от замысла отказался, но тем не менее многое из этого романа перешло в следующий. И главное здесь – переосмысление традиционного подхода к историческому повествованию, когда ключевой проблемой становится именно вопрос "Как мы осознаем прошлое?". Барнс солидарен с точкой зрения Барта, который говорит, что задача историка – не столько собирать факты, сколько устанавливать их значения и связь этих значений между собой; иными словами – устанавливать истинное значение вещей, заполняя при этом фактические пробелы. Барнс формулирует собственную позицию так: "Мы придумываем свою версию, чтобы обойти

© С. Фрумкина, 2002

факты, которых не знаем или которые не хотим принять; берем несколько подлинных фактов и строим на них новый сюжет. Игра воображения умеряет нашу растерянность и нашу боль; мы называем это историей".

История в понимании Барнса обязательно фрагментарна, это не непрерывный линейный ход времени, а элементы, через сопряжение которых могут быть выявлены отдельные исторические закономерности, разумеется, с той оговоркой, что в рамках данного текста отрицается сама возможность каких-либо четких определений, воплощающих в себе конечную истину. Достичь ее нельзя, и "История мира в 10 ½ главах", состоящая из отдельных новелл, каждая из которых представляет одну из граней цельного повествования, прекрасно иллюстрирует этот принцип. Барнс пишет: "Все мы знаем, что объективная истина недостижима, что всякое событие порождает множество субъективных истин, а затем мы оцениваем их и сочиняем историю, которая якобы повествует о том, что произошло "в действительности"... Сочиненная нами версия фальшива, это изящная невозможная фальшивка, вроде тех скомпонованных из отдельных сценок средневековых картин, которые разом изображают все страсти Христовы, заставляя их совпадать по времени". При этом в задачи автора ни в коем случае не входит намерение ответить на какие-то вопросы, внести определенность; его дело – постановка проблемы. Перефразируя Флобера, Барнс говорит, что "желание прийти к какому-то заключению – знак человеческой глупости".

Тем не менее книга создает в сознании читателя многообразную, но по-своему завершенную картину действительности. Барнс подчеркивает, что "История мира" – не сборник новелл, она "была задумана как целое и выполнена как целое". По его словам, сам вопрос о том, что такое роман в современной литературе, неоднозначен. Повествовательной основой каждой части в книге является какой-либо эпизод из истории западного мира, увиденный в определенном ракурсе, при котором особенно отчетливо проступают мотивы, важные для автора.

Книга построена на комплексе повторяющихся фраз, мотивов и тем, сквозные структурообразующие элементы держат единство повествования. Разрозненные, на первый взгляд, части скреплены звеньями, которые читатель интуитивно пытается обнаружить. Такая структура романа отвечает взгляду на действительность писателя-постмодерниста, в понимании которого окружающий мир – "хаос со случайно встречающимися островками прогресса".

Нарочитая повествовательная неоднородность – знак того, что каждая новелла – это отдельная версия истории; количество же версий неограниченно, любая из них и есть собственно история, ни одна не является более правдивой, чем другая. Понятие "истории" становится условным, и оно не отвечает стройной картине, которая существует в умах большинства людей, теряет определенность: "История мира? Всего только эхо голосов во тьме; образы, которые светят несколько веков, а потом исчезают; легенды, старые легенды, которые иногда как будто перекликаются; причудливые отзвуки, нелепые связи".

В каждой из глав появляется свой повествователь, и, как правило, это маска, под которой скрывается авторское лицо. Единственный случай, когда можно поверить, что Барнс говорит от своего имени, – "Интермедия". В интервью Александру Стюарту Барнс поясняет, что эта часть задумывалась "прямой и простой". И продолжает: "Иногда думаешь: нет, я просто напишу правду". В "Интермедии" автор, казалось бы, излагает читателю свою позицию: у

поэтов есть "уклончивое Я", у прозаика же читатель сразу же потребует объяснения, "кто имеется в виду – Джулиан Барнс или какой-нибудь вымышленный персонаж; поэт может вальсировать между тем и другим, не теряя ни в глубине чувства, ни в объективности".

Отметим, что каждый из рассказчиков тем или иным образом демонстрирует свое отношение еще и к истории, причем к истории мира в целом, даже если речь идет о конкретном ее эпизоде. У человечества, по словам рассказчика из первой главы, "имеется часто повторяемая версия, которая до сих пор привлекает даже скептиков"; и ветхозаветная история наиболее традиционна. В романе именно она и переосмысляется. Люди "не очень-то любят правду", хотя "в этой привычке сознательно закрывать на многое глаза есть и положительная сторона: когда игнорируешь плохое, легче живется. Но, игнорируя плохое, вы в конце концов начинаете верить, будто плохого не бывает вовсе. А потом удивляетесь. Удивляетесь тому, что ружья убивают, что деньги развращают, что зимой падает снег". Кэт в главе "Уцелевшая" говорит: "Я гляжу на историю мира, которая подходит к концу, хотя они этого не замечают" – и добавляет: "Все связано, даже то, что нам не нравится, особенно то, что нам не нравится". Именно этот принцип сквозной связи всех элементов и можно назвать основным для книги. Доминирует в романе образ Ковчега/Корабля, который, хотя и призван защитить находящихся на нем животных (или людей), то есть воплощает в себе идею спасения, парадоксальным образом превращается в "плавучую тюрьму", несущую смерть своим обитателям. В одном случае круиз по Средиземному морю прерывается, потому что судно захватили арабские террористы, сделавшие туристов своими пленниками. В другом речь идет о лайнере "Сент-Луис", на котором евреи, официально названные туристами, путешествующими "в развлекательных целях", бегут из нацистского государства. Корабль и здесь оказывается тюрьмой, идея спасения оборачивается фарсом.

Через всю книгу – и на нескольких уровнях – проходит также оппозиция "чистые – нечистые". Исходная ситуация – это отбор животных Ноем, и сопоставление с ней определяет восприятие последующих. Так, террористы проводят на корабле свое разделение, и ориентиром для них является то, насколько страна, из которой родом турист, причастна, по их мнению, к ближневосточному конфликту. Кстати, и эти люди, уверенные в том, что "мир движется вперед только благодаря убийствам", решают объяснить пассажирам, "как они оказались участниками истории и какова эта история". То есть и их версия принимается в расчет и становится составляющей той картины мира, которую создает Джулиан Барнс.

Мария Горбачева

Разные тропинки через лес

Английское выражение "to talk smth. over", использованное Барнсом в заглавии романа 1991 года "Talking it over" (в русском переводе "Как все было (*обсуждение*)"), имеет несколько значений: подробно обсуждать какую-либо проблему; в напряженном диалоге пытаться найти возможные пути выхода из сложившейся ситуации, как правило – весьма затруднительной

© М. Горбачева, 2002

для ее участников; убеждать кого-либо в своей правоте и т. д. В совокупности всех этих смыслов такое название очень точно отражает сюжет книги: несколько героев, находящихся между собой в близких, но довольно запутанных отношениях, встречаются, чтобы обсудить возникшую в их жизни проблему и постараться привлечь читателя на свою сторону. Формально сюжет романа строится по принципу классического любовного треугольника: она (Джилиан) сначала выходит замуж за него (Стюарта), а затем уходит к его лучшему другу (Оливеру). Тема довольно банальная и даже избитая, но тем не менее всегда актуальная. Однако в контексте творчества такого автора, как Джулиан Барнс, она в какой-то степени неожиданна: библейский миф ("История мира в 10 ½ главах"), Флобер ("Попугай Флобера"), Англия ("Англия, Англия") и Франция ("Через Ла-Манш"), суд над диктатором ("Дикобраз") – а тут обычная история любви.

Но эту классическую историю Барнс рассказывает, вернее, разыгрывает так, что звучит она совершенно по-новому. На многочисленных неофициальных интернет-сайтах, посвященных Барнсу, можно найти массу читательских откликов на роман "Как все было", основная мысль – удивительная узнаваемость героев и той ситуации, в которой они оказываются, и как следствие – завораживающий и одновременно пугающий восторг узнавания в героях самих себя. В романе Барнсу удается то, что редко встречается в современной английской, да и не только, литературе: рассказать самыми простыми словами о самых простых, но в то же время и самых сложных вещах, втянуть читателя в предельно доверительную беседу о том, из чего складывается наша повседневная жизнь, из чего, в конце концов, состоит человеческое бытие, – о любви, счастье и душевной боли, о доверии и предательстве, о том, что значат для человека брак, семья, дом и каково внезапно все это потерять.

"Вы должны раз и навсегда усвоить, что жизнь каждого человека уникальна и в то же время вполне заурядна"[1], – декларирует свое жизненное кредо Джиллиан: все, что случается с нами и кажется чем-то необыкновенным, уже сотни раз случалось с другими, и потому надо попытаться как-то это пережить. Возможно, причина притягательности и обаяния книги, причина ее не ослабевающей уже десять лет популярности кроется именно в том, что тривиальная камерная история приобретает у Барнса в некотором смысле глобальное, общечеловеческое звучание.

Очень важна и интонация персонажей – почти исповедальная, – которые прямо обращаются к читателям. "Меня зовут Стюарт... Стюарт Хьюз, если полностью". "Привет. Я Оливер, Оливер Рассел. Сигарету хотите? Нет, конечно, я так и думал. Не против, если я закурю?" – так, по-приятельски приветствуя нас и предлагая закурить, появляются главные герои романа. Мы сразу оказываемся вовлеченными в происходящее, и не случайно слова Оливера о том, что все люди на свете делятся на зрителей и исполнителей и что порой им полезно поменяться местами ("Иногда я думаю: вот попробуйте сами разок поактерствовать, тогда узнаете"), звучат как основная авторская установка.

Максимальное "освобождение" персонажей и наделение их собственной волей, позволяющей им самим вести действие и "строить" роман, – для литературы XX века это отнюдь не ново (вспомним хотя бы Л. Пиранделло и его "Шесть персонажей в поисках автора"). Построение романа как хора отдельных голосов, спорящих, перебивающих друг друга, – прием,

1. Здесь и далее роман цитируется в переводе И. Бернштейн.

введенный еще модернистами (Джойсом, Вирджинией Вулф и др.) и абсолютизированный сторонниками "нового романа" (например, "Золотые плоды" Натали Саррот). "Роман-пьеса", "роман-сценарий", "роман-ток-шоу" и даже "интерактивный роман" – такие определения можно встретить в критических откликах, посвященных "Как все было". Используя элементы этих жанров, Барнс строит роман как напряженный диалог, столкновение нескольких мнений и жизненных позиций.

При этом здесь очень важно понятие точки зрения или перспективы: персонажи – или, вернее, голоса – стремятся представить свою версию событий, которую каждый из них считает единственно верной. Повествование творится как мозаика – из отдельных фрагментов, которые мы сами постепенно складываем, чтобы получить картину, в надежде наконец-то докопаться до истины.

"Я знаю, что должна ответить на один вопрос. Ваше право его задать, и я не удивлюсь, если в вашем голосе прозвучит скептическая... нотка", – обращается Джиллиан к читателю, призывая его не стесняясь спрашивать обо всем, что ему не терпится узнать, и вопросов на самом деле много: как же это могло случиться; когда вы поняли, что влюблены; почему вы влюбились, за что любите теперь; чья вина, что все сложилось именно так; что же теперь с вами будет? Каждый персонаж стремится найти свои ответы, а вместе с героями ищет ответы и читатель; Барнс вовлекает нас в происходящее, делая непосредственными участниками разыгрывающейся драмы.

Подобная установка предлагает массу вариаций возможного читательского "статуса": случайный (или специально подглядывающий) свидетель, сострадающий (или негодующий) собеседник, духовник или психолог, выслушивающий исповедь, арбитр в ожесточенном споре или снимающий показания детектив. Кроме того, с первых же строк мы пытаемся поставить себя на место персонажей. Иными словами, читатель последовательно и разными способами "вводится" в действие романа; сам Барнс в одном из интервью назвал "тончайшей мембраной" то, что разделяет персонажей и аудиторию.

Таким образом, читатель оказывается один на один со своими собеседниками – Стюартом, Оливером, Джилиан, и сам должен решить, на чьей он стороне, выбрать, чья интерпретация событий, на его взгляд, наиболее реальна и достоверна. "Вы не подводите читателя к какому-либо конкретному выводу... вы ведете его туда, где он сам сможет принять решение. Это принципиально разные тропинки через лес", – говорит Барнс. Автор прячется за кулисы, умело режиссируя происходящее на сцене, дирижируя тем нестройным хором голосов, в котором каждый словно без его ведома исполняет свою партию. Комментируя столь характерный для постмодернистской эстетики игровой модус повествования, Барнс отмечает: "Это очень интересная и очень приятная техника, позволяющая тебе, как автору, полностью устраниться из текста. Конечно же, ты дергаешь за ниточки... но убедительность или неубедительность любого факта или теории остается в руках персонажей. Сложность состоит в том, как переплести между собой голоса..."

Постепенно мы узнаем о существовании в романе особых правил игры, нарушать которые запрещено: "Мне не положено с вами говорить, наверняка это против правил", – слышится в последней главе голос Гордона, отца Джилиан; "Вы что, не знаете, что это не по правилам?" – негодующе вторит ему голос некоей Вэл. Иногда голоса словно выходят из-под авторского контроля, стараясь привлечь к себе читательское внимание, иногда – ссорятся,

пытаются избавиться друг от друга: "Вон отсюда. Гоните эту дрянь. Убирайся. Вон... Либо она, либо мы. Пошла отсюда, дрянь!"

Однако чем больше голосов нам удается услышать, тем яснее становится авторский замысел: никакой окончательной правды, единственной истины не существует; в нашей жизни, в мире, в истории все предельно субъективно, и истин может быть столько, сколько версий нам предъявлено. Решающим становится не событийный ряд, а перспектива, в которой эти события воспринимаются.

Для самих героев своеобразным проводником истины становится память; тема памяти звучит в романе с первых же строк: "Меня зовут Стюарт, и я все прекрасно помню", — так появляется перед нами Стюарт; "Я Оливер. Я помню все, что существенно", — вторя ему, Оливер подчеркивает, что его память хранит лишь самые главные события; "Что я помню — мое дело", — говорит Джилиан, которая, вопреки тенденции современной массовой культуры к предельной публичности, не желает откровенничать с навязанными ей слушателями. При этом очевидно, что человеческая память — один из самых ненадежных свидетелей: ей трудно удерживать то, что причиняет боль, к тому же с годами она слабеет. Так, например, в романе "Любовь и т. д.", написанном десять лет спустя и являющемся непосредственным продолжением "Как все было", мадам Уайетт жалуется, что стала забывать даже английский язык — весьма символичная деталь в контексте проблематики обоих произведений.

Эпиграф романа — "Врет, как очевидец" — также работает на идею предельной относительности любой "объективной реальности". Задача читателя оказывается сродни задаче реставратора (и не случайно у Джилиан именно эта профессия): постепенно и аккуратно снимая живопись последующих эпох, добраться до первичного слоя; при этом результат будет зависеть и от умения реставратора, и от его личных художественных пристрастий, и от современных тенденций в искусстве. Объясняя принцип работы, герои говорят: разрежьте картину на четыре части, раздайте их четырем разным реставраторам — и каждый дойдет до своего слоя. Процесс реставрации картины становится у Барнса всеобъемлющей метафорой мироустройства и человеческого бытия: "Никакой настоящей подлинной картины там, под слоями грязи, нет. То самое, что я всегда утверждаю касательно реальности. Можно скрести и слюнявить, мыть и тереть, покуда... не достигнем того, что представляется нам неоспоримой истиной... Это лишь мое слово против того, что утверждают все остальные!". Не существует последнего "слоя", который и есть подлинная картина, — каждый сам решает для себя, где ему остановиться. Категория "правды" настолько призрачна, что, например, в русском языке к этому слову даже нельзя подобрать рифмы, вспоминает однажды Оливер.

Таким образом, авторская позиция близка позиции Оливера, который, противопоставляя себя Стюарту, приверженцу "достоверной", документальной литературы, заявляет на страницах уже следующего романа, "Любовь и т. д.": "Художественная литература — это высший вымысел. Документальная литература — подделка. Вымысел — это норма, меридиан, Северный полюс, это beau ideal". В романе сходятся, сталкиваются две принципиально различные жизненные позиции, две взаимоисключающие картины мира, одна из которых строится вокруг категорий жизнеподобия и достоверности, а другая их полностью отвергает, противопоставляя им идею тотального релятивизма и торжества "высшего" вымысла. Сам же Барнс, комментируя эту фундаментальную для романа оппозицию,

замечает: "Мое собственное положение — где-то посередине: художественный вымысел — это не полнейший обман, а окончательная истина. Красивое и величественное неправдоподобие вымысла может рассказать о жизни больше, чем любая совокупность достоверных фактов".

Что будет с героями дальше? Решить эту проблему Барнс попытался, выпустив в 2000 году продолжение или, как называют его многие, "сиквел" — роман "Любовь и т. д.". В нем перед нами предстают те же персонажи, но постаревшие на десять лет; Барнс вновь возвращается к истории Оливера, Джилиан и Стюарта, словно иллюстрируя мысль последнего о том, что "конец одной истории всегда есть начало следующей". Не вдаваясь в сюжетные подробности, хочется отметить лишь то, что в соответствии с авторским замыслом вопросов, оставленных без ответа, стало еще больше: еще острее противоречия между героями, еще драматичнее повороты их судеб, еще более открытый финал. И, видимо, совершенно сознательно Барнс в каждом своем интервью по поводу этого романа подчеркивает, что пока так и не понял, "отпустила" ли окончательно его эта история или он хотел бы встретиться с ее героями еще через десять лет. "Не спрашивайте меня ни о чем", — умоляет под конец мадам Уайетт, еще раз напоминая о том, что каждого из нас через лес ведет своя тропинка.

Алиса Романова

Суд над "Дикобразом"

О каждом романе Джулиана Барнса читатели охотно и авторитетно рассуждают: "барнсовская" это книга или "не совсем в его манере написанная". Это удивительно узнаваемый писатель, хотя очередная его книга непременно поражает несовпадением с чем-то уже знакомым, что мы ожидали увидеть. Роман "Дикобраз" (1992) — явно из тех произведений, которые с ходу легко назвать "не-барнсовскими". И ошибиться.

Если вспомнить об истории этой книги в России, то всплывет любопытная деталь: впервые русский перевод романа был напечатан в "Иностранной литературе" в 1995 году (№ 6), но тогда воспринимался он совершенно в ином контексте, нежели сейчас. Тогда этой книгой был представлен взгляд западного европейца на проблемы Восточной Европы, в противовес взгляду "изнутри" — писателей бывших социалистических стран, таких как Петер Эстерхази или Дёрдь Конрад. Тогда читателям предложили роман "знаменитого английского писателя" Барнса, который, как и многие художники его времени, задумывается о судьбах Европы. Сейчас мы рассуждаем о Джулиане Барнсе — авторе "Дикобраза", "Истории мира в 10 ½ главах", "Метроленда" и других романов — ироничном, порой даже несерьезном разрушителе и нонконформисте, играющем со смыслами и значениями, писателе, который постоянно стремится в творчестве за пределы своей страны и традиций. В "Дикобразе" из любимой Франции он перемещает действие в такую близкую и одновременно столь чуждую Восточную Европу.

Здесь, кстати, стоит напомнить, что Барнс увлечен не только французской культурой и языком, влияние которых заметно во многих его рома-

© А. Романова, 2002

нах, писатель изучал и русский: "Есть ли у меня кумиры или герои? Да, и все они вышли из трех культур — английской, французской и русской. Английский — мой родной язык, два других я изучал в школе".

Так в чем же универсальность этого романа, который в разных контекстах пробуждает к себе равный интерес? Вернемся к самой первой публикации "Дикобраза" в "ИЛ". Ее предваряла краткая вступительная статья, относившаяся к целому блоку материалов о судьбе Восточной Европы после того, как из нее "ушли русские". В статье объяснялась цель публикации: "Это попытка разобраться в том, что происходит сегодня в восточной половине нашего континента, и попытка достичь взаимопонимания с теми, кто еще вчера были 'нашими братьями'".

Вступление задало восприятию романа вполне определенную тональность, к "Дикобразу" стоило подходить как к роману сугубо политическому, документальному, на грани публицистики и fiction. На читателя, не подготовленного к знакомству именно с таким текстом, чтение "Дикобраза" могло легко навеять скуку. Роман казался вполне подходящим для спокойных британцев, которые внимательно следят за информационными выпусками Би-би-си и интересуются историей Восточной Европы периода "холодной войны". И действительно, события разворачиваются в одной из стран Восточной Европы (очевидно, в Болгарии) после падения коммунистического режима. Главная же сюжетная интрига — беспрецедентный в истории Европы открытый и гласный суд над бывшим президентом страны Стойо Петкановым (эдакая смесь румына Николае Чаушеску и болгарина Тодора Живкова), отправленным в отставку.

В одном из интервью Джулиан Барнс рассказывал о том, как создавался "Дикобраз": "Если уж совсем обобщать, мысль о будущем романе у меня возникла еще в раннем детстве, в тот момент, когда я ясно осознал себя ребенком "холодной войны". Когда мне было лет тринадцать-четырнадцать, я очень отчетливо это помню, мой преподаватель английского языка отправил свою жену за город из-за разразившегося на Кубе кризиса, угрожавшего ядерной войной. Как, в общем-то, любой чувствующий и восприимчивый человек, я с большим интересом следил за развитием политической истории Восточной Европы. В 1989 году я впервые побывал в Болгарии, к тому времени посетив, по крайней мере по разу, все восточноевропейские страны. Тогда в Болгарии как раз сместили Живкова, и я стал свидетелем наступивших в стране беспорядков и экономического хаоса. Вернувшись домой, я написал пару очерков о поездке. А спустя еще полгода проснулся посреди ночи и вдруг задал себе классический вопрос: "А что, если?.." А что, если коммунистический лидер предстанет перед судом, что, если вместо того, чтобы спасаться бегством или притворяться умирающим от рака, он решит защищаться перед обвинителями? Так родился замысел этой книги".

Когда Барнс писал "Дикобраза", в Болгарии действительно начинался суд над Живковым. По словам писателя, он лишь догадывался о предстоящем процессе, приступая к роману, так что книга писалась параллельно с реальными событиями и впервые была опубликована именно в Болгарии. Это будто бы подчеркивает политическую злободневность и актуальность романа в качестве одного из важнейших его достоинств. Вначале читатель испытывает радость узнавания, особенно читатель русский, для которого многое в романе связано с воспоминаниями из советской эры. Он позволяет Барнсу обманывать себя, что все происходящее в романе — записанные по горячим следам реальные судьбоносные события в Европе. Вот тут-то и

происходит некий сбой. То, что делает этот совсем "не-барнсовский", на первый взгляд, текст романом уже знакомого нам писателя. Если не поддаться иллюзии, можно увидеть, как история, творящаяся в действительности, и история, творимая писателем, собственно барнсовская, начинают расходиться. На поверхности – сухая политическая история с множеством реалий восточноевропейской жизни. Если же заглянуть чуть глубже, то открывается истинная природа текста – фарсовая, трагикомическая, фантасмагорическая.

"Дикобраз" – очередное виртуозное разыгрывание Барнсом вариаций на тему истории, знакомое еще по роману "История мира в 10 ½ главах". В "Дикобразе" мы найдем и нелюбовь писателя к датам, и стремление к минимализму и схематизации в изображении персонажей, к абстрактности и условности при предельной внешней фактографической выверенности. Мы говорим, что в "Дикобразе" ощущается журналистская, очерковая манера, что Барнс предельно точно обращается с именами, географическими названиями, историческими фактами, удачно стилизует высказывания различных политических лидеров. Но разве есть в романе хотя бы одна точная – *реальная* – историческая дата? Имена только напоминают имена действительно существовавших людей. Болгария (а точно ли Болгария?) у Барнса так похожа на Советский Союз, что в конце концов начинаешь думать о ней просто как о "некоей" стране. А что живой Сталин делает в компании с Горбачевым и Бушем?

В отличие от "истории мира", которая складывается из судеб отдельных людей, простых свидетелей событий, историю в "Дикобразе" творят участники событий, "великие люди". Героиня одной из новелл в "Истории мира" замечает: "Была война тут, битва там, где-то свергли короля, великие люди – вечно эти великие люди, я устала от великих людей – вот настоящие виновники событий". Но, как постепенно выясняется, эти люди лишены всякой "величины" и значимости. Как у каждого персонажа в "Истории мира" был свой потоп, буквальный или метафорический, так и у героев "Дикобраза" – свой собственный суд, обвинитель и возможность побыть обвинителем.

Два центральных персонажа "Дикобраза" – бывший президент страны *N* Стойо Петканов и его обвинитель, генеральный прокурор Петр Солинский. Первый и есть тот самый "дикобраз", отказавшийся от адвокатов и занявший позицию "защищайся, если нападают". Второй – герой атакующий, причем атакующий не во имя восстановления справедливости, а из-за амбициозного желания самоутвердиться. Словесные баталии между ними – не баталии судьи и подсудимого, а личная битва. При этом на протяжении всего романа они постоянно меняются ролями. Любопытно, что даже имена героев можно легко перепутать, сократив до инициалов, поменять местами – *С*тойо *П*етканов и *П*етр *С*олинский. Барнс снова обращается к любимой оппозиции грешник–праведник, судья–обвинитель. Солинский выигрывает процесс, но чувство триумфа быстро сменяется чувством опустошенности и усталостью. Петканов же из подсудимого превращается в грозного обвинителя, в Прокурора: "Нет, ошибаешься. Это я тебя проклял. Я тебя приговорил... Это я тебя приговорил", – говорит он Солинскому.

Несмотря на свою политическую значимость и чины, они вполне обычные люди. Солинский – своего рода "обыкновенный" человек (every man), безуспешно пытающийся поверить в идеалы, которые сам же проповедует, и не замечающий собственного оппортунизма. Суд над коммунистическим

лидером — и частная история, и универсальная ситуация; суд принимает вселенские размеры, пародируется и низводится до фарса.

Герой одной из новелл из "Истории мира в 10 ½ главах" вспоминает знаменитую фразу Маркса, который продолжил Гегеля: "История повторяется, первый раз как трагедия, второй раз как фарс". "Дикобраз" и рождается из этого доосмысления, обогащаясь новыми значениями. Трагедия народа, жившего в период правления Петканова, в эпоху репрессий, унижений и несвободы (естественно, напрашивается аналогия со сталинской эрой), заканчивается фарсовым судом. Суд не похож на большинство процессов — здесь нет никаких веских доказательств, ни традиций, на которые можно было бы опираться в ходе разбирательств. Никто толком не знает, по каким пунктам обвинения судить бывшего президента, да и можно ли его судить, ведь ничего подобного в истории не было. "Атмосфера в Храме Правосудия напоминала скорее не церковь, а базар", — говорит один из героев. Суд здесь приобретает характер вневременного и условного.

Фарс достигает своего апогея в сцене шутовского аукциона вещей, принадлежавших экс-президенту, и в финальной защитительной речи Петканова. Среди участников аукциона — живые и уже мертвые правители: "Эрих Хонеккер, Саддам Хусейн, император Бокасса, Джордж Буш, Махатма Ганди, весь состав Центрального Комитета Албанской компартии, Иосиф Сталин".

"Дикобраз" читается не как роман, а скорее как драма. Герои "выясняются" по поступкам или тому, что они рассказывают о себе, а не по авторским комментариям. Внешний мир со знакомой советской атрибутикой (бюсты вождей, "говорящие" названия улиц, обилие красных звезд, как в голливудских фильмах о России) здесь настолько условен, что кажется театральными декорациями. А потому в случае необходимости советский флаг можно заменить флагом любой другой страны, бюст Сталина — бюстом другого тоталитарного правителя.

Драматическая природа "Дикобраза" особенно ощущается в сценах перекрестного допроса Петканова, когда слушатели в зале (бывшие участники демонстраций, после которых президент был отправлен в отставку) комментируют ответы Петканова. Их голоса сливаются в пародийный хор, превращая серьезное судебное разбирательство в издевательство.

"Вера шла по площади Святого Василия-мученика. Площадь эта за сорок лет побывала и Сталинградской, и площадью Брежнева, и даже, в попытке решить все проблемы разом, площадью Героев социализма... И в один прекрасный день город вновь обретет площадь Святого Василия-мученика". Что может быть более знакомым для русского читателя? Каждая "эпоха перемен" присваивает свои собственные названия давно привычным вещам. Но в контексте барнсовского романа эта ситуация переименования скорее символична, нежели просто отражает реалию современности. К сентенции Маркса-Гегеля Барнс добавляет третье звено: трагедия — фарс — трагедия, закольцовывает историю, заставляет ее вращаться по кругу. Площадь имени святого осквернена именами диктаторов, но она снова обретет прежнее название, потому что такова природа истории, все меняющей местами или сдвигающей акценты. Президент Петканов из чудовища превращается в трагедийного героя, прокурор Солинский — из скорбного обвинителя в жалкого старика — и снова в обвинителя. Вариации бесконечны.

Джулиан Барнс
Julian Barnes
[р. 1946]. Английский писатель. Окончил Оксфордский университет, живет в Лондоне.

Автор романов *Метроленд* [*Metroland*, 1980; рус. перев. 2001], *До того, как мы встретились* [*Before She Met Me*, 1982], *Попугай Флобера* [*Flaubert's Parrot*, 1985], *Глядя на солнце* [*Staring at the Sun*, 1986]. В *ИЛ* были опубликованы романы *История мира в 10 1/2 главах* [1994, № 1], *Дикобраз* [1995, № 6], три рассказа из сборника *Через Ла-Манш* [1998, № 11], рассказ *Вспышка* [1999, № 1].
Перевод выполнен по изданию: *Julian Barnes. Talking it over* [London, Picador, 1992].

Ева Липская
Ewa Lipska
[р. 1945]. Польский поэт. Лауреат премий Польского ПЕН-клуба [1979, 1993], премий польских эмигрантских фондов: им. Костельских [1973] и им. Южиковского [1993].

Автор многих книг стихов, в т. ч. *Стихи* [*Wiersze*, 1967], *Второй сборник стихов* [*Drugi zbiór wierszy*, 1970], *Третий сборник стихов* [*Trzeci zbiór wierszy*, 1972], *Каникулы мизантропа* [*Wakacje mizantropa*, 1993], *Зоомагазины* [*Sklepy zoologiczne*, 2001]. Стихи Липской изданы на многих европейских языках; по-русски публиковались в *ИЛ* [1975, № 12] и в антологии Н. Астафьевой, В. Британишского *Польские поэты XX века*, т. 2 [СПб., Алетейя, 2000].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Кристина Ларс
Krystyna Lars
[р. 1950]. Польский поэт.

Автор книг стихов *Я, Густав* [*Ya, Gustaw*, 1981], *Мистическая хирургия* [*Chirurgia mistyczna*, 1985], *Умиральные песни и другие стихи* [*Umieranki i inne wiersze*, 2000]. Стихи Ларс публиковались в антологии польской поэзии, изданной в США. По-русски издаются впервые.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Уршуля Малгожата Бенка
Urszula Małgorzata Benka
[р. 1955]. Польский поэт, прозаик, эссеист.

Автор книг стихов *Странное наслаждение* [*Dziwna rozkosz*, 1978], *Девочки с извращениями* [*Perwersyjne dziewczynki*, 1984], *Эта маленькая Табу* [*Ta mała Tabu*, 1991], *Дочь ночи* [*Córka nocy*, 1995]. Стихи Бенки публиковались в антологии польской поэзии К. Дедециуса, изданной в Германии; изданы по-немецки отдельной книгой [1997]. По-русски одно стихотворение публиковалось в антологии Н. Астафьевой, В. Британишского *Польские поэты XX века*, т. 2 [СПб., Алетейя, 2000].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Гюнтер Фрайтаг
Günther Freitag
[р. 1952]. Австрийский писатель.

Автор романов *Суша* [Abland, 1991]. *Огонь лжи* [*Lügenfeuer*, 1994], сборника прозы *Музыка в уме* [*Kopfmusik*, 1984], сборника рассказов *Пригрезившиеся дни* [*Geträumte Tage*, 1985], сборника эссе *Попытка близости* [*Versuchte Nähe*, 1999].
Публикуемый рассказ взят из журнала *Манускрипты* [*Manuskripte*. Graz, 1994, № 123].

Джоанн Лимберг
Joanne Limburg
Английский поэт, лауреат премии Грегори.

Ее стихи печатались во многих английских журналах и антологиях.
Публикуемые стихи взяты из ее первого сборника *Femenismo* [New Castle, Bloodaxe Books, 2000].

Филипп Делерм
Philippe Delerm
[р. 1950]. Французский писатель.

Автор книг *Пятое время года* [*La cinquième saison*, 1983], *Autumn* [премия Ален-Фурнье 1990], *Сундборн, или Дни света* [*Sundborn ou les jours de lumière*, премия книгоиздателей и Национальная премия библиотекарей, 1997]; *Загубленная сиеста* [*La sieste assassinée*, 2001].
Перевод публикуемых рассказов выполнен по изданию *La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules* [Paris, Gallimard, 1997].

Артур Кёстлер
Arthur Koestler
[1905—1983]. Английский писатель, философ, общественный деятель. Родился и вырос в Австро-Венгрии.

Автор документальных книг *Белые ночи и красные дни* [*Von weißen nächten und roten tagen*, 1933], *Испанское свидетельство* [*Ein spanisches testament*, 1937], другая ред. *Диалог со смертью* [*Dialog with Death*, 1941]; романов *Гладиаторы* [*The Gladiators*, 1939], *Слепящая тьма* [*Darkness at Noon*, 1940; рус. перев. 1989], *Прибытие и отъезд* [*Arrival and Departure*, 1943], *Воры в ночи [Thieves in the Night*, 1946], *Век вожделения* [*The Age of Longing*, 1951; рус. перев. 2000]; сборников эссе и др. произведений. В *ИЛ* [2001, № 4] был опубликован перевод эссе *Анатомия снобизма.*
Перевод фрагментов автобиографии выполнен по изданию: *Arthur Koestler. Arrow in the Blue: the First Volume of an Autobiography: 1905–31* [London, Hutchinson & Co, 1969].

Андрей Дмитриевич Михайлов
[р. 1929]. Доктор филологических наук, член-корреспондент РАН.

Автор книг *Французский рыцарский роман* [М., 1976], *Французская городская повесть (Фаблио)* [М., 1986], *Французский героический эпос* [М., 1995]. Автор многих статей по истории западноевропейских литератур. Сотрудничает с *ИЛ* с 1956 года.

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], премии им. Анатоля Леруа-Больё [1996], им. Мориса Вакс-махера [1998].

Автор статей по социологии культуры. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [*ИЛ*, 1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1]. В его переводе публиковались произведения А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Г. Аполлинера, Х. Л. Борхеса [*ИЛ*, 1984, № 3; 1990, № 12] и др.

Переводчики

Инна Максимовна Бернштейн
Переводчик с английского.

В ее переводе изданы романы *Моби Дик* Г. Мелвилла, *Смерть Артура* Т. Мэлори, *Возвращение в Брайдсхед* И. Во, *Черный принц* А. Мёрдок [*ИЛ*, 1974, № 8—11, совместно с А. Поливановой], *Костры амбиций* Тома Вулфа [*ИЛ*, 1991, № 10, 11, совместно с В. Бошняком], повесть *Десятый* Грэма Грина [*ИЛ*, 1986, № 12], рассказы Дж. Апдайка, Дж. Сэлинджера, В. Притчетта и др.

Наталья Георгиевна Астафьева
Поэт, переводчик польской поэзии. Лауреат премии *ИЛ* [1986, 1989], польских переводческих премий ЗАиКС [1979], ПЕН-клуба [1993] и польского отделения Общества европейской культуры [1989].

Автор семи книг стихов. Соавтор антологии *Польские поэты XX века* (вместе с В. Британишским), где опубликованы ее переводы из 55 поэтов. В *ИЛ* публиковались ее переводы из поэзии К. Илакович, М. Павликовской, Я. Ивашкевича, А. Свирщиньской, Я. Б. Ожуга, Ю. Хартвиг, В. Шимборской, Т. Новака, Е. Харасымовича, Х. Посвятовской, Е. Липской, Ю. Корнхаузера, А. Вата и др.
Все публикуемые здесь переводы войдут в антологию *Польские поэтессы*, которая печатается в издательстве Алетейя, СПб.

Наталия Геннадиевна Васильева
Переводчик с венгерского и немецкого языков.

В ее переводе публиковались новеллы М. Бабича, Й. Е. Тершанского, Э. Кестнера, А. Мушга и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов Р. Леттау, Х. Блюменберга [1994, № 9] и обзорные статьи, представляющие мюнхенский журнал *Акценты* и австрийский журнал *Манускрипты*.

Анатолий Исаевич Кудрявицкий
[р. 1954]. Поэт, прозаик, переводчик с английского.

Автор восьми книг стихов, в т. ч. *Поле вечных историй* [1996], *Граффити* [1998], *Книга для посетителей* [2001] и др. Составитель антологий *Поэзия безмолвия. Современные российские неофициальные поэты* [1998], *Жужукины дети. Антология короткого рассказа, Россия, 2-я половина XX века* [2000]. В его переводе изданы романы Дж. Голсуорси, Э. Гарднера, романы и рассказы С. Моэма, стихи Э. Дикинсон, С. Крейна, Дж. Моррисона, поэтов-имажистов и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Наталья Самойловна Мавлевич
Переводчик с французского.

В ее переводе публиковались *Сказки кота Мурлыки* М. Эме [1990], *Портреты-воспоминания* Ж. Кокто [*Библиотека ИЛ*, 1985]; в *ИЛ* печатались также *Песни Мальдорора* Лотреамона [1993, № 1], романы *Перелом* А. Сарразен [1993, № 10, 11], *Голубчик* Э. Ажара [1995, № 7] и др.

Любовь Борисовна Сумм
Переводчик с английского и латыни, кандидат филологических наук.

В ее переводе публиковались эссе Честертона и главы из книги *Ортодоксия*, повесть Клайва С. Льюиса *Переландра* и автобиография *Настигнут радостью*, устав и жизнеописания св. Франциска Ассизского, книги по истории культуры и религии: *На коленях богов* Р. Онианса; *Библия, которую читал Иисус* Ф. Янси и др. Переводчик романа Джулиана Рэтбоуна *Короли Альбиона* [Иностранка, 2002]. Автор эссе по культуре античности, публиковавшихся в журнале *Новый мир*.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины немецкого художника Карла Хофера [1878–1955] *Циркачи* [1921].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге —
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 26.7.2002
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 4496.
Тираж 8 850 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва, пятницкая, 41

Некоммерческая организация культуры Галерея "Линия-Арт"
существует с 1997 года

В художественной программе Галереи различные направления выставочной деятельности:

наследие ряда московских художников,
искусство династий,
современная живопись, скульптура, графика, эмали.

Галерея экспонирует работы известных московских художников поколений 60-х, 70-х и 80-х годов.

Михаил **Р**удаков, **О**льга **Р**удакова,
Валерий и **А**лександр **В**олковы,
Анатолий **З**верев, **И**горь **К**ислицын,
Сергей **А**лферов, **А**лександр **Б**абин,
Ирина **Р**усакова, **И**горь **Е**рмоаев,
Гиви **А**наньев, **О**лег **С**лепов,
Евгений **В**ерешагин –

далеко не полный перечень ведущих авторов Галереи

С октября 2002 г. в Галерее читается курс лекций по истории мирового искусства

Наш телефон/факс: (095) 953 36 24
E mail: linlya-art@yandex.ru
Адрес: Пятницкая ул., 41, стр. 1

Посетить Галерею можно с 14 до 19 часов
по предварительной договоренности
с Администрацией Галереи

---

[8] 2002

РОМАН АХМАДУ КУРУМЫ “АЛЛАХ НЕ ОБЯЗАН” / “РИМСКИЕ СОНЕТЫ” ДЖУЗЕППЕ ДЖОАКИНО БЕЛЛИ / РАССКАЗЫ ЛУИСА СЕПУЛЬВЕДЫ / РОМАН РИЧАРДА ХЬЮЗА “В ОПАСНОСТИ” / БЕСЕДА С ДЖУЗЕППЕ КУЛИККЬЕЙ / МИЦУЁСИ НУМАНО О ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Новая серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

составитель Илья Кормильцев

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века

По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2002, №7, 1-288